РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

ШАНДОР ПЕТЕФИ

СТИХОТВОРЕНИЯ

●

ПОЭМЫ

ПЕРЕВОД С ВЕНГЕРСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1971

Вступительная статья
Пала Панди

Составление и примечания
Агнессы Кун

И (Венг)
П29

7—4—4
Подп. изд.

ПЕТЕФИ

Поэт, чьи стихи берет сейчас в руки читатель, родился 1 января 1823 года в Кишкереше, одной из деревень, расположенных на венгерской равнине, а 31 июля 1849 года пал под Шегешваром, сражаясь за свободу своей родины.

До нас дошло более восьмисот пятидесяти стихотворений Петефи; им написаны три рассказа, роман, две драмы (одна из которых была им уничтожена); он перевел на венгерский язык трагедию Шекспира «Кориолан» и, ради заработка, несколько иностранных повестей и романов. После него осталось и некоторое количество других материалов: статьи на политические темы, дневники, критические заметки, путевые очерки и более трехсот писем. Наиболее ценными в этой части наследия Петефи являются его письма Яношу Араню: переписка, рожденная дружбой этих двух поэтов, представляет собой выдающееся явление европейской мысли — как переписка Гете с Шиллером, Чернышевского с Некрасовым и Добролюбовым.

Шандор Петефи (настоящая фамилия Петрович) прожил всего двадцать шесть лет, первое его стихотворение было напечатано в 1842 году. Таким образом весь его творческий путь укладывается в каких-нибудь шесть-семь лет, причем последний год жизни он провел «inter

---

Статья «Петефи» написана известным венгерским литературоведом, профессором Палом Панди специально для нашего издания.

arma»[1], и хотя его муза не умолкала в грохоте революции и боев за национальное освобождение, он был поглощен отнюдь не одной литературой.

Сын зажиточного крестьянина, арендовавшего корчму и мясную лавку, Петефи учился — с переменным успехом — в различных городах и селах страны. Когда ему шел шестнадцатый год, он провалился на экзамене по истории в гимназии города Шелмец, и отец, который к тому времени с трудом сводил концы с концами и был близок к полному разорению, отказал сыну в материальной поддержке. Петефи махнул рукой на свое образование, уехал в Будапешт и поступил статистом в первый венгерский национальный театр, мечтая найти призвание на артистическом поприще. Потом он стал солдатом, опять гимназистом, снова артистом. Память о солдатчине осталась для него связанной прежде всего с городом Шопрон, время ученичества — с городом Папа; выступая в труппе бродячих актеров, он хорошо узнал Кечкемет, Пешт и многие села Венгрии. Жизнь будущего поэта была полна прямо-таки легендарных нужд и лишений. Зиму 1843 года в Дебрецене он провел, дрожа от стужи, в нетопленной комнате. «Я дошел до крайней степени отчаяния,— вспоминал он о тех горестных временах,— и тогда я набрался храбрости и пошел к одному из самых великих людей Венгрии, как игрок ставит на карту последние деньги, решив: жизнь или смерть. Этот великий муж прочел мои стихи, отозвался о них восторженно, и по его рекомендации они были изданы «Кружком»; я вдруг обрел деньги и имя». Этот поворот судьбы, да и рассказ о нем поэта тоже похожи на сказку. «Один из самых великих людей Венгрии» был не кто иной, как Михай Вёрёшмарти, классик венгерской поэзии, а «Кружок», издавший стихотворения Петефи,— «Национальный кружок», объединявший прогрессивных деятелей страны.

Так, словно по мановению волшебной палочки, изменилась жизнь Петефи: его стихи привлекают всеобщее внимание, растет число друзей, но также и врагов. С 1 июля 1844 года он становится заместителем редактора либерального журнала «Пешти диватлап» («Пештского модного журнала» — так назывались иллюстрированные литературные журналы, включавшие также и раздел мод); но уже к концу года, стремясь к духовной независимости, уходит из журнала, чтобы целиком посвятить себя поэзии и жить литературным трудом. В условиях феодальной Венгрии это было дерзкое решение... Но в любом литературном окружении Петефи становился центром, вернее, можно сказать, что центр литературной жизни перемещался туда, где был Петефи.

В те годы в насквозь прокуренных комнатках писателей планировалось будущее Венгрии; постоянным местом встреч молодых литера-

---

[1] «Среди сражений» *(лат.)*.

торов стало кафе «Пиллвакс». Здесь, «за круглым столом», подолгу просиживали Петефи, Йокаи, Пак, Палффи, Карой Берци [1], здесь складывалось общественное мнение, но сюда же частенько наведывались и тайные агенты полиции, следившие за молодежью. Эта молодежь духовно формировалась на идеалах Великой французской революции. «Какими же мы были франкоманами! — вспоминал об этих годах Мор Йокаи.— Не читали ничего, кроме Ламартина, Мишле, Луи Блана, Эжена Сю, Виктора Гюго, Беранже; а если у нас встречал милостивый прием английский или немецкий поэт, то это были блудные дети своей нации — Шелли и Гейне. У Петефи благоговение перед всем французским превратилось в настоящий культ. Его комната была вся завешана присланными из Парижа дорогими его сердцу литографиями, изображавшими деятелей революции 1789 года: Дантона, Робеспьера, Сен-Жюста, Марата и госпожи Ролан».

По инициативе Петефи весной 1846 года было организовано «Товарищество десяти», восставшее против издательского произвола и задумавшее выпуск нового литературного журнала. Создание этой группировки было не просто «экономической забастовкой» писателей против «модных журналов», это был бунт поднимающей голову молодой прогрессивной литературы. «Товариществу десяти» не удалось получить разрешение издавать свой журнал, но в это время редактор «Элеткепек» («Картины жизни») Адольф Франкенбург пригласил членов товарищества к сотрудничеству в его издании. Вскоре руководство этим журналом полностью перешло в руки молодых: в 1847 году во главе его стал Мор Йокаи, а затем Йокаи вместе с Петефи. Вокруг этого журнала и стремился теперь Петефи объединить всех литераторов «Молодой Венгрии», «той Молодой Венгрии,— писал он,— которая не хочет вечно латать изношенные лапти родины и ставить заплату на заплате, а хочет нарядить ее с головы до пят в новую одежду».

Между тем Петефи выиграл и «классовую битву в любви». В сентябре 1846 года он познакомился с Юлией Сендреи, дочерью управляю-

---

[1] Мор Йокаи (1825—1904) — крупнейший венгерский романист. В юности был близким другом Петефи и принимал активное участие в подготовке революции. Решительно шедший за Петефи в период революционного подъема, в дни поражения Йокаи, однако, не устоял на последовательно революционных позициях и отдал дань реформизму. Альберт Пак (1823 — 1867) —венгерский юморист, сотрудничавший вместе с Петефи и Йокаи в «Картинах жизни». Альберт Палффи (1820—1897) — известный венгерский писатель, в 1848 году возглавивший революционную газету «Пятнадцатое марта». Карой Берци (1821—1867) — венгерский писатель и переводчик. Увлеченный Пушкиным, изучил русский язык. Его перевод «Евгения Онегина» стал событием в венгерской литературной жизни.— *Ред.*

щего поместьями графа Каройи. Ее отец был человек крутого права да к тому же терпеть не мог Шандора Петефи. Однако в сентябре того же года молодые люди поженились. После мимолетных увлечений, отразившихся в любовных стихах, куда более долговечных, чем сами эти увлечения, поэт узнал наконец муки и радости настоящей, большой любви. В приливе творческих сил он создал цикл любовных стихотворений, вошедших в сокровищницу мировой лирики. Все это происходило на пороге освободительной борьбы 1848 года и в первые месяцы революции; в прекрасное и трудное время. 15 марта 1848 года Петефи стал во главе восставшего народа как представитель передового отряда радикально настроенной молодежи. Однако в последующие месяцы политической борьбы либеральному дворянству удалось оттеснить молодых революционеров; в июне Петефи потерпел поражение на выборах в Национальное собрание.

Поэт был одним из руководителей «Общества Равенства», а в конце сентября, когда гнев народный свершил свой приговор над графом Лембергом, посланным Габсбургами в Пешт для подавления венгерского освободительного движения, и левые силы, опираясь на поддержку масс, смогли перейти в наступление (председателем Комитета обороны стал Кошут),— Петефи снова ринулся в бой. Осенью в чине капитана он был направлен в Дебрецен; вместе с ним поехала и Юлия, в декабре у них родился сын, которого назвали Золтан (судьба сына Петефи сложилась несчастливо, он умер совсем молодым). На поэта тяжким бременем легли материальные заботы, и он просил направить его в Трансильванскую армию, во главе которой стоял польский революционер Йожеф Бем. Петефи посчастливилось сражаться плечом к плечу с этим великолепным полководцем, который приблизил его к себе и сделал своим адъютантом. Между поэтом и генералом сложились самые теплые отношения: Петефи уважал Бема, как отца, а тот относился к нему, как к сыну. Старый и молодой революционеры тесно сошлись друг с другом. Поддержка Бема была особенно необходима Петефи, потому что у него то и дело возникали конфликты с военным начальством. Отчасти здесь виноват был пылкий темперамент Петефи, не признававшего какой-либо субординации; другая, более глубокая причина этих столкновений лежала в исконном противоречии между народным революционером и верхушкой регулярной армии. После многих злоключений и отказа от офицерского звания мы вновь встречаем поэта в Трансильванской армии. Бем вернул ему офицерское звание (теперь уже чин майора). 25 июля 1849 года Петефи встретился с Бемом в Берецке, вместе они отправились в Марошвашархей, Секейкерестур, а затем объехали всю линию фронта от Фехередьхаза до Шегешвара. В последний раз поэта видели 31 июля 1849 года.

* * *

Такова вкратце биография Петефи. Можно смело сказать: это была бурная, целенаправленная жизнь, аккумулировавшая важнейшие события времени, непосредственным участником и живым сейсмографом которых он был. Такая жизнь заслуживала бы внимания и уважения сама по себе, даже если бы она и не была биографией классика венгерской поэзии. Но ее направляло высокое призвание поэта, и это было особенно важно в те годы, когда литература, и в первую очередь поэзия, способствовала духовному раскрепощению прогрессивных сил Венгрии и росту революционных настроений в общенациональном масштабе.

Поэзия Петефи заполнила его эпоху, ответила на задачи, которые история поставила перед венгерской литературой, и даже благодаря гениальности поэта перешагнула за эти пределы. Поскольку активность революционно-демократических сил в политике была подавлена, задача подготовки революции ложилась на плечи революционной литературы. И когда в марте 1848 года революционные политические силы получили возможность — пусть временную — действовать легально, то в этом радикальном повороте отразился и исторический успех литературной борьбы.

Венгрия была тогда самой накаленной точкой Габсбургской монархии, а в какой-то момент и всей Европы; во время освободительной борьбы 1848—1849 годов борющаяся страна стала образцом для народов континента:

На всех руках уж цепи дребезжат,
В руке венгерца только блещет сабля.
. . . . . .
Пускай подымет наш венгерский дух
То, что мы свет единственный для прочих,—

(Перевод Н. Тихонова)

писал Петефи в январе 1849 года.

Поэт сыграл важную роль в осознании нацией ее исторических задач; однако было бы ошибкой полагать, будто он и его товарищи — после великих мартовских дней — являлись фактическими руководителями политических событий. Нет, это было не так. И причина — в расстановке классовых сил в Венгрии той эпохи. В 1848 году нация взялась за оружие, чтобы завоевать независимость от Габсбургской монархии, и борьба эта неразрывно переплелась с программой буржуазно-демократической революции, направленной против феодализма. Ввиду отсутствия в Венгрии достаточно развитой буржуазии, ее функцию взяла на себя передовая часть дворянства. Среди руководителей борьбы за национальное освобождение первым был Лайош Кошут — представитель

того либерально-дворянского крыла, которое оказалось способно подняться над своими узкоклассовыми интересами и вместе с народом, выражая чаяния всей нации, защищать национальную независимость и некоторые демократические завоевания революции. Что же касается Петефи и его товарищей, то они представляли народные, революционно-демократические силы, и это в основном определило характер событий 15 марта 1848 года. Но в дальнейшем, когда дворянско-либеральному лагерю удалось отстранить Петефи и его сторонников от руководства, они могли оставаться лишь идейными вдохновителями, идущими в первых рядах, но ни политическая, ни военная власть им не принадлежала. Они действовали рука об руку с группой Кошута и выступали против оппортунистов, консерваторов, сторонников примирения с Габсбургами, однако их крупные и мелкие столкновения с руководством свидетельствовали о классовых противоречиях внутри прогрессивного лагеря. Это было расхождение между дворянским либерализмом и революционным демократизмом.

Сорок восьмой год в венгерской истории неразрывно связан с европейскими революциями 1848 года; эта взаимосвязь становится еще более очевидной, если принять во внимание те подземные толчки истории, которые сотрясали всю Европу, начиная с июльской революции 1830 года вплоть до 1849 года. Однако сам характер этих событий был неодинаков в разных странах. Во Франции на историческую арену уже выступил рабочий класс, и борьба там носила ярко выраженный классовый характер; в Восточной Европе и в Италии социальная борьба сплеталась, а порою приходила в противоречие с движением за национальную независимость, причем искусственно сталкивались интересы социально-угнетенных народных низов и национально-освободительные идеи, исходившие от передовых людей из высших сословий (пример тому — трагический исход крестьянского восстания в Галиции, а также события в Трансильвании) [1]. Несмотря на то что подобные тенденции наблюдались и в Венгрии, все же, в основном, социальная борьба шла здесь в одном направлении с борьбою за национальную независимость; это обстоятельство сыграло огромную роль в 1848—1849 годах и не только определило характер политики, но и содействовало расцвету поэзии. Доказательством является творчество Петефи.

[1] В 1846 году произошло восстание польских крестьян в Галиции, входившей тогда в состав Габсбургской империи. Но Габсбургам удалось обратить гнев повстанцев против польской шляхты, идейно возглавлявшей национально-освободительное движение. Результатом явились разъединение национально-освободительных сил и «галицийская резня», после которой крестьянское восстание было жестоко подавлено австрийскими властями. В 1848 году сходная политика была применена Габсбургами в Трансильвании для подавления венгерских повстанцев руками обманутых румынских крестьян.— *Ред.*

* * *

Первое известное нам стихотворение Петефи относится к его школьным годам, первая поэма — к 1838 году; уже в этих ранних стихотворных опытах виден поэтический талант. Начитанный школьник хорошо знает по учебникам европейских классиков и лучших венгерских поэтов, их влияние чувствуется в первых пробах его пера. Однако поэтическая биография Петефи примечательна довольно быстрым разрывом с высокопарностью его предшественников — классицистов — и сентиментальностью подражательной поэзии в немецком духе. Причиной этого была тесная связь поэта с действительностью. Петефи уже в юности столкнулся с темной изнанкой жизни, и его горький опыт противоречил существовавшим долгие годы поэтическим традициям. Таким образом, Петефи вскоре оказался на перепутье: либо отображать в стихах все виденное и пережитое и, по сути дела, порвать с укоренившимися шаблонами, либо же со школярской пунктуальностью следовать традициям, отгородившись от действительности. Петефи сделал верный выбор (хотя, разумеется, здесь не может быть и речи о сознательном решении): после неизбежного переходного периода он начал отображать в поэтически обобщенном виде ту правду жизни, которая была выстрадана им самим. В сравнительно ранних его стихотворениях перемежаются горькие воспоминания о солдатчине, картины по-своему прекрасной, хотя и нищенской жизни бродячих комедиантов, описание дружеских бесед до рассвета за стаканом вина, семейной жизни с ее новыми для него радостями, и снова воспоминания о лишениях и скитаниях.

Эта ранняя автобиографическая лирика по многим причинам заслуживает внимания. Здесь мы впервые встречаемся с несвойственной венгерской поэзии тех лет естественностью и непринужденностью. В период засилия романтизма Петефи возродил заглохшие традиции Чокоиаи, отображая свой внутренний мир. И не надо забывать, что это был духовный мир человека не дворянского или буржуазного круга, а свободного художника, постоянно общающегося с народом. Такая форма жизни уже самой своей общественной природой влияла на формирование личности Петефи, и не трудно понять, как сложился его живой и непосредственный характер, в чем истоки его поэтической интонации, не трудно увидеть тот подвижной общественный фундамент, на котором выросло его творчество. Естественность и непринужденность возведены у молодого Петефи в ранг поэтической позиции, они определяют его видение мира и место поэта в этом мире.

Вот, например, стихотворение «Побывка у своих» (1844). Юноша, после долгого отсутствия, возвращается домой и снова сидит за одним

столом с отцом и матерью. С поразительной простотой передает поэт эту волнующую сцену:

С отцом мы выпивали,
В ударе был отец.
Храни его и дале,
Как до сих пор, творец!

За много лет скитаний
Я не видал родни.
Отца, сверх ожиданий,
Скрутили эти дни.

Поговорили вволю,
Пред тем как спать залечь,
И об актерской доле
Зашла при этом речь.

Бельмо в глазу отцовом
Такое ремесло,—
Мне с ним под отчим кровом
Опять не повезло.

(Перевод Б. Пастернака)

Даже в живой разговорной речи трудно было бы с большей естественностью передать то, что хотел здесь сказать Петефи. Но непринужденная интонация этих стихов вовсе не объясняется недостатком «поэтичности»; напротив, это истинная поэзия, но совершенно новая, чуждая какой бы то ни было позы; пуританская простота лишь подчеркивает силу этой новой лирики. «Побывка у своих» — первое классическое воплощение поэтического кредо, которое позднее Петефи сформулировал так: «По-моему, поэзия — это не господская гостиная, куда дозволено являться лишь разодетым и в начищенных до блеска сапогах; поэзия — это святая церковь, в которую можно войти и в лаптях, и даже босиком». Действительно, поэт «в лаптях» вошел в семейное святилище — отцовский домик в Дуна-Вече и преобразил в высокую поэзию семейную беседу за чаркой вина. Деревенскую хату, степь, табунщика, трясущуюся по дороге телегу нельзя было встретить в литературе тех лет. Их надо было сперва по-новому увидеть в жизни, а затем, посредством поэзии открыть глаза людям на подлинную красоту этой простой действительности. Здесь мы подходим к началу венгерской демократической поэзии XIX века.

В этот ранний период, вплоть до 1845 года, большое место в творчестве Петефи принадлежит стихотворениям в форме народной песни, зарисовкам народного быта и характеров. Поэт создает ряд так называемых «описательных стихотворений» и охотно выражает свои чувства в застольных песнях. Здесь он несколько отступает от субъективной ма-

неры ранней лирики и приходит к более объективному методу. Народные песни интересовали поэта и в плане чисто литературном, но, разумеется, больше всего волновала Петефи сама жизнь, отраженная в них: ведь главным источником впечатлений для него был народ. В своей поэзии он поднялся до реалистического обобщения народной жизни, а его искусство, в свою очередь, воздействовало на эту жизнь. Народные песни, сочиненные Петефи, и его жанровые зарисовки были, если можно так выразиться, новым «обретением родины», на сей раз средствами народной поэзии. Впервые в литературу вошли в качестве полноправных и даже главных героев пастухи и бетяры, деревенские молодухи и босяки, подвыпившие гуляки и забулдыги. Это был целый мир, до которого никогда прежде не снисходила литература, мир, узаконенный Петефи и получивший права гражданства в его поэзии.

Независимо от того, ведется ли в этих песнях речь от первого лица или персонажи описываются в третьем лице, здесь не может ставиться вопрос о тождестве лирического героя и личности самого поэта; но всю тональность этих произведений, всю систему содержащихся в них нравственных оценок определял духовный мир Петефи, его жизнь. Более того, поэт и в жанре народной песни нередко выражает свои глубоко личные чувства. Так, в песне «Кто таков я? — Не скажу...» (1843) речь совершенно очевидно идет о разбойнике — бетяре; но настроение этого стихотворения, его горькая интонация — как очень точно выразился Дюла Илеш — «связаны какой-то тайной нитью с душой поэта»:

Кто таков я? — Не скажу.
Коль скажу, меня узнают,
А когда меня узнают,
Обязательно повесят.

Особое значение приобретает в эти годы пейзажная лирика Петефи. Образы родной природы, алфельд (равнина), пушта (степь) наполняются глубоко личным звучанием; необозримость, раздолье пушты ассоциируется поэтом со свободой, и сама картина алфельда вырастает в символ этой свободы: «Загляжусь в степную беспредельность, вырываюсь, как орел, на волю» (стихотворение «Алфельд», 1844). А в «Развалинах корчмы» (1845) мы читаем: «Свободой веет здесь, в степной глуши, свобода — божество моей души».

Полностью оценить эстетическую роль, которую этот степной пейзаж играет в лирике Петефи, можно лишь в том случае, если мы примем во внимание, что в нем не только выражена любовь поэта к родному краю, но и таится момент полемики: красоту равнины поэт противопоставляет излюбленным романтиками горным пейзажам с прилепившимися к вершинам феодальными замками, столь восхищавшими их взоры:

Что мне в романтизме ваших дебрей,
Соснами поросшие Карпаты!
Я дивлюсь вам, но любить не в силах,
Редкий гость ваш, но не завсегдатай.

Алфельд низменный — другое дело:
Тут я дома, тут мое раздолье.

(Перевод Б. Пастернака)

В годы, когда создавались эти стихи, Петефи был еще только на пути к революционному демократизму, но плебейские симпатии и антипатии уже бурлили и клокотали в его поэзии, народный патриотизм пронизывал ее:

Пусть не владею я на родине ничем,
Но сам я ей принадлежу навечно,—

писал он в конце 1844 года.

На этом этапе творческого пути Петефи выделяются две его поэмы: «Сельский молот» и «Витязь Янош», написанные во второй половине 1844 года. «Сельский молот» — пародийная «героическая поэма в четырех песнях» — высмеивает традиционный жанр лжегероического эпоса. Повествуя о заурядном происшествии (драка в корчме), Петефи мастерски пародирует помпезный стиль, делая его смешным применительно к столь ничтожному событию. Но при этом он никогда не высмеивает своих деревенских персонажей, глядя на них свысока или со стороны. Здоровый народный смех слышится в каждой строчке этой герои-комической поэмы, которая является подлинным шедевром юного гения.

«Витязь Янош» написан в духе наивно-героического народного эпоса, сотканного из элементов реальности и сказки. Сын порабощенного народа одерживает здесь победу над всеми превратностями судьбы. В этом произведении Петефи сумел сочетать глубоко народное содержание с формальными особенностями венгерского фольклора. Хотя поэма далека от революционной тематики, она свидетельствует о готовности литературы отразить всенародный подъем. Любовь Янчи и Илушки не может достичь счастливого завершения в реальном мире, где их безжалостно отрывают друг от друга, поэтому герои переносятся в сказочную страну. Судьба витязя Яноша и его полет в волшебные края символизирует громадные силы, дремлющие в забитом и бесправном народе, который преодолеет все препятствия, выстоит, выдюжит и добьется победы. По жанру «Витязь Янош» — сказка в стихах, по своему значению он вырастает в народный эпос, и это роднит его с поэмой Шевченко «Гайдамаки». Поэма Петефи стала классическим произведением венгерской народной поэзии.

В марте 1845 года вышел в свет цикл любовной лирики Петефи «Кипарисовые ветви с могилы Этельки», где он оплакивает свою несбывшуюся мечту о любви. С Этелькой Чапо юный поэт встретился на дружеской вечеринке в период работы в журнале. Но неожиданная смерть вскоре унесла девушку. Петефи часто навещал ее могилу и даже переселился в комнату умершей, чтобы быть ближе к источнику скорби и вдохновения. Романтическая окраска посвященных Этельке стихотворений, в сущности, вполне оправдана: эта любовь была лишь плодом поэтического воображения, и Петефи с горестной откровенностью признается, что успел обменяться с девушкой лишь несколькими словами. Его лиру вдохновляло главным образом любовное томление, понятное у двадцатилетнего юноши. Душевное здоровье скоро побеждает мрачные воспоминания, они начинают меркнуть, и в одном из стихотворений лета 1845 года Петефи с милой откровенностью признается, что, «как солнце, новая любовь взошла на небе. Восстало солнце, и луна померкла».

Этим «новым солнцем» была Берта Меднянски — дочь управляющего имением Гёдёллё,— красивая белокурая девушка, интересовавшаяся литературой. Петефи сделал ей предложение, но семья Берты была против этого брака, и он получил отказ. Воспоминаниям об этом эпизоде посвящен цикл «Жемчужины любви» (1845). Эмоциональное и философское содержание этих стихотворений гораздо богаче, чем вошедших в предыдущий цикл. Любовь к Берте вызывает целую гамму сложных чувств и ассоциаций. Внутри любовного цикла, не оттесняя на задний план его главный организующий мотив, появляются иные темы: поиски друга жизни, первые нотки пессимизма, картины сражений за свободу, за родину, тема дворца и хижины, в ее раннем варианте, образы деспота короля и войска крепостных крестьян.

Между двумя любовными увлечениями Петефи совершает поездку в Словакию и убеждается в том, что и сам он, и его поэзия стали широко известны. Этот литературный триумф был важен психологически, для самоутверждения поэта, потому что вокруг него сгущается атмосфера враждебности; к непрекращающимся выпадам консервативных журналов, служивших аристократии, присоединяются и либеральные критики, упрекающие Петефи в «низменности вкуса», «мужицкой грубости», в излишней самонадеянности, в простонародности языка и поэтических средств, порицают за необузданность темперамента, а спустя некоторое время — еще и за радикальность политических взглядов. Понятно, что постоянные нападки крайне раздражали и без того легко ранимого и пылкого поэта. Если добавить к этому, что силы нападавших во много раз превосходили реальные возможности немногочисленных сторонников Петефи, то не трудно себе представить его душевное состояние. Враждебные выпады критиков, разочарование в любви, неустроенность лич-

ной жизни, тревога за стариков родителей — все это заволакивает горизонт Петефи черными тучами. И в таком мрачном состоянии с особенной остротой ощущаются им общественные противоречия, встают мучительные проблемы отношений между угнетателями и угнетенными, богатыми и бедными, помещиками и крестьянами, родиной и всем миром. Глубже понятая историческая действительность становится на какой-то момент для поэта источником кризисных настроений беспросветности, безнадежности; он приходит к выводу о слабости и незрелости тех общественных сил, которые призваны были спасти его родину и сделать мир более приемлемым для жизни. Такой вывод лишь усиливает отчаяние Петефи. В 1845 году в его поэзии намечаются мотивы упадка и «мировой скорби» в байроническом духе. Гнев, боль, страдание — все это не только превалирует теперь в поэтической тематике Петефи, но и во многом определяет его дальнейшее творческое развитие. Форма народной песни или жанровой сценки не могла вместить новое, несравненно более сложное содержание его поэзии, и эти формы в 1845—1846 годах начинают вытесняться иным, лирико-философским жанром, который занимает все большее место в творчестве Петефи.

Горечь, заволакивающая для него мир, с каждым днем становилась все сильнее. В 1845 и начале 1846 года он создает новый поэтический цикл «Тучи», в который входят шестьдесят шесть мрачных афористических стихотворений, построенных в духе Гейне. Их темы: женское коварство, предательство друзей, чувство мучительного бессилия перед врагами, а в последних стихотворениях возникают социальные мотивы — деспотизм, рабство, общественная несправедливость. Те же настроения мы находим вне цикла «Тучи»: в «Моих снах», и — в опосредствованной форме — в поэме «Сумасшедший». Романтические страсти бушуют в драме «Тигр и гиена», написанной в конце 1845 года; мыслью о мести пронизан замысел романа «Веревка палача» (1846). Мрачное мироощущение драмы и романа роднит их с «Тучами». Однако в тот же период были созданы некоторые произведения (например, «Волшебный сон»), в которых мятежный дух Петефи, казалось, восторжествовал над состоянием депрессии. В драме и особенно в романе мы видим первые попытки реалистического изображения действительности.

Мы уже говорили, что духовный кризис Петефи не являлся следствием какой-либо пессимистической философской концепции; ему нельзя поставить в вину и разочарование в прогрессивных силах. Разочарование это, в основном, касалось дворянства: вникая в общественные отношения на родине и в Европе, поэт убедился в его классовой ограниченности. Отсюда — неудовлетворенность, горечь, творческое беспокойство, которые заставляют жаждать перемен. Весной 1846 года, вырвавшись из омута «мировой скорби», Петефи создает стихотворения, полные активности и энергии:

Судьба, простор мне дай! Так хочется
Хоть что-то сделать для людей...—

(Перевод Л. Мартынова)

так звучит новая программа человека и поэта в апреле 1846 года.

Такая программа, по существу, не потребовала какой-то особенной внутренней перестройки: даже в период кризиса поэт не расставался с мыслью о необходимости коренного изменения мира. И все же мы можем с полным основанием говорить о новых чертах его творчества: ведь в целом ряде стихотворений уже отчетливо вырисовывается личность поэта-трибуна, последовательного революционного демократа. Этот перелом объясняется и размежеванием политических сил Венгрии, и тем обстоятельством, что Петефи уже не был одиноким революционером, полководцем без армии: вокруг него сплачивалась демократическая литературная молодежь, он был представителем того передового отряда,— пусть пока еще немногочисленного,— который уже пришел в движение, а главное, имел свое твердое мнение об исторических перспективах Венгрии и Европы, обо всех существенных вопросах человеческой жизни. Причем мнение самое радикальное. Важным жизненным впечатлением явилось для Петефи и подавленное в начале 1846 года крестьянское восстание в Галиции, еще раз подтвердившее, что борьба за национальную независимость не может быть успешной, если народ угнетен, если народ не чувствует, что родина принадлежит ему. «Родина — только там, где есть права, а народ бесправен» — предупреждает поэт. Многие его стихотворения свидетельствуют о том, что Петефи в это время был не только знаком с главными идеями французской буржуазной революции конца XVIII века, но и ориентировался в учениях утопического социализма и коммунизма первой половины XIX века. Раздумывая о том, каков должен быть путь к справедливому новому миру, Петефи исходил не из иллюзий, он делал поправку к учениям утопистов, опираясь на опыт революционных движений, и считал борьбу непременным условием подготовки справедливого общества. Он писал в послании к другу Анталу Варади:

Но начал верить я, что близок час,
Что славных дней расцвет блестящий близок.
Не нынче — завтра, а они восстанут,
Народы мира, втоптанные в прах.
Да! Прогремят восставшие народы:
«В людей мы превратимся из рабов!»

(Перевод Л. Мартынова)

Эта мысль станет ведущим мотивом лирики Петефи и будет выражена в его лучших, ставших классическими стихотворениях, подготовивших революцию 1848 года.

* * *

Наряду с думами о судьбах народа и родины в стихотворениях Петефи все чаще появляются слова «мир» и «человечество». Справедливое общество представляется ему завтрашним днем всех людей; понятия: свобода и угнетение, добро и зло — мыслятся во всемирном масштабе. Образ родины остается в центре поэзии Петефи, но его патриотизм не замыкается в узкие рамки одной страны; это патриотизм революционера-демократа, для которого открыты горизонты всего мира. При таком подходе стихотворения, обличающие национальную отсталость Венгрии, так же патриотичны, как и те, в которых прославляется героическое прошлое венгерского народа или бичуются правящие классы. Взывая к грозной памяти вождя крестьянского восстания Дёрдя Дожи, Петефи возвещает истину эпохи: родина погибнет, «если не обретет себе нового защитника». Поэтический синтез идей национального освобождения и классовой борьбы определяет стиль, тональность и структуру патриотической лирики Петефи. Он решительно порывает с высокопарностью и ложной патетикой поэзии либерального патриотизма; если стилистика этой поэзии воспроизводила риторику дворянских собраний, то патриотической лирике Петефи свойственна скорее демократическая лексика народной сходки. Пафос трибуна сочетается в его стихах, посвященных родине, с подкупающе интимными, бережными интонациями; любовная нежность и беспощадная критика, благоговейное почитание — и суровое обвинение, жесткость и мягкость, полет фантазии и верность фактам,— таков диапазон поэтического голоса Петефи в этих стихах.

К числу шедевров, обогативших его лирику, относятся стихи, посвященные Юлии Сендреи, которые он начал писать с осени 1846 года. Уже не тоска по выдуманной любви, не романтическое любовное томление, а сама любовь вдохновляла эти строки. Пылкая, необузданная страсть Петефи не терпит никакой условности, никакой стилизации. Эти стихотворения не образуют единого цикла, интонация их и форма все время меняются, охватывая едва ли не все жанры лирики,— от песни до дифирамба, от страстных признаний до философских размышлений и элегий.

Эти любовные стихотворения вводят нас в душевный мир человека, чья жизнь неразрывно связана с историей, и, когда он с естественной для влюбленного решимостью борется за свою любимую, напряженность его личных переживаний как бы вто́рит напряженности общественной жизни его страны. Поэту знакомы и колебания между жаждой любви и стремлением к революционной борьбе, и заманчивая мечта уединиться с любимой и найти свой островок счастья, и горечь разлуки с нею, а потом — с семьей. И все это становится стихами, удивительно яркой, неумирающей поэзией. Поэт понимает любовь как полную самоотдачу и готовность взять на себя ответственность за будущее (и надо ли говорить,

что такая нравственная позиция сохраняет высокое свое значение и вне сферы любви?),— он пишет, обращаясь к Юлии:

Но ведь возможность разочарованья
Не повод для того, чтоб не любить.
Пойми: живое испытать страданье
Все ж лучше, чем безжизненно застыть.
Иль ты не строишь дом из опасенья,
Что вдруг пожар? Зачем же строить зря?
И так без крова терпишь дождь осенний
И попадешь в объятья декабря.

(Перевод Л. Мартынова)

Последнее стихотворение к жене поэт создает в перерыве между боями, словно подсознательно прощаясь с нею.

Так на вершине творчества Петефи происходит полное слияние личной и гражданской поэзии.

* * *

Весной 1848 года, в марте и апреле, Петефи вел дневник. В записи от 17 марта мы читаем: «Уже в течение долгих лет едва ли не единственное мое чтение, утренняя и вечерняя молитва, хлеб мой насущный — история французской революции, это новое Евангелие, в котором Свобода, второй спаситель мира, глаголет свои истины... Я ждал будущего, ждал той минуты, когда свободолюбивые мысли и чувства — пленники, в сердце моем осужденные на страшную муку, смогут наконец вырваться на волю из темницы, где их пытали.. Я ждал этой минуты и не только надеялся, но и твердо верил, что она придет. Об этом свидетельствуют стихи, которые я пишу вот уже целый год. Не пустые мудрствования, а пророческое вдохновение (или, если угодно, животный инстинкт) поэта, помогло мне увидеть, что Европа с каждым днем близится к грандиозному насильственному потрясению».

Петефи не зря ссылается на стихотворения, которые он «пишет уже целый год»: в декабре 1846 года создано было стихотворение «Мысль одна меня тревожит...», где вздымается алое знамя с девизом «Мировая свобода»; в январе 1847 года родилось стихотворение «Поэтам XIX века», где так формулируется цель исторического движения человечества:

Когда любой сумеет брать
От счастья полными горстями.
Когда за стол закона все
Придут почетными гостями
И солнце мысли, воссияв,
Над каждым домом загорится,
Мы скажем: вот он, Ханаан,
Пришла пора остановиться!

(Перевод В. Левика)

В октябре написаны строки, обращенные к другу, поэту Габору Казинци:

Власть все еще принадлежит врагу,
А наша армия еще мала,
Но в армии — отважные бойцы!
Там — большинство, но сила все же здесь!
Да и острей оружие у нас —
Мы чистой правдой вооружены!

(Перевод Л. Мартынова)

Такие произведения, как: «Света!», «Приговор», «Письмо Яношу Араню», «На железной дороге», свидетельствуют о том, что революционная поэзия Петефи достигла наивысшего расцвета. Ее бунтарский дух прорывается даже в лирических стихах, казалось бы чуждых какой бы то ни было политики, в образах родной природы: Тиса мчится по степи, «как безумец, разорвавший цепи», но следующие за этим строки ассоциируются уже не только с безумием: «Тиса будто цепи сорвала, всю плотину в щепки разнесла, разлилась, не ведая предела, проглотить весь мир она хотела». Образы весеннего половодья, борьбы стихий, используются для метафорического изображения восставшего народа и в ряде других стихотворений апреля 1848 года: «Как река плотину сносит, так народ срывает цепи» («Король и палач»); «угрюмые скалы» мечут грохоты и гулы, «словно гремят цепями» («Аист»); тучи — «гневные и дикие мужи» — не на жизнь, а на смерть бьются «с тираном-ветром»; солнце, «как король, изгнанный из пределов своей страны», бросает с горизонта последний взгляд на землю, «и пока насмотрится беглец, с его главы кровавый катится венец» («Пушта зимой»). В стихотворении «Смерть зимы» — обратная аналогия: символическая картина низвержения тирана в начале произведения разрастается, определяя восприятие явления природы. Поистине, вся поэзия Петефи этого периода проникнута предчувствием революции.

Сохранив все обаяние своей ранней лирики, Петефи поднимается теперь на новую поэтическую ступень. Он уже редко пишет народные песни, хотя их мотивы встречаются в любовных стихотворениях. Его пейзажная лирика становится все более бурной и динамичной. Но поэт не теряет жизнерадостности; в его стихах по-прежнему искрится веселая шутка, беззаботный юмор («Лаци Араню», «Пестрая жизнь»), а задушевность и непосредственность, с какими он когда-то рассказывал о своем отце, распространяется на всю его «описательную» поэзию (лиро-эпическая поэма «Глупый Ишток», стихотворения «Тетя Шари», «Зимние вечера», «Кабачок у околицы»). Прежнюю традицию продолжают и стихотворения, представляющие своеобразные поэтические «кредо», в которых Петефи выступает как бы теоретиком своего

собственного литературного направления. Свою эстетическую программу он отстаивает и в прозе, в первую очередь, в письмах к Яношу Араню и предисловии к своим сочинениям, которое датировано январем 1847 года.

«Путевые заметки» (1845) и «Путевые письма» (1847) убеждают нас, что развитие прозы Петефи повторяет направление развития его лирики. Эти записи и дневники — не скучные путевые отчеты,— в них играет всеми цветами радуги многогранная личность поэта. Реалистические зарисовки причудливо перемежаются здесь с мыслями об искусстве, литературными и историческими ассоциациями, тут и кипящие страсти, и веселый юмор — целая гамма радостных и мрачных настроений. В самой трактовке жанра путевых писем и заметок Петефи глубоко оригинален, хотя возможно, что мысль об их создании зародилась у него под влиянием «Путевых картин» Гейне.

Следует отметить, что взаимопроникновение жанров характерно и для зрелой поэзии Петефи. Так, в его пейзажных и бытовых зарисовках, то есть стихотворениях, отображающих предметный мир, все больший удельный вес приобретают философские размышления; с другой стороны, в стихотворениях на отвлеченные философские темы мир идей связывается, через посредство конкретных поэтических образов, с воспеваемым поэтом народом и природой родного края. Именно эта взаимосвязь определяет глубину и идейное богатство лирики Петефи.

Синтез противоречивых на первый взгляд художественных элементов характеризует и его поэзию в целом. Так мы подходим к вопросу о сочетании в творчестве Петефи романтизма и реализма. Можно смело сказать, что лирика Петефи достигает вершин реалистической поэзии XIX века. Но нельзя забывать и того, что вся литература его времени была переплетена нитями романтизма, пронизана романтическим видением мира, романтическими образами и ассоциациями. Этот романтический подход к действительности вытекал из характера самой эпохи — эпохи незавершенности буржуазно-демократических революций. Лирику Петефи с самого начала пронизывали романтические элементы, а в первые годы творчества на него влияли даже романтические формы поведения. Революционно-романтический пафос, символика и гиперболизация, усложненные метафоры, нарочитая сгущенность красок и контрастность образов, сочетание взаимоисключающих, казалось бы, чувств и настроений, резкие переходы тональностей — все эти отличительные черты, несущие на себе печать романтизма, характерны для всей поэзии Петефи; мы находим их даже в тех его стихотворениях, которые по праву считаются шедеврами реалистической лирики. Влияние романтизма особенно усилилось в период душевного кризиса поэта и чуть было не стало оковами для его дальнейшего творчества. Но в главном русле

поэтического развития, на эстетических вершинах лирики Петефи романтические элементы не вступают в художественный конфликт с реализмом, не подавляют его, но, напротив, обогащают поэзию Петефи и придают ей многогранность и современное звучание.

* * *

Творчество Петефи бурных месяцев революции можно подразделить на три периода. Первый продолжался с декабря 1847 года до конца марта 1848 года; в эти месяцы Петефи вдохновляло сперва предчувствие близящейся революции, затем победоносное шествие ее в мартовские дни. Второй период длился до начала октября 1848 года; в течение этого полугода, в силу сложной политической ситуации, в центре внимания поэта была борьба со сторонниками Габсбургов, которые компромиссами и обещаниями реформ пытались преградить путь революции. Лирика третьего, и последнего, периода в творчестве Петефи стала поэзией сражающегося народа, поэзией, зовущей на борьбу и воспевающей битвы и героев. Такая периодизация творчества поэта в зависимости от исторических событий в данном случае правомерна, ибо поэзия Петефи *непосредственно участвовала* в формировании этих событий. Его стихотворения стали поэтическим дневником революции. В стихотворении «Италия» Петефи воспевает итальянский народ, свершивший революцию, и призывает последовать его примеру; в стихотворном послании «К Сословному собранию» Петефи издевается над краснобайством и медлительностью либерального дворянства, торопя его ввести свободу печати; «Национальная песня» зовет к практическому революционному действию. Известно, какую важную роль сыграло это стихотворение в день 15 марта. Позже в своей поэзии Петефи призывал бороться до конца, размежеваться с теми, кто шел на примирение с Веной, писал стихи, предназначенные для раздачи солдатам освободительной армии. Из стихотворений Петефи мы узнаем и о разногласиях его с командованием.

После мартовской революции поэт оставался в центре исторических событий благодаря своему творчеству, в котором отстаивал завоевания революции. Теперь он развернул и публицистическую деятельность. Он стал зачинателем нового стиля в венгерской политической прозе. Некоторое влияние на него оказала неотразимая логика статей и речей Кошута, хотя творческая манера прозы Петефи значительно отличается от них. Мы находим здесь убедительность и непринужденность живой речи, умение обратиться к сердцу читателя, впечатляющую аргументацию, и все это — в сочетании со страстностью агитатора, с демократическим, якобинским пафосом.

В августе 1848 года, когда войска Елашича угрожали столице Венгрии, Петефи работал над поэмой «Апостол». В этом трагическом и мужественном произведении, полном горечи и надежд, запечатлевшем многие черты эпохи и черты личной судьбы поэта, создан первый в венгерской литературе образ борца-революционера. Герой поэмы Сильвестр — подкидыш; с самого рождения его преследует нищета, он видит пороки и преступления. Но у Сильвестра, выросшего в воровском притоне, хватает душевных сил для того, чтобы стать настоящим человеком, революционером. Уже экспозиция поэмы окрашена в мрачно-романтические тона: перед героем встает мучительный вопрос, имеет ли он право ради высокой идеи обречь на голодную смерть свою семью. Но ведь именно так стоял вопрос перед самим Петефи в 1848—1849 годах.

За картинами детства Сильвестра, написанными в духе Диккенса, следует повествование о революционной деятельности героя и о его мученической смерти. В эти строки тоже вложено много личного. Вся поэма насыщена чертами времени: рядом с фигурой помещика встает образ человека, издающего подпольную газету, и рядом с церковью располагается тайная типография. В образе Сильвестра воплощены великие идеи европейских революций и передовой литературы той эпохи.

В сентябре 1848 года, после того как Австрия отказалась удовлетворить законные требования Венгрии и предоставить ей самостоятельность в решении финансовых и военных вопросов, Национальное собрание призвало народ сбросить иго Габсбургов. В эти грозные дни, когда встал вопрос о самом национальном существовании Венгрии, окруженной несметными полчищами врагов, стихотворения Петефи преследовали непосредственно агитационные цели, вдохновляли народ на борьбу («Дядя Петер», «Секеи»). Петефи вновь обращается к песенному жанру и создает ряд замечательных боевых песен, поражающих своим лаконизмом, драматической напряженностью и ясностью основной идеи, которая выделяется рефреном («В битве», «Боевая песнь»). Однако во многих стихотворениях этих дней сквозят трагические ноты: поэт пишет о семье, о любимой, о прелести родного края так, словно видит их в последний раз. Как будто предчувствуя свою судьбу, он говорит, с поразительной откровенностью, обращаясь к жене, в стихотворении «Да и чему бы радовался я...»:

А что же слез стыдиться буду я,
Когда огнем объята грудь моя?
Разлуки пламень не отбушевал!
Но выстою в бою и в этот раз —
Быть может, лев страшней всего в тот час,
Когда скорбит, что львицу потерял!

(Перевод Л. Мартынова)

Тридцать первого июля 1849 года Шандор Петефи пал на поле шегерварской битвы, сражаясь в рядах венгерской революционной армии против войск русского царя. Преждевременная смерть оборвала творческий путь великого поэта. Но творчество его не осталось незавершенным шедевром — оно являет пример классической цельности. Поэзия его была революционным завершением длившегося более чем полувека процесса формирования демократического сознания венгров, процесса борьбы за национальное освобождение и преобразование общества. Вместе с тем — его поэзия была увертюрой новой эпохи в венгерской литературе. Находясь на переднем крае мировой поэзии, Петефи достиг вершины своего творчества, поднимаясь по крутизне им самим сформулированной программы: «Напрасно забывают, что настоящая поэзия — это поэзия народная, и именно она должна стать господствующей. Властвуя в поэзии, народ приблизится и к господству в политике, а в этом — задача века; завоевать ее — цель каждой благородной души, которой невыносимо видеть, как миллионы страдают ради того, чтобы несколько тысяч аристократов коптили небо, наслаждаясь жизнью».

ПАЛ ПАНДИ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ
К ПОЛНОМУ СОБРАНИЮ СТИХОТВОРЕНИЙ

Нынче у меня праздник. Сегодня, 1 января 1847 года, мне исполнилось двадцать четыре года, я достиг совершеннолетия. У меня вошло в привычку в день Нового года (тем более что он является и днем моего рождения) перебирать в памяти весь истекший год; но сегодня я представил себе не только этот год, а и всю мою жизнь, весь мой писательский путь. Быть может, будет не лишним, если я, в виде предисловия к полному собранию стихотворений, подготовляемому мною сейчас к печати, изложу свои размышления о том периоде моей жизни, когда я впервые вступил в общение с моими уважаемыми читателями; я изложу их с той искренностью, которую не приемлет лицемерный мир. Но ведь это для меня не препятствие. Вместо десяти друзей, купленных лицемерием, я предпочитаю приобрести искренностью сотню врагов. О! Искренность в моих глазах — великое достоинство, так как меня одарил ею мой ангел: он постелил ее простынкой в мою колыбель, и я унесу ее саваном с собой в могилу...

В нашей литературе еще ни о ком мнение критиков и читателей столь сильно не расходилось, как обо мне. Большая часть публики решительно стоит за меня, большинство критиков — решительно против меня. И прежде и теперь я долго размышлял: кто же прав? И прежде и теперь я пришел к выводу, что права публика. Публика! Я понимаю под этим читателя, а не театральную публику: между читателем и зрителем существует большая разница... Итак, я говорю, что читающая публика может заблуждаться, пренебречь кем-нибудь по той или иной причине, но если она кого-нибудь удостоила вниманием и полюби-

ла, то пусть и не в полной мере, но такой человек бесспорно заслужил ее любовь,— если, конечно, это не ошибка целой эпохи, а нынешняя эпоха едва ли так ошибается.

Признаюсь, год назад мне было очень не по себе от того, что критики предавали меня анафеме (они сами называли так свои суждения). Они доставили мне немало горестных часов. Но сейчас, слава богу, я уже излечился от этого недомогания и добродушно улыбаюсь, когда вижу, как эти новые Титаны силятся одолеть меня то Оссой, то Пелионом. Более того, каждому из них кажется, что он Юпитер, что от взмаха его ресниц содрогается Олимп. Однако эти юпитерчики могут помахивать даже своими космами, а Олимп все-таки остается незыблемым.

Но почему же ведется против меня эта война не на живот, а на смерть? Потому, поверь мне, уважаемый читатель, что они хотят всего лишь уничтожить меня. Да, и я знаю почему! Но публика не знает и благодаря мне не узнает никогда. Я мог бы перечислить все те гнусные причины, которые побуждают их выступать против меня на поле брани, напялив на голову шлем чистейшей доброжелательности; но я не сорву с их головы этот шлем, чтобы читателя не охватило отвращение при виде мерзких морд, ухмыляющихся под блестящими воинскими головными уборами. Да и вообще, какое мне дело до отдельных личностей и до того, почему заявляют они то или иное? Я буду говорить только об их словах, об их утверждениях. И тут у меня возникают кое-какие замечания, поскольку их нападки частью злобны, а частью лживы.

Я не стану защищать честь своей поэзии. Если мои стихи нуждаются в защите, то ведь все равно защищать их было бы тщетно. Если же они не нуждаются в этом, то защищать их излишне... а, кроме того, я искренен и у меня есть чувство собственного достоинства, но чтобы я был нескромен... Нет, это я отрицаю. Итак, я упомяну только о четырех обвинениях, которые чаще всего предъявляют мне, а именно: что в моих стихах плохие рифмы, неправильные размеры, что они неуравновешенны и что они подлы.

Эти господа не имеют никакого представления о характере венгерских рифм и размеров. Они ищут в венгерских стихотворениях латинскую метрику и немецкие каденции, а в моих стихах этого нет! Это верно! Да я и не хотел, чтобы они были. Венгерские размеры и рифмы еще точно не установлены. Только теперь их будут (если, конечно, будут) определять и устанавливать, поэтому и я точно о них ничего не знаю, но уже догадываюсь о многом... мной руководит инстинкт. И как раз в тех

местах, относительно которых меня обвиняют в величайшем пренебрежении к рифмам и размерам,— может быть, именно в них и приближаюсь я более всего к совершенству — к подлинно венгерской стихотворной форме.

Что же касается подлости в моих стихах, то торжественно предупреждаю всех: это низкая клевета. Я смело заявляю перед судом своей совести, что не знаю ни одного человека, который мыслил и чувствовал бы благороднее меня, я всегда писал и пишу так, как чувствовал и думал. Мне всегда тяжело было слышать это обвинение, так как несправедливость его я ощущал больнее всего. Если я в некоторых случаях и по некоторым поводам и выражаюсь свободнее других, то делаю это потому, что считаю поэзию не аристократическим салоном, куда являются только напомаженными и в блестящих сапогах, а считаю, что поэзия — храм, в который можно войти в лаптях, и даже босиком.

Наконец о том, что я не уравновешен. Это, к сожалению, правда, но это и не удивительно. Не наградил меня господь такой судьбой, чтобы мог я прогуливаться в прелестных рощицах, переплетая свои песни о тихом счастье и тихих горестях с трелями соловья, шелестом ветвей и журчаньем ручья. Моя жизнь протекала на поле битвы, на поле боя страданий и страстей. Моя полубезумная муза, как заколдованная принцесса, которую на необитаемом острове в океане стерегут чудовища и дикие звери, поет среди трупов былых прекрасных дней, предсмертного хрипа казнимых надежд, насмешливого хохота несбывшихся грез и шипения злобных фурий разочарования... Да, кроме того, в этой неуравновешенности виноват не только я, виноват и наш век. Все нации, все семьи, более того — все люди разочарованы. Со времени средневековья человечество очень выросло, но до сих пор носит средневековые одежды, правда кое-где залатанные и расставленные, и все-таки оно желает переменить одежду, старая уже узка, теснит человечеству грудь, в ней трудно дышать, а потому стыдно человечеству, будучи уже юношей, все еще ходить в детском платье. Так прозябает человечество в позоре и нищете; внешне оно покойно, только бледнее обычного, но тем больше оно волнуется внутри, как вулкан, близкий к извержению. Таков наш век. Могу ли я быть иным, я — верный сын своего века?!

1 января 1847 г.

НА ДУНАЕ

Река! Как часто вод широких гладь
Судам, ветрам случалось рассекать.

И как глубоко ранена вода!
Так страсть не ранит сердце никогда.

Однако судно или вихрь пройдет,—
И вновь, как встарь, гладка поверхность вод.

А если сердце треснет пополам,
Уж не поможет никакой бальзам.

Комаром, конец августа 1842 г.

ХОРТОБАДЬСКАЯ ШИНКАРКА

Хортобадьская шинкарка, ангел мой,
Ставь бутылку, выпей, душенька, со мной!
Я из Дебрецена в Хортобадь пришел,
Путь из Дебрецена в Хортобадь тяжел.

В поле холод лютый, вьюга, темнота,
Я замучен, в теле дрожь и ломота.
На меня взгляни, шинкарка, мой левкой,
Синих глаз теплом согрей и успокой.

Где, скажи мне, родилось твое вино?
Кисло, как лесные яблочки, оно.
Поцелуй меня, твои уста — как мед.
Поцелуй твой сладость в губы мне вольет.

Губы сладкие... красавица... вино...
Я подняться не могу, в глазах темно...
Обними меня, душистый мой цветок,
Поддержи меня, чтоб я под стол не слег.

У тебя нежней, чем пух лебяжий, грудь,
Разреши на ней немного отдохнуть,—
Не пришлось бы мне на твердом спать в пути.
Далеко мой дом, к утру мне не дойти.

Хортобадь, октябрь 1842 г.

НА РОДИНЕ

Степная даль в пшенице золотой,
Где марево колдует в летний зной
Игрой туманных, призрачных картин!
Вглядись в меня! Узнала? Я — твой сын!

Когда-то из-под этих тополей
Смотрел я на летевших журавлей.
В полете строясь римской цифрой пять,
Они на юг летели зимовать.

В то утро покидал я отчий дом,
Слова прощанья лепеча с трудом,
И вихрь унес с обрывками речей
Благословенье матери моей.

Рождались годы, время шло вперед,
И так же умирал за годом год.
В телеге переменчивых удач
Я целый свет успел объехать вскачь.

Крутая школа жизни — божий свет,
Он потом пролитым моим согрет.
Я исходил его, и путь тернист
И, как в пустыне, гол и каменист.

Я это знаю, как никто другой.
Как смерть, недаром горек опыт мой.
Полынной мутью из его ковша
Давным-давно пропитана душа.

Но все печали, всякая напасть,
Вся боль тех лет теперь должны пропасть.
Сюда приехал я, чтоб без следа
Их смыть слезами счастья навсегда.

О, где еще земля так хороша?
Здесь мать кормила грудью малыша,
И только на родимой стороне
Смеется, словно сыну, солнце мне.

Дуна-Вече, октябрь 1842 г.

НА ПИРШЕСТВЕ ПО СЛУЧАЮ УБОЯ СВИНЬИ

Уши и рты... Тишина.
Слушайте!
Провозглашаю глагол:
Кушайте!

Пусть и на небесах
Слушают,
Как на земле свинью
Кушают!

Пусть будет наша жизнь
Мирная
Длинной, как колбаса
Жирная.

Глянь на нас, рок, так
Сладостно,
Как мы глядим на гуляш
Радостно!

Пусть потечет с высот
Мир на нас,
Как в эту кашу вот
Жир сейчас!

Если же явится Смерть
Дерзкая
Праздновать тризну свою
Мерзкую —

Тесно набьемся мы
В мир иной,
Словно в кишку колбасы
Жир свиной!

Секеш-Фейервар,
18 ноября 1842 г.

ВОЛЧЬЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

«Эй, друг, ты жрал — в крови клыки и пасть.
А нам судьба от голода пропасть.

Вихрь табуном воздушных жеребцов
Над пустой мчится. Мрак зимы суров.

Здесь не видать ни одного следа.
Так где же пировал ты и когда?»

Так волки волку ночью говорят,
Когда приходит в стаю он назад.

А волка голод больше не томит.
А он волкам любезно говорит:

«Есть в снежной пуште хижина одна,
Пастух живет в ней и его жена.

А сзади хижины там стойло есть,
В нем блеют овцы... много их, не счесть.

Бродили ночью около жилья
Один какой-то господин и я.

Овечку я хотел схватить одну,
Он — пастуха высматривал жену.

Вот так овцы и не отведал я,
Но... съел того, кто бродит вкруг жилья.

Кечкемет, январь 1843 г.

КЛИН КЛИНОМ...

Ох, спина болит и ноет.
Ох, болит!
Я вчера в саду соседнем
Был избит.
Набалдашником тяжелым
Что есть сил
Наш сосед меня за груши
Колотил.

Но зачем же на деревьях
Каждый год
Поспевает этот сочный,
Сладкий плод?
Я считал: его недаром
Создал бог,
И от груши отказаться
Я не мог.

Сам не помню, как сорвался
Я с плетня.
Печень с почками столкнулась
У меня.
А сосед меня сграбастал
И опять
Начал пыль своею тростью
Выбивать.

«Вот тебе,— сказал он,— груша.
Получай!
Вот тебе вторая, третья,
Шалопай!»

Столько груш я на деревьях
Не видал,
Сколько он своею тростью
Насчитал.

Это видел только с неба
Лунный луч.
Но луна накрылась шалью
Черных туч.
Видя все, что я в тот вечер
Перенес,
Пролила она немало
Крупных слез.

Он с ума сошел от злости,
Мой злодей.
С каждым разом бил он тростью
Все сильней.
Он смычком своим работал,
Как скрипач.
Только скрипка издавала
Громкий плач.

Отомщу же я соседу —
Скрипачу.
За побои я с лихвою
Заплачу.
Не топите вы осиной
Вашу печь —
Может искрами полено
Вас обжечь.

Я заметил, что частенько
Вечерком
Вы приходите под окна
К нам тайком.
У меня в глазу заноза
Вам видна,—
У себя же вам не видно
И бревна!

Запрещаете вы грушу
Мне сорвать,—

Сами ж ходите под окна
Воровать.
Мне вы грозно говорите:
«Не воруй!» —
А у тети вы крадете
Поцелуй.

Пусть за Библией зевает
Наша мать,
Буду в оба я за вами
Наблюдать.
И при первом поцелуе
В час почной
Вас водою окачу я
Ледяной!

Пуста-Палота,
апрель 1843 г.

МОЯ НЕВЕСТА

Ожидаю в нетерпенье:
Скоро ль, скоро ль, боже мой,
Сядет на мои колени
Та, кто мне дана судьбой?

Кто же это, кто такая
Нареченная моя,—
Вот о чем хочу узнать я,
Вот о чем гадаю я!

Белокура, чернокудра,
Невесома иль полна,
Черноглаза, синеока —
Как-то выглядит она?

Синие глаза? Прекрасно!
Черны очи? Соглашусь!
Ну, а если с обаяньем
Доброта войдет в союз...

Вот такую дай мне, боже!
И не важно — будь она
Бледнолица иль румяна,
Белокура иль черна!

Пожонь, май 1843 г.

ИЗДАЛЁКА

Скромный домик, домик у Дуная...
Я о нем мечтаю, вспоминаю,
Что ни ночь, мне домик этот снится,—
И в слезах, в слезах мои ресницы!

Там и жить бы до скончанья века,
Но мечты уносят человека,
Будто крылья сокола, высоко...
Домик мой и мать моя — далеко!

Матушку целуя на прощанье,
Я зажег в груди у ней страданье.
Не могла залить мучений пламя
Ледяными росами — слезами.

Если б сил у матушки хватило,
Так она меня б не отпустила,
Да и сам бы я решил остаться,
Если б мог в грядущем разобраться.

Манит жизнь в лучах звезды рассветной,
Будто сад волшебный, сад заветный.
И поймешь уже гораздо позже —
Жизнь на дебри дикие похожа!

Озарен я был надежды светом...
Да уж что там толковать об этом,—
Странствуя по жизненной дороге,
О шипы я окровавил ноги.

Вы, друзья, на родину спешите.
Матушку мою вы навестите!
Не пройдите мимо, повидайте,
От меня поклон ей передайте.

Ей скажите: пусть она не плачет,
Сыну, мол, сопутствует удача...
...Знала б, как мои страданья тяжки,
Сердце бы разбилось у бедняжки.

Пожонь, май 1843 г.

АДСКИЙ ПЛАМЕНЬ, ЧЕРТ РОГАТЫЙ!..

Адский пламень, черт рогатый!
Сердце яростью богато.
И мечусь, бушую люто,
Сам я Балатон как будто.

Вся-то жизнь моя — превратность!
Что ни час — то неприятность!
Если б мне девичьи очи,
Прослезил бы все платочки!

Но за слезы мне не платят!
Пусть кто хочет, тот и плачет.
Я ж загну словцо такое,
Что и гнев им успокою.

Пожонь, май 1843 г.

РАЗ НА КУХНЮ ЗАЛЕТЕЛ Я...

Раз на кухню залетел я,
Трубку прикурить хотел я,
Прикурить-то не случилось:
Трубка — черт! — уже курилась.

Да и в ней ли, скажем смело,
Разве в трубке было дело?
Дело было в той девчонке,
Что трудилась у заслонки.

Жар мешала, раздувала,
Вся румянцем расцветала,
А глаза-то — словно свечи,
Обжигали жарче печи.

Я вошел, она взглянула,
Душу мне перевернула.
В трубке жар погас недаром:
Сердце вспыхнуло пожаром.

Пешт, июль — август 1843 г.

МЕЧТА

Знаешь, милый друг Петефи,
Я нисколько не боюсь,
Что тебе отдавит плечи
Счастья непосильный груз!

Подарило тебе счастье
Эту лирочку одну,
Чтоб выманивал ты песни,
Щекоча ее струну.

Если б из страны волшебной
Голос феи прозвучал:
«Ну, сынок, чего ты хочешь?
Чем бы ты владеть желал?

Я сегодня буду щедрой...
Слышишь? Песни и мечты —
Все, что хочешь, станет явью,
Если пожелаешь ты.

Хочешь славы? Станут песни
Чащей лавровых ветвей,
Так что и венец Петрарки
Не затмит твоих кудрей!

Ведь Петрарка и Петефи
Сделались почти роднёй,
Уж они сумеют лавры
Поделить между собой!

А богатства пожелаешь —
Превратим любой твой стих
В жемчуга для украшенья
Шпор и пуговиц твоих!»

Ну? О чем она тоскует
И болит, душа твоя?
Друг! Откуда дует ветер —
Ты не скроешь! Вижу я!

Ты б сказал: «Прелестен жемчуг.
Слава тоже хороша,
Но, признаюсь откровенно,—
Не к тому лежит душа.

Если, фея, ты желаешь
Мне доподлинных удач —
Дай мне то, чем не владеют
Ни мудрец и ни богач.

Словно две звезды в созвездье,
С милой девушкою той
В бесконечность мчаться вместе —
Вот о чем горю мечтой!

Дайте прутик, на который
Я б поймал, как птицелов,
Эту птичку, это сердце,
Этой девушки любовь!»

Гёдёллё, конец августа 1843 г.

АХ, ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ...

Ах, любовь... любовь упряма,
Глубока, темна, как яма.
С той поры как я влюбился,
Я как в яму провалился...

Я с отцовым стадом вышел,—
Колокольчиков не слышал;
Полжнивья оно объело,—
Не мое как будто дело.

Мне еды в котомку много
Положила мать в дорогу;
Та котомка не найдется,—
Попоститься мне придется.

Мать с отцом — меня простите,
Не ругайте, не корите:
Сам не знаю, что со мною,—
То любовь всему виною.

Секейхид, ноябрь 1843 г.

НАДОЕВШЕЕ РАБСТВО

Все, что мог, я делал,
Втайне мысль храня,
Что она полюбит
Наконец меня.

Удержу не знал я,—
Так, спалив амбар,
Рвется вдаль по крышам
Городской пожар.

А теперь я слабым
Огоньком костра
Пред шатром пастушьим
Тлею до утра.

Был я водопадом,
Рушился со скал.
Мой обвал окрестность
Гулом оглашал.

А теперь я мирно
От цветка к цветку
И от кочки к кочке
Ручейком теку.

Был я горной высью,
Выступом скалы,
Где в соседстве молний
Жили лишь орлы.

Рощей стал теперь я,
Где в тени ветвей,
Исходя тоскою,
Свищет соловей.

Чем я только не был,
Чем не стал потом!
Девушке, однако,
Это нипочем.

Нет, довольно! Брошу,
Дорога цена.
Этих жертв не стоит,
Может быть, она.

О любовь, напрасно
Цепи мне куешь!
Пусть и золотые —
Это цепи все ж.

Я взлечу на крыльях,
Цепи сброшу ниц,
Так к себе свобода
Манит без границ!

Дебрецен,
декабрь 1843 г.

СКОЛЬЗКИЙ СНЕГ...

Скользкий снег хрустит, сани вдаль бегут,
А в санях к венцу милую везут.
А идет к венцу не добром она,
Волею чужой замуж отдана.

Если б я сейчас превратился в снег,
Я бы удержал этих санок бег,—
Я бы их в сугроб вывернул сейчас,
Обнял бы ее я в последний раз.

Обнял бы ее и к груди прижал,
Этот нежный рот вновь поцеловал,—
Чтоб любовь ее растопила снег,
Чтоб растаял я и пропал навек.

Дебрецен, декабрь 1843 г.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ

Я твой и телом и душой,
Страна родная,
Кого любить, как не тебя!
Люблю тебя я!

Моя душа — высокий храм!
Но даже душу
Тебе, отчизна, я отдам
И храм разрушу.

Пусть из руин моей груди
Летит моленье:
«Дай, боже, родине моей
Благословенье!»

Не буду громко повторять
Молитвы эти —
Что ты дороже мне всего
На белом свете.

Вслед за тобой я — тайный друг –
Иду не тенью:
Иду всегда — и в ясный день,
И в черный день я!

Он меркнет, день; все гуще тень
И мгла ночная.
И по тебе растет печаль,
Страна родная.

Иду к приверженцам твоим...
Там, за бокалом,
Мы молимся, чтоб вновь заря
Твоя сверкала.

Я пью вино. Горчит оно,
Но пью до дна я,—
Мои в нем слезы о тебе,
Страна родная!

Дебрецен,
январь — февраль 1844 г.

ПЕСНЯ

Не спит дитя, кричит, кричит дитя
В ночную тьму,
И нянька, чтоб ребенок задремал,
Поет ему.

Кричит во мне, по-детски плачет боль,
Меня гнетет.
Я песни ей слагаю и пою,—
Пускай уснет.

Дебрецен,
январь — февраль 1844 г.

ДВОРЯНИН

Его привязывают к лавке,
Спина до плеч заголена.
Он вор, грабитель — слов достойных
Не сыщешь, что за сатана!

А он артачится, и — в голос:
«Плетями? За какой провин?
Не прикасаться к благородным!
Я дворянин! Я дворянин!»

Слыхали, как он льет помои
На вас, отцы его отца?
Да ведь за это высечь мало!
На виселицу молодца!

Дебрецен,
январь — февраль 1844 г.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, СТРАДАЮЩЕГО ОТ ЖАЖДЫ

В голове раскаты грома!
Все в кабак я снес из дома.
Ну и пусть —
И без этого напьюсь!

Рот мой сух, как дно колодца,
Где вода не остается.
Он — в огне,
И спасенье лишь в вине.

Вот бы хлынул вдруг из тучи
Винный дождь! Чего бы лучше!
До чего ж
Винный дождичек хорош!

Виноградником владел я —
Надоело это дело:
Весь доход
Вылил в глотку через рот.

А меня корчмарша знает
И давно не уважает —
Все стыдит:
Мол, закрыт тебе кредит!

Полно! Вот что вам скажу я:
Я не беден. Заложу я
Наконец
Женушки моей чепец!

Но ведь женушка в могиле!
Вместе с ней похоронили
Чепчик тот!
Он давно в гробу гниет!

О, зачем же, дорогая,
О тебе я вспоминаю?
Вспомню я —
Слезы льются в три ручья!

Боже праведный! Нельзя ли
Сделать так, чтоб слезы стали
Вдруг вином?
Я б утешился на том!

Дебрецен, январь — февраль 1844 г.

КОТОРЫЙ СТАКАН?

Да неужто это... пятый
Был стакан?
Ты сегодня рановато,
Братец, пьян.
Вдвое больше ты стаканов выпивал,
А не помнится, чтоб пьяным ты бывал.

И язык во рту с похмелья
Уж не тот.
Фермопильское ущелье,
А не рот!
Что-то стал я выражаться мудрено.
Виновато в этом, братцы, не вино.

Выпить бочку я сумею
Всю до дна —
И, ей-богу, не пьянею
От вина.
Я служил в полку когда-то, да, в полку,
И носил палаш солдата на боку.

Тесноват мундир казенный,
Но блестящ —
Отвороты, кант зеленый,
Сверху плащ.
Был солдатом я завзятым, боевым,
Вот те крест, я был солдатом рядовым.

В первый год мне ранец новый
Был тяжел.
Но до чина рядового
Я дошел.
И по той простой причине снял мундир,
Чтоб меня не снизил в чине командир.

Где нельзя найти виновных,
Там солдат
По уставу безусловно
Виноват.
И поплатится тем паче рядовой,
Если он рожден с горячей головой.

Ваш совет прощать обиду —
Не приму.
Мне псалмы царя Давида
Ни к чему.
Брать меня за кончик носа я не дам,
Знает каждый, что он косит,— знает сам...

Впрочем, много я болтаю
Во хмелю.
Словно мельница пустая,
Я мелю.
Но без влаги не вертятся жернова...
Дайте мне стаканчик, братцы, или два,—

Чтоб лилось струей веселой
В рот вино
И тоску перемололо,
Как зерно.
Целый час болтал я с вами... А про что?
Про колеса с жерновами? Нет, не то...

Перепутала дремота
Все слова,
И кружится отчего-то
Голова.
Надо встать, а встать нет мочи. Время спать.
Ну, друзья, спокойной ночи... Марш в кровать!

Дебрецен, январь — февраль 1844 г.

НУ, НЕ ЗНАЮ, ЧТО МНЕ НЫНЧЕ ДЕЛАТЬ?

Ну, не знаю, что мне нынче делать?
Что за жажда мною овладела!
Выпил бы вино во всей стране я
И еще возжаждал бы сильнее.

Чудо сотвори, господь, такое:
Сделай Тису винною рекою,—
Я в Дунай тогда бы превратился,
Чтоб влилась в меня вся эта Тиса!

Токай, февраль 1844 г.

НЕУДАВШИЙСЯ ЗАМЫСЕЛ

Всю дорогу к дому думал:
«Что скажу я маме?
Ведь ее, мою родную,
Не видал годами.

И какое слово дружбы
Вымолвлю сначала —
Ей, которая мне люльку
По ночам качала?»

Сколько выдумок отличных
В голове сменялось!
И казалось — время медлит,
Хоть телега мчалась.

Я вошел. Навстречу мама!
Не сказав ни слова,
Я повис, как плод на ветке
Дерева родного.

Дуна-Вече, апрель 1844 г.

ПОБЫВКА У СВОИХ

С отцом мы выпивали,
В ударе был отец.
Храни его и дале,
Как до сих пор, творец!

За много лет скитаний
Я не видал родни.
Отца, сверх ожиданий,
Скрутили эти дни.

Поговорили вволю,
Пред тем как спать залечь,
И об актерской доле
Зашла при этом речь.

Бельмо в глазу отцовом
Такое ремесло,—
Мне с ним под отчим кровом
Опять не повезло.

«Житье ль в бродячей труппе
На должности шута?»
Я слушал, лоб насупя,
Не открывая рта.

«Смотри, как щеки впали.
И будет хуже впредь.
Твои сальто-мортале
Не прочь я посмотреть».

С улыбкою любезной
Внимая знатоку,
Я знал, что бесполезно
Перечить старику.

Потом, чтоб кончить споры,
Стихи я произнес.
Твердя мне: «Вот умора!» —
Он хохотал до слез.

Старик не в восхищенье,
Что сын поэт. Добряк
Невыгодного мненья
О племени писак.

Я на него не злился.
Не надо забывать:
Он в жизни лишь учился
Скотину свежевать.

Когда вино во фляге
Понизилось до дна,
Я бросился к бумаге,
А он в объятья сна.

Тогда вопросов кучу
Мне предложила мать.
Я понял, что не случай
Мне в эту ночь писать.

Носил печать заботы
Предмет ее бесед.
Я ей с большой охотой
На все давал ответ.

И, сидя перед нею,
Я видел — нет нежней
И любящих сильнее
На свете матерей.

Дуна-Вече, апрель 1844 г.

СТРАШНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ

Душа рыдает... Почему?
Внимает горю моему!

Ведь вам же не понять,— о нет! –
Что должен испытать поэт,
Коль говорят: «Он — виршеплет,
К нему признанье не придет!»
Мне это выслушать пришлось —
И сердце не разорвалось.

И вот что главное: за вас
Расплачиваюсь я сейчас,
О вы, застольные мои,
Вы, песни вольные мои!
А я-то думал... верил я,
Что всем любезна песнь моя
И рукоплещут мне уже
Михай Витез и Беранже,
А с ними и Анакреон
С галерки славы... Даже он
В восторге вскакивает там
И, песни, рукоплещет вам.
И с фееричной высоты
Вы сверзились, мои мечты.

Аминь! Попал я в западню!
На грудь я голову склоню
И, коль судьбой так решено,—
Не буду воспевать вино,
Не буду я его хвалить,
А буду прямо в глотку лить!

Пешт, апрель 1844 г.

ТО НЕ В МОРЕ—В НЕБЕ МЕСЯЦ ПЛЫЛ...

То не в море — в небе месяц плыл блестящий,
То разбойник плакал, схоронившись в чаще.
То на темных травах не роса густая,—
То большие слезы падали, сияя.

Он твердил, склонившись к топору стальному.
«Для чего я делу предался дурному?
Мать моя родная мне добра желала,—
Что ж ее советам сердце не внимало?

Я ее покинул и попал к бродягам
И шатался с ними по глухим оврагам.
И с тех пор поныне я живу позорно —
Путников безвинных граблю ночью черной.

И под кров родимый я бы возвратился,
Да нельзя вернуться: дом наш развалился,
Мать давно в могиле; и стоит высоко
Виселица в небе, видная далеко».

Пешт, апрель 1844 г.

ЗАРИЛАСЬ ШИНКАРКА НА БЕТЯРА...

Зарилась шинкарка на бетяра,
Да была она ему не пара,—
Доченьку приемную шинкарки,
Вот кого бы взял бетяр в бетярки!

Тут шинкарку ревность одолела:
Девочку она не пожалела,
Выгнала раздетой и разутой,
А зима была жестокой, лютой!

Много ль сил у бедной сиротинки?
Побрела, замерзла на тропинке.
А бетяр узнал все после срока.
...И казнил шинкарку он жестоко.

Был и он повешен палачами,
Помирал он вовсе без печали,—
Жизнь ему без девушки-красотки
Табаку не стоила щепотки!

Пешт, апрель 1844 г.

ПОСЛЕ ОБЕДА

Ох, и набил я брюхо!
Дай потянусь, а там
Блаженному безделью
Часок-другой отдам.

Диван мой разлюбезный,
Удобный ты какой!
Нет, кто тебя придумал,
Тот был силен башкой.

Щенок, давай мне трубку!
Живей! Стоит как пень!
Нет худшего порока,
Чем пресвятая лень!

Иль мне вставать за нею!
Поближе, обормот!
С меня того довольно,
Что я раскрою рот!

Вот накостная муха!
Ну как тут отдыхать!
Гони ее!.. Собака!
Сидит на лбу опять!

Нет, жизнь людей, ей-богу,
Полна ненужных мук,
Еще считай за чудо,
Когда не лопнешь вдруг!

Откинь-ка занавеску!
Из этого окна
Видна мне будет стройка,—
Как движется она?

О, движется отлично,
Работает народ!
Спусти-ка занавеску,
В глаза мне солнце бьет!

Вот свинский зной! А все же
Есть выгода в жаре:
Не может простудиться
Рабочий во дворе.

Дуна-Вече, апрель — май 1844 г.

О белокурый мой ребенок,
Влюблен безмерно я.
Ты поняла? В тебя влюблен я,
О девочка моя!

Вторую половину дела
Должна ты тоже знать:
Хочу я, чтобы ты решилась
Моей женою стать.

Решись! Какой красивый чепчик
Тебе я подарю!
Я буду самым верным мужем —
Я правду говорю!

Оберегать тебя я стану,
Как драгоценный дар,
Чтобы тебе не повредили
Ни холода, ни жар.

Мы будем жить в веселом Пеште,
Но ездить и к отцу,
Особенно когда финансы
У нас придут к концу.

Где мы появимся — там шепот
Пойдет со всех сторон:
«Жена Петефи! В честь вот этой
Стихи сработал он!»

Да, черт бы вас побрал, вы правы!
Близки уж времена —
И будет именем Петефи
Вся Венгрия полна!

Под вечер за работу сяду,
Начну стихи писать,
Ты ляжешь и заране будешь
Постель мне согревать.

Тут напишу я стих бессмертный;
Его закончу я,
К тебе прильну, скажу: «Подвинься,
О девочка моя!»

Пожалуй — всё. Ведь вот об этом
И все мои мечты.
О белокурый мой ребенок,
Что мне ответишь ты?

Дуна-Вече, апрель — май 1844 г.

МОИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ

В кармане деньги есть! Вперед, друзья!
Деньгам на глотку надо наступать!
Грядущий день? Его страшусь не я:
Пошлет господь чего-нибудь опять.
Ведь деньги не затем, чтоб их копить,
А для того они, чтоб есть и пить!

Накрытый стол милей, друзья, для нас,
Чем сам Эдем, где Ева и Адам.
Любую скорбь рассеет он тотчас,
Жизнь расцветет, увянуть ей не дам.
Ведь деньги не затем, чтоб их копить,
А для того они, чтоб есть и пить.

Клянусь гуманностью, что скупость есть недуг
Презренных душ! Лишь нищая душа
Способна прятать золото в сундук,
Пыхтя, потея и едва дыша.
Ведь деньги не затем, чтоб их копить,
А для того они, чтоб есть и пить.

Пусть витязи расчета говорят,
Что кто не скупердяйничает, тот
Останется под старость небогат
И слезы сожаления прольет,
Но все ж не буду денег я копить,
А буду лучше есть на них и пить!

Допустим, что останусь ни при чем,—
Утешусь тем, что ел когда-то всласть!
Но коль сейчас умру я богачом,
Стыд — с тощим брюхом в мир иной попасть!
Итак, нет смысла деньги мне копить,
А надо тратить, чтоб и есть и пить.

За дело! Надоел мне разговор!
Священной сытостью клянусь я вам,
Что тешиться до тех мы будем пор,
Покуда не очистится карман.
Что — деньги! Их не следует копить,
А для того они, чтоб есть и пить!

Дуна-Вече, апрель — май 1844 г.

НЕЧТО ВРОДЕ ЛЕБЕДИНОЙ ПЕСНИ

Да, скверно мне! Едва брожу,
И что ни день — дышать трудней.
Растет недуг, меня губя,
И кажется, что из тебя
Я выскользну, о мир теней!

Мечтал о смерти я не раз,
Но вот, когда уж близок срок,
Когда уж близок смертный мрак,
О нем раздумываю так,
Как в сказке некий старичок.

Вздор! Хоть ты прекрасна, смерть,
Но кто ж с тобою жизнь сравнит!
Там у тебя — один покой,
Здесь — спорят радости с тоской
И кровь так весело кипит.

Забыв про радость и беду,
Уйду я вскоре в мир иной.
Сейчас — цветок в петлице здесь,
Весной — быть может, будет цвесть
На холмике он надо мной!

Великолепные друзья,
Цепь дружбы связывает нас!
Сейчас вы делите со мной
Излишества гульбы ночной,
Но близок тризны скорбный час.

Ребята! Траур — ни к чему!
Не опускайте головы!
Ведь это не по вкусу вам.
Всегда вот так, как я и сам,
Весельчаками были вы!

Коль забредете на погост
Оплакивать мой хладный прах,
Оставьте вздохи вы свои
И пойте песенки мои,
Чтоб вспомнить о минувших днях!

Дупа-Вече, апрель — май 1844 г.

ВДОЛЬ ПО УЛИЦЕ ХОЖУ Я...

Вдоль по улице хожу я,
Флягу добрую держу я,
И под скрипку вечер целый
Я пляшу как угорелый.

Эй, цыган, играй такое,
Чтобы выплакал я горе!
Но вон там, под тем окошком,
Заиграй совсем другое.

За окошком тем, бывало,
Мне звезда моя сияла.
А теперь — зашла, затмилась,
Знать, с другим она слюбилась.

Вот окно. Цыган, за дело!
Так играй, чтоб все гудело!
Пусть неверная не знает,
Как душа моя страдает.

Дупа-Вече, апрель — май 1844 г.

К МОЕМУ СТАКАНУ

А впрочем, я ценю тебя, стакан...
Но мне порой — скажу тебе я искренне! —
Бывает стыдно за тебя, стакан,
Что осушать даешь себя так быстро мне.

И если стал бы я тобой, стакан,
Во мне вино вовек не иссякало бы;
А если б мной ты сделался, стакан,
Ты пил бы, пил — и все казалось мало бы!

Дуна-Вече, апрель — май 1814 г.

ГЛОТКА У МЕНЯ, КАК БУДТО МЕЛЬНИЦА...

Глотка у меня, как будто мельница:
Колесо тогда лишь зашевéлится,
Если мельник — сердце сиротливое —
Пустит в ковш струю вина бурливую.

А супруги ротик — настоящее
Веретенце, бешено жужжащее.
Эх, прядет жена моя, старается,—
Перебранка добрая сплетается!

Так гуди же ты сильнее, мельница,
Поливаю, блещет влага, пенится,
Заглушают эти струи пенные
Речь твою, супруга драгоценная!

Дуна-Вече, апрель — май 1844 г.

ПРОЩАНЬЕ С АКТЕРСКОЙ ЖИЗНЬЮ

Читай и помни, кто моею
Интересуется судьбой!
Ее безоблачные дали
Скрыл от меня туман густой.

Корпеть в редакторской отныне
Засядет вольной сцены жрец.
Конец романтике скитаний,
Всем приключениям конец!

«Ты превосходна, жизнь актера!» —
Так скажут все, кто жил тобой,
Хоть подло на тебя клевещет
Злословье, людоед слепой.
И не без горьких колебаний
Я снял актерский мой венец.
Конец романтике скитаний,
Всем приключениям конец!

Хотя у роз актерской жизни
Остры и велики шипы,
Зато и роз таких не сыщешь,
Держась проторенной тропы.
Два года прожиты недаром,—
Свидетель этому творец!
Конец романтике скитаний,
Всем приключениям конец!

А что прекрасней приключений?
Без них печален путь земной.
Однообразная пустыня
Теперь лежит передо мной.
Засядет в тесную каморку
Всю жизнь бродивший сорванец.
Конец романтике скитаний,
Всем приключениям конец!

Но день придет, судьба смягчится
И скажет: «Так и быть, ступай,
Ступай туда, откуда выгнан,—
В бродяжий твой актерский рай!»
А до тех пор я — червь архивный,
Вранья чужого смирный чтец...
Конец романтике скитаний,
Всем приключениям конец!

Пешт, июнь 1844 г.

БРОДЯГА

На свет мы все приходим,
Чтоб делать то одно,
Что было высшей властью
Нам, бедным, суждено.
Мой путь той высшей властью
Был тоже предрешен.
Бродягой я родился,
Бродяжить — мой закон.

Вот в Дебрецен свернул я,
Как Ишток-дурачок,
Девицу обнял, выпил —
И в путь... а путь далек!
Ни дня на том же месте:
Зашел — и тотчас вон!
Бродягой я родился,
Бродяжить — мой закон.

Но, правда, рок жестокий
Глумится надо мной.
Привязан к месту службы,
Я чахну, как больной.
Но скоро я, надеюсь,
Дождусь иных времен.
Бродягой я родился,
Бродяжить — мой закон.

Пешт, июнь 1844 г.

В СТЕПИ РОДИЛСЯ Я...

В степи родился я, в степи живу,
Большого дома я не наживу,
Но есть загон, скакун есть вороной,
Ведь я табунщик алфельдский степной.

Я без седла на жеребце скачу,
Туда-сюда, куда ни захочу,
Зачем седлу трепаться подо мной,—
Ведь я табунщик алфельдский степной.

Рубашку белую, холщовые порты
Ты, роза алая, мне подарила, ты!
Эх, роза, будешь ты моей женой —
Табунщицею алфельдской степной!

Кун-Сентмиклош, июль 1844 г.

НА ОСЛЕ СИДИТ ПАСТУХ...

На осле сидит пастух,
Оземь бьют подошвы,—
Хоть большой он, но беда
Пастуха побольше.

На дуде играл в лугах,
В травах стадо плыло,—
Вдруг о милой слышит весть:
Смерть пришла за милой.

На осла вскочил пастух,
К дому мчит, как ветер;
Но приехал поздно он,—
Милой нет на свете.

Что тут сделаешь, раз нет
Горя тяжелее,—
Палкой с горя он хватил
По ослиной шее.

Кун-Сентмиклош, июль 1844 г.

АЛФЕЛЬД

Что мне в романтизме ваших дебрей,
Соснами поросшие Карпаты!
Я дивлюсь вам, но любить не в силах,
Редкий гость ваш, но не завсегдатай.

Алфельд низменный — другое дело:
Тут я дома, тут мое раздолье.
Загляжусь в степную беспредельность,
Вырываюсь, как орел, на волю.

Мысленно парю под облаками
Над смеющимся, цветущим краем.
Колосятся нивы, версты пастбищ
Тянутся меж Тисой и Дунаем.

Звякая подвесками на шее,
Средь степных миражей скот пасется.
Днем с мычаньем обступает стадо
Водопойный желоб у колодца.

Табуны галопом мчатся. Ветер
Вбок относит топот лошадиный.
Гикают табунщики, пугая
Хлопаньем арапников равнину.

За двором качает ветер ниву,
Как ребенка на руках, и всюду,
Где ни встретишь одинокий хутор,
Тонет он средь моря изумруда.

Утки залетают вечерами
Из окрестностей, кишащих птицей.
Сядут в заводь и взлетают в страхе,
Лишь тростник вдали зашевелится.

В стороне корчма с кривой трубою,
Вся облупленная по фасаду.
Здесь, спеша на ярмарку в местечко,
Смачивают горло конокрады.

Ястреб в чаще ивняка гнездится
Близ корчмы, где дыни на баштане.
Тут от сорванцов-ребят подальше
И для выводка его сохранней.

В ивняке потемки и прохлада,
Разрослась трава, цветет татарник.
Изомлев до одури на солнце,
Ящерицы прячутся в кустарник.

А где небо сходится с землею,
Несколько туманных, стертых линий.
То верхи церковных колоколен
И садов фруктовых в дымке синей.

Алфельд! Ты красив, здесь я родился,
Здесь меня качали в колыбели.
Стань мне в будущем моей могилой
У последней и конечной цели!

Пешт, июль 1844 г.

В МОЕЙ КОМНАТЕ

Дождь весь день, и небо серое,
Как солдатское сукно.
Видимо, сегодня вечером
Мне гулять не суждено.

Почему меня подругою
Бог не хочет наградить?
Вот бы с нею было весело
Забавляться и шутить!

Трубку я курю и слушаю
Говор капель дождевых,
И витаю где-то мысленно
В днях минувших, днях былых.

Были радости и горести,
И — чего скрывать уж мне! —
Я испытывал страдания
Лишь по собственной вине.

Ох, уж это легкомыслие!
Доводило до беды.
И набили мне оскомину
Терпкие его плоды!

Это — только легкомыслие,
Только лишь оно одно!
И исчезнет, как мне кажется,
Вместе с юностью оно.

Жизнь моя полна превратностей,
Друг один не изменил —
Он меж всяких неприятностей
Постоянно верен был.

И когда я здесь по родине
Зверем загнанным блуждал,
Голодал со мною вместе он
И в одной канаве спал.

На чужбине другу этому
Было жить со мной не лень —
Сухари глодать солдатские
За четыре гроша в день.

Хлеб актерский, густо перченный
Жульническою рукой
И от слез соленый дьявольски,
Ел со мной приятель мой.

Этот верный друг — Поэзия!
Я ведь песню пел свою
Между всяческими бедами
И на сцене и в строю.

Вы, стихи, жить вечно будете
Иль умрете вы со мной?
Ночью над моей могилою
Загоритесь ли луной?

Кончен дождь! Над полем ракошским
В небе радуга взошла.
Погуляю, коль не выскочит
Кредитор из-за угла.

Пешт, июль — август 1844 г.

ВЕЧЕР

Потух закат.
Поля молчат.
Лишь лунный луч
Скользит меж туч.
Так на гранит

Могильных плит
Бросают взгляд
Из-за оград.
Мир этих чар —
Особый дар,
И он не дан
Для горожан.
Но вот селом
Идут вдвоем
Она и он
Под песни звон.
Вслед этим двум,
Заслышав шум,
И соловей
Поет смелей.
А у гумна
Свирель слышна.
Там сад, забор,
Дымит костер,
И у огня,
В конце плетня,
На свой кожух
Прилег пастух.
Пока навзрыд
Свирель звенит —
Сопит, жует,
Пасется скот.
Вдруг из-за лип
Калитки скрип!
Пастух, привстав,
Туда стремглав.
Объятья, зов
Невнятных слов.
И вот они
В тиши, в тени,
Наедине,
На зависть мне.
Целуйтесь всласть!
Мне не попасть,
Мне к вам нельзя,—
Трудна стезя!

Пешт, июль — август 1844 г.

ПОДРАЖАТЕЛЯМ

Вам кажется: поэзия — тележка.
Дорога есть, лошадка есть — садись!
Но стих — орел! Свободно он взлетает
Туда, где нет путей,— на волю, ввысь!

А вы, бессильные, пустые трусы,
Вы ждете, чтобы путь открыли вам.
Пройдет поэт — и, словно псы за костью,
Бросаетесь вы по чужим следам.

Хватай перо! Пиши, когда ты в силах,
Иди туда, где не бывал другой!
А нет — берись за плуг иль за колодку
И стих свой жалкий растопчи ногой.

Пешт, июль — август 1844 г.

ЗИМА В ДЕБРЕЦЕНЕ

Эх, Дебрецен,
Среди твоих я стен
Большие претерпел лишения,
Но тем не менее
И вместе с тем
В воспоминаниях ты мил мне, Дебрецен!

Я не бурсак,
Но все ж постился, да еще и как!
Ведь неспроста придумано богами
Нас костяными одарять зубами,
А если б зубы были из металла,
То их давно бы ржавчина сглодала.

В ту зиму холод был весьма суров,
А я не мог купить не только дров,
Но и соломы.
Проснувшись в холоде нетопленного дома,
Я надевал потрепанное платье,
И мог сказать я,

Как тот цыган, что в сеть закутался от стужи:
«Ух, как там холодно, снаружи!»

И что ж! Хоть пробирала дрожь,
Но стихотворствовал я все ж!
Чуть двигалась рука моя.
А я?
Курил я трубку в час такой
И тепленький чубук рукой
Сжимал,
Пока мороз не отступал.

И в нищете я утешался мыслью той,
Что был знаком и с большей нищетой.

Пешт, июль — август 1844 г.

МНОГО С ВЕТОЧКИ МЫ ВИШЕН РВЕМ...

Много с веточки мы вишен
Рвем,
Но одну жену привел я
В дом.
Ах, и этого довольно,
Чтоб
Бедняка загнать однажды
В гроб!

Очень грозной ее создал
Бог.
Перед нею весь дрожу я:
Ох!
Все отдам, лишь только скажет:
«Дай!»
Но за все одна награда —
Лай!

Говорю себе я часто:
«Бей!»
Ведь старуха. Силы мало
В ней!

Но сверкнет ее ужасный
Глаз.
И исчезнет моя храбрость
Враз!

Помирала. Собиралась
В ад!
Боже мой, как был тому я
Рад!
Черт не взял ведь. Испугался
Он,—
Жен таких и черти гонят
Вон!

Пешт, август 1844 г.

МОИМ РОДИТЕЛЯМ

Эх, родители мои,
Если б мне богатство!
Уж тогда бы не пришлось
Вам с нуждой тягаться.

Я исполнил бы тогда
Все желанья ваши,
Вы бы век свой жили так,
Что не надо краше.

Я б такой нашел вам дом,
Чтобы все светилось,
Чтобы в погребе вино
Не переводилось;

Чтоб к отцу пришли друзья
И за стол бы сели,
Чтоб купались их сердца
В озере веселья.

Я бы матери купил
Не карету — диво,
Чтобы в церковь по утрам
Не пешком ходила.

И молитвенник ее
Был бы, вне сомненья,
С ликом господа Христа,
С золотым тисненьем.

Я коней бы дорогих
Накупил с излишком,—
Пусть по ярмаркам на них
Ездит мой братишка!

Библио́теку б завел —
Всем на удивленье.
И не стал бы денег брать
За стихотворенья.

Я бы все их отдавал
Даром для печати,
И они редакторам
Были б очень кстати.

А коль девушка б нашлась,
Да притом мадьярка,—
Ух, как стали б танцевать
Мы на свадьбе жарко!

Вот как жизнь у нас пошла б
Без нужды проклятой...
Эх, родители мои,
Стать бы мне богатым!

Пешт, август 1844 г.

МОИ НОЧИ

Ну, допустим, если звездны небеса,
И луна тебе, и прочая краса —
Локтем я на подоконник обопрусь,
А другой рукой за трубочку возьмусь
И дымлю вот так до самого утра,—
Для мечтаний это чудная пора!
Ну, а если небо в тучах, нет луны,
Что мне делать средь беззвездной тишины?

Ведь не с курами мне все же засыпать!
От порядка не хочу я отступать.
Но тоска меня за шиворот берет,
Время зайцем хромоногим чуть ползет.
И чубук мой прямо валится из рук,
И тогда, среди отчаяннейших мук,
Обращаюсь я к чернилам и перу,
То есть лиру для бряцания беру.
И такая серафическая тут
Песнь рождается, что может добрый люд
Помереть от ужаса... Но мне
Все равно! И в полуночной тишине
Я творю, покуда сон с тоской
Не вступают в потасовку меж собой.
Что за битва! Сколько пламенности в ней!
Все же сон одолевает: он — сильней.
...По-иному будут ночи проходить,
Коль жену себе сумею раздобыть.

Пешт, сентябрь 1844 г.

ЛУКАВЫЙ ПЬЯНИЦА

Хотя и пью, хоть и люблю вино,
Подчас не лезет в глотку мне оно,
Но старый плут кого не проведет?
Для пьянства тоже должен быть подход.

«Дай,— думаю,— себе представлю я,
Что этот ковшик — сердце короля.
Пустить бы кровь злодею!» И смешно:
Мой ковш — без дна, но выпил я вино!

Пешт, сентябрь 1844 г.

АХ, ЕСЛИ Б НЕ НОСИЛ Я ШАПКУ...

Ах, если б не носил я шапку,
Скорей похожую на тряпку,—
Я был бы парень хоть куда,
Я б кавалером был тогда!

И если б третий год на свете
Не щеголял в одном жилете,—
Я был бы парень хоть куда,
Я б кавалером был тогда!

И если б два пальто при этом –
Одно зимой, другое летом,—
Я был бы парень хоть куда,
Я б кавалером был тогда!

И если б у штанов проклятых
Не бахрома, не зад в заплатах,—
Я был бы парень хоть куда,
Я б кавалером был тогда!

И если б мне ботинки тоже
Из новой и хорошей кожи,—
Я был бы парень хоть куда,
Я б кавалером был тогда!

И если б эти если, если
Подохли все и не воскресли,—
Я стал бы парнем хоть куда,
Я б кавалером стал тогда!

Пешт, сентябрь 1844 г.

ЕСЛИ ДЕВУШКИ НЕ ЛЮБЯТ...

Если девушки не любят,
Выпей, брат,—
И приснится, что пленяешь
Всех подряд.

Если денег нет в кармане,
Выпей, брат,—
И приснится, будто царски
Ты богат.

Если горе навалилось,
Выпей, брат,—
И, как дым, твои печали
Улетят.

Я всего лишен, зато я
Горем сыт,—
Горе горькое мне втрое
Пить велит.

Пешт, сентябрь 1844 г.

ПОСЛЕ ПОПОЙКИ

Готов вступить я с вами в спор.
Пусть не видать мне кружки,
Коль мне случилось до сих пор
Быть на такой пирушке!

Такая выпивка равна
Мохачской битве ярой,
Но турком был кувшин вина,
А те, кто пил,— мадьяры.

Был каждый гневом обуян
И дрался беспощадно,
Пока не выпал из стремян
Тиран — рассудок хладный.

Мы одолели вражью рать
К исходу этой почки.
Пиявку легче оторвать,
Чем нас от винной бочки!

Как наши долгие глотки,
Пусть длятся наши годы,—
Чтоб мы увидели деньки
Победы и свободы!

Пешт, сентябрь 1844 г.

ПИСЬМО ПРИЯТЕЛЮ-АКТЕРУ

А помнишь юношу, который, как и ты,
Держал в руке бродяжнический посох.
На посох нищего похожа эта палка,
Когда судьба изволит морщить нос!
Нос морщила судьба довольно часто...

Ведь точно так же, как и к патриотам,
Хорошим отношением к актерам
Похвастаться не может край родной.
Как видишь — не забыл я об актерах
И никогда не позабуду в жизни.
Все то, что пережил я вместе с вами,—
Хорошее, плохое,— помню все!
Вот снова он встает передо мною,
Тот час послеобеденного зноя,
Когда меня в актеры посвятили...
А перед этим я шатался зря
По всем углам земли моей венгерской.
И не могу сказать, что было много
Поклажи в сумке за моей спиною,—
Не ноша тяготила, а нужда!
И только легкомыслие умело,
Как друг вернейший, как веселый спутник,
Брать на себя всю тяжесть этой ноши.
И вот пришел я в пекий городок,
Был поздний час. Ногам моим усталым
Хотелось отдохнуть на постоялом
Дворе... А в уголке его гостиной
Я нечто вроде рампы разглядел.
Вот еще роскошь! Я сидел в раздумье:
Обед заказывать, иль сломится на этом
Житейское мое благополучье,
Как никудышный перочинный нож?
И в это время некто благородный
Дверь распахнул, а я уже настолько
Был в людях опытен, что сразу сделал вывод,—
Актер явился, и не кто иной!
На голове его сидела шляпа
Великого достоинства. Наверно,
Была родпёй пророка Елисея —
Плешивая такая же, как он!
Пальто артиста было новым. Брюки
Напоминали половую тряпку,
Взамен сапог он был обут в ботфорты,
В которых и на сцене выступал.
«Жрец Талии?» — спросил я. «Точно, сударь!
Вы тоже?» — «Нет еще!» — «Но ваша милость
Им хочет быть?» — «Да я не знаю, право»,—
Ответил я. Но он уже исчез

И в тот же миг с директором вернулся.
В плащ белоснежный был одет директор,
И крикнул мне он, кланяясь любезно:
«Прекрасно, дорогой компатриот!
Сам бог вас шлет! И мы вам очень рады.
Вы, верно, обожаете искусство.
Божественно оно на самом деле.
Героем сцены быть вам суждено,
Вы прогремите! Это безусловно!
А вы обедали? Но кормят здесь прескверно
И дорого. А нам оленью ногу
Послал из замка нынче мажордом.
Капусты тоже, кажется, осталось.
Угодно вам? Покушаете вволю!»
Так штурмовал меня добряк директор,
Вращая красноречья колесо.
И я, принявши это приглашенье,
Торжественно зачислен был в актеры.
Тут вовсе не допытывались: кто я —
Студент, сапожник... Ровно через день
Я вдохновенно выступал в «Пелешском
Нотариусе». Действовал геройски
Там в трех ролях, поскольку в нашей труппе
Лишь шесть артистов было налицо.
...Мы по селеньям ездили... Бывали
Удачи, и бывали неудачи.
Всего бывало... Только нашей дружбе
В конце концов, увы, пришел конец.
Нахальство все ж мне было не по вкусу,
Не полюбился мне огонь бенгальский,
И множество «Последний раз в сезоне»,
И всякая иная трескотня.
В конце концов распалась наша труппа
Ввиду усобиц внутренних и внешних.
Скитался я, вступил в другую труппу.
И все это я снова испытал.
И с грустью понял я, что нас, артистов,
Влечет на сцену не любовь святая
К искусству, но потребность заработать,
И больше не мечтаем ни о чем!
«О публика, прошу твоей поддержки,—
Кричит артист,— я буду развиваться!»
А публика, конечно, отвечает:

«Что ж, развивайтесь! Мы поддержим вас!»
На деле — ни того и ни другого!
И не поверю я в расцвет театра,
Покуда подлецы и негодяи
И все отребья мира будут в нем
Иметь пристанище! О друг мой, мы с тобою
Все это поняли! Дай бог, чтоб поскорее
Актерское искусство наше стало
Таким, каким оно и быть должно!

Пешт, сентябрь 1844 г.

ФЛАКОН С ЧЕРНИЛАМИ

Сам Медери (кто не слыхал о нем!)
Когда-то желторотым был юнцом,
В бродячей труппе он играл
И брал
Кропать
Афишки форинтов за пять,
Как я сказал уже — за пять!

Мзду получив, бежит он как-то раз
Купить чернил, чтоб новый взять заказ,
А он всегда флакон чернил
Хранил
В своем
Пальто, в кармане боковом,
Как я сказал уж — в боковом!

Чернила есть! Ликует наш богач!
Домой из лавки он пустился вскачь.
Сказал Сентпетери: «Смотри,
Кари,
Мне жаль,
Коль радость сменишь на печаль,
Как я сказал уж — на печаль!»

Увы! Прыжки к добру не приведут!
Флакончик пуст, а пятна тут как тут!
И загрустил, задумался бедняк:

Итак —
Пальто
Теперь негодно ни на что,
Как я сказал уж — ни на что!

А главное — что желтое оно!
Тем резче выделяется пятно.
Хоть брось! Но где ж другой наряд возьмешь?
И что ж?
Не бросил пальтеца,
Носил до самого конца,—
Как я сказал уж — до конца!

Пешт, сентябрь 1844 г.

К СОЛНЦУ

Сударь, стойте, удостойте
Хоть лучом внимания!
Почему вы так скупитесь
На свое сиянье?

Каждый божий день плететесь
Надо мной по небу вы,
Почему ж в моей каморке
Вы ни разу не были?

В ней темно, как будто... Тьфу ты —
Чуть не ляпнул лишнего!
Заглянули б на минуту
И обратно вышли бы!

Я поэт и существую
На стихотворения.
И поэтому живу я
В жутком помещении!

Знаете! Когда-то сами
Вы на лире тренькали,
В дни, пока был Зевс не сброшен
С неба в зад коленкою!

Умоляю вас, коллега,
Быть ко мне гуманнее
И отныне не скупиться
На свое сияние.

Пешт, конец сентября 1844 г.

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ СОЛНЦА

А знаете ли вы:
У солнца есть супруга!
Недобрая, увы!
Пришлось бедняге туго.
Все мается почтенный старина —
Ведь под каблук взяла его жена!
Сварливая, она всегда готова к ссоре.
Ну, вот и хочется вина —
Вино уймет любое горе!
Но дома пить нельзя никак —
Грозит супружеский кулак.
И, размышляя: «Выпить где бы?» —
Старик в привычный путь пускается по небу.
И вот идет и тучки ждет
Хотя б одной на небосвод,
Чтоб, не боясь
Ревнивых глаз,
Нырнуть тотчас
В любой кабак.
Там, как сапожник, солнце с горя пьет.
И вот
Вы видите: ложится мрак ночной,
И стелется тумана покрывало,
И солнце с красной рожею хмельной
За горизонт мертвецки пьяным пало!

Пешт, октябрь 1844 г.

ЛЕГЕНДА

«Всё жалобы! И вновь они, и вновь!
А на кого? Да вечно на попов.
И днем и ночью поровят надуть

И человеку не дают заснуть! —
Сказал господь с досадой и тоской.—
Сойду-ка вниз, взгляну на род людской!»
С кровати встал, оделся он и вот
Свечу берет и в долгий путь идет.
Увидел он, когда ворот достиг:
Спит как убитый Петр, святой старик,—
Вчера случился новичок в раю,
Ну, а поскольку райскую семью
Не часто пополняет грешный мир,
Был в небесах устроен целый пир.
И дядя Петр сглотнул кувшин иль два
По случаю такого торжества.
«Да встаньте ж, Петр, я умоляю вас! —
За чуб седой господь его потряс.—
Вставай же! Говорю тебе добром...
Чтоб разразил тебя небесный гром!»
Проснулся Петр: «Сейчас ключи найду!»
Тут подали падучую звезду.
На ней-то и помчался наконец
Навстречу горьким жалобам творец.
Вот человек какой-то молодой
Спешит к нему, обременен бедой.
Взглянул господь. Любезно молвил он:
«Рассказывай, сынок, чем огорчен!»
«Создатель, велика моя беда!
На подоконник взлезьте, вот сюда,
Да загляните сквозь оконце в дом:
Моя жена в постели спит с попом».
Господь вскарабкался и заглянул в окно.
Да... Богохульно это и грешно.
И вздох его был тяжек и глубок:
«Прискорбная история, сынок.
Тут не поможет и создатель сам.
Помочь бы рад, но все свершилось там...
Попа, чтоб ты утешился, бедняк,
Пошлю я в ад... Хотя уже и так
На пять шестых набит попами ад,
Попов в аду, поверь мне, целый склад!»

Пешт, октябрь 1844 г.

ЧОКОНАИ

Поп-кальвинист на белом свете жил,
А с тем попом Чоконаи дружил.
Однажды, в путь пустясь из Дебрецена
И навестивши друга невзначай,
«Дай горло промочить»,— сказал смиренно
Чоконаи Витез Михай.

«Вино найдем! Как ты подумать мог,
Чтобы для друга моего глоток
Вина в моем подвале не нашелся!
Ты только пей да кружку подставляй»,—
Так поп сказал, и с ним в подвал поплелся
Чоконаи Витез Михай.

«Ну, пить так пить!» — воскликнул щедрый поп.
Взмахнул рукой, из бочки пробку — хлоп!
«Я кран забыл! Я стал совсем болваном! —
Вдруг он вскричал.— Ни мига не теряй!
Беги наверх!» И побежал за краном
Чоконаи Витез Михай.

Ладонью поп отверстие зажал,
И крана он в большом волненье ждал,
Но крана нет. И поп ворчал, сердился:
«Исчез! Пропал! Такого посылай!
К какому дьяволу он провалился,
Чоконаи Витез Михай?»

Ждать больше нет терпенья. Решено.
Поп бросил бочку (вытекло вино),
В дом поднялся, все осмотрел там грозно.
Нет никого. Сиди да поджидай.
Вернулся вечером, и очень поздно,
Чоконаи Витез Михай.

А дело было, скажем прямо, в том,
Что, кран ища, обшарил он весь дом,
Все перерыл с усердьем неустанным,
Но не нашел. Где хочешь доставай!
Решил к соседям забежать за краном
Чоконаи Витез Михай.

А у соседей пир. Едва вошел,
Уже его зовут, ведут за стол.
И за едой, средь щедрых возлияний,
Хватив вина хмельного через край,
Не вспомнил о попе, забыл о кране
Чоконаи Витез Михай.

Пешт, ноябрь 1844 г.

МОЯ ЛЮБОВЬ

Моя любовь не соловьиный скит,
Где с пеньем пробуждаются от сна,
Пока земля наполовину спит,
От поцелуев солнечных красна.

Моя любовь не тихий пруд лесной,
Где плещут отраженья лебедей
И, выгибая шеи пред луной,
Проходят вплавь, раскланиваясь с ней.

Моя любовь не сладость старшинства
В укромном доме средь густых ракит,
Где безмятежность, дому голова,
По-матерински радость-дочь растит.

Моя любовь — дремучий темный лес,
Где проходимцем ревность залегла
И безнадежность, как головорез,
С кинжалом караулит у ствола.

Пешт, ноябрь 1844 г.

БУШУЮЩЕЕ МОРЕ...

Бушующее море,
С землей и небом споря,—
Любовь уж больше волн не мечет в небосвод,
Но тихо задремала,
Как море после шквала,
Как после слез покой у крошек настает.

Она плывет не глядя.
Ее зеркальной гладью
Уносит в даль надежд качанье челнока,
И песнью соловьиной
С береговой плотины
Ей будущее шлет привет издалека.

Пешт, ноябрь 1844 г.

ДИКИЙ ЦВЕТОК

Что вы лаетесь, собаки?
Не боюсь! Умерьте злость!
В глотку вам, чтоб подавились,
Суну крепкую я кость.
Не тепличный я цветочек,
Вам меня не срезать, нет!
Я — безудержной природы
Дикий, вольный первоцвет!

А поэзию не розгой
Втолковал мне педагог,—
Этих самых школьных правил
Я всегда терпеть не мог.
Лишь боящийся свободы
Вечно в правила одет.
Я — безудержной природы
Дикий, вольный первоцвет.

Не для мнительных ничтожеств
Расцветать решил я тут,—
Ваши слабые желудки
Вам покоя не дают.
Аромат мой для здоровых,—
Добрый люд мне шлет привет.
Я — безудержной природы
Дикий, вольный первоцвет.

И поэтому вы больше
Не кажитесь на порог,—
Это будет все равно что
Об стену метать горох.

А начнете задираться,
Не смолчу я вам в ответ.
Я — безудержной природы
Вольный, дикий первоцвет.

Пешт, декабрь 1844 г.

ДЯДЮШКА ПАЛ

Долго раздумывал дядюшка Пал,
И, шляпу надев набекрень,
Сказал он: «Сам дьявол жену мне послал.
За мной она ходит, как тень.
На что мне она,
Ворчунья жена?
Ей-ей, прогоню ее прочь!..»
Так в гневе сказал
Наш дядюшка Пал.
И выполнил слово — точь-в-точь.

Но скоро задумался дядюшка Пал,
И шляпу он сдвинул назад.
«Зачем я хозяйку напрасно прогнал?
Теперь уж и сам я не рад.
Запущен мой дом,
Хозяйство вверх дном
С тех пор, как ушла она прочь...»
И так оно было — точь-в-точь.

Недолго раздумывал дядюшка Пал.
Он шляпу надел на висок.
«Ну что же поделать! Прогнал так прогнал.
Какой в моих жалобах прок?
Остатки хозяйства в корчму потащу,
На ветер пущу.
Слезами беде не помочь!..»
И выполнил слово — точь-в-точь.

Но снова задумался дядюшка Пал
И шляпу надвинул на лоб.
«Видать, без хозяйки моей я пропал.
Осталось ложиться мне в гроб.

Канат я куплю
И полезу в петлю
В ближайшую темную ночь».
Да так он и сделал — точь-в-точь.

Пешт, декабрь 1844 г.

СТАРЫЙ ГОСПОДИН

Плохая жизнь у старика,
Плохая жизнь, хоть брось.
Он так ревнует, так влюблен,—
Прожгло его насквозь.

Жена — красотка, но подлец
Племянник у него.
Сидит в печенках тот подлец
У дяди своего.

Был холостым — служакой был,
Все честно делал, в срок.
Теперь старик от службы той
Как только в гроб не слег!

Со службы встарь он шел к друзьям,
И в карты — до утра.
Теперь беда: едва придет,
Уже домой пора!

И встарь он беззаботно спал
Все ночи напролет.
Теперь, как ляжет — грустных глаз
До света не сомкнет.

Бедняга, зря ты потерял
И свой покой, и сон!
В твою служанку, не в жену
Племянник твой влюблен.

Пешт, декабрь 1844 г.

РАДОСТНАЯ НОЧЬ

Что за ночь! Сады цветут так зелено,
Нам с тобой, любимая, так весело...
Тишина. Собаки где-то лают.
Все прекрасно.
Небо ясно.
Видишь: звезды в нем пылают!

Из меня звезда бы вышла скверная...
Бог простит, но я-то уж наверное —
По ночам бы убегал из рая.
И к тебе бы
Прямо с неба
Пробирался, дорогая!

Пешт, декабрь 1844 г.

СОЛДАТ ОТСТАВНОЙ Я...

Солдат отставной я, не что я иное,
Не унтер, а просто солдат отставной я!
В солдатчине молодость вся и осталась,
До дома со мной добрела только старость.

Всю жизнь в аккурат прослужил до отказа,
Исправный — наказан я не был ни разу.
Награда? В награду рука генерала
Меня, старика, по плечу потрепала.

Пешт, декабрь 1844 г.

ПЬЯНСТВО ВО БЛАГО РОДИНЫ

Ну, с богом! Выпейте, друзья!
Я тоже с вами пью.
Когда бываю во хмелю,
На грустную страну мою
Я веселей смотрю!

Она мне видится такой,
Какою быть должна.
Глотну — и будто бы одна
Из многих ран заживлена,
И не болит она!

Когда б на самом деле хмель
Мог родине помочь,
Я согласился б вечно жить
И вечно за отчизну пить,
Вот так — и день и ночь!

Пешт, декабрь 1844 г.

ЛИРА И ПАЛАШ

Вот снова небо в тучах
Над родиной моей...
Быть буре? Ну так что же!
Душа готова к ней.

Моя устала лира,
Ей хочется молчать.
Давно уж этим струнам
Наскучило звучать.

А там в углу палаш мой
В обиде на меня:
Ужель в ножны уложен
До Судного он дня?

Пешт, декабрь 1844 г.

ПРОТИВ КОРОЛЕЙ

Известно, ребятишкам все забава...
Народы тоже ведь детьми когда-то были,–
Их тешили блестящие игрушки,
Короны, троны, мантии манили.
Возьмут глупца, ведут, ликуя, к трону:
Вот и король! На короле — корона!

Вот королевство! Вот высоты власти!
Как кружат голову они. Похоже,
Что короли и в самом деле верят,
Что правят нами милостию божьей.
Нет, заблуждаетесь! Ошиблись, господа, вы!
Вы куклами лишь были для забавы!

Мир совершеннолетним стал отныне,
Мужчине не до кукол в самом деле!
Эй, короли, долой с пурпурных кресел!
Не ждите, чтоб и головы слетели
Вслед за короной, если мы восстанем.
А вы дождетесь! Мы шутить не станем!

Так будет! Меч, что с плеч Луи Капета
Снес голову на рынке средь Парижа,—
Не первая ли молния грядущих
Великих гроз, которые я вижу
Над каждой кровлей царственного дома?
Не первый грохот этого я грома!

Земля сплошною сделается чащей,
Все короли в зверьков там превратятся,
И будем мы в свирепом наслажденье,
Садя в них пули, как за дичью, гнаться
И кровью их писать в небесной сини:
«Мир — не дитя! Он зрелый муж отныне!»

Пешт, декабрь 1844 г.

ХОТЕЛ ТЫ, ДОБРЫЙ МОЙ ОТЕЦ...

Хотел ты, добрый мой отец,
Чтоб делом я твоим занялся,
Чтоб стал, как ты, я мясником,
А я — поэтом оказался.

Ты бьешь скотину топором,—
Пером я бью людей обычно.
А в общем, это все равно,—
И только в именах различье.

Пешт, январь 1845 г.

ЛЕПЕСТКИ С ЦВЕТОЧКА ОСЫПАЮТСЯ...

Лепестки с цветочка осыпаются,
А со мной любимая прощается.
Бог с тобою, любушка,
Милая голубушка,
Бог с тобой!

Желтый месяц через ветви смотрит голые.
Что-то бледные с тобой мы, невеселые!
Бог с тобою, любушка,
Милая голубушка,
Бог с тобой!

Падают на веточку росиночки,
А на щеки падают слезиночки.
Бог с тобою, любушка,
Милая голубушка,
Бог с тобой!

Розы вновь цвести весною примутся,
И дороги наши не разминутся.
Бог с тобою, любушка,
Милая голубушка,
Бог с тобой!

Пешт, 7 января 1845 г.

ЦВЕТКОМ МОЕЙ ЖИЗНИ БЫЛА ТЫ...

Цветком моей жизни была ты;
Увяла — все стало пустыней.
Ты солнцем сверкала когда-то;
Померкла — в ночи я отныне.
Мой дух ты на крыльях кружила.
Сломались они — не летаю.
Была ты огнем в моих жилах;
Остыла ты — я замерзаю...

Пешт, январь 1845 г.

О человек, лишь жалость и презренье
Внушает мне обличие твое.
Я думаю, что ты — не царь природы,
А только раб и пасынок ее.
Ведь под конец, в последний день творенья,
Жизнь подарил тебе усталый бог:
Одна усталость у него осталась,
Творить добро и он уже не мог.

А все же я любил тебя когда-то...
Но чем же этот кончился союз?
Два близнеца — презренье с отвращеньем —
Теперь растут. И очень я боюсь,
Что никогда и заслужить не сможешь
Ты от меня иного ничего.
Ты раб-тиран! Ты чьи-то пятки лижешь,
Иль от других ты требуешь того!

Коль ты в неволе, жалкое творенье,
Так думаешь, что стал рабом и я?
Ты думаешь, что мне не безразличны
Твоя хула и похвала твоя?
Ты думаешь, что может червь тревоги
Подтачивать душевный мой покой?
Мол, я творю, и все ж трепещет сердце:
«А что на это скажет род людской?»

Что ж! Думай так! Но помни, что нисколько
Зависеть от тебя не буду я.
Иду я прямо и по той дороге,
Которую нашла душа моя.
И если, будто идола, меня ты
Подымешь над своею головой —
Коль вознесешь меня ты столь высоко,
Твой рабий зуб я вышибу ногой!

Пешт, январь 1845 г.

ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Как видно, кто-то удавился,—
Метель и свищет и хохочет,
Дрожит тарелка над цирюльней
И чуть не в пляс пуститься хочет.
Кто счастлив нынче? Тот, кто сыт
И в теплой комнате сидит.

Поденщик со своей женою
Чурбаны пилит. В колыбели
Младенец плачет, заглушая
Истошным визгом вой метели.
Кто счастлив нынче? Тот, кто сыт
И в теплой комнате сидит.

Солдат на карауле ходит
И ежится в своем мундире.
От скуки он шаги считает:
Четыре взад, вперед четыре.
Кто счастлив нынче? Тот, кто сыт
И в теплой комнате сидит.

Словак-лудильщик в куртке ветхой
Ногами словно мерит мили.
От стужи нос багров, как перец,
И слезы на глазах застыли.
Кто счастлив нынче? Тот, кто сыт
И в теплой комнате сидит.

Актер бродячий с балаганом
Бредет, скитаясь по округе.
Два дня не ел, притом пальтишко
Никак не защитит от вьюги.
Кто счастлив нынче? Тот, кто сыт
И в теплой комнате сидит.

Цыган дрожит от лютой стужи
В шатре, под одеялом рваным.
Вдруг, постучавшись, ветер входит,
Хоть в гости он не зван цыганом.
Кто счастлив нынче? Тот, кто сыт
И в теплой комнате сидит.

Как видно, кто-то удавился,—
Метель и свищет и хохочет,
Дрожит тарелка над цирюльней
И чуть не в пляс пуститься хочет.
Кто счастлив нынче? Тот, кто сыт
И в теплой комнате сидит.

Пешт, февраль 1845 г.

ВИХРИ, МОЛНИИ И ПТИЦЫ...

Вихри, молнии и птицы,
Как они ни мчатся,
А за а́лфельдским бетяром
Все ж им не угнаться.

Утром лошадь в Кечкемете
Крадет его милость —
У Сент-Мартонского брода
К ночи очутилась.

Будет конь назавтра продан
Где-то в Фейерваре,
И другой украден будет
Там же на базаре.

А затем вы разглядите,
Если очи зорки,
В Бечкереке он гарцует
На скамье для порки!

Пешт, февраль — март 1845 г.

СОЛНЦЕ

Ну, а солнце? Что — солнце? Не солнце оно,
А, собственно говоря,
Это нечто вроде огромного
Мыльного пузыря!

Тот пузырь-великан мальчик
Выдувает в утренний час,
Чтобы вечером лопнул на западе,
Точно так же, как в прошлый раз.

Пешт, февраль — март 1845 г.

О МОИХ ПЛОХИХ СТИХАХ

И я бы мог без отдыха
Писать хорошее,
Но иногда из жалости
Пишу поплоше я.

Когда б я исключительно
Творил прекрасное,
Что делали бы критики
Мои несчастные?

Известно, что отбросами
Они питаются,
Так пусть получат, бедные,
Что причитается.

Пусть гложут, нажираются
И наживаются.
Они ведь тоже все-таки
Людьми считаются.

Пешт, февраль — март 1845 г.

ВЕСНА

Синь
Небес.
Красна
Весна.

И высоко, где синь такая,
Веселый жаворонок вьется,
Поет он, солнце окликая,
А солнце смотрит и смеется.

Синь
Небес.
Красна
Весна.

Красна весна, и день чудесный,
А я, глупец, не вылезая,
Сижу в своей каморке тесной,
Стихи задумчиво слагая.

Эперьеш, апрель 1845 г.

НА ВОЛЮ!

На волю! В лес! Весна играет в нем
Под ясным куполом небес.
Эй, театралы, не хотите ли
Услышать ряд милейших пьес?

Взойдя на сцену превосходную,
Исполнит соло соловей,
И кто бы из артистов оперных
Мог песню спеть еще милей?

Взгляните в бенуар кустарников,
Где, восхищенья не тая,
Фиалки эти синеокие
Внимают трелям соловья.

Весь мир в восторге. Чутко слушают.
И все полно горячих чувств.
И лишь седые скалы-критики
Молчат... Ни слова с хладных уст.

Эперьеш, апрель 1845 г.

ВЕНГРИЯ

Тебе, дорогая отчизна,
Хозяйкою быть не дано:
Обуглилось снизу жаркое,
А сверху — сырое оно.

Счастливцы живут в изобилье —
Объелись и все-таки жрут,
А бедные дети отчизны
В то время от голода мрут!

Эперьеш, апрель 1845 г.

ЛЕСНОЕ ЖИЛЬЕ

(Поэтическое соревнование с Керени и Томпой)

Как таят от взоров первую влюбленность,
Прячут горы эту бедную лачугу.
Не боится бурь соломенная крыша,
Хоть бы ураган шумел на всю округу.

Шелестящий лес соломенную крышу
Приодел сквозною кружевною тенью.
Щелканье скворцов доносится из чащи,
Горлинки воркуют около строенья.

Пенистый ручей проносится скачками
С быстротой оленей, чующих облаву.
В зеркало ручья, как девушки-кокетки,
Смотрятся цветы речные и купавы.

К ним летят и льнут поклонники роями —
Пчелы из лесных своих уединений.
Пьют блаженства миг и, поплатившись жизнью,
Падают, напившись до изнеможенья.

Это видит ветер и бросает в воду
Тонущей пчеле сухой листок осины.
Только бы ей влезть в спасательную лодку,
Солнце ей обсушит крылышки и спину.

А на холм коза с набухшими сосцами
Завела козлят под самый купол неба.
Козье молоко да свежий мед пчелиный —
Вот что здешним людям нужно на потребу.

И скворцы свистят, и горлинки воркуют,
Не боясь сетей и козней птицелова.
Слишком дорожат свободою в лачуге,
Чтоб ее лишать кого-нибудь другого.

Здесь ни рабства нет, ни барского бесчинства,
Только временами в виде исключенья
Молния сверкнет да гром повысит голос
И во всех вселяет вмиг благоговенье.

Милостив господь и долго зла не помнит —
Затыкает глотки облакам-задирам,
И опять смеется небо, и улыбкой
Радуга сияет над ожившим миром.

Эперьеш, апрель 1845 г.

В АЛФЕЛЬДЕ ШИНКОВ НЕМАЛО ЕСТЬ!..

В Алфельде шинков немало есть!
Ну, а лучший-то который здесь?
Самый лучший называется «Зайди!»,
Вот другой такой попробуй-ка найди!

Он шатается, совсем готов упасть,
Будто гость, вина вкусивший всласть...
Даже крыша набок — точно так,
Как бывает шляпа у гуляк.

Кешмарк, 3 мая 1845 г.

МОЕ ВООБРАЖЕНЬЕ

Толкуйте! Этот вздор
Не стоит возраженья,
Что будто — раб земли
Мое воображенье!
Нет! По земле идет
Оно куда угодно,
И сходит в недра недр
Привольно и свободно,
И в глубину глубин,
Как водолаз, ныряет,

А глубже, чем сердца,
Бездн в мире не бывает!
Но крикну я: «Взлети!» —
И вот оно, чудесней,
Чем жаворонок сам,
Взлетает к небу с песней!
Стремительных орлов
В единое мгновенье
Способно перегнать
Мое воображенье.
И отстают орлы,
За ним не в силах гнаться,
И там оно летит,
Где только тучи мчатся.
Но между туч ему
Неинтересно, тесно.
И вот летит оно
Под самый свод небесный,
И если в этот час
Лик солнечный затмится,
Взглянуть в погасший лик
Воображенье мчится.
Один лишь бросит взгляд —
И кончится затменье,
И солнцу свет вернет
Мое воображенье,
Но даже и тогда
Оно не отдыхает,
До самых дальних звезд
Тогда оно взлетает.
И, вырвавшись за грань
Господнего творенья,
Там новый мир создаст
Мое воображенье!

Пешт, начало августа 1845 г.

ОДНОМУ КРИТИКУ

Сударь! Есть, как вам известно,
У меня черта дурная:
Господу и человеку
Правду я в глаза бросаю!

Сударь, вы не бог небесный,
И не великан вы даже,—
Почему же мне всю правду
Вам не высказать тотчас же?

Сударь! Все-таки должна же
Быть душа в груди поэта!
Вам же, как я вижу, губка
Всунута в пространство это!

Сударь! Губка не пылает,
Искр от губки не бывает,
И кремнем из этой губки
Пламя тщетно высекают.

Сударь! Если бы не знал я
Вас как горе-виршеплета,
Я бы думал, что вы, сударь,
Asinus ad liram — вот кто!

Сударь! Ваш отец — сапожник
Не последний в Кечкемете...
Почему ж трудом отцовским
Не хотят заняться дети?!

Пешт, август 1845 г.

В СТО ОБРАЗОВ Я ОБЛЕКАЮ ЛЮБОВЬ...

В сто образов я облекаю любовь,
Сто раз тебя вижу другой;
Ты — остров, и страсть омывает моя
Тебя сумасшедшей рекой.

Другой раз ты — сладкая, милая ты,—
Как храм над моленьем моим;
Любовь моя тянется темным плющом
Все выше по стенам твоим.

Вдруг вижу — богатая путница ты,
И готова любовь на разбой;
И вдруг уже нищенкой просит она,
В пыль униженно став пред тобой.

Ты — Карпаты, я тучей стану на них,
Твое сердце штурмую, как гром;
Станешь розовый куст — вокруг твоих роз
Соловьем распоюсь над кустом.

Пусть меняется так любовь моя, но
Не слабеет,— вечно живая она;
Пусть тиха иногда, тиха, как река,—
Поищи, не найдешь ее дна!

Салк-Сентмартон, август 1845 г.

ФЛАГ ЛЮБВИ

Флаг любви — мое живое сердце!
Борются два духа за него.
Дни и ночи длится неустанно
Битва из-за сердца моего.

Первый дух — веселая надежда,
В снежно-белом одеянье он;
Дух второй — мрачнейшее сомненье —
В черные покровы облачен.

Я не знаю, кто кого осилит,
Но боюсь такого я конца:
Флаг любви — мое живое сердце —
Разорвут на части два бойца!

Салк-Сентмартон, август 1845 г.

С ТОЙ ПОРЫ, КАК В МИЛУЮ ВЛЮБИЛСЯ...

С той поры, как в милую влюбился,
Шутки плохи, спятил я с ума.
Мысли в голове играют в прятки,
В сердце днем и ночью кутерьма.

И ведь правда, я творю такое,
В чем признаться сам себе стыжусь,
Что пристало только сумасшедшим:
Я часами в зеркало гляжусь.

Утром говорю я: «Добрый вечер!»,
Ночью: «Добрый день!» И сколько раз
Уходящим говорил: «Прошу вас!»,
Приходящим: «С богом, в добрый час!»

Вместо щетки я беру чернила,
А писать пытаюсь фонарем.
Это все — еще пустяк! Но если
Я сигару тычу в рот огнем,

Тут уж ясно: я любовью ранен,—
Эту рану ты мне нанесла.
Девочка, так будь же справедлива,
Поцелуй, чтоб рана зажила.

Салк-Сентмартон, август 1845 г.

ЕСЛИ ТЫ ЦВЕТОК...

Если ты цветок — я буду стеблем,
Если ты роса — цветами ввысь
Потянусь, росинками колеблем,—
Только души наши бы слились.

Если ты, души моей отрада,
Высь небес — я превращусь в звезду.
Если ж ты, мой ангел, бездна ада —
Согрешу и в бездну попаду.

Салк-Сентмартон, август 1845 г.

ВОЙНА ПРИСНИЛАСЬ КАК-ТО НОЧЬЮ МНЕ...

Война приснилась как-то ночью мне,
На ту войну мадьяр позвали;
И меч в крови носили по стране —
Как древний знак передавали.

Вставали все, увидев этот меч,
Была пусть капля крови в жилах,
Не денег звон, как плату, нам беречь,—
Бесценный цвет свободы платой был нам.

Как раз тот день был нашей свадьбы днем.
Что нашей свадьбы, девочка, короче?
За родину чтоб пасть мне под огнем,
Ушел я в полночь первой ночи.

В день свадьбы, девочка, уйти на смерть,—
Да, правда, это жребий страшный!
Но грянет бой, и я уйду, поверь,
Как я ушел во сне вчерашнем.

Салк-Сентмартон, август 1845 г.

СМОЛКЛА ГРОЗОВАЯ АРФА БУРИ...

Смолкла грозовая арфа бури.
Вихрь улегся, затихает гром,
Как, намучившись в борьбе со смертью,
Засыпают непробудным сном.

Восхитителен осенний вечер.
В ясном небе только кое-где
Облака, следы недавней бури,
Сохраняют память о беде.

Крыши деревенских колоколен
Покрывает золотом закат.
Хутора в морях степных миражей
Кораблями зыбкими висят.

Беспредельна степь! Куда ни глянешь,
Вся она открыта и ровна.
Нет и сердцу ни конца, ни края,
И куда ни глянь, любовь одна.

И, под тяжестью любви сгибаясь,
Сердце может рухнуть невзначай,
Как надламывает ветви яблонь
Слишком небывалый урожай.

Сердце, полное любви, как кубок,
Пей, подруга, только не пролей,
Чтобы я не пожалел, что смерти
Не дал выпить этой чаши всей.

Салк-Сентмартон, август 1845 г.

ТЫ ОТВЕТЬ...

Ты ответь: когда я успокоюсь?
Видно, не дождусь такого дня!
Девочка, скажи мне: что ты хочешь,
Что ты мучишь, что казнишь меня?

За какую ты мне мстишь обиду?
Я тебя не думал обижать,
Но, быть может, этим и обидел,
Что посмел любить и обожать?

Ведь страдаю я, как не страдало
Ни одно живое существо.
Бьет меня и собственное сердце,—
Подкупила, что ли, ты его?

Если раньше только день короткий
Был скамейкой пыток для меня,
Все же ночь мне приносила отдых,
А теперь ни ночи нет, ни дня.

Сон летит ко мне, как сизый голубь,
Но поймать я не могу его.
Птица боязливая боится
Клокотанья сердца моего.

Сердце бьется, как мятежник дикий.
Девочка, уйми его, молю!
А не то в отчаянье однажды
Я возьму его и прострелю!

Салк-Сентмартон, август 1845 г.

В ДЕРЕВНЕ

Теперь меня всегда по вечерам
Провозглашает королем закат,
И солнце на прощанье багрецом
Окрашивает мой простой наряд.

С восторгом по окрестностям брожу.
Кругом клубится пыль до облаков.
Из степи гонят скот домой. Звенят
Нестройно колокольчики коров.

Самозабвенно вглядываюсь в даль.
Самозабвенно вслушиваюсь в звон.
Везде, везде, насколько видит глаз,
Лишь степь, да степь, да синий небосклон.

Теряясь в этом море, там и сям
Маячит дерево, как островок.
Протягивая тень во всю длину,
Как мусульманин руки на восток.

Как раненный в сраженье богатырь,
Исходит солнце кровью на заре,
Луна и звезды выплывают вслед
Посмертной славой о богатыре.

Теперь кругом сияющая ночь.
Так тих и бездыханен небосвод,
Что различимо, кажется, о чем
Давида арфа на луне поет.

Над озером, покинув камыши,
Косяк гусей летит средь темноты.
Так улетают из моей души
Мои честолюбивые мечты.

Я забываю Пешт, и суету,
И планы горделивые свои
И думаю: как славно было б жить
В безвестности, вдали от толчеи!

Меня не манит блеск больших имен.
Мне б виноградник да земли клочок,
Да был бы красного вина глоток,
Да был бы хлеба белого кусок.

Да был бы угол, чтоб, придя с полей,
Вкушал я средь домашней тишины
Свой белый хлеб и красное вино
Из белых рук красавицы жены.

Да чтобы смерть в один и тот же час
Постигла нас пожившими, в летах,
И чтобы внуки, искренне скорбя,
В одной могиле схоронили прах.

Салк-Сентмартон, август 1845 г.

СТАРЫЙ ДОБРЫЙ ТРАКТИРЩИК

Здесь, откуда долго ехать до предгорий,
На степном низовье, средь цветущих далей,
Провожу я дни в довольстве на просторе,
Не тужу, живу, не ведаю печалей.
Постоялый двор — мое жилье в деревне.
Утром тишина, лишь ночью шум в прихожей.
Старый добрый дед хозяйствует в харчевне,—
Будь ему во всем благословенье божье!

Здесь я даром ем и пью и прочь не еду.
Сроду не видал ухода я такого.
Никого не жду, садясь за стол к обеду,
Опоздал, войду — все ждут меня в столовой.
Жалко лишь, с женой своей трактирщик старый
Ссорится подчас,— характером не схожи.
Впрочем, как начнет, так и кончает свару,—
Будь ему во всем благословенье божье!

С ним толкуем, как он в гору шел сначала.
То-то красота, ни горя, ни заботы!
Дом и сад плодовый, земли, капиталы,
Лошадям, волам тогда не знал он счету.
Капитал уплыл в карманы к компаньонам,
Дом унес Дунай со скарбом и одежей.

Обеднел трактирщик в возрасте преклонном,—
Будь ему во всем благословенье божье!

Век его заметно клонится к закату.
В старости мечтает каждый о покое,
А старик несчастный поглощен проклятой
Мыслью о насущном хлебе и тоскою.
Будни ль, праздник, сам он занят неустанно,
Раньше всех встает, ложится спать всех позже.
Бедствует трактирщик, жалко старикана,—
Будь ему во всем благословенье божье!

Говорю ему: «Минует злополучье,
Дни удач опять вернутся в изобилье».
«Верно, говорит, что скоро станет лучше.
Спору нет — ведь я одной ногой в могиле».
Весь в слезах тогда от этого удара,
К старику на шею я бросаюсь с дрожью.
Это ведь отец мой, тот трактирщик старый.—
Будь ему во всем благословенье божье!

Салк-Сентмартон, август 1845 г.

МОЯ МОЛИТВА

Моих грехов всегда страшилась мать.—
Страшилась, я скажу, не без причин.
Ее пугало, что не хочет сын
Молиться богу, церковь посещать.
Итак, молюсь: вот руки я скрестил,
Вострепетал, благоговею весь.
Услышь меня, владыка мира, днесь,
Услышь меня, о царь небесных сил!

Во-первых... да! Во-первых, о моем
Отечестве. О всемогущий бог,
Что для него я попросить бы мог?
Ведь столько бед нагромоздилось в нем!
Я только об одном бы попросил:
Ему таким вот — долго не прожить.
Ты заново нам должен сотворить
Отечество, о царь небесных сил!

А для себя о чем просить творца?
Красавицу подружку я б хотел,
Коня, чтоб к милой мчаться после дел,
И лавры, лавры, лавры без конца.
Но не затем, чтоб я увенчан был,
А — если выйдет сено у меня,—
Чтоб лаврами я мог кормить коня...
Услышь меня, о царь небесных сил!

Салк-Сентмартон,
август — сентябрь 1845 г.

УЖ КРАСНОТОЙ ПОДЕРНУТ ЛИСТ...

Уж краснотой подернут лист. В густых
Ветвях свистит, свистит осенний вихрь.
Роса в лугах, а солнце как в золе,
Пастух, бетяр мечтают о тепле.

Пастух еще найдет себе очаг,
Найдет еду, вино больших баклаг.
Когда все съест и выпьет все до дна,
В постели рядом будет спать жена.

Нет у бетяра очага в дому,
Бренчат повсюду кандалы ему,
В сухих кустах ютится без огня,
Ночей осенних холода кляня.

Дёмёшёд, сентябрь 1845 г.

ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК

Что надо мною? Небосвод
Иль свод могильный здесь встает?
Да! Под могильным этим сводом
Лежит земля огромным гробом.
А этот свет над головой —
То солнце? Нет! Светильник тусклый
Окрасил в красно-желтый цвет
Глухую тьму могильной ночи.
Молчанье. Но что я слышу?

Как будто что-то зазвенело!
Быть может, это птичье слово
Иль песнь девическая? Нет,
Тот жалкий звук рождают черви,
Грызя лежащих неподвижно,
С навек закрытыми глазами,
Жильцов гробницы — мертвецов.
Да! Навсегда закрылись очи,
В которых некогда пылало
Любви и ненависти пламя,
И из которых так похабно
Выглядывали чванство, зависть,
Подобострастие и злость,
Как проститутки из окошек
Домов терпимости! Навеки
Закрылись очи мертвецов!
И сердце — этот малый ад,
Который вечно был приютом
Для сотен дьяволов различных
И где пылал неистребимо
Костер злодейств,— остыло сердце!
Всему конец! Бесчестье сдохло,
Измена родине и другу
И остальных чудовищ стадо,
Которое брело повсюду
По человеческому следу,—
Всё, всё исчезло навсегда!
И даже эти угрызенья
Нечистой совести — от них
И следу даже не осталось,—
Давным-давно они скончались,
И люди, что родились позже,
О них лишь понаслышке знали...
Всему конец! Всему конец!
Все спит отныне непробудно.
Сердца остыли, очи гаснут.
И только я еще не умер
Вот здесь, в гигантской пустоте
Кладбищенского склепа — мира,
И размышляю: «Почему же
Ты, Смерть, запаздываешь в гости?
О, почему ты не идешь?
Боишься, что бороться буду?

Не бойся! Я не тот, что прежде,
Когда я шел с отважной грудью
Навстречу миру и судьбе.
О Смерть! Я не обороняюсь!
Иди смелей! Тебе я сдамся.
Я буду как бессильный голос,
А ты — как вихрь! Умчись со мной!»

Пешт, сентябрь 1845 г.

КОНЕЦ РАЗБОЯ

Эх, разбой, веселая затея!
Кончишь, вор, еще ты веселее,
Уж и ветка для тебя готова,—
Ветвь сухая для плода гнилого.

Порешишь расстаться с белым светом —
Палачи тебе помогут в этом.
Чтоб глаза не маялись позором,
Выклюет тебе их черный ворон!

И пока под непогоды дудку
Труп в петле танцует танец жуткий,
Где-то в глубине чертога смерти
В мяч с душой твоей сыграют черти!

Пешт, сентябрь 1845 г.

ТОРГ

«Глянь-ка, парень, сколько денег,— не сочтешь!
У тебя куплю я бедность. Продаешь?
Я за бедность копелек весь отдаю,
Но в придачу дай мне девушку свою».

«Если б это лишь задаток был от вас,
Да на выпивку б мне дали во́ сто раз,
Да весь мир еще в придачу заодно,—
Я бы девушку не отдал все равно!»

Салк-Сентмартон,
конец сентября 1845 г.

В АЛЬБОМ К. Ш.

На дряхлый дом наш мир похож —
Стропила оседают низко...
Друг, слишком гордо ты идешь,
Согнись! Тогда не будет риска!
Не смогут голову пробить
Ветшающие перекрытья...
«Готов я голову сломить,
Но горбясь не хочу ходить я!»

Борьяд, начало октября 1845 г.

МАЖАРА С ЧЕТВЕРКОЙ ВОЛОВ

Не в Пеште было то, что расскажу я,
Там не до романтического сна.
Компания уселась на мажару,
Пустилась в путь она,
Влекомая тяжелыми волами,—
Две пары в упряжи темнеющих голов.
По большаку с мажарой
Так медленно четверка шла волов.

Ночь светлая. Луна уже высоко
Шла в облаках, всех облаков бледней,
Как женщина печальная, что ищет
Могилу мужа в тишине.
И ветерок ловил полей дыханье,
Был ароматов сладостен улов.
По большаку с мажарой
Так медленно четверка шла волов.

В компанье той присутствовал и я
И был как раз соседом Эржикэ.
Пока другие тихо говорили
Или тихонько пели в уголке,—
«Не выбрать ли и нам себе звезду?» —
Я Эржикэ сказал, смотря поверх голов.
По большаку с мажарой
Так медленно четверка шла волов.

«Не выбрать ли и нам себе звезду? —
Мечтательно сказал я Эржикэ.—
Пускай звезда к счастливым дням
прошедшим
Нас приведет, когда замрем в тоске,
Если судьба подарит нам разлуку...»
Мы выбрали себе звезду без слов.
По большаку с мажарой
Так медленно четверка шла волов.

Борьяд, начало октября 1845 г.

ВЕНГЕРСКИЙ ДВОРЯНИН

Меч мой дедовский, кровавый,
Что же ты не блещешь, ржавый?
Много есть тому причин...
Я — венгерский дворянин!

Мне трудиться неохота.
Труд — презренная забота
Неотесанных дубин.
Я — венгерский дворянин!

Укатай дорогу гладко
Ты, мужик! Твоя лошадка
Мчит меня среди равнин!
Я — венгерский дворянин!

Не пишу и не читаю...
Мудрецам, как я считаю,
Не дадут высокий чин.
Я — венгерский дворянин!

Правда, есть одна наука,
В ней весьма набил я руку:
Ем и пью, как исполин.
Я — венгерский дворянин!

Хорошо, что хоть налогу
Не взимают, слава богу!
Тьма долгов, а я один.
Я — венгерский дворянин!

Что? Отчизна оскудела?
Ну, а мне какое дело?
Без нее полно кручин!
Я — венгерский дворянин!

Впрочем, трубку докурю я,
В замке древнем здесь помру я.
В рай войду как господин.
Я — венгерский дворянин!

Борьяд, начало октября 1845 г.

РАЗВАЛИНЫ КОРЧМЫ

Простор чудесной степи низовой,
Из всех краев излюбленнейший мой!
В горах то вверх, то вниз, за пиком пик,
Я двигаюсь, как по страницам книг,
А ты мне уясняешь все сама,
Как содержанье вскрытого письма,
Где сразу можно без труда прочесть,
Что нового и важного в нем есть.
Как жаль, что я наездами сюда,
А не в степи безвыездно всегда,
Один с собой, как может быть один
Аравии бескрайной бедуин.
Свободой веет здесь, в степной глуши!
Свобода ж — божество моей души!
Да и живу я только для того,
Чтоб умереть за это божество,
И я легко скажу «прости» годам,
Когда всю кровь по капле ей отдам.
Откуда мысли мрачные нашли?
Я увидал развалины вдали.
Развалины чего? Дворца? Двора?
Пустой вопрос. Все прах, все мишура.
Что замок, что харчевня — все тщета,
И все растопчет времени пята.
Под этою ногой не устоит
Ни зданье, ни железо, ни гранит.
Корчма из камня. Но откуда он?
Здесь пустошь с незапамятных времен.

В те дни, когда наш край не знал тревог,
До власти турок был здесь городок.
(О Венгрия, в течение веков
Сменилось сколько на тебе оков!)
Османы выжгли городок дотла,
Лишь церковь бедствие пережила.
Но вид пожарищ стольких и могил
Ее, как плакальщицу, подкосил.
Карниз ее все ниже нависал,
Покамест мук не прекратил обвал.
Из каменных обломков алтаря
Построили обитель корчмаря.
Питейный дом из божья дома? Что ж,
И храм не вреден, и кабак хорош.
Мы дух и плоть, так создал нас господь,
И мы должны блюсти и дух и плоть.
Пусть стал питейным домом божий дом,
Угодным богу можно быть во всем.
А чистых сердцем между пьяных рож
Я видел больше, чем среди святош.
Во время о́но, старая корчма,
Какая здесь царила кутерьма!
Я строю мысленно тебя опять
И всех гостей могу пересчитать.
Вот странник-подмастерье взял стакан.
Вот шайка жуликов и атаман.
Вот с бородой, в очках, торгаш-еврей.
Вот медник-серб с товаром у дверей.
А вот недоучившийся студент
С красавицей шинкаркой в вихре лент.
Его сознанье заворожено,
И в голову ударило вино.
А муж? Где муж? Где старый? На копне
Храпит, забывши обо всем во сне.
Он спит опять, на этот раз в земле,
И с ним все те, кто был навеселе:
Жена-красавица, и грамотей,
И полная гостиная гостей.
Они давно истлели, и от стен,
Ютивших их, остался только тлен.
Боролась долго с временем корчма
И старилась, как старятся дома.
Как головной платок с ее волос,

С нее однажды ветер крышу снес.
Она пред ним готова в ноги пасть,
Чтоб не показывал над нею власть.
Но все перемешалось, все в былом,
Оконный выем и дверной пролом.
И только к небу поднята труба,
Почти как умирающей мольба.
Засыпан погреб, снят с колодца вал,
Столбы и раму кто-то разобрал,
Но цел журавль, на нем сидит орел,
Он круч искал — и этот шест нашел,
Он сел и мерит взглядом небосклон
И размышляет о чреде времен.
Пылает небо,— так любовь пылка
У солнца к детищу солончака.
Да вот она: глаза вперила в синь
Фата-моргана, марево пустынь.

Салк-Сентмартон, октябрь 1845 г.

ПЕРЕМЕНА

Теперь не то, что было прежде.
Изменчиво года бегут.
Теперь и прежде — двое братьев,
А встретятся — не узнают.

Носил я сердце на ладони
И всем охотно предлагал,
Просить меня не приходилось,—
Я сердце щедро раздавал.

Теперь же, если сердце просят,
Отказываю, прочь гоня,
И вру спокойно всем просящим,
Что нету сердца у меня.

Я, прежде в девушек влюбляясь,
Ждал чистоты от них, чудес,
Я думал, что они бесплотны,
Почти, как ангелы с небес.

Теперь я знаю, что подобны
Все девушки чертям в аду,
И если я одной не нужен,—
Не плачу, я других найду!

Отчизну я любил, как солнце,
Пылающее в вышине.
Не то теперь. Она луною
Холодной тускло светит мне.

Когда-то, если был обижен,
Хотел покончить я с собой,
Теперь, наперекор обидам,
Весь мир готов я звать на бой.

Я был послушной, мягкой глиной,—
Любой меня рукой проткнет.
Стал мрамором,— стреляй, и пуля
Отскочет и тебя убьет.

Любил красавиц светлокудрых,
И день, и белое вино,
Теперь люблю я ночь, смуглянок
И пью лишь красное одно.

Салк-Сентмартон, середина октября 1845 г.

НА ГОРЕ СИЖУ Я...

На горе сижу я, вниз с горы гляжу,
Как со стога сена аист на межу.
Под горою речка не спеша течет,
Словно дней моих не радующий ход.

Сил нет больше мыкать горе да тоску.
Радости не знал я на своем веку.
Если б мир слезами залил я кругом,
Радость в нем была бы малым островком.

Завывает ветер осени сырой
На горе и в поле, в поле под горой.
По душе мне осень, я люблю, когда
Умирает лето, веют холода.

Пестрая пичужка в ветках не свистит.
Желтый лист с шуршаньем с ветки вниз летит.
Он летит и наземь падает, кружась,
Пасть бы с ним мне тоже замертво сейчас!

Чем я после смерти стану, как умру?
Мне бы стать хотелось деревом в бору!
Я б лесною чащей был от света скрыт,
Был бы скрыт от света и его обид.

Деревом хотел бы стать я, но вдвойне
Мне бы стать хотелось чащею в огне!
Я лесным пожаром целый мир бы сжег,
Чтобы досаждать мне больше он не мог.

Пешт, октябрь — ноябрь 1845 г.

ИСТОЧНИК И РЕКА

Как будто колокольчика язык,
Ручей лепечет, полный благозвучья.
В дни юности моей была певуча
Моя душа, как плещущий родник.

Она была как зеркало ключа.
В ней отражалось солнце с небосвода,
И звезды и луна гляделись в воду,
И билось сердце, рыбкой хлопоча.

Большой рекою стал ручей с тех пор.
Пропал покой, и песнь его пропала.
Не может отразиться в пене шквала
Полночных звезд мерцающий собор.

О небо, отвернись куда-нибудь!
Себя ты не узна́ешь в отраженье.
Волнами взбудоражено теченье,
Со дна его всплыла речная муть.

И на воде кровавое пятно.
Откуда эта кровь? Лесой удильной,
Крючком, в поток закинутым насильно,
Как рыбка, сердце, ты обагрено.

Пешт, октябрь — ноябрь 1845 г.

О РОДИНЕ

Солнца нет, и медлят звезды,
Все не всходят. Ночь темна.
Лишь моя любовь к отчизне,
Как лампада, зажжена.

Ярче звезд любовь к отчизне,
Ярче всех ночных светил.
Край родной мой, край несчастный,
Мало кто тебя любил.

Отчего метнулось пламя
На лампаде? Полночь бьют.
Моего народа предки
Собрались сегодня тут.

Каждый призрак, словно солнце,
Светит и горит в ночи,
Потому что вечной славы
На челе его лучи.

О венгерец, ты, во мраке
Дни влачащий, не гляди
На сиянье гордых предков,
Очи слабые щади.

Наши предки, словно вихри,
Словно бури на горах,
Бесновались на Европе,
На поверженной во прах.

Разлилось широко море,
Море рода моего,
Юга, севера, востока
Звезды падали в него.

Но счастливый лавр победы
Так давно венчал мой род,
Что орел воображенья,
Долетая, устает.

Этот лавр, венчавший венгров,
Так давно увянул он,
Что, быть может, весть о славе –
Только сказка, только сон.

Редко плачу я, но ныне
Слезы на глазах блестят.
Эти капли росяные
Что сулят? Рассвет? Закат?

Чем была ты, слава венгров?
Только яркая звезда,
С неба павшая на землю,
Чтоб угаснуть навсегда?

Иль крылатая комета,
Что, свершив урочный круг,
Чрез века вернется снова,
Озарив все небо вдруг?

Пешт, октябрь — ноябрь 1845 г.

КОРОНА ПУСТЫНИ

Пустыня словно темя
У старца короля:
Травинки-волосинки
Едва родит земля.

Зеленою короной
На дряхлой голове
Дуб высится. Столетья
Шумят в его листве.

Легла бродяжка-тучка
На скалы перед ним
И молвила устало:
«Давай поговорим.

Поведай, дуб высокий,
Что в жизни пережил!»
И вот о чем с бродяжкой
Тот дуб заговорил:

* * *

«На романтических горах вдали
Мои счастливцы пращуры цвели.
Могла ветвями небеса достать
Красавица лесная — наша мать.
И вот в нее влюбился горный вихрь.
Но мать сказала: «Ты мне не жених!»
И он решил — вот подлость какова! —
Ей мстить и мстить, пока она жива!
Так он клялся. А я висел среди
Других семян у мамы на груди.
И вот сорвал он всю семью семян,
Тот мстительный и страшный ураган;
И злобствовал он, семечки гоня...
...Пустыня эта приняла меня.
Я вырос здесь. И множество веков
Я пережил. Вот мой удел каков.
Жизнь долгая тягуча и скучна:
Взгляну вокруг — везде печаль одна.
Гляжу кругом и не могу понять,
Где братья бедные мои, где мать.
Порой приходят странник, пилигрим,
Я, чем могу, помочь стараюсь им.
Тот, кто приходит в знойный летний день,
Здесь получает благостную тень,
А кто зимой придет под сень мою,
Тому я хворост для костра даю,
А кто охвачен скорбью мировой —
Тот вешается под моей листвой.
На этом кончу. Тучка, убедись,
Насколько небогата эта жизнь!

Уж поскорее бы покончить с ней!
Ведь даже вихрь — он всех на свете злей,
О, этот вихрь — мой самый лютый враг,
Со мною он не справится никак.
Напор веков я выдержал, герой!
Но знаешь ли, кто справится со мной?
Червь, жалкий червь, здесь, в собственной
груди!
Обидно же! Сама ты посуди!
О боже! Что же ты, создатель наш,
Поблагородней смерти мне не дашь?»

* * *

Так плакал дуб. А тучка
Лежала между скал,
Сочувственно внимая
Всему, что дуб шептал.

Разжалобилась тучка,
И молнию взяла,
И, в дуб ее метнувши,
Сожгла его дотла.

Пешт, октябрь — ноябрь 1845 г.

НО ПОЧЕМУ...

Но почему же всех мерзавцев
Не можем мы предать петле?
Быть может, потому лишь только,
Что не найдется сучьев столько
Для виселиц на всей земле!

О, сколько на земле мерзавцев!
Клянусь: когда бы сволочь вся
В дождя бы капли превратилась —
Дней сорок бы ненастье длилось,—
Потоп бы новый начался!

Пешт, октябрь — ноябрь 1845 г.

Я сплю, но будто и не спится мне,
Я бодрствую, но что-то снится мне.
Дробит свой свет свеча унылая,
Как будто где-то над могилою
Дрожат огни — гниенья спутники,
И я не смею протянуть руки,
Чтоб их поймать... Я без движения
Лежу в постели. Привидения
Встают вокруг меня ужасные,
Их отогнать стремлюсь напрасно я:
Зажмурюсь, но о них же думаю.
Что за чудовища угрюмые!
Вот из канавы встал кладбищенской
Мертвец, грызя свой посох нищенский.
И зубы у него ломаются,
И кровью давится, и мается,
А все ж грызет в ожесточении...
Вот на скамейке для сечения
Лежит цыган... секут, дерут его,
Летит от истязанья лютого
С худого тела кожа клочьями,
Рычит он псом, молчать невмочь ему...
А там? Что это? Башня строится
Иль великан в могиле роется?
Нет, не в могиле он копается!
Колодец роет он. Валяется
Близ призрака ведро огромное,
Чтоб черпать крови влагу темную.
А вот мальчишка обезглавленный
Кричит судьбе: «Ты вор отъявленный!»
И голову он отсеченную
Швырнул судьбе в стекло оконное.
Вот виселица. А повешено —
Дитя! А мать хохочет бешено:
«Ой, дитятко, ты ноги свесило!»
Вцепилась в них и пляшет весело.
Вот девушку я вижу. Снится мне:
Спят жабы под ее ресницами,
И страшен нос ее, оседланный
Кровавой крысою ободранной,
А волосы — как черви длинные.

В объятия полузмеиные
Безрукий человек берет ее...
Так, лихорадочно работая,
Родит мое воображение
Неистребимые видения.
Мир спит. Я бодрствую с опаскою
И в темноте зубами лязгаю.

Пешт, октябрь — ноябрь 1845 г.

МОИ СНЫ

По временам вот так случается:
Мне снятся ужасы великие —
Один кошмарный сон кончается,
Другой таращит очи дикие.

Героев зла я вижу в пурпуре,
Идут они, земли владетели,
Под их стопами рассыпаются
Растоптанные добродетели.

Я вижу лица бледно-желтые,
Как лунный лик во время холода.
Ну что ж! Лицо вот это каждое
Лупою было в ночи голода.

Блестящих видел лиц немало я,
Благополучием сверкающих,
А на сапожках — шпоры... желтые,
Совсем как лица голодающих.

И видел сильного мужчину я,
Своим же детищем убитого.
А что жена? Рыдает? Мечется?
О жертве тягостной скорбит она?

А! Что жена! Что ей печалиться?
Супруг в бреду предсмертном мается —
С любовником в соседней комнате
Она сейчас уж наслаждается.

Труп похоронен. Ночью темною
Там, в склепе, вся родня шевелится,
Срывает с трупа драгоценности
И мертвеца одеждой делится.

Я вижу страны разоренные,
Где ал закат над эшафотами
И блещет на мече палаческом
Кровь, пролитая патриотами.

Я вижу страны покоренные.
Уже не слышится ни вздоха там.
Умолкли стоны, заглушенные
Насмешливым тиранским хохотом.

Вот каковы мои видения!
Но то, чем полны сновидения,
Не вызывает удивления:
Ведь это — яви отражение.

Мир страшный! Долго ль он продержится?
Уж поскорей низверглось свыше бы
То тело мощное, небесное,
Что землю из орбиты вышибет!

Пешт, октябрь — ноябрь 1845 г.

ВСТРЕЧА В ПУШТЕ

Дремлет пушта, вод озерных глаже.
По дороге в барском экипаже
Кто-то едет так, что не угнаться,—
Будто молнии в упряжке мчатся.
Просто чудо — жеребцов четверка!
Гладок путь — ни ямки, ни пригорка,
Ровен он, как будто половица...
Что же вдруг пришлось остановиться?
Может, что-то в сбруе порвалося,
Либо в грязь заехали колеса?
Вовсе нет! Ни то и ни другое!

Это — пушты детище родное,
Это — пушты грозный повелитель —
Появился молодой грабитель.
Он прицелился из пистолета,
И стоит поэтому карета.
Слышит вдруг бетяр какой-то щебет,
Видно — птица! Но она — не в небе,
А в карете, видимо, таится
И чего-то, видимо, боится.
Вот так птица! Дама молодая!
Прямо как картиночка живая!
«Смилуйтесь!» — щебечет эта птаха
И замолкла, замерла от страха.
Смотрит парень взором восхищенным,
Говорит с приветливым поклоном:
«Вы меня, сударыня, не бойтесь!
Я не задержу вас! Успокойтесь!
Лишь одну мне милость подарите:
Ласково в глаза мне посмотрите!»
Дама с боязливою отвагой
Ласково взглянула на бродягу,
Тот шагает ближе, просит снова:
«Сделайте, прошу, еще одно вы:
Руку вашу мне вы протяните,
Я пожму ее! Вы разрешите?
О, спасибо! И еще с такою
К вам я обратился бы мольбою:
Только раз... а после уезжайте...
Лишь один вы поцелуй мне дайте!»
Заалелась! Что с ней? Застыдилась?
Сердится? О, лишь бы не сердилась!
«Я уж лучше откажусь от просьбы,
Чтоб расстаться в ссоре не пришлось бы!
Коль насильно поцелуй дается,
Он плодом незрелым остается!
Что ж, сударыня! Здоровы будьте
И на веки вечные забудьте
Бедного разбойника, который...»
Он не кончил, дал коню он шпоры,
Прыгнул конь, помчался, будто птица,
Чтоб до ночи не остановиться.

Пешт, октябрь — ноябрь 1845 г.

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Дик зимний мрак. Снежинки это вьются?
Быть может, это помыслы безумца?
А может быть, несутся снежной ночью
Моей души мерцающие клочья?

А полночь близится. Я жду ее. Пусть трое
Восстанут призраков передо мною —
Святая троица, владычившая мною.
Их имена: Любовь, Надежда, Вера...

Они мертвы. Убиты. Я в их помощь
Давно не верю. Но, однако, в полночь
Все трое вылетают из могилы,
Чтоб вновь напомнить то, что прежде было.

Вихрь тучи рвет. Гляжу в морозный воздух.
Вот взор мой затерялся где-то в звездах,
И так багряно лики их трепещут,
Как будто тысячи кровинок блещут.

Кто лжет, что звезд кровавых не бывает?
Ведь на земле так много убивают!
Кровинки Авелей мерцают в небе где-то,
Земля, мошенница, бормочет: «Звезды это!»

Безумец вихрь, ты, воя, треплешь тучи,
Хватая тучи, мне слепишь ты очи
И норовишь мне в волосы вцепиться...
Ах, вырви, лучше вырви мое сердце!

Как бьется сердце! Слушаю, печален,
Как будто камни рушатся с развалин,—
Так молоток стучит по крышке гроба,
И все для погребения готово.

О, грудь моя, о грудь моя — гробница,
Где заживо схороненное сердце!
О, заживо схороненное сердце,
Кто знает, кто, как должен я томиться!

Вот замер вихрь, и месяц меркнет где-то,
И где-то блещет мирный луч рассвета,
Пора домой! Теперь я лечь мечтаю...
Ни мир, ни свет не нужен мне — я знаю!

Салк-Сентмартон, ноябрь — декабрь 1845 г.

СУМАСШЕДШИЙ

...Что пристаете?
Живо вон отсюда!
Я тороплюсь. Великий труд кончаю:
Вью бич пылающий из солнечных лучей,
Им размахнусь, вселенную бичуя.
Они застонут, но захохочу я:
Вы тешились, когда я плакал?
Ха-ха-ха!
Жизнь такова. Мы стонем и смеемся,
Покуда смерть не скажет: «Цыц!»
И я умру однажды, ибо в воду
Мне влили яду те, кто втихомолку
Мое до капли выпили вино.
И что же сделали мои убийцы,
Чтоб скрыть злодейство? Кинулись, рыдая,
На тело распростертое... Хотелось
Вскочить и откусить им всем носы,
Но передумал... Пусть, оставшись с носом,
Задохнутся, вдыхая смрад мой труппый!
Ха-ха-ха!
И где ж меня зарыли? В африканской
Пустыне! Это было мое счастье!
Пришла и из могилы откопала
Меня добросердечная гиена.
Но даже и единственную эту
Я благодетельницу одурачил:
Она хотела сгрызть мне только ляжку,—
Я вместо ляжки сердце ей подсунул

Столь горькое, что сожрала — и сдохла!
Ха-ха-ха!
Ну, что же! С каждым человеколюбцем
Так будет. Что такое человек?
Есть мненье, будто люди — это корни
Цветов, растущих где-то в небесах.
Увы — ошибка! Человек — растенье,
Чьи корни скрыты глубоко в аду!
Мне это откровение преподал
Один мудрец, безумец величайший,
В том смысле, что от голоду пропал.
А почему не убивал, не грабил?
Ха-ха-ха!
И для чего смеюсь я, как безумный?
Ведь плакать следует, а не смеяться,
Оплакивая гнусный шар земной.
Ведь даже бог очами туч рыдает,
Скорбя о том, что землю сотворил.
Но толку нет от этих слез небесных,—
Они на землю падают затем,
Чтоб человечество на них топталось.
И от небесных слез осталось
Что? Только... грязь!
Ха-ха-ха!
О небо! Старый отслуживший воин,
Бреди с медалью солнца на груди!
Иди, бреди, в лохмотья туч укутан...
Вот так солдат в отставку увольняют:
Блестит на ветхом обмундированье
Она — медаль за службу и увечья.
Ха-ха-ха!
А как это понять по-человечьи,
Коль перепелка свищет «пить-палать!»?
О! Это значит:
Избегайте женщин!
Ведь женщина всегда влечет мужчину,
Как море реку.
А с какою целью?
Ну, разумеется, чтоб поглотить!
Зверь — женщина! Красивый и опасный,
Прекрасный и опасный зверь!
Отрава в золотом стакане —
Вот что такое ты, любовь!

Любви малейшая росинка
Убийственнее океана,
Который превратился в яд!
Скажите, видели вы море,
Которое вспахала буря,
Чтоб сеять смерти семена?
Скажите, видели вы бурю?
Ответьте, видели вы вихрь?
Тот вихрь, тот смерч —
Он добрый пахарь:
В его руке из молний бич!
Плоды, созрев, срываются с деревьев...
Ты, шар земной, созрел уже! Пора!
Пора сорваться! Впрочем, жду до завтра,
Но если он не завтра — Судный день,
Тогда до центра я земли дороюсь
И заложу такой заряд
Такого пороха туда,
Что все взлетит под небеса!
Ха-ха-ха!

Салк-Сентмартон,
январь 1846 г.

ПТИЦЫ

Птицы стремятся в отлет —
Время идет
К холодам.
(Будущею весной птицы вернутся к нам.)
Птицы летят и летят... И замечаешь одно,
Только, пожалуй, одно,
Если на птицу глядишь:
Пьет она синюю высь
Где-то у самых границ
Яви и сна.
Жизнь
Мчится вольней и стремительней птиц,
Но ведь не птица она, не возвратится она!

Салк-Сентмартон,
начало марта 1846 г.

ЖИЗНЬ НЕ СТОИТ ДАЖЕ СТОЛЬКО...

Жизнь не стоит даже столько,
Сколько битая кастрюлька,
С дна которой старый нищий
Слизывает крошки пищи.

Салк-Сентмартон,
начало марта 1846 г.

ПРЕКРАСНЫЙ СИНИЙ ЛЕС БЫЛОГО...

Прекрасный синий лес былого давно остался за спиной.
Грядущего посев зеленый — во всей красе передо мной.
И все-таки с былым далеким я не расстанусь никогда,
А будущего не достигну, хоть и вблизи оно всегда.
И вот бреду я по дороге, склонивши голову на грудь,
Здесь, в вечно длящемся сегодня...
Какой глухой, унылый путь!

Салк-Сентмартон,
начало марта 1846 г.

ПАМЯТЬ

О память —
Кораблекрушенья щепы!
Их вынес из пучины шторм свирепый.
Их выбросило на берег волненье!

Салк-Сентмартон,
начало марта 1846 г.

ТАКОЙ БЫ ВИХРЬ ВДРУГ НАЧАЛСЯ...

Такой бы вихрь вдруг начался,
Чтоб раскололо небеса
И вышвырнуло шар земной
Сквозь щель вот эту в мир иной!

Салк-Сентмартон,
начало марта 1846 г.

ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ НА ЗЕМЛЕ!

Все изменилось на земле!
Философ ездил на осле
Когда-то, древле, а теперь —
Ослы обычно
Мчат верхом,
А мудрецы идут пешком.

Салк-Сентмартон,
начало марта 1846 г.

ЧТО СЛАВА?

Что слава? Радуга в глазах,
Луч, преломившийся в слезах.

Салк-Сентмартон,
начало марта 1846 г.

ПЕЧАЛЬ

Печаль — это целое море,
А радость — жемчужина в нем,
Которую часто — о, горе! —
Калечим, пока извлечем!

Салк-Сентмартон,
начало марта 1846 г.

КУДА МЫ ДЕНЕМСЯ?

Куда мы денемся?
Сократ,
От палача принявший яд,
И тот, кто подал чашу с ядом,
Неужто оказались рядом?
Не может быть!
А если — да?
Жаль, что нельзя взглянуть туда!

Салк-Сентмартон,
начало марта 1846 г.

НЕРЕДКО ПОМЕЧТАТЬ О ТОМ...

Нередко помечтать о том
Испытываю я желанье:
Вот рухнуло бы мирозданье,
И точно так, как ныне снег с дождем,
Все звезды сыпались бы градом
Таким вот звездным водопадом!

Салк-Сентмартон,
начало марта 1846 г.

ЧТО ЕЛА ТЫ, ЗЕМЛЯ?

Что ела ты, земля,— ответь на мой вопрос,—
Что столько крови пьешь и столько пьешь ты слез?

Салк-Сентмартон,
начало марта 1846 г.

И ЕСЛИ КТО-ТО ИЗ МОГИЛ...

И если кто-то из могил
Сердца покойников возьмет,
Их вместе свалит и зажжет,—
Кто знает, сколь бы пестрым был
И многоцветным пламень тот!

Салк-Сентмартон,
начало марта 1846 г.

МНЕ КАЖЕТСЯ, НЕ ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК...

Мне кажется, не только человек —
Все в мире старится, всему свой век.
Вот солнце в декабре, оно не старец, что ли?
Как будто поневоле
Он еле-еле
Поднялся в поздний час с постели,
Кой-как взошел на небосвод,
Зло глянул вниз и прочь идет...

В конечном счете мир дождется,
Что вовсе одряхлеет солнце,
И обрастет оно седой
Лучисто-белой бородой!

Салк-Сентмартон,
начало марта 1846 г.

ЗВЕЗДЫ

Я, звезды, обожаю вас!
Я ваш поклонник настоящий,
Я пел о вас уже не раз
И буду петь как можно чаще!
А почему? Ваш свет небесный
Мне говорит, что есть чудесный
Еще какой-то мир иной.
И я доволен: в самом деле,
Хоть надо мной
Есть мир веселья!

Салк-Сентмартон,
начало марта 1846 г.

ЧЕМ КОНЧИТ ШАР ЗЕМНОЙ?

Чем кончит шар земной? Застынет? Загорится?
Мне кажется, он должен льдом покрыться,—
Его оледенит сердец студеных лед!
Они везде! Я потерял им счет!

Салк-Сентмартон,
начало марта 1846 г.

СМОЮТ КОГДА-НИБУДЬ...

Смоют когда-нибудь дочиста
Слезы всего человечества
Грязь со всего человечества?
Вот что узнать мне хочется!

Салк-Сентмартон,
начало марта 1846 г.

БРЕННОСТЬ

О бренность — вот владыка всех владык!
Владеет миром он, а этот мир велик.
Куда б владыка тот ногою ни ступил,
Куда бы ни взглянул,
На что ни наступил —
Все рушится и гибнет до конца,
Валяются повсюду в беспорядке
Корон растоптанных ничтожные остатки,
Увядшие цветы, разбитые сердца.

Салк-Сентмартон, начало марта 1846 г.

ЧТО ЖДЕТ МЕНЯ?

Что ждет меня? О, что меня постигнет?
Подумаю — и в сердце вдруг сумятица.
Оно рванется, затрепещет, прыгнет
И головой отрубленной покатится.

Салк-Сентмартон, начало марта 1846 г.

СНЫ

О сны!
Нет лучшего в природе наслажденья!
Нас в те края уводят сновиденья,
Которых наяву найти мы не вольны!
Бедняк во сне богат,
И холод он и голод забывает,
В своем дворце он по коврам шагает,
Одет в пурпуровый наряд.
Король, покуда спит,
Не судит, не воюет, не казнит,
Объят покоем...
Юнец, любви иссушен зноем,
Во сне найдет к любимой путь,
Придет — и к ней падет на грудь.
А я во сне
Неволи цепь крушу в родной моей стране!

Салк-Сентмартон, начало марта 1846 г.

КОГДА ОНИ ВДВОЕМ...

Когда они вдвоем владели всей землей,
Один не захотел, чтоб рядом был другой,—
Так с Авелем покончил Каин.
Двое на свете останутся —
Вновь друг на друга накинутся,
Поспорят — кто из них хозяин!
И тот, кто не падет в борьбе,
Волчицу в жены возьмет себе.
Быть может, от нее пойдет
Людской не столь свирепый род!

Салк-Сентмартон, начало марта 1846 г.

СЕРДЦЕ

И вырежу я сердце, потому
Что лишь мученьями обязан я ему.
И в землю посажу, чтоб вырос лавр,
Он тем достанется, кто храбр!
Пусть увенчается им тот,
Кто за свободу в бой пойдет!

Салк-Сентмартон,
начало марта 1846 г.

О НОЧЬ НОЧЕЙ...

О ночь ночей, ты в памяти моей!
Как много призраков в тебе, о ночь ночей!
Фантазии родят одна другую тут
И, выросши в зверей, одна другую жрут.
А в сердце буйствует горячечная кровь,
Как в ведьмином котле волшебная вода.
Влечет меня нестись в круговорот миров
Воображения падучая звезда.
Отчаянье ко мне стучится для бесед.
Безумие кричит: я твой сосед!

Салк-Сентмартон, апрель 1846 г.

ЗАЧЕМ ЕЩЕ МНЕ ЖИТЬ...

Зачем еще мне жить на белом свете,
Коль муки все успел я испытать?
Я завершил свой путь. Ведь жалкий смертный
Лишь для того родится, чтоб страдать.
Я видел все, что можно здесь увидеть,
Так для чего живу я, для чего?
Я видел добродетели паденье
И злобы вековое торжество.

Я слышал, как грохочут цепи рабства,
Голодный стон в трущобах слышал я,
И гиканье бесчинствующих слышал,
И слышал я рулады соловья.
В тысячелетьях давних это было,
Еще тысячелетия пройдут —
Все будет так! Все видел я, все знаю...
Чего ж еще? Зачем живу я тут?

Но, может быть, не так уж все печально,
И вижу я вокруг себя печаль
Лишь потому, что мир я наблюдаю
Сквозь черного отчаянья вуаль?
Пусть даже так! Наказан я за это,
И муки наказанья велики —
Злодеи-ангелы горящими когтями
Дерут меня, терзают на клочки!

Разбейся, сердце! Жизнь, умчись из тела!
Земля, мои останки упокой.
Могила, провались! Примчись, о буря,
Могильный холм смети с меня долой!
Умчи его! Сумей рассеять славу
Ты вместе с пылью праха моего.
Пусть все забудут, что существовало
Проклятое такое существо!

Пешт, март — апрель 1846 г.

В ЛЕСУ

Брожу среди дубов
По чаще темной.
Под ними тьма цветов
Пестреет скромно.

Пьянит дыханье смол,
Щебечут птицы.
С жужжаньем туча пчел
В цветах роится.

Не дышится цветам,
Молчат вершины.
Чарует птичий гам
И шум пчелиный.

Быть может, вправду спят
Дубы и клены?
Я тоже сном объят,
Как эти кроны.

Любуюсь сквозь листву
Водой потока,
Бегущей с высоты
Струей широкой.

Гонясь быстрей стрелы
За тенью тучи,
Теченье мчит валы
Воды кипучей.

Я тоже гнался вслед
Душой ребенка,
По молодости лет,
Мечтам вдогонку.

Но я забыл, что шел
Под эти сени,
Чтоб средь жужжанья пчел
Найти забвенье.

Салк-Сентмартон,
апрель 1846 г.

КАК НА ЛЕТНЕМ НЕБЕ...

Как на летнем небе бродят
Облака в извечной смене,
Так приходят и уходят
Наши чувства и влеченья.
Что их гонит и откуда?
Время их пускает в ход,
Время двигает их груду
Ветром вечности вперед.

Облака любви и страсти —
В громе, молниях и ливне.
Тучи дружбы — дней ненастья
Бесконечных заунывней.
Если ж, к радости природы,
Солнца луч на миг блеснет,
Вновь обложит непогода
Облаками небосвод.

Туча может быть и белой,
Но ложится черной тенью.
Доживу ль, чтоб поредело
В небе их нагроможденье?
Чтоб в нахлынувшем мгновенно
Блеске солнечных лучей
Стали облака как стены
Сказочного замка фей?

Но когда-нибудь зардеют
Облака любви и дружбы,
Тут и время подоспеет
Сослужить одну мне службу.
В этот час к моей кровати
Кликните духовника:
Солнце только на закате
Зажигает облака.

Салк-Сентмартон, апрель 1846 г.

МИРОНЕНАВИСТНИЧЕСТВО

Господь небесный, дьяволы и ад!
Что землю ждет? Ведь под любым кустом
Гнездится злобный человекоед —
Такая мизантропия кругом.

О, мироненавистники! Они
Проклятий камни мечут круглый год.
Как будто гниль сквозь гробовую щель,
Их мироненавистничество прет.

Случалось ли вам, судари, любить,
Чтоб в ненависть такую нынче впасть?
Молились вы за счастие людей,
Чтоб вправе быть их всех теперь проклясть?

Дарили человечеству сердца,
А люди зверски растерзали их?
Нет! Миру не дарили вы сердец,
Поскольку не имели таковых!

Их нет у вас! А вот карманы есть,
Есть животы, охота их набить.
Поэтому сердиты вы на мир
И все кругом готовы истребить!

Я тоже ненавидел. Повод был...
Но, подлецы, когда я встретил вас,
От ваших байронических гримас
Вся ненависть моя оборвалась!

И чем настойчивей хотите вы
Жизнь охулить, на ней поставить крест,
Тем более мне нравится она,
Я вижу в ней все больше светлых мест.

Ведь в самом деле этот мир красив,
И каждый год весна красна для всех,
И есть красавицы в любом селе,
И рядом с горем вечно льется смех.

А как смешна сама печаль! Она
Смешна и в торжестве своих побед;
Чернит она белейшие сердца,
А черный волос красит в белый цвет!

Пешт, конец апреля 1846 г.

СУДЬБА, ПРОСТОР МНЕ ДАЙ!..

Судьба, простор мне дай! Так хочется
Хоть что-то сделать для людей,
Чтоб это пламя благородное
Не тлело зря в груди моей!

Огонь недаром в жилах мечется,
И сердце яростно стучит,—
Мольбой за счастье человечества
Любой удар его звучит.

О, если бы не разговаривать,
А действовать пора пришла,—
Пусть даже и Голгофа новая
Наградой будет за дела!

Погибнуть ради человечества!
Какая радостная смерть!
Во много раз прекрасней это,
Чем в сладострастии хмелеть.

О, дай, судьба, мне подтверждение,
Что будет смерть моя такой,—
И крест для своего распятия
Воздвигну собственной рукой.

Пешт, конец апреля 1846 г.

МОИ ПЕСНИ

Часто я, задумавшись, мечтаю,—
А о чем, пожалуй, сам не знаю.
И витаю над родной страною,

И над всей поверхностью земною,—
И такая песня вдруг родится,
Лунный луч как будто серебрится.

Чем мечтать, задуматься бы лучше
О грядущих дней благополучье...
Но к чему? И так заботы много!
Лучше уж надеяться на бога —
Пусть хранит! И тут в душе родится
Песня, беззаботная, как птица.

Вот спешу я на свиданье с милой,—
Все заботы я зарыл в могилу,
В очи милой погружу я взоры,
Точно звезды в тихие озера.
И готова в розу превратиться
Песня, что в душе моей родится.

Я любим! Вскипай, вино, в бокале!
Разлюбила? Выпьем в знак печали!
Вы согласны: если пахнет хмелем,
Значит, дело кончится весельем!
И когда иду я веселиться,
Песня-радуга в душе моей родится.

Вот в руках у нас сверкают чаши,
Но в цепях рука отчизны нашей,
И чем звон бокалов веселее,
Тем оковы эти тяжелее.
Песня-туча в этот миг родится,
Черная, в душе моей гнездится.

Что ж вы рабство терпите такое?
Цепи сбрось, народ, своей рукою!
Не спадут они по божьей воле!
Ржа сгрызет их — это ждете, что ли?
Песнь моя, что в этот миг родится,
В молнию готова превратиться!

Пешт, конец апреля 1846 г.

РАБСТВО

(Отрывок)

Как весел мир! Он вечно веселится,
Он вечно пляшет, вечно возбужден.
Но попытайтесь истины добиться:
Действительно ли радуется он?
Какое там! Не верю я ни крошки!
В отчаянье еще мы веселей!
Мы потому так громко бьем в ладошки,
Чтоб не услышать звон своих цепей.
Мир — узник! Руки, ноги цепь сковала.
Сковала душу бы... да вот души не стало.

Пешт, июнь — август 1846 г.

ЛЮБЛЮ Я...

Люблю я, как никто, пожалуй,
Еще на свете не любил.
Но не земному идеалу
Я это чувство посвятил.

Одну изгнанницу-богиню
Люблю, превозношу и чту.
Люблю свободу, но доныне
Во сне лишь вижу, как мечту.

Зато во сне я постоянно
Встречаюсь с милою своей.
Сегодня посреди поляны
Я ночью объяснялся с ней.

Я стал пред нею на колени
И, ей изливши чувств поток,
Нагнулся, чтобы в заключенье
Сорвать на память ей цветок.

Но тут палач ударил сзади,
Скатилась голова моя,—
Взамен цветка своей отраде
Ее поднес с поклоном я.

Пешт, июнь — август 1846 г.

НАРОД

За плуг держась одной рукою,
Другой — он меч берет.
Народ наш бедный, добрый — вот он!
Всю жизнь свою вот так и льет он
И кровь свою, и пот.

А что за это достается?
Одежда и еда!
Земля тот дар ничтожно малый
Производила бы, пожалуй,
И без его труда.

Народ с врагами бьется люто.
За что ж он в бой идет?
За родину? Забавно, право!
Ведь родина — лишь там, где право,
А прав лишен народ!

Пешт, июнь — август 1846 г.

НА ХЕВЕШСКОЙ РАВНИНЕ

Бледнеющие Матры
Степная даль туманит.
Садящееся солнце
Их синий лоб румянит.

Снега в огне заката
Подобны синеглазой
Красавице в вуали
Из розового газа.

Телеги тарахтенье,
Пощелкиванье плети,
И ни души, ни звука
На целом белом свете.

Садится солнце. Свежесть
Сменяет дня удушье.
Вдали на горизонте
Горит костер пастуший.

Костер ли это, или
Звезда на самом деле,
Сошедшая на землю
Послушать плач свирели?

Взошла луна, бледнее,
Чем в гробовых покровах
Умершая невеста
В объятьях жениховых.

Она, быть может, вправду
Тень мертвой нареченной,
На крыльях духа к небу
Из гроба вознесенной?

Как вид ее печален!
Я от лучей унылых,
Меня привороживших,
Глаз отвести не в силах.

Как вид ее печален!
В нее глаза вперяя,
Я самый страшный в жизни
Свой час припоминаю.

Не знаю, что со мною:
Луна ли виновата,—
Но хочется мне плакать,
Как плакал я когда-то.

Пешт, конец августа 1846 г.

СОЛОВЬИ И ЖАВОРОНКИ

Эй вы, поклонники луны,
Вы, песнопевцы старины!
Ведь сметена
Вся старина
Смертельною волной событий!
А вы? Когда ж вы разорите
Свое гнездо среди руин,

Где все вы на мотив один
Кричите, как слепые совы!
О, хор нестройный, бестолковый!

И все-таки поют они,
В глазах у них блестят огни.
Что это? Вдохновенье? Слезы?
Нет, это все — пустые позы!
Лжевдохновение горит!
Никто не поблагодарит
За песнь, которую вы спели!
Кто вы такие в самом деле?
Толпа кладбищенских воров,
Таскающая из гробов
Тлен времени, чтоб этот тлен
Перепродать, пустить в обмен
На ветки лавра для венцов!
А мне не нужен лавр такой —
Он в плесени, он тленьем пахнет!
Ведь прозябает род людской,
Болеет всюду он и чахнет.
Как в лихорадке белый свет,
И вся земля как лазарет.

Что с нацией?
Она
Больна!
В беспамятстве лежит страна,
Она беспомощна в бреду —
В раю очнется иль в аду?
Беда!
Но небо никогда
Не бросит сыновей своих —
Оно врача пошлет для них,
Оно спешит на помощь, зная,
Как бесконечна боль людская!
И должен этот врач прийти.
Он, этот врач, уже в пути,
О нем повсюду говорят,
Он завтра встанет на пороге,
Коль палачи не преградят
Ему дороги!

К тебе несется песнь моя.
И вдохновляешь ты меня,
Ты душу радуешь мою,
И за тебя я слезы лью,
И жду я твоего прихода,
Грядущее, великий врач
Людского страждущего рода!

А вам, певцы могильной тени,
Пора молчать,
Пора молчать!
Пусть эти ваши песнопенья
Душе приносят исцеленье
Иль душу будут вам терзать,
Как соловьи, но соловьям
Петь подобает по ночам,
А близится уже рассвет!
Не соловьиная, о, нет,
А жаворонка песнь нужна
Всем людям в наши времена!

Сатмар, начало сентября 1846 г.

В НАДЬ-КАРОЕ

7 сентября 1846 г.

О Кёльчеи, здесь произнес ты
Слова великие... А ныне
Неужто люди не боятся
Над этим местом надругаться,
Так страшно осквернить святыню!

Вы не боитесь, что из гроба
Восстанет призрак величавый,
И будет разговор короткий:
Чтоб вы замолкли — всех за глотки
Возьмет он вас рукой костлявой!

Нет! Он могилы не покинет...
Но, что бы вы ни говорили,—
Я знаю: об отчизне нашей,
В ужасной подлости погрязшей,
Он горько плачет там, в могиле!

Ведь подхалимство, ведь лакейство,
Приниженность — залог удачи!
И что ни день — покорней всё вы!
Коль быть собаками готовы,
Так и скачите по-собачьи.

О боже! Всем илотам этим
Ярмо на шею дай в награду,
Тирана ниспошли им злого,
Чтоб заковал он их в оковы
И бил нагайкой без пощады.

КАНДАЛЫ

За вольность юноша боролся —
И брошен, скованный, в тюрьму;
И потрясает он цепями,
И цепи говорят ему:
«Звени, звени сильнее нами,
Но в гневе проклинай не нас.
Звени! Как молния, в тирана
Наш звон ударит в грозный час!

Ужель тебе мы не знакомы?
Когда за вольность шел ты в бой,
Мечом в руке твоей мы были,
Врага рубили мы с тобой.
Так вот где встретил ты, страдалец,
Свой верный меч на этот раз!
Звени! Как молния, в тирана
Наш звон ударит в грозный час!

Да, из меча превращены мы
В оковы гнусною рукой.
О, горе! Мы томим в неволе
Того, с кем шли за вольность в бой,
И эта ржа — багрянец гнева,
Стыда, что тайно гложет нас.
Звени! Как молния, в тирана
Наш звон ударит в грозный час!

Надь-Карой, начало сентября 1846 г.

ДЕВОЧКА МОЯ, СМУГЛЯНКА...

Девочка моя, смуглянка,
Ты — источник света,
Ты — одна моя надежда!
Коль надежда эта
Ни при жизни, ни за гробом
Не осуществится —
Значит, вечно, бесконечно
Буду я томиться!

Вот под ивою плакучей
Встал на берегу я,
И найти соседки лучшей
В мире не могу я.
Ветви той плакучей ивы
Свесились в бессилье,
Как моей души поникшей
Сломанные крылья.

Осень. Отлетает птица.
Эх, вот так бы в небо
Из обители печали
Улететь и мне бы!
Но огромен край печали,
Как любовь... Любви же,
Ах, любви моей великой
Я границ не вижу!

Эрдёд, конец сентября 1846 г.

РОЗАМИ МОЕЙ ЛЮБВИ...

Розами моей любви
Устланное ложе!
Снова душу положу
К твоему подножью.
Укачает ли ее
Ветерок пахучий
Или глубоко пронзит
Длинный шип колючий?

Все равно, душа, усни,
Утопая в розах,
В сновиденья погрузись,
Затеряйся в грезах.
Слово мне во сне найди,
Чтоб оно вместило
Все, что рвется из груди
С небывалой силой.

Падь-Баня,
конец сентября 1846 г.

ДНЕЙ ОСЕННИХ ПРОЗЯБЛЬЕ...

Дней осенних прозябанье.
Солнце прячется в тумане,
Мелкий дождик сеет,
Пасмурно и мрачно,
И камин не греет
В комнате невзрачной.

Окна, дверь прикрыл от стужи
И не выхожу наружу.
Примостился с краю
У огня камина
И перебираю
Прошлых лет кручины.

А воспоминаний — кучи!
Я сгребаю их, как сучья,
К печке ворохами
И спешу в вязанки,
И бросаю в пламя
Дней былых останки.

А от них-то дыму, дыму!
Что же, это объяснимо.
Но сырыми стали
Ветки не от ливней,
Ливших непрерывно,
А от слез печали.

И сейчас в слезах ресницы.
Если б вместе очутиться,
Ты б улыбкой милой
Тотчас втихомолку,
Как платком из шелка,
Их бы осушила.

Чеке, начало октября 1846 г.

НАВИСАЮТ ОБЛАКА...

Нависают облака,
На деревьях — ни листка,
Дождь осенний льет и льет...
Все же соловей поет.

Время к ночи, поздний час...
Девочка, ты спишь сейчас
Или слышишь, как и я,
Грустный голос соловья?

Дождь осенний льет и льет,
Соловей поет, поет.
Если слушать голос тот —
Сердце скорбью изойдет.

Если, девочка, не спишь,
Душу ты мою услышь:
Это ведь любовь моя —
Скорбный голос соловья.

Чеке, начало октября 1846 г.

ЛЮБИШЬ ТЫ ВЕСНУ...

Любишь ты весну, а я —
Осень, сумрак, тени.
День весенний — жизнь твоя,
А моя — осенний.

Ты румяна, как весной
Роза молодая.
Луч осенний, спутник мой,
Гаснет, поникая.

Стоит сделать шаг один,
Шаг один небрежный,—
И в гостях я у седин,
У зимы у снежной.

Если б я шагнул назад,
Ты — вперед,— мы двое
Об руку вошли бы в сад,
В лето огневое.

Сатмар,
начало октября 1846 г.

В АЛЬБОМ БАРЫШНЕ Ю. С.

Облакам не объясняют:
«На восток передвигайтесь,—
Это родина рассвета,
А рассвет бросает розы,
Розы радости в лицо вам».
Облака и без указки
Тянут все равно к востоку,
Подчиняясь безотчетно
Тайному веленью духа.
Облака к востоку тянут
И, когда достигнут цели,
Окунаются с разбегу
В красный океан восхода.
После этого купанья
Их уже не занимает:
Долго жить или погибнуть
И какие испытанья
Ожидают их в дороге.
Если вечером, быть может,
Ветер их истреплет в клочья,
Все равно на миг пред смертью

Загорятся вновь их лица
В память юности минувшей,
Просиявшей на рассвете.
Так я тоже перенесся
На восток веленьем духа

Сатмар, 8 октября 1846 г.

ВО СНЕ Я ВИДЕЛ МИР ЧУДЕС...

Во сне я видел мир чудес.
Мечта моя была светла.
Проснулся я — и сон исчез.
Зачем меня ты подняла?
Мне снилось счастие, представь,
Которого не знает явь.
Ты потревожила мой сон,
Он прерван по твоей вине.
О, боже, боже, и во сне
Я счастья должен быть лишен!

«Я не люблю тебя»,— не раз
Ты признавалась невзначай.
Я сомневался, но сейчас
Мне ясно все. Не повторяй,
Мне ясно все в моей судьбе:
Не вписан в сердце я тебе.
Уйти? Остаться? Как ты зла!
Остаться? Видеть холод твой
И развлекать тебя тоской,
Которую ты принесла?

Нет, это слишком. Ты не зверь,
Не каменная, не из льда.
Нам надо разорвать теперь,
Расстаться надо навсегда.
Как в бурю пыль, в чужой предел
Я б вихрем от тебя летел,
Но я отяжелел от слез.

Удар согнул меня в дугу,
И я подняться не могу,
Как будто я к земле прирос.

Итак, прощай! О, горе мне!
Как произнес я этот звук?
Зачем, раздавшись в тишине,
Меня не умертвил он вдруг?
Прощай! Нет, не бывать тому.
Дай руку я твою сожму,
Чтоб всю слезами без числа
И поцелуями покрыть,
Хоть этою рукой ты нить
Моей судьбы разорвала.

Что жарче? Слезы? Поцелуй?
Сравни их горький жар, сличи.
Гордиться можешь, торжествуй:
Они, как лава, горячи.
Как дышит пламенем вулкан,
Они — со дна сердечных ран.
Ты как гостей их добрых встреть.
Как странники к святым местам
Они спешат к твоим рукам,
Чтобы у цели умереть.

Прошу тебя... О, не страдай,
Не бойся — речь не о любви,
Речь о другом: не забывай
И нити памяти не рви.
И если только эту нить
Ты будешь до тех пор хранить,
Покамест новый человек
Тебе не перевесит всей
Минувшей верности моей,
Меня ты не забудешь век.

Сказал ли я, чтоб никогда
Ты больше не нашла друзей?
Могу ли я желать вреда
Владычице души моей?
Пусть жизнь тебе, наоборот,
Не истощаясь, счастье шлет,

И, ею пользуясь вполне,
Срывай цветы, а в должный срок
Брось, как увянувший венок,
Воспоминанья обо мне.

Сатмар, середина октября 1846 г.

КОГДА СОРВЕТ СУДЬБА...

Когда сорвет судьба
Оковы с ног раба,
Он долго на ногах
Их чувствует обузу,—
Так он, бедняк, привык
К мучительному грузу.

Ты, сердце, много лет
Терпело столько бед,
Что, наконец, когда
Сошла к тебе отрада,
Ты радо,— но не так,
Совсем не так, как надо.

О сердце, веселись!
Гляди же, оглянись:
Кому еще судьба
Здесь выпала такая?
Кто на земле достиг
Еще такого рая?

Колто, конец октября — начало ноября 1846 г.

НЕПРИЯТНО ЭТО УТРО...

Неприятно
Это утро,
Необъятна эта муть.
Дождик льется,
Будто хочет
Сам в той мути утонуть.

В это утро
В хмуром доме
Я да скука — двое нас.
Отвратительная
Гостья,
Обману тебя сейчас!

Я с таинственной улыбкой
Прошепчу:
«Душа, лети
Далеко
На милый запад
По воздушному пути!

К старикам
Под кров родимый
Ты, душа моя, лети,
Прилети
К моей любимой,
Всех, кто мил мне, посети.

И обратно
Возвращайся
В час, когда сгустится мгла,
Как с цветочным
Сладким соком
Возвращается пчела!»

Колто, конец октября —
начало ноября 1846 г.

МЕЧТАЮ О КРОВАВЫХ ДНЯХ...

Мечтаю о кровавых днях:
Они разрушат все на свете,
Они на старого руинах
Мир сотворят, что нов и светел.

Звучала б лишь, о, лишь звучала б
Труба борьбы, все громы множа.
О, знака битвы, знака битвы
Едва дождаться сердце может!

И вскакиваю я в восторге
На жеребца, седла не чуя,
В ряды бойцов скачу я с жаром,
С свирепой радостью лечу я.

И если грудь пробьют мне пули,—
Найду, кто рану забинтует,
Кто будет боль моих ранений
Лечить бальзамом поцелуев.

И есть кому — в плену ли буду —
Прийти в темницу, к изголовью,
И осветить ее, как светом
Звезды предутренней,— любовью.

На плахе если же умру я,
Под боевой паду ль грозою,—
Найдется, кто с груди пробитой
Кровь смоет светлою слезою.

Беркес, 6 ноября 1846 г.

ГРАФУ ШАНДОРУ ТЕЛЕКИ

Ты, изучая книгу рода,
Обильем предков утомлен,—
А я, по правде, и не знаю,
Кем был мой дед, что делал он.
В дворце на бархатных пеленках,
В сиянье люстр рожден ты был,—
А я родился на соломе,
Светильник в хижине коптил.
В карете мчишь ты на прогулку,
Чудесны кони, кучер лих,—
Я по-апостольски гуляю,
Хожу я на своих двоих!
Ты утопаешь в изобилье,
Всё, всё спешат тебе подать,—
А я сейчас вот сыт, но завтра,
Быть может, буду голодать.

Короче: ты — магнат, я — пищий!
Но говорю тебе — гордись,
Милейший граф, мой добрый тезка,
Что мы с тобою обнялись:
Не выпадет такого счастья
Салонному пустому льву,
Чтоб называл его я другом,
Вот как тебя сейчас зову!
К чему все это? Нет, не стану
Вести твоих достоинств счет...
Гордись хотя бы тем, что имя
Твое в стихах моих живет!

Колто, 7—10 ноября 1846 г.

НОЧЬ ЗВЕЗДНАЯ, НОЧЬ СВЕТЛО-ГОЛУБАЯ

В окне раскрытом блещет ночь без края,
Ночь звездная, ночь светло-голубая.
Безмерный мир простерся между ставен.
Мой ангел красотою звездам равен.

Ночь звездная и ангел мой — два дива,
Затмившие все, чем земля красива.
Красот я много видел средь скитаний,
Но ни одной не встретил несказанней.

Бледнеет тонкий серп луны и скоро
Зайдет за синий выступ косогора.
Как горя след забытый, незаметно
Совсем исчез он в дымке предрассветной.

Уже почти над головой Стожары,
Достигло пенье петухов разгара,
Проснулся день, и свежий ветер, вея,
Легко мне обдувает лоб и шею.

Пора бы растянуться на кровати
И от окна уйти. Но сон некстати.
Зачем мне спать? Какой мне сон приснится,
Который с жизнью наяву сравнится?

Колто, 7—10 ноября 1846 г.

В АЛЬБОМ БАРЫШНЕ Р. Э.

Весною выбеги на волю.
Послушай, как полно раздолье
Вечерним лепетом ручья,
Прохладой, полем, ароматом
Цветов, угасшувшим закатом,
Луною, пеньем соловья!
Как звезды слушают с любовью
Его почное славословье,
И сколько па земле добра!
Вбирай его в себя и слушай,
И, пропитав вселенной душу,
Беги домой, спи до утра,—
И пусть с тобою все случится,
Что в эту ночь тебе приснится.

Дебрецен, 15 ноября 1846 г.

Я ДОМОЙ ВЕРНУЛСЯ...

Я домой вернулся, бросил
Посох странника... А лиру
В руки взял... Она молчала...
Вот и снова зазвучала,
Чтобы песню спел я миру.

Скорбные найду я струны,
Пальцы этих струн коснутся,
И от пальцев эти струны,
А от струпных звуков сердце —
Содрогнутся, разорвутся.

Был я всюду, видел много,
Но одно познал в печали:
Что страна теряет силы,
Что стоим мы у могилы,
Что мадьяры измельчали.

Вся законность наша — рынок,
Где и честь и полномочья —
Купишь все без исключенья

За чины, за угощенье...
Эй, отчизна, доброй ночи!

Не с высот падем мы в бездну,
Чтобы утонуть в пучине,
Как подстреленная птица...
Можем ли с высот свалиться,
Коль высот не знаем ныне?

Мы — как низменные черви
Посреди дорожной пыли!
Ведь достоинства людского
Не найдешь в нас никакого,—
Как червей нас и давили!

Горе сыновьям отчизны!
Горе тем, кто непослушны,
Кто свою отчизну любит
И не смотрит равнодушно,
Как страну родную губят.

Пешт, конец ноября 1846 г.

КУСТ ЗАДРОЖАЛ...

Куст задрожал оттого,
Что птичка задела листы.
Сердце дрожит оттого,
Что мне припомнилась ты,
Снова припомнилась ты —
Девочка с нежной душой,
Самый большой алмаз
В этой вселенной большой.

Полон до берегов
Наш многоводный Дунай,
Сердце мое любовью
Пенится через край.
Любишь ли ты меня?
Как я люблю тебя!
Сильней, чем отец твой и мать,
Могут любить тебя.

Прежде,— счастливое время! —
Прежде меня ты любила.
То было теплой весною,
Нынче зима наступила.
Если не любишь меня –
Благослови тебя бог!
Если ты любишь — стократно
Благослови тебя бог!

Пешт, конец ноября 1846 г.

ДУША БЕССМЕРТНА

Что душа бессмертна — знаю!
Но не где-нибудь на небе,
А вот здесь, на этом свете,
По земле она блуждает.
Между прочим, вспоминаю:
Кассием я звался в Риме,
В Альпах был Вильгельмом Теллем
И Камиллом Демуленом
Был в Париже,— и возможно,
Здесь я тоже кем-то стану!

Пешт, конец ноября 1846 г.

ВЕНГЕРСКАЯ НАЦИЯ

Обойдите земли этой
Богом созданной планеты,
Не отыщете вы наций,
Что с венгерскою сравнятся.
Как с ней быть, что делать с нею?
Презирать ли, сожалея?
Край же, рассуждая строго,
Как букет на шляпе бога.
Дивный край, подобье сада,
Глазу и душе отрада.
А богатство! Ветру бросив
Океан своих колосьев,
Зыблется и золотится

На полях ее пшеница.
А сокровищ сколько щедрых
В рудниках и горных недрах!
То добро, что там таится,
И во сне вам не приснится.
Но народ средь пив богатых
Ходит сиротой в заплатах,
Терпит голод, униженье
И идет к уничтоженью.
Перлы мудрости бесплодно
Прячутся в душе народной,
Если же из тьмы дремучей
Их наверх выносит случай,
Никого они не тронут
И в грязи безвестно тонут.
Или горькая судьбина
Их уносит на чужбину
В глубь хранилищ заграничных
И трудов иноязычных.
И когда мы там свой гений
Открываем в изумленье,
Рады мы, что это чудо
Перешло туда отсюда.
Вот та гордость, смысл которой
Равен горькому позору,
И которой, как величьем,
Все мы в нос друг другу тычем.
Чем хотите тешьте сердце,
Но не гордостью венгерца.
Вот уже тысячелетье
Обжили мы земли эти.
И когда бы нас не стало,
По каким чертам анналы
Сохранят векам известье
О венгерцах в этом месте?
Что внесли мы за событья
В ход всемирного развитья?
Чем мы можем на странице
Летописи похвалиться?
Вот что скажут летописцы:
«Здесь селилось возле Тисы
Племя, сотни поколений,
В вечной трусости и лени».

Родина! На наше имя
Брось два-три луча, и ими
Вновь зажги под мутью ржавой
Чести блеск и доброй славы!

Пешт, декабрь 1846 г.

ОДНО МЕНЯ ТРЕВОЖИТ...

Одно меня тревожит: неужели
Среди подушек я умру в постели;
Увяну тихо, как цветок, точимый
Какой-то тлёю, еле различимой;
Истаю, как свеча средь комнаты пустой...
Нет, господи, хочу кончины не такой!
Пусть буду я как дуб, а смерть — как молний
пламя;
Пусть буря налетит и вывернет с корнями:
Пусть буду, как утес, низвергнут я с высот
Грозой, которая все в мире потрясет
От недр земных до небосвода!
Когда невольники-народы
Терпеть не пожелают боле
Постыдного ярма неволи
И выступят на поле брани
Под красным знаменем восстанья,
И гневом воспылают лица,
И на знаменах загорится
Святой девиз: «Свобода мировая!»;
Когда от края и до края
С востока к западу раздастся трубный глас
И при последнем издыханье тираны ринутся
на нас,—
Пусть упаду тогда я,
Пусть хлынет кровь младая,
Из сердца моего пускай она польется!
И если с уст моих крик радости сорвется,
Пускай его поглотит канонада!
Я упаду! Жалеть меня не надо!
К победе завоеванной скача,
Меня растопчут кони сгоряча.
...Настанет день великих похорон,—

И мой найдется прах, и собран будет он
И унесен под траурное пенье
В сопровожденье траурных знамен
К могиле братской всех сынов народа,
Погибших за тебя, всемирная свобода!

Пешт, декабрь 1846 г.

ЛЮБОВЬ И СВОБОДА...

Любовь и свобода —
Вот все, что мне надо!
Любовь ценою смерти я
Добыть готов,
За вольность я пожертвую
Тобой, любовь!

Пешт, 1 января 1847 г.

МУЖЧИНА, БУДЬ МУЖЧИНОЙ...

Мужчина, будь мужчиной,
А куклой — никогда,
Которую швыряет
Судьба туда-сюда!
Отважных не пугает
Судьбы собачий лай,—
Так, значит, не сдавайся,
Навстречу ей шагай!

Мужчина, будь мужчиной!
Не любит слов герой.
Дела красноречивей
Всех Демосфенов! Строй,
Круши, ломай и смело
Гони врагов своих,
А сделав свое дело,
Исчезни, словно вихрь!

Мужчина, будь мужчиной!
Ты прав — так будь готов,
Отстаивая правду,
Пролить за это кровь!

И лучше сотню раз ты
От жизни откажись,
Чем от себя! В бесчестье
К чему тебе и жизнь!

Мужчина, будь мужчиной!
Ведь не мужчина тот,
Кто за богатства мира
Свободу отдает!
Презренны — кто за блага
Мирские продались!
«С котомкой, но на воле!» —
Пусть будет твой девиз.

Мужчина, будь мужчиной!
Отважен будь в борьбе.
И ни судьба, ни люди
Не повредят тебе!
Будь словно дуб, который,
Попав под ураган,
Хоть выворочен с корнем,
А не согнул свой стан!

Пешт, январь 1847 г.

КУТЯКАПАРО

Бог весть где шинок затерян.
Ошибется каждый,
Кто здесь утолить намерен
Голод или жажду.
Пить захочешь на ночлеге —
Проклянешь с досады
Ноя, спасшего в ковчеге
Ветку винограда.

Длинный узкий стол в трактире
Поперек каморки
Так и рухнет, растопыря
Хилые подпорки.

Вдоль стола по стенке криво
Лавка протянулась,
Но не от гостей наплыва,
А от лет согнулась.

Тут же рядом край постели;
Свежесть одеяла
Никого еще доселе
Спать не побуждала.
Как у сгорбленной торговки,
У кирпичной печи
Трещины на облицовке
И вдавились плечи.

Сам корчмарь молчит, ни звука
Не издаст годами.
Рот дан чудаку, чтоб скуку
Выражать зевками.
Деметер угрюм и жалок,
А жена — на славу.
Меж былых провинциалок
Почиталась павой.

Но лишенья потрепали
Бедную корчмаршу,
Хоть пяти десятков краля,
И никак не старше.
Взбиты волосы растрепы,
Словно от погони,
И лицо страшней циклопа —
Пугало воронье.

Все ворчит, что власти строги,
Что буянов стаю
И воров с большой дороги
Истребили в крае.
В золотые дни разбоя
Был барыш солидный,
А теперь житье какое?
Пятака не видно.

Так идут дела в питейной
В полусне и дреме,
Чередой однолейной
Во дворе и в доме.
Лишь одно окно в светлице,
Да и то разбито.
Календарною страницей
Скважина прикрыта.

Я был крошкой без штанишек
В день, когда на пасхе
Ливень смыл с корчмы излишек
Извести и краски.
Но, наверное в отплату
За ее пропажу,
На простенках чертенята
Выведены сажей.

Вместо вывески над зданьем
Обруч с тонкой жердью,
Словно висельник, качаньем
Говорит о смерти.
Сам корчмарь от прежней славы
Сохранил немного:
Заспанного волкодава
Дома у порога.

Какова корчмы картина,
Такова и местность.
Лишь холмы грядой пустынной
Бороздят окрестность.
На песчаных их вершинах,
Где лишь ветры косят,
Несколько кустов бузинных
Ягоды приносят.

Здесь колоколов далекий
Отзвук умирает.
Залетевшая сорока
В страхе улетает.
Даже солнце дышит грустью
И глядит унылей
На корчму и захолустье
Из-за тучи пыли.

В ста шагах от поворота
Статуя святого;
На плечо повесил кто-то
Ей мешок холщовый.
Это словно увещанье:
«Не мечтай о многом!
Не дождешься подаянья,
Проходи-ка с богом!»

Пешт, январь 1847 г.

ГРУСТНАЯ НОЧЬ

Вот опять я бодрствую средь ночи —
Мысль баюкаю, уснуть она не хочет.
Что с отчизной будет, что — со мною?
Ведь и так сомнений много в жизни,
Что ж на плечи взял еще одно я?
Ты томишь меня, любовь к отчизне!

Видно — такова судьба поэта!
Ведь как будто в океане где-то
С бурями он борется все время,
А выходит на берег скиталец —
Вновь тревога: что же будет с теми,
Кто на кораблях еще остались?

Эх, отец, зачем послал учиться?
Лучше б мне за плугом волочиться!
Фея книг прелестна, но жестока:
Глянешь в книгу — фея схватит душу
И на звезды вознесет высоко,
И не спустит, а столкнет, обрушит!

Чем склоняться к этим самым книгам,
Глянь на солнце и ослепнешь мигом.
Ну, а книга, коль сидеть над нею,
Дальнозоркость сообщает оку:
Все на свете кажется крупнее
И милей... коль смотришь издалека.

Ах, остаться, ах, остаться мне бы
Земледельцем, как велело небо,
Не была бы вот такой тяжелой
Эта ночь, что бесконечно длится,
Сны да грезы с песнею веселой
Надо мной летали бы, как птицы!

Был бы пахарем иль стадо пас я,
Где-то в пуште я нашел бы счастье,
Шло бы с колокольчиками стадо,
Я в кусты залег бы, где прохлада...
Свищет флейта — вот и сердце радо,
Слушателей вовсе и не надо!

В воскресенье можно нарядиться,
Поджидает пастуха девица;
Хороша она, трудолюбива
И свежа, как веточка весною,
С ней проводит день пастух счастливо,—
Вот и верит в счастье мировое!

Пешт, январь 1847 г.

ДВОРЕЦ И ХИЖИНА

О замок, чем гордишься ты?
Ты чванен, как владелец твой,
Который всю свою ничтожность
Скрыл под алмазной мишурой.
А если мишуру срываем мы
С кафтана, с шляпы, с голенищ,—
Воистину неузнаваемый
Стоит владетель, духом нищ.

А как возвысился ничтожный?
Как раздобыл он силу, власть?
О, так же, как и ястреб птичку,
Чьей кровью он напьется всласть.
Мчит ястреб, горлинку преследуя,
А где-то в гнездышке птенец
Ждет мать свою, еще не ведая,
Что ей пришел уже конец!

Дворец! Все то, чем ты богат,
Разбоем приобретено.
Но не гордись богатством этим,—
Дни сочтены твои давно!
Надеюсь, что увижу скоро я
Твои руины, исполин,
А также черепа, которые
Покоятся среди руин.

А ты поблизости дворца,
О хижина, бедна ты столь,
Что прячешься среди деревьев
От скромности. Но ты позволь,
Непритязательная хижина,
Войти в тебя. Ведь наконец
Под этим кровом и увижу я
Пыланье трепетных сердец.

Свят небогатый сей очаг!
Я преступил через порог.
Не под соломенным ли кровом
Порой рождается пророк?
Спаситель вышел в мир из хижины,
Из хижин вышли мудрецы,
И все ж забиты и обижены
Вы, хижин скромные жильцы!

Не бойся, бедный, добрый люд!
Все ближе он, счастливый час.
Страдали встарь вы, бьетесь нынче,
Зато грядущее — для вас!
Да! Преклоню свои колени я,
Вошедши в скромное жилье.
О, дайте мне благословенье,
А я вам подарю — свое!

Пешт, январь 1847 г.

ПЕСНЯ СОБАК

Воет вихорь зимний
В облачные дали,
Близнецы метелей —
Дождь со снегом валят.

Нет забот нам — угол
В кухне есть согретый,
Господин наш добрый
Дал нам место это.

О еде забот нет,—
Ест хозяин сладко,
На столе хозяйском
Есть всегда остатки.

Плеть — вот это правда —
Свистнет — так поплачешь!
Но хоть свистнет больно —
Кость крепка собачья.

Господин, смягчившись,
Подзовет поближе,
Господина ноги
Мы в восторге лижем!

Пешт, январь 1847 г.

ПЕСНЯ ВОЛКОВ

Воет вихорь зимний
В облачные дали,
Близнецы метелей —
Дождь со снегом валят.

Горькая пустыня —
В ней нам век кружиться,
В ней куста нет даже,
Где б нам приютиться.

Здесь свирепый холод,
Голод в брюхе жадный,—
Эти два тирана
Мучат беспощадно.

Есть еще и третий:
Ружья с сильным боем.
Белый снег мы кровью
Нашей красной моем.

Хоть прострелен бок наш,
Мерзнем днем голодным,
Пусть в нужде мы вечной,
Но зато свободны!

Пешт, январь 1847 г.

ПОЭТАМ XIX ВЕКА

Не для пустой забавы ной
В угоду суетному миру!
Готовься к подвигу, поэт,
Когда берешь святую лиру.
И если хочешь воспевать
Свою лишь радость и страданья,
Не оскверняй заветных струн,—
Нужны ль тогда твои созданья?

В пустыне знойной страждем мы,
Как Моисей с его народом,—
За божьим огненным столпом
Он шел по землям и по водам.
А ныне огненным столпом
Поэт людей ведет в пустыне.
Господь поэту повелел
Вести их к новой Палестине.

Иди же, если ты поэт,
С народом сквозь огонь и воду!
Проклятье всем, кто, кинув стяг,
Изменит своему народу!
Проклятье всем, кто отстает!
Проклятье трусости и лени,
И тем, кто, бросив свой народ,
Ушел искать прохладной тени!

Пророки лживые твердят,
Что мы пришли в предел желанный,
Что здесь окончен долгий путь
И мы — в земле обетованной.
Ложь! Говорю вам: это ложь!

Не миллионы ль страждут ныне
И терпят голод, жажду, зной,
Скитаясь в огненной пустыне?

Когда любой сумеет брать
От счастья полными горстями,
Когда за стол закона все
Придут почетными гостями
И солнце мысли, воссияв,
Над каждым домом загорится,
Мы скажем: вот он, Ханаан,
Пришла пора остановиться!

Но до прихода новых дней
Не будет нам успокоенья.
Быть может, не оплатит жизнь
Нам эти битвы и боренья,
Но смерти кроткий поцелуй
Смежит нам взор, и благосклонно
Она на ложе из цветов
Опустит нас в земное лоно.

Пешт, январь 1847 г

ИДИ СЮДА!..

Иди сюда! Давай-ка потолкуем!
Авось меня подаришь поцелуем,
А то — двумя! Чего уж там скупиться?
Вдруг поцелуй да в грошик превратится!

Иди сюда! Сказал тебе — иди же!
Ведь я насквозь тебя, голубка, вижу.
Не лицемерь! Не надо притворяться,
Ведь все я знаю! Любишь целоваться!

Что? Ты не знаешь в поцелуях толка?
Я научу! Узнать в них толк недолго,
Я растолкую, как за дело взяться,—
Ведь с детских лет я мастер целоваться!

Да! С детства был я мастер целоваться,
Любил я за девчонками гоняться.
Девчонки в школе, я — вблизи, на страже,
Как выйдут — расцелую их тотчас же!

Так дай же алый ротик! Сделай милость,
Ты видишь? Мать твоя в сарае скрылась.
Пусть ищет яйца! Будет час копаться!
Успеем досыта нацеловаться!

Пешт, январь 1847 г.

ЯНОШУ АРАНЮ

«Толди» написавшему — душу шлю свою.
Как тебя я обнял бы, как пожал бы руку!..
Друг поэт, поэму я читал твою,
Каждому внимая с наслажденьем звуку.

Если же душой моей обожжешься ты,—
Сам ее зажег ты, сам виновен в этом.
И откуда взял ты столько красоты,
Что в твоей поэме блещет щедрым светом?

Кто ты, появившийся сразу, как вулкан,
Вставший неожиданно как со дна морского?
Всем другим от лавров только листик дан,
А тебе по праву — весь венок лавровый.

И кому обязан ты этим мастерством?
Был учитель? В школе ты учился годы?
Ни при чем учитель, школа ни при чем,—
Вижу, ты учился у самой природы.

Песнь твоя простая — как колокол степной,
Колокол, пленивший сердце чистотою.
Он звучит над степью, надо всей страной,
Не тревожим шумной суетой мирскою.

Только тот народный подлинный поэт,
Кто народ небесной насыщает манной.
Ведь народ не часто видит солнца свет
Сквозь густые тучи, сквозь покров туманный.

И никто бедняге труд не облегчит.
Значит, нам, поэтам, петь народу надо.
Пусть же утешеньем наша песнь звучит,
Пусть на ложе жестком будут сны усладой.

Вот о чем я думал, встретившись с тобой
На горе поэзии гордой, величавой.
То, что было начато не бесславно мной,
Дорогой товарищ, продолжай со славой.

Пешт, февраль 1847 г.

ВЕНГЕРЕЦ Я!

Венгерец я! На свете нет страны,
Что с Венгрией возлюбленной сравнится.
Природой все богатства ей даны,
В ней целый мир, прекрасный мир таится.
Все есть у нас: громады снежных гор,
Что из-за туч глядят на Каспий дальный,
Степей ковыльных ветровой простор,
Бескрайный, бесконечный, безначальный.

Венгерец я! Мне дан суровый нрав,—
Так на басах сурова наша скрипка.
Забыл я смех, от горьких дней устав,
И на губах — лишь редкий гость улыбка.
В веселый час я горько слезы лью,
Не веря в улыбнувшееся счастье,
Но смехом я скрываю скорбь мою,
Мне ненавистны жалость и участье.

Венгерец я! За морем прошлых дней
Я, гордый, вижу скалы вековые —
Деянья славной родины моей,
Твои победы, Венгрия, былые.
Европу сотрясала наша речь,
Мы были не последними на свете.
Дрожали все, узнав венгерский меч,
Как молнией напуганные дети.

Венгерец я! Но что моя страна!
Лишь жалкий призрак славного былого!

На свет боится выглянуть она:
Покажется — и исчезает снова.
Мы ходим все, пригнувшись до земли,
Мы прячемся, боясь чужого взора,
И нас родные братья облекли
В одежды униженья и позора.

Венгерец я! Но стыд лицо мне жжет,
Венгерцем быть мне тягостно и стыдно!
Для всех блистает солнцем небосвод,
И лишь у нас еще зари не видно.
Но я не изменю стране родной,
Хотя бы мир взамен мне обещали!
Всю душу — ей! Все силы — ей одной,
Сто тысяч раз любимой в дни печали.

Пешт, февраль 1847 г.

ЖИЗНЬ ГОРЬКА, СЛАДКА ЛЮБОВЬ

Я всегда хочу добра другим,
Но всегда обижен и гоним.
Одеяло рвут на мне, в подушку
Мне шипы суют, срывая злость,
А потом хохочут и с издевкой
Спрашивают, хорошо ль спалось.
Жизнь горька, лишь ты, любовь, сладка,
Капни, подсласти питье слегка.

Сердце — лира; и, по ней скача,
Горе струны треплет сгоряча,
И нестройно громыхает лира,
Как набат, ревущий на ветру,
Редко входят два-три чистых звука
В ту шальную, дикую игру.
Жизнь горька, лишь ты, любовь, сладка,
Капни, подсласти питье слегка.

Знаю я, что только ты, любовь,
Душу треснувшую склеишь вновь.
Ты как дуб; отчаянья потоки
Этот дуб ветвистый не зальют,

И мои изгнанницы-надежды
На его ветвях найдут приют.
Жизнь горька, лишь ты, любовь, сладка,
Канни, подсласти питье слегка.

Я — как солнце осени. Любя,
Девушка, смотрю я на тебя.
Нет во мне былой весенней силы,
Но едва я на тебя взгляну,
Как твой милый, твой прелестный облик
Мне напоминает про весну.
Жизнь горька, лишь ты, любовь, сладка,
Канни, подсласти питье слегка.

Пешт, февраль 1847 г.

ТИСА

Пал на землю сумрак неленой,
Тихо плещет Тиса предо мной.
Резвый Тур, что к матери ребенок,
К ней стремится, говорлив и звонок.

Средь размытых берегов река
Катится, прозрачна, широка,
Не сломает солнца луч волною,
Не рассеет пеной кружевною.

И лучи на рдяной глади вод
Завели, как феи, хоровод,
И звенят невидимые хоры,
И бряцают крохотные шпоры.

И ковром по самый край земли
Золотые травы залегли.
А поля просторны и широки,
И на них снопы — что в книге строки.

Дальше, величавый и немой,
Дремлет лес, внизу окутан тьмой,
Только кроны от зари багровы,
Будто кровь струится из дубровы.

С берега склонились над водой
Ивы да орешник молодой,
А в просвете рдеет сквозь верхушки
Тусклый шпиль в далекой деревушке.

Словно память о златых часах,
Плыли тучки, рдея в небесах.
Сквозь туман мечтательные взоры
Мне кидали Мармароша горы.

Все молчало. Замерла вода,
Лишь свистела птица иногда.
Как комар, вдали, не уставая,
Мельница жужжала луговая.

К берегу напротив из села
Девушка с кувшином подошла,
На меня взглянула, наклонилась,
Зачерпнула, быстро удалилась.

Я молчал, не двигаясь во мгле,
Будто вдруг прикованный к земле,
Заглядясь в темнеющие воды,
Опьяненный красотой природы.

О природа, с языком твоим
Наш язык могучий несравним,
Ты молчишь, но речи бессловесной
Внемлет слух, как музыке чудесной.

Я добрался к ночи в хутора,
Ужинал плодами у костра,
Ярким жаром ветви трепетали,
Долго мы с друзьями толковали.

«Но скажите,— молвил я друзьям,—
Чем же Тиса досадила вам,
Почему всегда она в ответе?
Ведь покорней нет реки на свете».

Через три или четыре дня
Поднял на заре набат меня,
Крик: «Снесло! Прорвало! Горе, горе!»
Глянув в окна, я увидел — море.

Тиса будто цепи сорвала,
Всю плотину в щепки разнесла,
Разлилась, не ведая предела,
Проглотить весь мир она хотела.

Пешт, февраль 1847 г.

ТУЧИ

Ах, был бы я птицей летучей,
Я в тучах бы вечно летал,
А был бы художником, тучи,
Одни только тучи писал.

Люблю их. Слежу в ожиданье
За ними и шлю им привет.
Пройдут, я скажу: «До свиданья»,—
И долго смотрю им вослед.

Плывут по дороге небесной
Мои дорогие друзья,
Меня они знают, известна
Им каждая дума моя.

Нередко я видел когда-то,
Как плыли они на закат
И спали в объятьях заката,
Как дети невинные спят.

Я видел их в гневе. Могучи,
Нависнув стеной грозовой,
Как дерзкие воины, тучи
Ветра вызывали на бой.

Я видел: забрызганный кровью,
Встал месяц, как мальчик больной,
И тучи сошлись к изголовью —
Сестер перепуганных рой.

Я все повидал их обличья
И всех полюбил их давно,
Их нежность, и скорбь, и величье
Навеки мне милы равно.

За что ж я поток их суровый
Принять в свою душу готов?
За то, что всегда они новы
И стары во веки веков.

За то, что на странниц летучих
Похожи порою глаза:
В глазах у меня, как и в тучах,
И молния есть и слеза.

Пешт, февраль 1847 г.

ВЕНГЕРСКИМ ЮНОШАМ

Где цветов не видно, там плодов не будет.
Не цветы вы разве, молодые люди?
Горе, горе саду...
Это для отчизны наказанье божье,
Что с такой бесцветной, серой молодежью
Нянчиться ей надо!

Я сольюсь душою с тучей грозовою,
Пролечу я низко над родной страною,—
Тихо... Тьма настала.
Если б эта туча молнии метала,
Многих бы венгерских юношей не стало,
Многих бы не стало,

Ибо права жизни вы не заслужили...
Ваши предки — звезды, вы же, вроде пыли,
Сеетесь сквозь сито.
И не дай создатель, чтоб страна родная
Вас к себе на помощь позвала! Я знаю —
Вы ей не защита!

Сердце — нараспашку. Вечно настежь дверцы!
Широко раскрыли вы чертоги сердца

Для гуляк беспечных,
Чтоб кому угодно место доставалось,
А патриотизму места не осталось
В залах бесконечных.

Лишь порой найдется уголок единый,
Где любовь к отчизне виснет паутиной
Вдалеке от свету.
Но корысть не дремлет: «Что за грязь,
смотрите!»
Вот и эти рвете тоненькие нити
По ее совету!

До чего ж вы слабы! Настоящей славе
Предпочли вы ныне жалкого тщеславья
Пламень преходящий.
Ведь сиянью солнца, пламенному свету
Предпочли вы тусклой лампочки вот этой
Язычок коптящий!

О любовь к отчизне, ты, любовь святая,
Как тебя прославить! Право, я не знаю,
Где перо такое,
Где мне взять такого пламенного жара,
Чтобы мог я снова каждого мадьяра
Превратить в героя!

О язычники! Рабы! Вас жду давно я:
Обмакну я в сердце лезвие стальное.
И своею кровью
Окроплю вас щедро. Эта кровь, быть может,
Истинную правду вам познать поможет.
Окрещу вас вновь я!

Пешт, февраль 1847 г.

ВЕТЕР

Сегодня ветерком, чуть слышным, легким, нежным,
На крыльях я лечу в зеленые поля.
Бутонам скромным я шепчу и напеваю:
«Пора проснуться вам, уже цветет земля.

Я буду вас любить, я буду вам защитой,
Раскройте лепестки, о девушки весны!»
И целомудренно с них падают покровы,
И я на их груди, забывшись, вижу сны.

Но завтра, вновь рожден, я грозным вихрем стану.
И в страхе куст согнется предо мной.
Дыханьем яростным, как острой саблей, срежу
Поблекшую листву, рожденную весной.
Коварно я шепну цветам, дрожащим в страхе:
«О легковерные, пора увянуть вам!»
И к осени на грудь они головки склонят,
Я ж злобно рассмеюсь, взлетая к облакам.

Сегодня кроток я. Подобно светлой речке,
По воздуху плыву я в тишине немой.
Лишь пчелка чувствует мое прикосновенье,
Когда, усталая, летит с полей домой.
Она изнемогла под непосильной ношей,
Той ношей сладкою, что превратится в мед.
И бережно беру пчелу в свои ладони
И облегчаю ей медлительный полет.

Но завтра поутру ревущим ураганом
На диком жеребце промчусь я по волнам
И, гневно океан схватив за чуб зеленый,
Ему, как шалуну учитель, взбучку дам.
Над морем пролечу и, если встречу судно,
Я вырву паруса, залью его волной
И мачтой напишу на закипевшей пене,
Что в гавани ему не отдыхать родной!

Пешт, февраль 1847 г.

ОТ ИМЕНИ НАРОДА

Народ пока что просит... просит вас!
Но страшен он, восставший на борьбу.
Тогда народ не просит, а берет!
Вы Дёрдя Дожи помните судьбу?
Его сожгли на раскаленном троне,
Но дух живет. Огонь огня не тронет!

И берегитесь пламень тот тревожить —
Он всех вас может уничтожить!

Когда-то только есть хотел народ,
Тогда он был почти как дикий зверь,
Но вот очеловечился народ...
Так как же быть без прав ему теперь?
Права ему людские! Уничтожим
Клеймо бесправья на созданье божьем!
А тем, кто ныне за порядок старый,
Не избежать господней кары!

Кто вы такие, чтоб иметь права,
Которых не имеет весь народ?
Отцы добыли родину для вас!
Не на нее ль народный льется пот?
Вы говорите: золотые копи!
Но что ж молчите вы о рудокопе,
Что роет землю и дробит породу?
Ведь это же — рука народа!

«Отчизна — наша, наши и права!» —
Вы гордо заявляете сейчас,
А что с отчизной будет в грозный час,
Когда враги набросятся на вас?
Но разве можно спрашивать?.. Простите!
Геройство ваше, дёрские событья
Забыл! Пора бы памятник поставить,
Чтоб Дёр, позор и бегство славить!

Права народу! Дайте их скорей,
Во имя мира, если мир вам мил!
Поймите: рухнет родина моя,
Как без подпор, без новых, свежих сил!
Сорвали конституции вы розу,
А все шипы швырнули вы народу.
Хоть лепесток народу подарите,
А... часть шипов себе возьмите!

Народ пока что просит... Скоро вы
Узнаете, как страшен он в борьбе!
Восстав, не просит, а хватает он!
О Дёрдя Дожи вспомните судьбе:

Его сожгли на раскаленном троне,
Но дух живет. Огонь огня не тронет!
И берегитесь пламень тот тревожить —
Он всех вас может уничтожить!

Пешт, март 1847 г.

ЛИШЬ ВОЙНА...

Лишь война была мечтою
Лучшей в моей жизни,
Та война, где за свободу
Сердце кровью брызнет.

Есть одна святая в мире —
Лишь пред ней с любовью
Нам клинками рыть могилы,
Истекать нам кровью.

Имя той святой — свобода!
Все безумцы были
Те, кто слепо за другое
Жизни положили!

Мир, мир, мир, но не тирана
Прихотью надменной,—
Мир, добытый лишь свободы
Силою священной.

А когда на свете будет
Мир всеобщий, дружный,
Вот тогда на дно морское
Мы швырнем оружье!

Но до той поры — к оружью!
Будем храбро биться,
Хоть до светопреставленья
Та война продлится.

Пешт, март 1847 г.

ЧЕМ ЛЮБОВЬ БЫЛА МНЕ?

Сердце не из камня.
Чем любовь была мне?
Полным слез водоворотом,
Легкой лодкой, утлым ботом.
Грусть стояла у кормила,
В парусах разлука ныла.

Сердце не из камня.
Чем любовь была мне?
Темным лесом, страшной чащей,
Полной нечисти рычащей,
Воем волчьих стай заблудших,
Шорохом мышей летучих.

Сердце не из камня.
Чем любовь была мне?
Глупой мальчика забавой,
Ловлей бабочки вертлявой.
Он — к цветку, она с купавы,
Он за ней — и бух в канаву!

Сердце не из камня.
Чем любовь была мне?
Палачом моих мечтаний,
Увозящим на рыдване
Бедный труп мой с эшафота
За тюремные ворота.

Сердце не из камня.
Чем любовь была мне?
Щелкающим реполовом
На гнезде в кусте терновом.
Разорит гроза жилище,—
Он другое вьет, почище.

Пешт, март 1847 г.

СКИНЬ, ПАСТУХ, ОВЧИНУ...

Скинь, пастух, овчину, леший!
Воробьев пугать повешу.
Видишь, налегке, без шубы,
Как реке-резвушке любо!

Разлилась и всею грудью
Жмется к мельничной запруде,
Потому что в эту белость
Сверху небо загляделось.

Где синичек пересуды?
Соловьи взялись откуда?
Где да что — мне горя мало,—
Пели б в роще, как бывало.

Первый лист, как пух бесперый,
На орехе у забора.
Будут крылья — от желанной
Улететь не смей с поляны.

Эй, куда, куда, знакомка?
К лавочнику за тесемкой,—
Вон бери их, даровые
Ленты — версты луговые.

Пешт, март 1847 г.

СВЕТА!

И в шахте
Все же лампочки сияют;
И ночь темна,
Но звезды в ней горят;
В людской груди
Нет ни звезды, ни лампы —
Там ни единый лучик не горит!

Ты, жалкий ум,
Себя провозгласивший
Яснейшим светочем!
Уж если это — так,
Ты озари, хотя б на шаг единый,
Нас окружающую темноту!
Я не прошу тебя,
Чтоб освещал ты
Иного мира замогильный мрак,
Не спрашиваю — кем я буду дальше,
Скажи мне только: что я есть сейчас
И для чего я существую?
Живет ли человек лишь себялюбьем,
Сам по себе является он миром,
Иль, может быть, он лишь одно звено
В цепи, что человечеством зовется?
И жить ли нам для радостей своих
Иль плакать вместе с миром скорбным?
И подсчитаем — сколько было тех,
Кто кровь сосали из чужих сердец
И кары никакой не понесли,
И сколько было тех, что проливали
За счастье ближних кровь своих сердец
И все-таки остались без награды?
Но — все равно! Кто жертвует собой,
Тот жертвует не в чаянье награды,
А чтоб своим товарищам помочь.
Поможет ли? Вот в чем вопрос вопросов,
Лишь в этом, а не в «быть или не быть?».
Поможет миру тот, кто ради мира
Собою жертвует?
Придет ли этот день,
Который добрые стараются приблизить,
А злые —
Хотят, чтоб этот день и не пришел!
Дождемся ли всеобщего мы счастья,
И что такое счастье наконец?
Ведь всяк в своем находит это счастье,
Иль не нашел его еще никто?
Быть может,
То, что мы считаем счастьем —
Мильоны интересов,—

Это
Лишь масса лучиков отдельных
Светила нового, которое еще —
За горизонтом, но взойдет однажды!
О, если б это вправду было так,
И мир имел бы цель,
И к этой цели
Шел — и дошел бы рано или поздно!
Но, может быть, цветет и отцветает,
Как дерево, вот этот самый мир?
Иль он волна, которая встает
И рушится,
Иль, может быть, он — камень,
Который, брошен, наземь упадет?
Иль мир как путник, что взошел на гору,
Достиг вершины,
Снова вниз бредет.
Вверх-вниз, вверх-вниз! Все это длится вечно.
Как страшно!
Тот, кто это не постиг,
Еще не знает, что такое холод,
Он никогда еще не леденел
От этой мысли леденисто-скользкой,
Которая сосулькою ползет
Нам по груди, и сдавливает горло,
И душит нас... Ведь даже и змея
В сравнении с такой ужасной мыслью
Покажется нам солнечным лучом!

Пешт, март 1847 г.

СОЛДАТСКАЯ ЖИЗНЬ

Ну-ка, сброшу лапти эти!
Не страшны мне палки, плети!
Сапоги надеть хочу я,
Саблю острую схвачу я...
Слышишь музыки раскаты?
Завербуемся в солдаты! Ха-ха-ха!

Правильно! Умен весьма ты,
Что решил идти в солдаты,

Жизнь солдата золотая!
Уж поверь мне. Я-то знаю!
Слышишь музыки раскаты?
Поступай, дружок, в солдаты! Ха-ха-ха!

Верь: солдату бед не ведать —
Есть что выпить, пообедать.
Как не быть? Ведь за пять дней
Два крайцара, горсть грошей!
Слышишь музыки раскаты?
Поступай, дружок, в солдаты! Ха-ха-ха!

В караул ходить не часто:
Сходишь раз в три дня и — баста!
Зябнешь? Дунь на пятерню —
Не захочешь и к огню!
Слышишь музыки раскаты?
Поступай, дружок, в солдаты! Ха-ха-ха!

Не бери ты щетки в руки,
Чтоб себе почистить брюки,—
Выбьет пыль из них капрал
Так, чтоб зад твой засверкал!
Слышишь музыки раскаты?
Поступай, дружок, в солдаты! Ха-ха-ха!

А любовь-то? А заботы?
Убежать охота? Что ты!
Цап! Назад ведут сквозь строй,—
Хочешь — падай, хочешь — стой!
Слышишь музыки раскаты?
Поступай, дружок, в солдаты! Ха-ха-ха!

А отслужишь, отпускную
До того дадут большую,
Чтоб под ней бы ты и спал
Вместо всяких одеял!
Слышишь музыки раскаты?
Поступай, дружок, в солдаты! Ха-ха-ха!

Пешт, март 1847 г.

В лодочку воображенья
Сядьте, милые мои,
Весело переплывайте
Озеро моей любви!
Всем, кого любил когда-то
И кого сейчас люблю,
Эту самую ладью
Моего воображенья
Я сегодня подаю.

Вот они, явились толпы
Женщин, девушек прелестных!
Вижу хорошо знакомых
И почти что неизвестных.
Верно! Их любил я тоже,
И они душой владели,
И нельзя мне отрекаться,
Ибо начал я влюбляться
Чуть не с самой колыбели!

Вот оно что значит мудрость!
Было ясно мне, дитяти,
То, о чем иные старцы
Не имеют и понятья:
Знал я, что лучи живые
Посылает только солнце,
Но оно горит не в небе,
А пылает в нашем сердце,
И «любовь» оно зовется!

Эй, искатели сокровищ,
Бросьте! Уверяю вас:
Больше всех алмазов мира
Стоит пара чудных глаз.
И напрасно, честолюбцы,
Вы, в стремленье быть известней,
Проливать готовы кровь!
Роза юная прелестней
Целых лавровых лесов!

Пусть скупец считает злато!
Я бы лишь одно хранил:

Поцелуи, что когда-то
От любимых получил.
Пусть одними лишь цветами
Мне судьба украсит шляпу,
Больших лавров не ищу!
Даже те, что я имею,
Если надо — возвращу!

Секеш-Фейервар, март 1847 г.

СУД

Я дочитал до конца летопись рода людского...
Что же такое — она, наша история? Кровь
Так и сочится из скал, скрытых в тумане былого,
И до сегодняшних дней льется сильней и сильней.
Не иссякает поток. И не мечтай ты об этом:
Крови реке суждено в море кровавое впасть.
Близятся страшные дни, дни катастроф небывалых,
Нынешний мир я сравню с той гробовой тишиной,
Что наступает на миг после сверкания молний,
Прежде чем с мрачных небес грянет удар громовой.
Вижу завесу твою, глубокотайное Завтра!
Факел предвиденья взяв, я при волшебном огне
Вижу, что скрыто за той непроницаемой тканью.
Одновременно меня ужас и радость берут.
Страх побежден навсегда. С радостью неудержимой
Вижу я бога войны. Вновь он доспехи надел,
Меч он сжимает в руке, и на коня он садится,
Мчится по миру всему, и на решительный бой
Он собирает людей... Знаю: возникнут два стана.
Будто бы нации две — нация добрых и злых.
Будут бороться они. Тот, кто терпел пораженья,—
Добрый,— тогда победит, он победит наконец!
Эта победа его в море кровавом потонет,
Но — все равно! Этот суд и обещал нам господь
Через пророков своих... А вслед за судилищем этим
Станет вся жизнь на земле вечным блаженством полна.
Ради блаженства тогда в небо лететь не придется,
Ибо на землю сюда к нам низойдут небеса!

Пешт, апрель 1847 г.

ПЕРВАЯ КЛЯТВА

Я был еще ребенком, мальчуганом,
Пятнадцать лет мне было. Я учился.
Училище влачил я как оковы,
Чей звон меня томил с утра до ночи
И даже пробуждал меня от сна.
Как я мечтал стряхнуть оковы эти!
Любой ценой мечтал я их стряхнуть!
Уж и тогда любил тебя я с той же
Необычайной, пламенною страстью,
Как и теперь, священная Свобода!
И размышлял я: «Как сорвать оковы?»
Приехали актеры. Я решил
К бродячей труппе присоединиться,
Уехать с ней. Пусть спутниками будут
Скорбь матери, проклятия отца,
Пусть что угодно, только б стать свободным
И независимость завоевать!
И я ушел бы с труппой, но проведал
Учитель про мятежное желанье,
И он поймал меня перед побегом,
И посадил тотчас же под замок.
И был я пленником, покуда труппа
Не убралась от города подальше.
Мольбы, рыданья — все напрасно было,
И было больно уж не потому,
Что стать актером я лишился счастья,
А потому, что силою меня
Заставили остаться! Принужденье
Жгло душу мне. И пламень тот не гас,
А разгорался, как огонь бенгальский,
И первую я клятву произнес.
В моей тюрьме великую, святую
Провозгласил я клятву, что одно
Отныне будет главной целью жизни:
Борьба с насилием и с принужденьем!
Я чту поныне клятвы этой святость.
И пусть карает всемогущий бог
Меня на этом свете и за гробом,
Коль эту клятву я дерзну забыть!

Пешт, апрель 1847 г.

О ТЕРПЕНИИ

Терпение, ты добродетель
Ослов и ласковых ягнят!
Тебе мне выучиться, что ли?
А впрочем, провались ты в ад!

Коль шляешься ты, словно нищий
И там и тут, в дома стучась,
Так у моих дверей не клянчи,
А уходи-ка лучше с глаз!

И если мир ты завоюешь,
Так все ж триумфа своего
Победно высечь не надейся
На камне сердца моего!

Терпение, ты та мякина,
Которую — сказать смешно! —
Подсунули тупому миру
Обманщики, пожрав зерно!

Ты — как кастрюлька, из которой
Сметану выжрал хищный кот.
И вот дуреха-повариха
Стоит теперь, разинув рот!

Терпение... Не знаю, кто ты,
Но, ненавистное, прочь с глаз!
Ведь где б тебе ни появиться,
Там счастье кончится тотчас!

Земля могла бы быть счастливой,
Коль не было б тебя на ней,
А чем ты больше процветаешь,
Тем мы несчастней и бедней.

Прочь уходи, проклятье жизни!
Немедля возвращайся в ад!
Кто выплюнул тебя на землю,
Пускай сглотнет тебя назад.

Пешт, апрель 1847 г.

ГЕРОИ В ДЕРЮГЕ

И я бы мог стихотворенья,
Позолотив, посеребрив,
Рядить в цветное оперенье
Красивых слов и звонких рифм.

Нет! Стих мой не субтильный франтик,
И вовсе не стремится он,
Душист, кудряв, в перчатках бальных,
Ища забав, вбежать в салон.

Клинки не блещут, смолкли пушки,
Сном ржавым спят сейчас они,
Но бой идет. Не штык, не пушка —
Идеи бьются в наши дни.

И я участвую в сраженье.
Я — командир, а мой отряд —
Мои стихи: в них что ни рифма
И что ни слово, то — солдат!

Пускай в дерюге, а герои,—
Они дерутся до конца!
Ведь не мундиры, а отвага
Есть украшение бойца.

Меня переживет ли песня —
Такой вопрос не задаю,
Но знаю — иногда солдату
Бывает нужно пасть в бою.

Да будут святы эти книги!
Пусть это — кладбище идей,
Но кладбище, где спят герои,
За счастье павшие людей!

Пешт, апрель 1847 г.

Четыре флигеля без крыши в этом зданье,
И «виселица» — зданию названье:
Здесь с карканьем лишь воронью метаться,—
Где молодец был, равный Зельду Марци?

Во рту коня гнедого сталь литая,
Конь сталь грызет — летят лишь искры, тая.
На том коне Зельд Марци красовался
Клочком огня, что по ветру метался.

Где взял рубашку и штаны такие,
Что в скачке раздуваются, лихие?
То полотно — работа баб пригожих
За красный рот, за поцелуй хороший.

Все без ума от парня девки были:
Когда б меня, как Марци, так любили!
Куда б ни шел он, словно в церкви звоны,—
То звон сердец бесчисленных влюбленных.

На сапогах из кордована красных
Зачем же шпоры? Служит конь прекрасно.
Не для коня те шпоры,— в блеске глянца
Он к сапогам их привязал для танцев.

Он, не учася, родился танцором,
Танцуй, как он,— не будет то позором.
В корчме — он слышит — музыка играет,
Он, как мадьяр, не пляшет, а летает.

В лесах Баконьских он не знал досуга,
Где лишь воришки прятались с испуга
И, под кустом дрожа, как под рогожей,
Выскакивая, грабили прохожих.

Как Хортобадь, силен был Марци станом,
Как Хортобадь, король пустынь,— титаном,
Чтоб путник видел всей беды рожденье,
Он за сто метров шел с предупрежденьем.

И богачу приказывал он грозно:
«Отдай кошель, пока еще не поздно!»
И бедняку он говорил не строго:
«Вот мой кошель, иди спокойно с богом!»

О пушта, пушта, пушта Федьвернеки!
Причиной ты, что Марци сгиб навеки.
Без крыши зданье стало ложем тесным,
Вороний гомон — похоронной песней.

Пешт, апрель 1847 г.

СТОИТ МНЕ...

Стоит мне о милой замечтаться,
Как в цветы все мысли обратятся.
Из пристрастья к этим-то растеньям
Занят я весь день их разведеньем.

Солнце, заходя, исходит кровью.
Горы все лиловей и лиловей,
А любимая недостижимей
Даже этих гор в лиловом дыме.

Солнце ходит на закат с восхода.
Я б ходил не так по небосводу:
Я ходил бы с запада к востоку,—
К самой лучшей девушке далекой.

И вечерняя звезда сегодня
Льет свой свет щедрее и свободней,
И в наряде праздничном, пожалуй,
Оттого лишь, что тебя видала.

О, когда же я тебя увижу,
Сяду пред тобой, лицо приближу,
Загляну в глаза и их закрою,
Небо, небо ты мое седьмое!

Пешт, май 1847 г.

ОГОНЬ

Не хочу я гнить, как ива
На болотных кочках где-то,
А хочу сгореть от молний,
Словно дуб в разгаре лета.

Я огня хочу. Водою
Пусть лягушки насладятся
Да плохие виршеплеты,
Что для кваканья родятся.

Ты, огонь, моя стихия!
Мерзнуть мне пришлось немало.
Часто я страдал от стужи,
Но душа всегда пылала.

Девушка, ответь мне страстью
На порывы страсти жгучей!
Если ж холода напустишь,
Уходи отсюда лучше!

Эй, корчмарь, вина! Но если
Ты водой его разбавил,
Радуйся, что брошу чашу
На пол, а не в лоб твой, дьявол!

Пламя хмеля, пламя страсти —
Только так вот жить и можно,
И — еще забыл одно я! —
Жить без песен невозможно!

Пойте песню огневую!
Пусть он голоса лишится —
Тот певец, который пламя
Влить нам в души не стремится!

Не хочу я гнить, как ива
На болотных кочках где-то,
А хочу сгореть от молний,
Словно дуб в разгаре лета.

Пешт, май 1847 г.

МОЕ ЛУЧШЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Я множество стихотворений
Писал, но славу принесет
Мне стих, которым буду Вене
Однажды мстить за наш народ.

О! Слово «смерть» клинком горящим
Впишу я в тысячи сердец!
Вот это будет настоящим
Стихотвореньем наконец.

Эр-Михайфалва, май 1847 г.

ЭРДЁД, 17 МАЯ 1847 ГОДА

Да, я вчера немало перенес.
Услышать многое вчера пришлось.
Обидчика я своего терплю
Лишь оттого, что дочь его люблю.

Скажи вот это кто-нибудь другой,—
Я отомстил бы, вызвал бы на бой,
И пал бы он на поле, запятнав
Своей багровой кровью зелень трав.

Пусть он меня бранил бы одного,
Но сердцу моему больней всего,
Что, понося меня и мне грубя,
Он оскорбляет также и тебя.

Тебе пришлось не мало пережить
За то, что ты посмела полюбить.
Ну, потерпи немного, мой дружок!
Прерву твои страданья, дай мне срок!

Лишь только станешь ты моей женой,
Еще одной счастливицы такой
Во всей вселенной больше не найдешь!
В рай позовут,— и то ты не пойдешь!

Эрдёд, 1847 г.

ПЫЛЬ СТОЛБОМ

Пыль столбом клубит, земля гудит, трясется,
Шалый конь с упавшим всадником несется,
Если бы упал седок, и горя б мало,—
В стремени одна нога его застряла.
Жеребец земли не слышит под собою,
А наездник оземь бьется головою.
Черными кудрями пыль метет густую,
Заливает кровью алой мостовую.

Я как этот всадник. Бешенство страданья
Тащит за собой меня, как на аркане.
Ослепленьем гнева я на землю сброшен.
Мозг мой вытек вон, и череп мой раскрошен.
Поделом! Была мрачней земного шара
Эта голова, рождавшая кошмары.
Ничего не зрело в голове отпетой.
В эту местность солнце не бросало света.

Я любил тебя, как сам господь, наверно,
Сделавший тебя прекрасною безмерно.
Верности звездой среди ночного мрака
Ты сияла в виде путевого знака.
А теперь туман закрыл твое сиянье.
Звездочка моя, как ты бледна в тумане!
Я твоей руки просил напрасно. Разом
Строгий твой отец ответил мне отказом.

Изгнан я от вас, как из ограды рая.
Только твой отец, — не ангел, дорогая.
Э, не унывай, лиха беда начало,—
Я добьюсь тебя во что бы то ни стало.
Унесу тебя, как солнце — пар росистый,
И как ветер — розы лепесток душистый.
Я и уношу тебя с собой в разлуку,
Словно лев стрелу, попавшую из лука.

Эрдёд, 18—20 мая 1847 г.

В РУДНИКЕ

Сажен на две тысячи, должно быть,
Я спустился.
В недрах этой вечной древней ночи
Мрак сгустился.
Лампы луч со страхом смотрит в очи
Этой вечной и суровой ночи,
Как глядит на ястреба голубка.

До цветов отсюда так далеко
И до света.
Вероятно, адские владенья
Близко где-то.
А быть может, я уж в преисподней,
Ибо он как дома, враг господний,
Всюду там, где золото родится.

Сатана, дух шахты, царь сокровищ,
За меня ты
Сколько дашь, коль сердце променяю
На дукаты?
Мы сторгуемся. Изволь явиться!
Нынче я решил к тебе спуститься,—
А другого раза не дождешься!

Звал напрасно! Дьявол, царь сокровищ,
Не услышал,
Из груди утесов каменистых
Он не вышел.
Что ж не вышел? Что ж он не явился?
Понял он, что я над ним глумился,
Что мое не продается сердце!

Нет, мое не продается сердце —
Не торгуйся, брось трудиться!
Сердце то в сокровищнице сильных
Не вместится,
А раздам я сердце по дорогам
Да по бедным хижинам убогим —
Просто так его раздам я, даром!

Надь-Баня, 25 мая 1847 г.

НАКОНЕЦ НАЗВАТЬ МОЕЮ...

Наконец назвать моею
Юлишку я нынче мог.
Да, моя, и пусть об этом
Знают люди, знает бог!

У меня сегодня радость,
Но и грусть со мной моя.
Плакать мне или смеяться –
До сих пор не знаю я.

Неужели я тот самый,
Кто так мучился, страдал,
У кого давно на сердце
Груз отчаянья лежал?

Неужели я тот самый,
Тот счастливый человек,
Кто теперь, конечно, будет
Всех счастливее вовек?

Пусть листва скорей желтеет,
Отцветают розы пусть,
Осень станет мне весною —
Я ведь осенью женюсь...

Но в грядущее не смею
Я взглянуть — оно горит
Ярким пламенем, как солнце,
И глаза мои слепит.

Лучше в прошлое я гляну...
Нет, не солнцу, а луне
Это прошлое подобно
И сияет кротко мне.

День, что я провел у милой,
Драгоценен и велик.
По блаженству он — как вечность,
А по скорости — как миг.

Я ее привлек тихонько,
Я ее к себе привлек
И коснулся поцелуем
Вспыхнувших горячих щек.

На устах моих остался
Пламень от девичьих щек,
И в груди моей бушует
Солнца огненный поток.

Даже холода могилы
Не страшусь отныне я —
Знаю, это пламя будет
И в могиле греть меня.

Сатмар, 28 мая 1847 г.

ЛАЦИ АРАНЮ

Здравствуй, Лаци!
Слушай, братец,
Потолкуем пять минут.
Ну, иди, коли зовут.
Да живей, одним прыжком
На колено сядь верхом!
Ты уселся? Ну так вот,
Сказочку послушай,
Да закрой покрепче рот
И открой-ка уши.

В эти розовые дверцы
Сказка легкая впорхнет.
Долетит она до сердца
И до разума дойдет.

Для тебя, мой шустрый Лаци,
Расскажу я сказку вкратце.

* * *

Жил да был когда-то
Человек усатый,
Взял он новое ведро,
Светлое, как серебро,
И спустил его туда,
Где во тьме блестит вода,
Где на дне колодца

Видеть звезды иногда
Людям удается.
Вот летит ведро на дно,
Стукаясь о бревна,
А воротится оно
Медленно и ровно.
Но куда с ведром пойдет
Человек усатый —
Поливать свой огород?
Иль во дворик у ворот,
Где живут телята?
Нет, с дубинкой и ведром
Он выходит в поле,
Озирается кругом...
Клад он ищет, что ли?
Ходит он вперед-назад,
Вглядываясь зорко,
И находит он не клад,
А простую норку.
Вот и суслик — шустрый вор,
Что таскает зерна.
Под землей в одной из нор
Скрылся он проворно.
Но злодея от суда
Не избавит норка.
Ливнем хлынула вода
В норку из ведерка.
Терпит суслик и молчит
В погребе глубоком,
А вода течет, журчит
Грозовым потоком.
До краев полна нора.
Перед входом лужа...
Значит, суслику пора
Выходить наружу.
До костей промок зверек
У себя в подвале
И пустился наутек...
Тут его поймали!
Взяв за шиворот зверька,
Держит суслика рука.
Стой, проказник юркий!
Не уйдешь ты никуда.

В три ручья бежит вода
У тебя со шкурки,
Понесу тебя домой,
Полно вырываться!..
Этот суслик озорной —
Ты, мой милый Лаци!

Салонта, начало июня 1847 г.

КАК ЖИЗНЬ ХОРОША!

Я ль бродил по земле,
Точно призрак ночной,
Жизнь мою называл
И проклятой и злой?
Этих слов, возмужав,
Устыдилась душа.
Как прекрасна земля
И как жизнь хороша!

Буйной юности вихрь
Прошумел и исчез,
Улыбается мне
Взор лазурный небес
И ласкает, как мать
Своего малыша.
Как прекрасна земля
И как жизнь хороша!

Что ни день, что ни год,
В сердце меньше забот.
И теперь, точно сад,
Мое сердце цветет,
Соловьями звеня,
Ветерками шурша,—
Как прекрасна земля
И как жизнь хороша!

Я доверчивость гнал,—
Вновь нахлынула вдруг,
Обвила, обняла
Мое сердце, как друг,

Что прошел долгий путь,
На свиданье спеша,—
Как прекрасна земля
И как жизнь хороша!

Дорогие друзья,
Подходите ко мне!
Подозрительность, прочь!
В ад ступай к сатане!
Прочь! Я верил тебе,
Против дружбы греша!
Как прекрасна земля
И как жизнь хороша!

А как вспомню о ней,
Черноглазой моей,
Той, что солнца светлей,
Той, что жизни милей,
Что явилась, как сон,
Тихим счастьем дыша,—
Так прекрасна земля
И так жизнь хороша!

Салонта, начало июня 1847 г.

ТЕТЯ ШАРИ

На пороге тетка прикорнула.
Тетя Шари не встает со стула.
Тетя Шари на пороге спальной
Шьет в очках свой саван погребальный.
А давно ли малого ребенка
Звали братья Шаринькой-сестренкой?

Лоб в морщинах, словно эти складки
Бывших фалд на платье отпечатки.
Все на ней сидит теперь уныло,
Словно лиф напялили на вилы.
А давно ли малого ребенка
Звали братья Шаринькой-сестренкой?

В волосах у ней зима. Я стыну,
Погляжу лишь на ее седины.
И торчит пучок косицы вдовьей,
Как на крыше аиста гнездовье.
А давно ли малого ребенка
Звали братья Шаринькой-сестренкой?

Глубоко ее глаза ввалились,
Словно в дом с чужбины возвратились,
И мигают исподлобья слепо,
Как лампадки из-под свода склепа.
А давно ли малого ребенка
Звали братья Шаринькой-сестренкой?

Грудь плоска, как каменные плиты.
Сердца не слыхать из-под гранита.
Сердце есть, но так устало бьется,
Что на слух уже не отдается.
А давно ли малого ребенка
Звали братья Шаринькой-сестренкой?

Сумасбродка молодость мгновенно
Расточает клад свой драгоценный,
Но приходит старости проклятье
Предъявлять ее долги к оплате.
А давно ли малого ребенка
Звали братья Шаринькой-сестренкой?

Салонта, начало июня 1847 г.

СТАЛ БЫ Я ТЕЧЕНЬЕМ...

Стал бы я теченьем
Горного потока,
Что спадает бурно
Со скалы высокой.
Только пусть любимая
Рыбкой серебристой
Вольно плещется в струе
Трепетной и чистой.

Стал бы темным лесом
У реки широкой,
Бился бы ночами,

С бурею жестокой,
Только пусть любимая
В чаще приютится
И в ветвях зеленых песни
Распевает птицей.

Стал бы старым замком
На горе отвесной,
И манила б гибель
Радостью чудесной.
Только пусть любимая
Хмелем-повиликой
Заструится по руинам
Средь природы дикой.

Стал бы я лачугой,
Спрятанной в ущелье,
Чтоб дожди струились
По стенам сквозь щели.
Только пусть любимая
В уголке заветном
День и ночь пылает ярко
Очагом приветным.

Стал бы тучей грозной,
Что висит над кручей,
На куски разъята
Молнией гремучей.
Только пусть любимая
В сумерках не тает
И вокруг печальной тучи
Пурпуром блистает.

Салонта, начало июня 1847 г.

АИСТ

На свете много птиц, по-разному их славят,
По-разному хулят.
Одним всего милей красивый голос птицы,
Другим — ее наряд.

Моя — бедна, как я, не знает звучных песен,
Не блещет красотой:
Наполовину бел, наполовину черен
Убор ее простой.

Чудесный аист мой! В семье друзей пернатых
Он многих мне милей,
Крылатое дитя моей земли прекрасной,
Моих родных степей.
Быть может, аиста лишь оттого люблю я,
Что вырос вместе с ним,
Что забавлял меня, еще младенца в люльке,
Он щелканьем своим.

Со мной делил он жизнь. Когда, бывало, с поля,
Подняв веселый шум,
Мальчишки вечером в деревню гнали стадо,
Мечтательно угрюм,
Я уходил грустить под камышовым стогом,
Часами наблюдать,
Как дети моего любимца просят пищи,
Как пробуют летать.

И там я размышлял, досуг мой коротая,
В сгущающейся мгле:
Зачем, бескрылые, всю жизнь обречены мы
Влачиться по земле?
Любая даль земли ногам людей доступна,
Простор любых широт.
Но не в земную даль — в небесные высоты
Мечта меня зовет.

Взлететь бы к солнцу, ввысь, и поглядеть,
умчавшись
В лазурные поля,
Как в шляпе, сотканной из воздуха и света,
Красуется земля.
Когда же, все в крови, закатывалось солнце,
Тьмой ночи сражено,
Я думал: верно, всем, кто людям свет приносит,
Погибнуть суждено.

Радушной осени ждут не дождутся дети,
Она идет, как мать,

С корзиной, полною плодов и винограда,
Питомцев угощать.
И только я врага в ней чувствовал: на что мне
Подарки сентября,
Когда мой лучший друг, мой аист, улетает
За дальние моря!

Следил я, как шумят, летят, несутся стаи
Неведомо куда.
Не так ли ныне я слежу, как жизнь и юность
Уходят навсегда!
Чернели на домах покинутые гнезда,
Сквозь слезы я глядел,
И мне предчувствие, подобно ветру, пело:
Таков и твой удел!

Когда ж весною вдруг земля освобождалась
От шубы снеговой
И надевала вновь свой доломан зеленый
С цветами и травой,
О, и моя душа, ликуя, надевала
Свой праздничный наряд.
Я за околицу бежал, чтоб видеть первым,
Как аисты летят.

Но детство минуло, и юность удалая
Грозой пришла ко мне.
Вот у кого земля горела под ногами!
На диком скакуне,
Поводья опустив, любил я вольно мчаться
Один в глуши степей.
И, подкатав штаны, за мною гнался ветер...
Но конь мой был быстрей.

О степь, люблю тебя! Лишь ты душе приносишь
Свободу и простор.
Среди твоих равнин ничем не скован разум,
Не ограничен взор,
Не тяготят меня безжизненные скалы,
Как неотвязный сон.
Звенящий водопад на память не приводит
Цепей унылый звон.

Иль некрасива степь? О нет, она прекрасна,
Но надо знать ее.
Она, как девушка, стыдливо под вуалью
Таит лицо свое.
Она решается, подняв вуаль, лишь другу
Открыть свои черты,
И ты в смятении внезапно видишь фею
Волшебной красоты.

Люблю я степь мою! Я всю ее объездил
На огненном коне.
В глуши, где, хоть умри, следа людей не сыщешь,
Скакать случалось мне.
Я спрыгивал с коня, над озером валялся
В густой траве степной.
И как-то раз гляжу — и вижу: что за чудо!
Мой аист предо мной.

Он прилетел ко мне; с тех пор мы полюбили
Вдвоем в степи мечтать.
Я лежа созерцал вдали фата-моргану,
Он — озерную гладь.
Так неразлучно с ним провел я детство, юность.
Он был мне друг и брат.
И я люблю его, хоть не поет он песен
И прост его наряд.

О милый аист мой, ты все мое богатство,
Все, что осталось мне
От незабвенных дней, которые провел я
В каком-то сладком сне.
Пора прилета птиц! Зимой твержу, тоскуя:
«Приди, скорей приди!»
А осенью, мой друг, тебе вослед шепчу я:
«Счастливого пути!»

Салонта, начало июня 1847 г.

ДОРО́ГОЮ...

Доро́гою — пустынные места.
Ни деревца, ни травки, ни куста,
Где б даль перекликалась с соловьем.

Пустынные места в пути моем.
И темный вечер в облака одет,
И кажется, что звезд на свете нет.
Но вот я карих глаз припомнил взгляд –
И ожил я, и я дороге рад,
И будто все другое, не узнать,—
Мерещится такая благодать.
И будто вдоль дорожной колеи
Цветущие кусты и соловьи,
И небо за чертой земных борозд
Полно бесчисленных огромных звезд.

Кёрёш-Ладань, 10 июня 1847 г.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АЛФЕЛЬДУ

Да, нечего сказать, поездка!
Навис и давит небосвод,
За шляпу туча задевает,
Как из ведра за шею льет.
Чтоб шубы не мочить, я отдал
Ее за четверть табака.
Я вымок до последней нитки
И превращаюсь в судака.

Что за дорога, право! Едем
По черной и густой квашне,
Вполне готовой для печенья
Ржаного хлеба сатане.
Да не стегай коней, извозчик!
Ведь не теряю я надежд,
Что до пришествия второго
Мы все-таки приедем в Пешт.

Я, Алфельд, так тебя прославил,
И мне в награду этот мрак?
Быть может, эта грязь и ливень
Твоей признательности знак?
Ты тянешься руками грязи
К ободьям вязнущих колес,
Чтобы обнять их на прощанье
И окатить потоком слез?

Я тронут, Алфельд, что разлука
Тебе тоскою душу ест
И что в уныние такое
Тебя приводит мой отъезд.
Но я бы радовался больше,
Когда бы ты от слез не вспух,
Цеплялся меньше за колеса
И сдержан был со мной и сух.

Мезё-Тур, 11 июня 1847 г.

ЛЮБЛЮ ЛИ Я ТЕБЯ?

«Люблю ли я тебя?» Справляйся
И спрашивай,— ответ мой прям:
«Люблю». Но как люблю, насколько,
Я этого не знаю сам.
Озер нагорных глубина
Без измерения ясна.

Я вправе был бы дать присягу,
Что мысль любая, шаг любой
И каждое биенье сердца
Наполнены одной тобой,
И светоч верности моей
За гробом вспыхнет не слабей.

Я б мог предать себя проклятью
В том случае, когда б на миг
Тебя забыть был в состоянье,
Благословенье глаз моих!
Пусть буду громом я убит!
Пусть молния меня спалит!

Но горе тем, кто верен слову
Из робкой верности божбе.
И без взывания к святыням
Я всю тебя ношу в себе.
Мне радость наполняет грудь,
Как своды неба Млечный Путь.

Что верен я тебе навеки,
В том нет заслуги никакой,

Ведь тот, кого ты полюбила,
Не может думать о другой;
Земля не сманит уж таких,
Кто неба самого достиг.

Пешт, июнь 1847 г.

ПРОЩАЛЬНАЯ ЧАША

Минувшее, в последний раз вставай!
В последний раз пусть плещет через край
Вино и радость молодая наша.
Да, наш венок теряет лепесток.
Я — этот лепесток, а вы — венок.
Так пусть прощальной будет эта чаша.

Все то, о чем просил я долго рок,
Он дал мне наконец, и близок срок
Моей женитьбы. Что на свете краше?
Меня везде житейский вихрь носил,
Но наконец я к пристани пришлыл.
Так пусть прощальной будет эта чаша.

Не стану сердце я лечить вином,
Когда, как прежде, заведутся в нем
Змееныши печали и запляшут.
Смуглянка на губах несет мне мед,
И я целую этот милый рот...
Так пусть прощальной будет эта чаша.

До вечера останусь с вами я,
Так наливайте мне полней, друзья,
Пока светло. Я пью здоровье ваше!
Да, завтра я уеду в край чужой,
Лишь стул мой здесь останется пустой.
Так пусть прощальной будет эта чаша.

Я вас настолько искренне люблю,
Что тот же самый путь и вам сулю.
Жена — она земли и неба краше.
Так пусть господь пошлет вам благодать,
Чтоб каждый мог и в свой черед сказать:
Пускай прощальной будет эта чаша.

Пешт, июнь 1847 г.

ЗНАМЕНИТАЯ КРАСАВИЦА

Лишь о ней гремит молва,
Песни в честь ее поются.
Чуть посмотришь на нее —
Набекрень мозги свернутся.

Бросит свой товар купец,
И скупой — червонцев груду,
И стихи свои — поэт,
Чтоб за ней ходить повсюду.

Царь отдаст венец и трон,
Чтоб назвать ее своею;
Солнце бросит небеса
И, как тень, пойдет за нею.

Под лучами глаз ее
Мертвый к жизни возвратится,
И голодный станет сыт,
И недужный исцелится.

Словом, звон пошел о ней,
Прямо стало мне досадно!
«Что тут делать?» — думал я
И сказал: «Посмотрим, ладно!»

Ну и что же, посмотрел!
Глупый мир, себе ты верен.
В красоте ты смыслишь, мир,
Сколько наш покойный мерин.

Слов нет, слов нет, хороша,
Только, господи помилуй!
Что тут славить, если в ней
Сходства нет с моею милой!

Пешт, июнь 1847 г.

ЭЙ, ЧТО ЗА ГВАЛТ?

Эй, что за гвалт? Несется он откуда?
Кто там еще тревожит мой покой?
Пусть замолчит, а то придется худо —
Учу косматых собственной рукой!

Взвод критиков готовится к сраженью!
Какая-то затеяна возня.
Оставьте это! А не то терпенье
В конце концов оставит и меня!

Иль времена минувшие забылись
И ваши спины больше не горят?
Не вредно вспомнить, если ополчились!
А, вспомнили? Подайтесь-ка назад!

Вы ж знаете: я грубоват бываю!
Таков я есть! И что поделать тут:
На вызов мужа саблей отвечаю,
А на собаку подымаю кнут!

Пешт, июнь 1847 г.

Я СОБРАЛ ПОЖИТКИ...

Я собрал пожитки и пошел в дорогу...
Всяческих предчувствий было очень много.
Все они туманно что-то предвещали,
Мол, ищи! Найдется! Что? О том — молчали.
Мол, шагай, покуда носят тебя ноги!
А куда? Докуда? По какой дороге?
Внутренним веленьям я повиновался,
Отчий дом далеко позади остался.
Отступил в былое, будто сновиденье
Утренней порою после пробужденья.
Мать с отцом, конечно, очень загрустили.
Добрые соседи дом их навестили:
«Полно, не тоскуйте по сынку такому!
Этот самый Шандор лишь обуза дому!
Буйно, нечестиво это ваше чадо!
Зря и волноваться вам о нем не надо.
Пусть живет как хочет — бродит, куролесит,
А потом, дай боже, заберут, повесят!
В жизни я не видел, чтоб на белом свете
Скверные такие урождались дети!»
После утешений этих вот и прочих
Света невзвидали матушкины очи,

Матушка к подушке головой припала,
Обо мне, бродяге, горячо рыдала!
А отец мой добрый скупо прослезился
И потом внезапно бранью разразился,
Пышною, как будто меховая шуба.
Напоследок молвил он довольно грубо:
«Все семейство наше блудный сын пятнает!
Если не повесят — застрелю! Пусть знает!»
До меня такие долетели речи,
И с отцом родимым не искал я встречи,
Ибо понимал я: то, что посулит он,
Выполнит наверно! Нрав его испытан!
Часто мне хотелось к старикам явиться,
Но не мог на это я никак решиться,
И когда уж только отыскал кой-что я,—
Две страны уж знают, что это такое! —
Лишь тогда к отцу я в дом войти решился
И, как всем известно, жизни не лишился.
Нет! Великолепно был отцом я встречен,
Никогда столь добр он не был и сердечен,
И теперь небось он не кричит,— я знаю! —
Что его я имя доброе пятнаю.
И соседи тоже... Добрые соседи,
Коль придется к слову, говорят в беседе:
«Шандора не троньте! Счастье он увидит!
Мы, мол, предрекали: толк из парня выйдет!»

Пешт, июнь 1847 г.

МУЗА И НЕВЕСТА

«Стучаться... Кто же это может быть?
Кто? Девушка? Тогда прошу простить,
Но не могу я девушку впустить!
Боюсь, что к сплетням повод дам:
Моя невеста от людей
Услышит, что, помолвлен с ней,
Я принимал каких-то дам!
Женюсь! Известно это вам?»
И вот ответ... Звучит в нем грусть:
«Но потому я и стучусь!

Господь благословит тебя,
Открой мне смело! Это я —
Возлюбленная старая твоя!»
«Возлюбленная старая? Скорей
Уйди подальше от моих дверей.
Я мерзко лгал, что я влюблен! Поверь:
Соломы вспышкой, дымом без огня
Та страсть была! Люблю я лишь теперь».
«Нет, ты любил! Любил одну меня.
Впусти меня! Ведь Муза я твоя,
Иль, может быть, напрасно буду я
Здесь даже и сейчас томиться у дверей?»
«Ах, Муза милая, голубка ты моя,
Раз это ты — входи сюда скорей!
Ко мне прийти ты можешь, как домой,
Моя единственная, ангел мой.
Ведь до могилы мы с тобой
Единой связаны судьбой.
Ты восхитительное существо,
Ты не бросала друга своего,
Не изменяла даже и тогда,
Когда со мной была одна нужда.
Забыт был всеми юноша-бедняк,
Но не могла забыть его никак
Ты, утешительница! Лишь с тобой
Делил изгнанье юноша-изгой.
Нет, я не рву таких священных уз,
И я ни на минуту не боюсь,
Что в сердце радостном моем
Вам будет тесно с той, с другой, вдвоем!
Уверен я,
Что между вами не случится ссор,
Ты и невеста милая моя —
Вы вроде двух родных сестер.
А родились вы в небе, вот ведь где —
На самой расчудеснейшей звезде.
И, дружбу меж собой храня,
На крыльях, сотканных из радуги одной,
Слетели в этот мир вы на заре весной
И осчастливили меня.

Пешт, июнь 1847 г.

У ЛЕСА ПТИЧЬЯ ТРЕЛЬ СВОЯ...

У леса — птичья трель своя,
У сада — мурава своя,
У неба — звездочка своя,
У парня — милая своя.

И луг цветет, и чиж поет,
И девушка и небосвод
Выходят вчетвером вперед
В свой беззаботный хоровод.

Увянет цвет, звезда падет,
И птица улетит в отлет,
Но милый с милой — круглый год
И всех счастливей в свой черед.

Пешт, июнь 1847 г.

У МИХАЯ ТОМПЫ

Нет, ты не ошибся: я перед тобою!
Я перед тобою — телом и душою.
Ты глазам не веришь? Взор твой колет, ранит.
Знаешь что? Зажмурься! Видимо, придется
Обратиться к сердцу. Сердце не обманет!
Слышишь? Я-то слышу: сердце громко бьется!

Стук ты в дверь услышал... Что это такое?
Что еще за дьявол не дает покоя?
Ты меня увидел на пороге дома!
И одно лишь только смею утверждать я:
Так бы рад ты не был никому другому,
Никого бы крепче не схватил в объятья!

Ну, ответь хоть словом! Или неохота?
У меня-то мыслей в голове без счета.
Я как тот голодный, что за стол садится,
И глядит на яства, и не знает даже,
За какое блюдо прежде ухватиться!
Эх, о многом должен я узнать тотчас же!

Здесь, на новой службе, как тебе живется?
Угождаешь богу? Это удается?
Сад заглох? Конечно, зелень не обуза —
И Пегас не сдохнет: будет сыт травою!
Дружат меж собою Библия и муза?
Ладишь с Аполлоном и с Иеговою?

Ты, который стольким дал успокоенье,
Собственного духа усмирил волненье?
Выбрось же, дружище, червяка, что гложет
Душу так нещадно, алчно, тайно, жадно!
Мир и жизнь прекрасны! Верь мне: каждый может
Смело брать у жизни все, что в ней отрадно!

Взять у жизни радость — это наше право,
Но вредит нередко нам строптивость нрава!
Детское упрямство: жаждать и томиться
Только потому, что не мила посуда.
Вздор! Мудрец согласен радости напиться
Из какого хочешь чистого сосуда!

Ты примера хочешь? А пример — мы сами...
Но — пора за дело! Благовестят в храме —
Для богослуженья час настал урочный!
С требником под мышкой шествуйте, почтенный!
Я ж в саду останусь... Аромат цветочный
Буду здесь вдыхать я, как глагол священный.

Храм мой — вся природа! Но иди же с богом!
А когда вернешься — расскажу о многом:
О светиле новом над родной страною
В образе Гомера — Яноша Араня;
Как я расставался со своей звездою
И — какой священник нужен для венчанья.

Мы хотим венчаться у тебя, Михая!
Но пора, дружище, речь я обрываю.
Живо отправляйся! Ждут ведь прихожане,
Звон уж прекратился там, на колокольне.
«Отче наш» не кончи в бурном ликованье
Песенкой моею, песенкой застольной!

Бейе, начало июня 1847 г.

ЗАКАТ

Солнце, как поблекнувшая роза,
Опускает свой померкший взгляд,
И, бледнея, с грустною улыбкой
Лепестки-лучи к земле летят...

Все вокруг безмолвием объято,
Лишь вдали — вечерний тихий звон.
Он как будто с неба к нам несется,
Навевает тихий, сладкий сон.

И, внимая звукам необычным,
Очарован, околдован я...
Знает бог, каким я полон чувством,
Знает бог, где бродит мысль моя.

Диошдёр, 8 июля 1847 г.

ПАННИ ПАНЬО

Панни Паньо звать меня,
И краснеть должна бы я
За честно́е имя это —
Да стыда давно уж нету!

Нету у таких, как я,
Ни отчизны, ни жилья!
Всем бетярам я подружка,
Грудь моя — ворам подушка.

Я с бетярами дружу,
Им помощницей служу,—
Тонет золото со звоном
В сундуке моем бездонном.

Пить громиле подношу
И с грабителем пляшу.
Вот и музыка вам, воры:
На степи закаркал ворон.

Ты вяжись ко мне, вяжись,
Да в петле не окажись!
На четверозубых вилах
Черт моих развесил милых!

А сама помру я как?
Где сожрет меня червяк?
Опостылю всем я скоро,
И помру я под забором.

Под забором я помру,
И цыгане поутру
Сунут в яму и зароют —
Где собак всегда хоронят!

Горе мне, но, мать моя,
Ты горюй сильней, чем я,—
Ты ответишь перед богом,
Виновата ты во многом!

Сватал паренек меня,
Он любил, любила я,
Ты меня отговорила —
Все несчастье в этом было.

Серенч, 9 июля 1847 г.

В МУНКАЧСКОЙ КРЕПОСТИ

В годы давние Илона Зрини
Стяг свободы подымала тут,
Но, увы, пристанище героев —
Ныне жалких узников приют.
Кандалов унылое бряцанье,
Каменная прочная стена...
Без боязни я взойду на плаху,
Но тюрьма... Ну, нет, тюрьма страшна.

С гордо поднятою головою
Все шагает узник молодой
В дальних далях что-то ищет взором,
И за взором он летит мечтой.
Это гость еще, должно быть, новый,
И душа его не сожжена.
Без боязни я взойду на плаху,
Но тюрьма... Ну, нет, тюрьма страшна.

В каземате рядом — старый узник,
Он уже не ищет ничего,
Высохло и легким стало тело,—
Цепи много тяжелей его.
Сломлен он тюрьмой, и, как могила,
Глубь пустых зрачков его темна.
Без боязни я взойду на плаху,
Но тюрьма... Ну, нет, тюрьма страшна.

Юный узник, будет лес зеленым
В день, когда на волю выйдешь ты,
Но ты сам засыпан будешь снегом
Горестей своих и нищеты.
Старый узник, тяжкие оковы
Ты до вечного не сбросишь сна.
Без боязни я взойду на плаху,
Но тюрьма... Ну, нет, тюрьма страшна.

Тихий стон из-под земли я слышу,
Он пронзил мне сердце, как кинжал,
Прочь отсюда! Я еще на воле,
Но уже почти безумным стал.
Черви там грызут и дух и тело...
Темная, сырая глубина...
Без боязни я взойду на плаху,
Но тюрьма... Ну, нет, тюрьма страшна.

Мункач, 12 июля 1847 г.

Я ВИЖУ ДИВНЫЕ ЦВЕТЫ ВОСТОКА...

Я вижу дивные цветы Востока —
Природы восхитительный гарем.
Как глаз, мигающий кому-то сбоку,
В разрывы туч мигает солнце всем.
Я вижу пальм таинственные чащи,
Где ветер еле слышно шелестит
И птицы голосят в листве дрожащей,
Иль это хор поющих звезд звенит?
С горы вдали я вижу остров синий,

Укачанный морскою синевой.
У нас здесь осень, там весна в долине,
И журавли летят над головой.
Они летят в весну, и вслед за ними
Летят желанья прошлых дней моих,
И так как все сегодня достижимей,
Я там уже, я тех краев достиг.
Я вижу ночи лунные, как в сказке.
Жизнь спит, но мертвецы настороже:
Вон пляшут духи, задевая в пляске
За тополя на полевой меже.
Нам эти привиденья не враждебны.
Они в довольстве прожили свой век,
Сошли по лунной лестнице волшебной
И к милым в дом спустились на ночлег.
Они сошли возлюбленных проведать,
Чтоб поцелуй на них напечатлеть
И дать во сне блаженство им изведать,
Которое их ожидает впредь.
Я вижу то, что недоступно глазу
И что бывает ночью — дня ясней,
И эту тьму чудес я вижу сразу
В мечтательных глазах любви моей.

Сатмар, июль 1847 г.

ОТВЕТ НА ПИСЬМО МОЕЙ МИЛОЙ

Пришло, пришло желанное письмо!
Его прочел я много раз, без счета
И, бог весть, сколько раз еще прочту,
Покамест буквы все и запятые
Не прирастут так к сердцу моему,
Как звезды к небу, вместе с ним составив
Один поток сверкающих миров.
Письмо и в данный миг в моих руках.
К нему я прижимаю губы, в страхе,
Что, может быть, кощунство целовать
Его листки,— так святы эти строки.
О девочка, не знаешь ты сама,
Кто ты и что. Позволь, тебе скажу я.

Когда я из ущелья детских лет
Взошел по склону к юности вершине,
Открылся мне оттуда целый мир
Безмерной красоты, огромный, пышный,
Необозримый. У меня глаза
От блеска разбежались. «Труд на славу! —
Воскликнул я.— Но мастер где его,
Создатель этого великолепья?
Где ты, господь? Как мне тебя найти,
Чтоб, пав перед тобою на колени,
Воздать благодаренье и хвалу?»
Затем на розыски послал я разум.
Все дебри философии, всю ширь,
Какую можно было, он обрыскал,
И все скорей кометы облетел.
Он побывал, где до него бывали,
И там, куда впервые он ступал,
И через много, много лет скитаний
Вернулся с этих поисков ни с чем,
Больной, усталый. Он блуждал напрасно.
По счастью, тут я встретился с тобой.
Я сразу воспылал к тебе любовью.
Ты мне открыла душу, ото всех
Таимую, и что же я увидел!
Тот бог, которого я так искал,
Жил у тебя в душе, ты оказалась
Его жилищем! Знать мне не дано,
Где был он раньше и где будет после,—
Сейчас он с очевидностью в тебе.
За что мне выпало такое счастье
Найти его в тебе? За жар, с каким
Его искал я, как никто доныне?
Быть может, да, но если даже нет
И милость эта мне не по заслугам,
Теперь я эту радость заслужу.
Я не могу остаться недостойным
Того, что ты дана мне и что бог
В тебе предстал мне и как бы открылся —
И нет границ моей любви к тебе.
С ней может исступленье лишь сравниться,
С каким пред тем я ненавидел мир.
Теперь вся эта ярость, став любовью,
Как даль без туч, принадлежит тебе.

Вот будущность моя. Распоряжайся
Как хочешь ею. Вот мои мечты.
Они — твои. Но это все — пустое.
Есть многое, есть большее, есть все.
Желаешь — отрекусь от убеждений,
Потребуешь — я честью поступлюсь
И проведу всю жизнь с пятном позора,
Которого стереть не сможет смерть.
Но сам ведь слишком хорошо я знаю,
Что ты не можешь этого хотеть,
На имени того, кого ты любишь,
Быть не должно позорного пятна.
Ты будешь поощрять меня, напротив,
Идти вперед по прежнему пути,
Чтоб умер я таким, каким родился,—
Открытым, независимым, прямым.
Нет, имени, которое я создал,
Не пожелаю сам я разрушать.
Оно в наследство перейдет потомку;
И хоть оно не очень велико,
Но будет незапятнанным и чистым.
Оно бы выросло во много раз,
Когда б ты тоже выступила гласно
Союзницей моей. Ведь и тебя
Укачивала в детстве муза славы.
Но ты не знаешь сил своих, а свет
Не верит тем, кто сам в себя не верит.
Нет, нет, держись вдали от шума битв,
Где лавры служат гробовым покровом
Им в жертву принесенных нежных чувств.
Держись вдали! В тени уединенья
Ты будешь мне не менее мила,
Чем в ослепительных лучах успеха
Пред громко рукоплещущей толпой.
Наоборот, сознанье, что, владея
Способностями с целый океан,
Ты блещешь только маленькой росинкой
На розе скромности,— всего ценней.

Сатмар, июль 1847 г.

ПОКИНУТЫЙ ФЛАГ

Он осквернен, поруган,
Тот флаг. В лохмотьях весь,
Он реет над пустыней —
Служу ему и здесь.
Был ураган великий,
Трепал его и бил,
И рвал его, но все же
Приметен образ божий
И в скорби этих крыл!

Ряды бойцов редеют...
Те, кто покинул флаг,
Пред идолом склонились.
Ну что же! Пусть и так,
Ничтожеств нам не надо,—
Пусть ласточки летят
Туда, где мягче зимы —
Орлы небес родимых
Покинуть не хотят!

Какая колдовская
Во флаге этом власть!
Храбрейшие погибли,
За этот флаг борясь.
Здесь твой алтарь, бог правды!
Пускай от алтаря
Отпрянули иуды,
Но тут до смерти буду
Стоять на страже я!

Сатмар, июль 1847 г.

НЕ СЕРДИСЬ, МОЯ ГОЛУБКА...

Не сердись, моя голубка,
Говорю я дело.
Хватит шуток! Эти шутки
Слушать надоело!

Прежних, так и быть, не помню,—
Что болтать о вздоре!
Хоть другой уже давно бы
Был с тобою в ссоре.

Черт побрал бы мое сердце
С добротой в придачу!
Им одним принес я в жертву
Счастье и удачу.

Был доверчив, как ребенок,
Верил я любому.
Но теперь, клянусь в том честью,
Будет по-другому.

Посему — довольно шуток,
Слушай с уваженьем:
Я пришел с необычайно
Важным предложеньем.

От тебя теперь нужна мне
Лишь одна уступка:
Сделай то, в чем отказала,—
Поцелуй, голубка!

Сатмар, июль 1847 г.

ПЯТОЕ АВГУСТА

Наконец-то, наконец-то!
Я кольцо, кольцо надел,
И устами, и устами
Я твоими овладел.

Пью я сладость, пью я сладость
Поцелуя твоего —
Для меня вся сладость жизни
Превращается в него.

Ну, целуй! Никто не видит,
А увидят — горя нет:
Обрученным целоваться
Отменяется запрет.

Дай мне губы, дай мне щеки,
Дай мне лоб твой! Вот он, вот,
Он горит от поцелуев,
Как от солнца небосвод.

Пьян я. Мягкими руками
Ты держать меня должна.
Я уже не отличаю
Поцелуев от вина.

Только боги на Олимпе
Это пить могли вино —
Я не бог, простой, я смертный...
Голову мутит оно!

Что за необыкновенный,
К пебесам несущий хмель!
Исчезают где-то в бездне
Очертанья всех земель.

Позади — бродячья стая
Пестрокрылых облаков.
Я лечу меж звезд, похожих
На поющих соловьев.

Как поют они! Как сладко!
Сладко! Я среди огня,
Будто сотни тысяч молний
Пляшут около меня.

Ну, а сердце? Что же с сердцем?
Вот ведь, вот ведь в чем беда!
Мальчик, берегись! От счастья
Умирают иногда!

Эрдёд, 1847 г.

ПИСЬМО ЯНОШУ АРАНЮ

Что ты — скончался, любезный? Иль, может быть, руки
отсохли?
Янко мой, где ты? Забыл, что я существую?
Черт унес тебя, что ли? Месяц — ни слуху ни духу!

Если тебя приняла колыбель вечной жизни — могила,
Мир тебе, Янко! Приснись тебе сон бескручинный!
Пусть моя брань твой священный покой не тревожит!
Что ж ты молчишь? Почему опоздал ты с ответом?
Если отсохла рука — в аптеку ступай, постарайся,
Сын мой, поправиться и напиши мне не медля.
Если ж забыл меня, если ты друга забыл, непутевый,
Дьявол заешь тебя,— слышишь? — желаю от чистого сердца.
В час, когда имя свое вписал ты огнем в мое сердце,
Знаешь ли, что ты содеял? Ты сталью на тверди гранитной
Напечатлел, о изменник, вовеки бессмертные буквы!
Да, но я сам! Неужели на зыбком песке начертал я
Имя свое,— на песке, что ветер летучий развеет?
Что ж, и за это спасибо!.. Нет, лучше признаю, что стих мой
Даже хромал иногда, но не верю, что другом покинут.
Вот в чем беда: ты лентяй, ты такой же, как я, лежебока.
Сделай же милость, будь скромен и лень для меня уж
оставь ты!
Видишь, она мне подходит (и здорово!!), ты не согласен?
Ну, если я попрошу! Я вижу: вскочил ты,
Ручку за шиворот взял и суешь ее носом в чернила,
Множество длинных борозд по невинной бумаге проводишь,
Сеешь в них разную дрянь, какие-то жалкие мысли...
Лучше уж не писал бы, чем столько премудрости глупой
В письма совать и в мое злополучное бедное брюхо...
Можно ль найти что-нибудь глупее, чем умные письма!
Я их ужасно боюсь. Не с того ли, что сам не умею
Стряпать такие? Возможно! А в истине слов моих, Янко,
Я поклянусь табаком, и блинами, и всем, что на свете
Дорого мне и священно,— всеми святынями мира!
Достопочтенная кумушка, я попрошу вас нижайше
Мужа убить, а потом изругать, если этот мерзавец
Даже теперь не ответит, после всего, что сказал я.
Пусть отвечает подробно,— если ж о милости вашей
Он лишь два слова ответит, бешено буду я злиться.
Пусть не забудет он черного Лаци и беленькой Илуш,
Деток прелестных. А как поживает, скажите,
Сад, на котором так часто покоился взор мой, покуда
Дух улетал далеко, любовь унося к моей милой?
Что с обветшалою башней, которая после сражений
Грустно молчит, перевив чело свое редкой травою,
Словно грядущего ждет, под чьей исполинскою лапой
Рухнет она, как старик, у которого смерть беспощадно

Вырвала нищенский посох... Стоит ли на ней и поныне
Аист печальный, уставясь глазами в далекое небо?
Да, обо всем напиши, обо всем, что любил я когда-то,
Много прекрасных земель с тех пор обошел я, но ваша
Мне вспоминалась везде, хоть нечему в ней удивляться.
Время, что с вами провел я, сроднило меня с ней навеки.
Много бродил я с тех пор вкруг высоких блестящих палаццо,
Все в них огромно, и только души хозяев ничтожны...
И вспоминал я тогда вашу низкую кровлю; под нею
Все ведь мало, лишь велики прекрасные души хозяев,
Эх, что за дьявол! Чего я хвалю вас в глаза без зазренья?
Только теперь и заметил! Ведь ложь все то, что сказал я,
Все бесстыдная ложь! Я взятку всучить вам задумал,
Чтоб... чтоб меня господин нотариус к делу приставил,
Место лесничего дал мне, а то свинопаса в деревне,—
Две превосходные должности, пусть мне поручит любую.
Да, мой дружок, мне скоро придется налечь на работу:
Я ведь женюсь — ты знаешь, и знаешь, что, как ни богаты
Все поместья мои, дохода от них я не вижу.
В этом виновен мой прадед: он продал... иль нет — не купил их.
Значит, мне не на что жить, и, как ты понимаешь, нужна мне
Служба. Я кланяться выучусь, мило начну улыбаться,
Буду примерно послушен, а лесть ползучего гада
Станет мне пищей (и жирной!)... О нет, блудливым собакам
Будь она пищей — не мне! При мысли об этом
Полные пламени тучи кровавый мой взор застилают.
Сердце, бунтуя, беснуется, как жеребец разъяренный,
Будто впервые пастух, его заарканив жестоко,
Тащит из табуна и за шею волочит в упряжке.
Бешеный, он не боится тяжестей, мышцам грозящих,
Нет! Лишь хомут ему страшен, стеснитель вольного бега.
То, что он потеряет, не возместят ему кормом.
Дикой свободы дитя, соблазнится ль он пышной попоной
Или сверкающей упряжью? Что ему пища и роскошь!
Голод свой он утолит и убогой степною травою.
Пусть гроза его хлещет в широком раздолье под небом,
Пусть кустарник терзает и рвет непокорную гриву,—
Только б на воле ходить, состязаясь в ликующем беге
С огненным вихрем степным и с желтыми змеями молний.
Да охранит вас творец! Я хотел бы душой веселиться
С вами, друзья дорогие, но ветер, быстро бегущий,
Мощно надул паруса моей фантазии буйной,
Поднят якорь на борт, и вольно бежит мое судно.

Берег исчез, и меня баюкают в гордых объятьях
Волны бескрайного моря. Я слушаю туч грохотанье,
Гул нарастающей бури, я в нервы лиры впиваюсь,
Пламенем диким поют мои исступленные губы
Твой урагану подобный гимн, о святая свобода!

Сатмар, 6 августа 1847 г.

ПОЭЗИЯ

Как ты унижена, поэзия святая!
Растоптано достоинство твое
Глупцами, что, стремясь тебя возвысить,
Безмерно унижают каждый раз!
Такие самозванные жрецы
Повсюду проповедовать берутся,
Что будто бы поэзия — чертог,
Парадный зал, великолепный терем,
Куда входить позволено лишь тем,
Кто разодет по моде и любезен...
О, замолчите! Правды ни на грош
Нет в проповеди вашей, лжепророки!
Поэзия не зал и не салон,
Где избранное общество расселось,
Как лук порей в салатнице... О нет!
Поэзия — такое это зданье,
Куда войти свободно могут все,
Кто хочет думать, чувствовать, молиться...
Что знаете о храме вы таком?
Поймите: это храм, в который можно
Войти в лаптях и даже босиком!

Сатмар, август 1847 г.

МОЙ ПЕГАС

Он, Пегас мой, не скакун английский,
С тонкой шеей, с длинными ногами,
И не жирный ломовик немецкий,
Что идет медвежьими шагами.

Мой Пегас — венгерец чистокровный,—
Вот какой я прелестью владею!
Солнца луч на этой гладкой шерсти
Поскользнется и сломает шею!

Рос мой конь не на заводе конском,
А поймал я моего Пегаса
На степном раздолье Киш-Куншага,—
Там родился, там он вольно пасся!

Я седлом спины его не мучу:
Клок кошмы подстелен и — чудесно!
И Пегас безудержно несется,
Ибо брат он молнии небесной!

Он стремится в степи Киш-Куншага,
Потому что там рожден он где-то.
Эх! Лишь только натяну я повод —
Мчится конь, аж свист в ушах от ветра.

Вот деревня. Ну-ка, погарцуем
Перед девичьим пчелиным роем.
Попрошу цветок у самой милой,
И — хай-ра! — вперед пора обоим!

Захочу — и за пределы мира
Мы с Пегасом вырвемся мгновенно.
В пене конь мой! Это — не усталость,
Это — огнедышащая пена.

Никогда Пегас мой не устанет,
Что ни час, то неустанней мчится.
Так и надо мчаться, потому что
Далека мечты моей граница.

Мчись, Пегас, скачи через овраги,
Удержу не зная никакого,
А противник встанет на дороге —
Растопчи такого и сякого!

Сатмар, август 1847 г.

В КАБАКЕ

Наш кабак одной стеною
Покосился над рекою,
Весь он виден был бы в ней,
Будь немножко ночь светлей.

Ночь же больше все темнеет;
Над рекой туман густеет;
Весла убраны с челна;
По деревне тишина.

В кабаке лишь крик и грохот,
Бубен, скрипки, пляска, хохот.
Спор кипит, поют, шумят,
Только окна дребезжат.

«Ну, красавица хозяйка!
Подходи-ка, наливай-ка!
Хорошо твое вино,
Жаль, что есть у чарки дно.

Эй, цыган! Притих ты что-то;
А вот мне плясать охота,
Разутешь-ка плясовой!
Деньги есть ведь за душой!»

Вдруг в окошко постучались:
«Что вы там разбушевались?
Барин вам велел сказать:
Разошлись бы,— лег он спать!»

«Взяли б вас обоих черти!
Пить и петь хочу до смерти,
С плеч рубашку заложу,
А уж вам не угожу!»

Но опять стучат в окошко:
«Если б тише вы немножко!
Очень матушка больна,
Хоть заснула бы она».

И цыгану все кивают,
Чарки молча допивают,
Все за шапку — и домой...
Все притихло над рекой.

Сатмар, август 1847 г.

БРОДЯГА

Если денег нет в кармане,
Нет и в брюхе ни черта!
У меня в кармане пусто —
Вот и в брюхе пустота.

Я на голод не в обиде,
Хоть не ел уже два дня:
Кто-нибудь на белом свете
Пообедал за меня.

Завтра, завтра есть я буду
(Коль достану что-нибудь),
Сладкой матери-надежды
Пососу покуда грудь.

У меня в желудке пусто,
Но зато полны глаза:
Каждый миг от этой стужи
Застилает их слеза.

И пускай, пускай морозит!
Подгоняет холодок!
С ним короче до трактира,
А трактир еще далек.

Ну-тка, серая, гнедая,
Ну-тка, ноги побыстрей!
Что за кони, просто прелесть:
Не корми да не жалей!

Левый оттого и серый,
Правый оттого гнедой,
Что вчера, продрав штанину,
Я кусок пришил с другой.

У меня костюм был новый,
Был он крепок да хорош,
Так чтоб он не истрепался,
Я спустил его за грош.

А чтоб вор меня не грабил,—
Эх, провел я подлеца! —
Отдал в первом же трактире
Грош мой за стакан винца.

Пусть теперь наскочит жулик,
Пусть хоть грош отыщет он,
Я ему в награду тут же
Отсчитаю сотню крон.

Но не вор в карман мой лезет,
Шарит ветер мокрый там.
Брось ты, ветер, эти штучки,
Право, шлепну по рукам!

Шутка шуткой, а погоду —
За разбой бы да под суд!
Ливень, холод, снег да ветер —
Одного четыре бьют!

И босой по лужам еду,
Впрочем, этак лучше мне:
В сапогах сегодня плавать
Мокро было бы вдвойне.

Так пускай хохочет ветер
Оттого, что я промок.
Он когда-нибудь мне тоже
Попадется на зубок.

Бог пошлет мне мастерскую
С теплой печью, в два окна,
Будет в ней светло и чисто,
Будут дети да жена.

А тогда уж, если ветер
Взвоет у моих окон,
Засвищу ему я в рожу,
Чтоб со злости лопнул он.

Сатмар, август 1847 г.

НЕ ОБИЖАЙСЯ

Мое живое солнце золотое!
Не обижайся, если иногда
Я хмур и мрачен. Даже пред тобою
Я не могу веселым быть всегда.

Утешься тем, что в тяжкие минуты
Приносишь огорченья мне не ты.
Виновницею этой скорби лютой
Ты быть не можешь, ангел доброты!

Меня совсем иное нечто гложет,
Глаза подергивая серой мглой.
Недобрый некий дух меня тревожит,
Ко мне ночами ходит демон злой.

Напрасно умоляю: «Не преследуй!»
Он к этим просьбам остается глух.
Я знаю, вечным наважденьем бреда
Ко мне являться будет этот дух.

Едва я, как пьянящего напитка,
Касаюсь чаши радости, как вдруг
Уж тут как тут мой посетитель прыткий —
И чаша мигом падает из рук.

Былое — вот тот призрак окаянный,
Воспоминанье — вот как звать его.
Лишь горький рок мой мог придумать спьяна
Такую казнь, такое колдовство.

Теперь ты знаешь, под каким я игом.
Хотя в другое время я не трус,
Чуть шаг минувшего заслышу, мигом
Бесчувственнее камня становлюсь.

Не говори со мной в часы унынья.
Тебя я в это время не пойму.
Дай без следа исчезнуть чертовщине,
Я сам воспряну и рассею тьму.

Вот сон какой мне временами снится.
Пока мне снится этот страшный сон,
Не верю я, что это небылица,—
Так част и так правдоподобен он.

Сатмар, август 1847 г.

ПЕСТРАЯ ЖИЗНЬ

Бывал на службе я у Марса,
И к Талии я нанимался...
Меня любили, уважали:
То сам сбегал, то в шею гнали.

То босиком блуждал я где-то,
То покупал себе карету;
То чистил людям сапоги я,
То мне их чистили другие.

Страдал от голода и жажды,
Глотал я корки не однажды,
Зато порой имел я счастье
Купаться в молоке и масле!

Порой постелью средь дубравы
Служили мне сухие травы.
То снова над моей постелью
Шелка алькова шелестели.

Перед слугой аристократа
Я шляпу поднимал когда-то,
Но и надменные вельможи
Передо мной склонялись тоже.

Служанка под руку со мною
Пройти стыдилась. Но иное
Настало время: стал приятным
Я важным дамам, самым знатным.

Ходил я в драгоценном платье,
Ходил с заплатой на заплате —
С зеленой, с желтой, с синей, с красной...
О, боже! Жизнь пестра ужасно!

Сатмар, август 1847 г.

ПРЕКРАСНОЕ ПИСЬМО

Милая, ты написала
Мне прекрасное письмо.
Это след ума немалый,
Прямодушие само.

Пишешь,— я тебе дороже
С каждым часом, но, дружок,
Веришь ли, мороз по коже
Пробежал от этих строк.

Пролегла на лбу морщина —
И она как след ножа.
В этом ты, мой друг, повинна,—
Я читал письмо, дрожа.

То письмо — как куст на грядке,
Под которым спит змея.
Не найду ее, но в пятки
Был тайком ужален я.

Объясни мне: неужели,
Друга за любовь казня,
С умыслом или без цели
Оскорбила ты меня?

И рукою той же самой
В сердце всажен мне кинжал,
От которой я бальзама
Исцеляющего ждал.

Звал тебя я, утопая,
Руку помощи подать.
Подошла ты, но не знаю,—
Чтоб спасти иль вглубь загнать?

Приходи, рассей сомненья,
Иль безумья не сдержу,
И себе о скал каменья
Голову я размозжу.

Сатмар, август 1847 г.

НА РОЗУ РАССЕРДИЛСЯ Я...

На розу рассердился я —
Она обидела меня.
Как водится, я горевал,
Сердился я и тосковал:

Мол, лишь могильщику под стать
Такую рану врачевать —
Тогда лишь выздоровлю я,
Когда возьмет меня земля.

И до тех пор я горевал,
Покуда не поцеловал
Меня мой ангел, и тогда
Забылась вся моя беда.

Как нож слова ее разят,
Но губы рану исцелят.
Ведь девушки все таковы!
Что тут поделаете вы!

Сатмар, август 1847 г.

ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ПОЭТ...

Все говорят, что я поэт;
И я того же мненья.
Но ты, о дорогая, нет,
Не славь мои творенья.

Не мучь меня своей хвалой,
Мне совестно до боли.
Я по сравнению с тобой —
Ничтожество, не боле.

Ведь в каждой мысли у тебя
Мелькнувшей без названья,
И в каждом вздохе, что едва
Теснит твое дыханье,

И в каждом взгляде милых глаз
С их сокровенной речью,
И в голосе, что столько раз
Летел душе навстречу,

В улыбке на твоих устах —
Пожалуй, больше вдвое
Поэзии, чем в пятистах
Стихах, рожденных мною.

Сатмар, август 1847 г.

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО

Я на спине лежу и из густой травы
На звезды ясные гляжу во власти грез.
Их серебристый свет, касаясь головы,
Свивается венком вокруг моих волос.
Я душу выкупал свою в дождях лучей,
Их светлый ливень смыл с нее земную муть.
Она рванулась ввысь, чтобы себе скорей
Путь на небо вернуть.

Земля объята сном, он сладок и глубок,
И что-то лишь в тиши гудит невдалеке:
Букашка ль близ меня уселась на цветок,
Или вдали шумит плотина на реке,

Иль это более еще далекий гром
И эха замирающий ответ,
Иль то душа моя свой праздничный псалом
Поет с других планет?

Лети, душа моя, сквозь дали без числа
И загляни за край таинственных завес,
Которые рука господня соткала
В премудрости иль прихоти небес.
И взорами пытливыми окинь
Всю бездну звезд, весь купол голубой
И прилети сквозь горнюю их синь —
Поговорить со мной.

«Что видела? — спрошу.— Там есть ли жизнь,
как тут?
Похожа ли она на наш тоскливый ад?
И существует ли взаправду Страшный суд,
Где жалуют святых, а грешных не щадят?
Но мне-то в этом что? Одно мне объяви,
Одно я знать хочу, одно поведай мне:
Там бьются ли сердца и в них огонь любви
Горит ли в глубине?

И если любят там, то я готов года
Молиться, чтоб господь меня там поселил.
А если нет и вход любви закрыт туда,
То бог с ней, со страной мерцающих светил!
Я землю предпочту тогда любой звезде,
Пусть в ней я превращусь по смерти в прах
и тлен —
Все может заменить любовь, любви ж взамен
Нет ничего нигде».

Сатмар, август 1847 г.

АХ, ОДНО ДРУГОГО ЛУЧШЕ...

Ах, одно другого лучше
Получаю письма я:
В грудь вонзила мне посланье
Нынче милая моя;

А другой доброжелатель
Так и пишет мне: «Поверьте,
Вам бежать отсюда надо,
Чтоб спастись от близкой смерти!»

Значит, скрыться? Покушенье
Замышляет тайный враг!
Шутка это или правда?
Может быть и так и так.
Дорогой мой! Если шутишь,
Так иди, шути с другими,
А меня не запугаешь
Шуточками ты такими!

Ну, а если в самом деле
Кто-то нож вонзить готов,
Я хотел бы убедиться —
Что за птица, кто таков?
Уж не виршеплет ли это,
Чью мозоль копытом тронул
Мой Пегас, бредя однажды
По дороге к Геликону?

Или мне судья вельможный
Угрожает кулаком,
Тот, чью голову однажды
Сшиб я вместе с париком?
Или мстит какой соперник?
И такие тоже были,—
Из седла я многих выбил
И в глаза набил им пыли!

Ха! А может быть, все трое
Сразу станут предо мной?
Если так оно и выйдет,
Что мне делать! Боже мой!
Знаю! Челюсть виршеплета
Я возьму орудьем мести,—
Как Самсон ослиной костью,
Всех врагов побью я вместе!

Сатмар, август 1847 г.

ГЕРОЯМ БОЛТОВНИ

Долго ль нам бредни о родине слушать,
Долго ль шумиху терпеть, венгерцы?
Кто о любви к отчизне трезвонит,
Тот не носит отчизну в сердце,
Эй, герои! Вы словно торговки —
Нынче шумите, вчера вы шумели!
Ну, а родина разве не там же?
Беды — не те же? Достигли мы цели?

Время действовать! Слов довольно!
Вам говорю я: время приспело!
Смотрит весь мир на вас в ожиданье:
Скоро ль за словом последует дело?
Действуйте! Кошелек раскрывайте!
Жертвуйте всем для священного долга!
Родину, наконец, накормите!
Родина вас кормила так долго!

Пробный камень патриотизма —
Жертва и благородное дело.
Где вам на жертвы идти, себялюбцы!
Где вам, трусы, действовать смело!
Старые нации омолодятся,
Точно сады и рощи в апреле.
Вы не сажаете новых деревьев,
Старый сад вы, как черви, объели.

О, слепота! Вас на щит поднимают,
Вам посвящают похвальное слово!
Вас толпа, как спасителей наших,
Всех заключить в объятья готова.
Где ж тут спаситель? Предатели наши!
Лают под стать собаке трусливой.
Враг непременно решит, что мы трусим,
Если послушает сброд их крикливый.

Я не пойду с толпой им навстречу,
Чтоб увидать их триумф величавый,
Если ж пойду, то с одною лишь целью:
Перевернуть колесницу их славы.

И всенародно бичом позора
Их отхлещет гнев мой великий,
Виселицы напечатлев на мордах
Этой хвастливой и подлой клики.

Сатмар, август 1847 г.

КАК-НИБУДЬ

Не могу дождаться свадьбы.
Изнемог!
Ну, не нынче, значит — завтра.
Близок срок!
Бесконечная неделя...
Потерплю уж в самом деле
Как-нибудь!

Ни гроша мне не осталось
От отца,
Не оставил он в наследство
Мне дворца,
Вот беда! А впрочем, все же
Без наследства жить мы сможем
Как-нибудь!

Преупрямую девчонку
Я люблю.
Впрочем, что она ни скажет,—
Все терплю.
Кровь что пламень у обоих!
Уживемся, значит, двое
Как-нибудь!

Знай: сегодня ты уступишь,
Завтра — я.
Вот и будет ни к чему нам
Руготня.
Ну, а если днем сразимся,
То уж к ночи примиримся
Как-нибудь!

Сатмар, август 1847 г.

ВИДАЛ ЛИ КТО...

Видал ли кто на свете
Такого великана?
Я на коленях небо
Держу и не устану.
Обвей рукой мне шею,
Мой светлый свод небесный,
И кругозор закрой мне
Своей красой прелестной!

Зачем грудная клетка
Заключена в границы?
В таком пространстве счастье
Не может уместиться.
Чтоб радость не давила,
Я часть ее истрачу:
От полноты восторга
Я, кажется, заплачу.

Я знал, что буду счастлив,
Что горе — гость минутный,
С которым я столкнулся
На станции попутной.
И вот печаль, прощаясь,
Снимается с привала,
А я не обращаю
Внимания нимало.

Еще не село солнце,
А соловей безумный
Уже защелкал где-то
Раскатисто и шумно,
Но соловей ли это?
Нет, это, без сомненья,
Звук наших поцелуев
Похож на птичье пенье.

Как тихий дождь весною
Живит земные соки,
Они покрыли градом
Мне губы, лоб и щеки.

Как тихий дождь весною,
Рождающий без счету
Моря цветов и всходов
В дни полевой работы.

Сатмар, август 1847 г.

ПРОЩАНЬЕ С ХОЛОСТОЙ ЖИЗНЬЮ

Ты прощай-прости, мой старый друг,
Холостая жизнь, прощай-прости!
Четверть века вместе протрубили,—
Не простясь, могу ль теперь уйти!

Не сердись, что верный твой поклонник
От тебя уходит навсегда.
Мы с тобою разделили юность,
Уж оставь мне зрелые года!

Как никто другой, тебя любил я,
Был послушен прихоти твоей,
Смело шел туда, где флаг твой реял,—
В дебри романтических страстей.

Как хотела, мною ты играла,
Я устал, пора мне отдохнуть!
Пусть мне ложем будут руки милой,
И подушкой будет милой грудь.

Юные друзья, со мною встретясь,
На меня насмешливо глядят
И проходят, выразив участье...
Что же, видно, зелен виноград!

Но и в самом деле, я достоин
Жалости — я это вижу сам.
В ту корчму, что грязного грязнее,
Мне уж не ходить по вечерам.

И любить я лишь одну обязан,
Ту, которой дорог я один
В целом мире,— а для их любовниц
Существуют тысячи мужчин.

Бог с тобою, жизнь ты холостая,
Не сердись, не вспоминай обид.
Завтра повернусь к тебе спиною,
Я тобой уже по горло сыт.

Уноси свой флаг в места другие,
Новые бойцы ему нужны.
Я сменил твой пестрый флаг на белый,
Этот флаг — платок моей жены.

Сатмар, сентябрь 1847 г.

МОЛОДОЙ БАТРАК

Гусару на коня не сесть красиво так,
Как на телегу сел тот молодой батрак.
Он сено свез, свалил, сложил на чердаке,
На хутор едет он в телеге налегке.

Везут его волы, он смотрит молодцом.
Передний самый вол шагает с бубенцом.
Редчайший бубенец! Так звонок он в пути,
Что мог бы где-нибудь за колокол сойти.

Кричит батрак волам: «Вперед, волы, вперед! –
И правою рукой с телеги кнут берет.
Берет с телеги кнут — сажени три в длину —
И хлещет им волов: — А ну, волы! А ну!..»

А девушка в саду полола в этот час,
И парень подкатил к забору в самый раз.
Она, и не взглянув, по звуку поняла —
Чей это кнут и чья упряжка подошла.

И девушка в саду обрадовалась так,
Что вырвала цветок, а вовсе не сорняк.
А если вырван он, назад не посадить.
И парню тот цветок пришлося подарить.

А парень— что ж сказать? Не мог он, молодой,
Подарка не принять от девушки такой,—
От девушки такой, что как цветок сама
И что совсем, совсем его свела с ума.

И гордо свой цветок он к шляпе прикрепил,
В телегу снова сел и дальше покатил.
На хутор держит путь и, торопя волов,
Как жаворонок он заводит песнь без слов.

Поет батрак о том, что в сердце он берег,
Что чувствовал давно, а высказать не мог.
И песня так звучит, что — видно по всему —
Все жаворонки здесь завидуют ему.

Сатмар, сентябрь 1847 г.

ЗА ГОРАМИ СИНИМИ...

За горами синими, в долине,
Жить ты будешь, милая, отныне,
Будешь жить под кровлею одною
С мужем, осчастливленным тобою.
Уведу тебя, мой друг, далеко,
Все к востоку поведу, к востоку,
Уведу в Эрдей тебя, в селенье,
В романтичное уединенье.
Дни счастливые пойдут за днями,
Ибо лишь природа будет с нами,
Славная, сверкающая вечно
И тобой любимая сердечно,
Потому что лгать она не станет,
Не предаст она и не обманет,
Не поранит и не покалечит,
А добру научит и излечит.
Будем жить от света в отдаленье,
И не шум его, а отраженье,—
Только эхо шума мирового,—
Вроде гула дальнего морского,
Будем слышать. Спов он не развеет,
А, напротив, новые взлелеет.
О цветок единственный! С тобою
Мы помчимся над большой землею.

В той пустыне мира, дорогая,
Выучу заветные слова я.
Их сказать стремлюсь уже давно я —
Милой назову тебя женою.

Сатмар, сентябрь 1847 г.

ЖИТЕЛИ ПУСТЫНИ

Вот в горах пасется серна,
Щиплет мох она у скал;
Вот орел несется к солнцу
И в лазури с глаз пропал;
Вот в листве зеленой рощи
Птичья армия поет,
И змея среди деревьев
Извивается, ползет;
Страус глупой головою
Зарывается в песок;
С сатанинскими слезами
Крокодил в тростник залег;
Тут копается гиена,
Будто труп в земле зарыт;
Там — кровавыми глазами
Разъяренный тигр глядит...
Где же лев? Куда девался?
Он охотником сражен?
Иль, быть может, в дальних странах
Заблудился где-то он?
Этот лев не заблудился,
Хоть и любит он бродить!
Не убит он! Не убили!
Он не даст себя убить!
Но сражался он жестоко,
Победил он в той войне
И, чтоб новых сил набраться,
Отдыхает в тишине.
Отдыхает лев усталый
Там, где пальмы зелены...
Отдыхаю, лев усталый,
На груди своей жены!

Колто, 9 сентября 1847 г.

НАПРАСНАЯ ТРЕВОГА

Я разразился б хохотом,
Раскрыв до боли рот,
Я хохотал бы бешено,
Да стыд меня берет.
Я думал, что я умница,
Какой нелепый бред!
Такого простофили
На свете больше нет.

Туда, сюда, как щепку,
Бросала жизнь меня.
Как жаждал я покоя,
Безветренного дня!
И что же я придумал?
Женился, господа...
Женитьба и спокойствие —
Какая ерунда!

Друзья мои тревожно
Шептались меж собой:
«Вдруг вместе с ним отправится
И лира на покой!
Чтоб листья шелестели,
Ведь должен ветер дуть,
И в штиль, как листья чуткие,
Молчит поэта грудь».

Друзья, вы зря тревожились,
Что я не буду петь:
Как раньше не молчал я,
Молчать не буду впредь.
Я так спою, что в реках
Запенится вода...
Женитьба и спокойствие —
Какая ерунда!

Колто, сентябрь 1847 г.

ОСЕННИЙ ВЕТЕР ШЕЛЕСТИТ...

Осенний ветер шелестит в деревьях,
Так тихо-тихо шепчется с листвой.
Не слышно слов, но грустные деревья
В ответ ему качают головой.
Я на диване растянусь удобно.
День гаснет. Скоро вечер. Тишина.
Склонив на грудь усталую головку,
Спокойно, тихо спит моя жена.

Рукой счастливой слышу колыханье
Ее груди. В моей руке другой
История сражений за свободу —
Молитвенник и катехизис мой.
В душе моей гигантскою кометой
Горят его живые письмена.
Склонив на грудь усталую головку,
Спокойно, тихо спит моя жена.

Народ, покорный бешенству тирана,
В сраженье гонят золото и кнут.
А вольность? За одну ее улыбку
Герои в бой бестрепетно идут
И принимают, как цветы от милой,
И смерть и раны, что дарит она.
Склонив на грудь усталую головку,
Спокойно, тихо спит моя жена.

Так много славных, о святая вольность,
Пошли на смерть для дела твоего!
И пусть победы нет — победа будет!
Последний бой сулит нам торжество,
Ты отомстишь за раненых и мертвых,
И будет месть прекрасна и страшна!
Склонив на грудь усталую головку,
Спокойно, тихо спит моя жена.

Передо мной кровавой панорамой
Встают виденья будущих времен:
В своей крови враги свободы тонут,
От тирании мир освобожден.

Стук сердца моего подобен грому,
И молниями грудь рассечена.
Склонив на грудь усталую головку,
Спокойно, тихо спит моя жена.

Колто, сентябрь 1847 г.

С ТОЙ ПОРЫ...

С той поры, как счастливо женился,
Властелином дома я сижу:
Трон мой — кресло; длинный стебель трубки,
Словно скипетр, я в руке держу.

И с достоинством невероятным
Благосклонно принимаю я
Верноподданных моей державы,
И полна приемная моя.

Девочка, ты в розовом наряде
И к тому ж красавица собой!
Подойди, сестренка, потолкуем!
Первенство, конечно, за тобой!

Девочка лукавая! Ведь прежде
Ты меня старалась избегать.
За тобой, за Радостью, я гнался,
Но никак не мог тебя поймать!

Все ж попалась, фея! И за крылья
Ухватил тебя я наконец.
Стала ты садовницей моею —
Что ни день сплетаешь мне венец.

Фея, ты даришь меня цветами,
Ароматнейшими на земле.
А шипы — они щекочут только!
Видишь — нет царапин на челе.

Эй, холоп сухой и долговязый,
Ты, Забота, ну-ка, скройся с глаз!
Надоело! Не хочу сегодня
Слышать я твой будничный рассказ.

В дни такие славные толкуешь —
Как одеться да чего поесть.
Прочь! Хоть жизнь и коротка, но все же
Этот вздор успеет надоесть!

Боль, с лицом расстроенным и темным,
Ты какого черта приплелась?
Старый враг, неужто не боишься,
Что тебя повешу я сейчас?

Ты нередко мне терзала сердце —
Кровь идет еще по временам!
Как мне быть с тобой? Ну, не печалься:
Так и быть — тебе пощаду дам!

Очень долго мы с тобой боролись,
И Победа присягнула мне.
Добр я буду, ибо победитель
Добротой лишь победит вполне!

Что за шум? Беснуется Пегас мой!
Пнул его осел какой-нибудь?
Иль тоскует конь мой, что давно уж
Никуда я не пускаюсь в путь?

Погоди же, добрая лошадка,
Мы с тобой потопчем облака!
Видишь: я покоем властелина
Не пресытился еще пока!

Колто, сентябрь 1847 г.

В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ

Цветы по садам доцветают в долине,
И в зелени тополь еще под окном,
Но вот и предвестье зимы и унынья —
Гора в покрывале своем снеговом.
И в сердце моем еще полдень весенний
И лета горячего жар и краса,
Но иней безвременного поседенья
Закрался уже и в мои волоса.

Увяли цветы, умирает живое.
Ко мне на колени, жена моя, сядь.
Ты, льнущая ныне ко мне головою,
Не бросишься ль завтра на гроб мой рыдать?
И если я раньше умру, ты расправишь
На мне похоронных покровов шитье?
И, сдавшись любви молодой, не оставишь
Для нового имени имя мое?

Ах, если ты бросишь ходить в покрывале,
Повесь мне, как флаг, на могилу свой креп.
Я встану из гроба за вдовьей вуалью
И ночью тайком унесу ее в склеп.
Я слезы свои утирать буду ею,
Я рану сердечную ею стяну,
Короткую память твою пожалею,
Но лихом и тут тебя не помяну.

Колто, сентябрь 1847 г.

ПОСЛЕДНИЕ ЦВЕТЫ

Во вражде со всем красивым,
Осень яростным порывом
Рвет венок с чела земли.
Не найти цветов по нивам,
И у нас в саду тоскливом
Те, что были, отцвели.

Юля — умница, на грядке
Собрала цветов остатки
И связала их в букет,
Чтобы их на стол поставить,
Этим радость мне доставить
И спасти цветы от бед.

Если умереть им надо
За окном на клумбах сада,
Пусть умрут они у нас.
Может быть, в воде кувшина
Легче будет им кончина
Здесь, под лаской наших глаз.

Колто, октябрь 1847 г.

ВСТАРЬ И НЫНЧЕ...

Встарь и нынче, встарь и нынче,–
Так же дождь шумел с утра,
Был такой же резкий холод,
Та же хмурая пора.

Хорошо я день тот помню...
Длинным, грязным большаком
Некий юноша печальный
Одиноко брел пешком.

В старой выцветшей одежде,
С бледным пасмурным лицом,
Шел блуждающим осенним
Облетевшим деревцом.

Шел он, шел, и на развилье,
Где раздваивался путь,
Он не спрашивал прохожих,
На какой ему свернуть.

И не все равно ли было:
Ни на этом, ни на том
Не ждала его подруга
И не ждал радушный дом.

Хочешь знать, жена, что сталось
С этим юношей? Так знай:
Горевать о нем не стоит,
Он попал недавно в рай.

Но не думай, что из этой
Грустной жизни он ушел,
Нет, земли он не покинул,
Но блаженство здесь нашел:

В этой комнате уютной,
Возле сердца твоего,—
Ты, жена моя, малютка,
Ты, живое божество.

Колто, октябрь 1847 г.

На днях я видел сон.
Спал я иль грезил наяву, не знаю,
Но сон мне памятен во всех чертах.
Красивый, дивный сон! За описаньем
Его подробностей дрожит рука.
Куда-то я тащился. Виноват,
Наоборот: шел быстрыми шагами,
Стараясь не смотреть по сторонам.
Вид этих мест был страшно зауряден,
И заурядней были, может быть,
Лишь люди края;
Холодные, бесстрастные глаза,
Обыденные, будничные лица.
Так вот, я, значит, мчался, торопясь
Оставить по возможности скорее
Людей ужасных и ужасный край,
И подошел
К высокому забору,
На воротáх которого, вверху,
Алмазной радугой сияла надпись:
«Страна любви».
Я в нетерпенье распахнул калитку
И внутрь вошел.
И что ж я увидал?
Единственно поэт
Или художник
В горячечном восторге созиданья
Могли б представить что-нибудь
Подобное.
Передо мной лежал цветущий край,
По-видимому, местонахожденье
Действительного рая.
Далёко вширь раскинулась равнина
С сортами древовидных роз
Размеров дуба.
Посередине тысячью извивов
Текла река, все возвращаясь вспять,
Как бы не в состоянье оторваться
От только что мелькнувших берегов.

На горизонте громоздились скалы,
На головах которых,
Как кудри, завивались облака.
Как вкопанный смотрел я вдаль, забыв
Закрыть калитку; как завороженный
Пошел вперед,
Доверившись какому-то влеченью.
Я шел лугами,
По ним бродили молодые люди
С опущенною головой,
Как будто бы ища в траве иголку,
Я их спросил, что ищут
Они с таким стараньем.
«Рвем ядовитые растенья»,— был ответ.
«Зачем?» — переспросил я. «Для отравы.
Чтоб выжать сок и, выпив, умереть».
Я удивился и пустился дальше.
Я подошел к стволу
Огромной розы,
Чтоб отдохнуть под ней,
Но обомлел и отскочил обратно.
На ней, над головой моей, висел
Повесившийся юноша. В испуге
Я побежал от этой розы прочь
Аллеей целою таких деревьев
К другой, и третьей, и четвертой. Всюду
Одно и то же зрелище. На всех
Висело
По человеку.
«Скорее за реку! — подумал я.—
Наверно, там
Откроется страна любви счастливой,
Как обещала надпись».
Я на́ берег сбежал и прыгнул в лодку.
Я быстро греб, но греб, закрыв глаза:
Со дна реки всплывали кверху трупы.
И юноши и девушки, топясь,
Ныряли стаей вспугнутых лягушек.
Я переправился. Все тот же ужас:
Останки отравившихся, тела
Повесившихся и прыжки с утесов,
А на местах паденья — мозг и кровь
Самоубийц. Я проблеска искал.

Ни одного. Все то же. Беспросветность
Самоубийства и улыбка синевы
Над чудной, улыбающейся далью.

Колто, октябрь 1847 г.

НЕБО И ЗЕМЛЯ

Прощай, чертог несбыточных мечтаний,
Спускаюсь вниз по твоему двору.
Вот ключ от всех сокровищниц. Мгновенье,
Я за собой входную дверь запру.

Сюда мне белой радугою ночи
Указывал дорогу Млечный Путь.
Здесь прожил я в воздушном замке детства,
И ухожу, и дверь хочу замкнуть.

Здесь, в неземном и тридесятом царстве,
В заоблачном и сказочном краю,
В мечтах и сумасбродных размышленьях
Провел я юность шалую свою.

Надежды и мечты недолговечны,
Иссякли легковерья родники,
Пора уже и мне остепениться,
Настало время мыслить по-мужски.

Скорей оставлю высший мир стремлений,
Пока под кучей рухнувших стропил
Меня и сам он при своем крушенье,
Разваливаясь, не похоронил.

Поосторожнее, воображенье!
Неси меня полегче под уклон,
Чтоб я, спускаясь, не разбился насмерть,
Как некогда безумец Фаэтон.

Но что ж я плачу, расставаясь с небом?
Прощай, мечта, рассейся в синей мгле!
На родину! Я радуюсь уходу.
Я человек, мне место на земле.

Земля не то, что полагает юность:
Не так низка и буднична она.
Нет ангелов на ней, но нет и черта,
А если есть зима,— есть и весна.

Колто, октябрь 1847 г.

ТИХАЯ ЖИЗНЬ

Конец комедии! Не свищет,
Не рукоплещет больше зал.
Я, отыграв, покинул сцену,
И тяжкий занавес упал.

И вот я здесь. И так далеко
Тот мир, который весь кругом
Когда-то я, студент веселый,
Объехал, обошел пешком.

С моей возлюбленной женою
Сижу в деревне, в тишине.
И хоть считал я землю тесной,
Теперь в дому просторно мне.

Я вижу здесь жены улыбку,
Рассвет, и полдень, и закат.
Клянусь, на все, что здесь я вижу,
Я без конца глядеть бы рад.

Такие странности предвидеть
Кто мог в былые времена?
Но вот! Такой уж странный, странный
Товар — любимая жена!

Колто, октябрь 1847 г.

ВОТ БЫЛ ОГРОМНЫЙ ТРУД...

Моя жена-малютка,
Вот был огромный труд
Тебя добыть и вырвать
Из всех домашних пут!

Когда бы всем давалась
Так дорого жена,
Не пухла бы от свадеб
Поповская мошна.

Но не растут такие
Девицы под кустом,
А зять-голяк — не радость,
Еще поэт притом!

Отец уж так старался
Спасти семью и дочь,
Но не могли в той битве
Шесть выпадов помочь.

Потел старик напрасно,
Не вышло ничего.
Назло земле и небу
Увез я дочь его.

Хоть колесо телеги
В дороге сорвалось,
Не груз благословений
Переломил нам ось.

Не груз благословений,
Которыми меня
Снабдили тесть и теща,
А с ними — вся родня.

И, говоря по правде,
Мне странно лишь одно:
Что через дверь я вышел,
Не вылетел в окно.

И что тому причиной?
Катиться кувырком
Мне, по сравненью с прочим,
Казалось пустяком.

Колто, октябрь 1847 г.

В КОЛЯСКЕ И ПЕШКОМ

Похоронила осень лето.
И ждет сама уже конца.
Вдруг в чаще птичий свист разнесся,
И лес заслушался певца.

Лес озадачен этим свистом,
Вся чаща им пробуждена.
Деревья, разминая ветки,
Потягиваются со сна.

И солнце сверху удивленно
Встречает это баловство:
Оно до будущего лета
Не ожидало ничего.

Оно глаза вперило в сумрак:
Что там за птица на суку
Всю рощу свистом всполошила
И прогнала ее тоску?

Оно обшарило вершины
И оглядело каждый ствол:
Птиц и следа нет на деревьях.
Откуда ж этот свист пришел?

Брось, солнце, розыски. Над лесом
В недоумении не стой.
Вон в стороне свистун искусный
Идет по просеке лесной.

Бывалый молодой бродяга,
Свища, шагает в стороне.
За пазухой — краюха хлеба,
Дом с обстановкой — на спине.

Он свищет так, что радость слушать.
Весь лес от зависти дрожит.
Меж тем навстречу пешеходу
Коляска барская летит.

Задумчивый богатый барин
Сидит в коляске развалясь,
И сумрачней затменья солнца
Взгляд хмурых, недовольных глаз.

Бродяге жалко несчастливца.
О бедные вы, богачи,
К которым чувства оборванца
Так жалостливо горячи!

Колто, октябрь 1847 г.

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?

Попробуй их останови,
Чирикающих о любви
Молокососов желторотых!
Я говорю о виршеплетах.
Молю их: дайте нам покой,
Казнить не надо род людской.
Любовь! А что она за птица?
Скажите — где она гнездится?
Похлебка, что сварили вы
В кастрюльке глупой головы —
Все эти клецки восклицаний
В шафранной жижице мечтаний,
Где, в мути хныканий упрев,
Как перец, желт петуший гнев,—
Подумайте: любовь ли это!
О желторотые поэты,
Вам надо ждать немало дней,
Чтоб знать любовь и петь о ней.
Носи в душе сомнений стрелы
И так мечтай, чтоб кровь кипела,
И чтоб она надежду жгла,
И чтоб надежда умерла,
Воскресла и погибла снова,
И не было бы дня такого,
Чтоб дорогого мертвеца
Не хоронил ты без конца;
Борись с ужасным исполином,
Который бьет хвостом змеиным,—

Я говорю о клевете! —
Испытывай обиды те,
Мстить за которые нет силы,
Поскольку дорог он для милой,
Тот, кто удар нанес тебе;
И все же победи в борьбе,
Взаимности сумей добиться,
Женись, чтоб с волей распроститься,
Ее навек похоронить,
Навек себя обременить
Постылой будничной заботой,
Дневною и ночной работой,
Чтоб житница была полна
И чтоб капризная жена
Не стала бы еще капризней,—
Ну, словом, все печали в жизни
Принять на плечи будь готов...
...Вот это все и есть любовь!

Колто, октябрь 1847 г.

МУДРСТВОВАНИЕ И МУДРОСТЬ

«Что есть сей мир? Он создан кем-то,
Или извечно он стоит?
Стоять он будет бесконечно
Или в ничто он улетит?

Даны судьбы предначертанья
На миллионы лет вперед
Или истории галера
В волнах случайности плывет?

Одно ль и то ж душа и тело?
Откуда смертные взялись?
Куда идем? В гробах истлеем
Иль с новой силой вспыхнет жизнь?»

Вот так мыслитель одинокий
Сидит, в раздумья погружен,
И, будто сонмом тайных духов,
Вопросами он окружен.

Продумывает неустанно
Он это все за годом год.
Чему же может научиться,
Какую пользу извлечет?

Он ни одной черты не может
На ликах духов разглядеть,
Но с каждою минутой — ближе
Конечный дух, чье имя смерть.

О глупый мир! Ты объявляешь
Премудрейшим того глупца,
Который в поисках сокровищ
Всю жизнь растратил до конца!

Живи и всё! Какое дело —
Что было, что еще придет,—
Мудр тот, кто мудрствовать не хочет!
Он всех умней, философ тот!

Колто, октябрь 1847 г.

РОДИНА, ПОРА ВСТАВАТЬ!..

Родина, пора вставать!
Встань, страна родная!
Уж давно пропел петух,
Утро возвещая.

Родина, пора вставать!
Ведь с небесной тверди
Солнце бьет тебе в лицо...
Свет тебя не сердит?

Родина, пора вставать!
Воробей порхает,
На гумне свой жадный зоб
Туго набивает.

Родина, пора вставать!
Вот и кот проснулся,
Выпил в крынке молоко,
Сладко облизнулся!

Родина, пора вставать!
Ты не видишь, что ли:
Без призора бродит скот,
Топчет всходы в поле!

Родина, пора вставать!
Шарят по подвалам
Виноградари твои,
А лоза увяла!

Родина, пора вставать!
Глянь, соседи пашут.
И к своей они земле
Прирезают нашу!

Родина, пора вставать!
Что-то жарковато,
Пахнет гарью... Не проснись
Ты под гул набата!

Родина, пора вставать!
Венгрия родная,
Не проспишь ли смерть свою?
Может быть... Не знаю!

Колто, октябрь 1847 г.

ПОЦЕЛУЕВ ДВА ДЕСЯТКА...

Поцелуев два десятка
Самых жарких, самых сладких!
И прибавка
Мне нужна.
Поцелуй еще, жена!

Коль цветы —
Так уж цветы
Самой яркой пестроты.

Если женщина —
Пусть будет
Черной, маленькой, как ты.

Поцелуй же, дорогая,
Точно углем обжигая,
Поцелуем огневым,—
Чтобы мне
От поцелуя
Показалось,
Что лечу я
Прямо па небо живым!

Поцелуев не жалей,
А свечу туши скорей,
Темнота
Дешевле света
И приятней
И милей.
Славной парочкой мы будем.
Черт не брат женатым людям.
Темной ночью,
Ясным днем —
Будем мы всегда вдвоем!

Колто, октябрь 1847 г.

ЛУННАЯ ЭЛЕГИЯ

Зачем же я — луна? О, чем я согрешил,
Что превратить в луну господь меня решил?
О, быть бы у земли последним батраком,
Чем в небесах мерцать полночным королем!
Носить бы там, внизу, опорки на ногах,
Чем в среброшпорных здесь томиться сапогах!
И лучше б на земле вдыхать трактирный смрад,
Чем звездноцветный тут вдыхать мне аромат!
Страшней моей судьбы не выдумать. О нет!
Ведь лают на меня все псы, любой поэт:
Мол, с нами на одной ты дудочке игрец!

Ушами хлопая, поймут ли наконец,
Что вовсе не у них сочувствия ищу...
Я бледен не от мук, я в гневе трепещу!
Сержусь я! Душит гнев! Он душит оттого,
Что каждый ферт со мной заводит кумовство,
Как будто бы свиней пасли мы заодно...
Порадоваться все ж бывает мне дано.
Сорвется искорка с господнего чела.
Доподлинный поэт! Мне песнь его мила!
Такая песнь дойдет до глубины сердец!
Но ведь покуда он придет, такой певец,
Мяуканье котов звучит и там и тут...
Одни репейники цветут там и цветут —
Уж только не на них бывает недород!
...Поездка начата. Со страхом мчу вперед.
Чей скрип пронзит мне слух? А! Вот знакомец мой!

Меня приветствуя, он выгнулся дугой,
И выпрямился вдруг, и размахнулся так,
Как будто целый мир зажат в пустой кулак.
А шея вся в поту, и сколько жил на ней!
Обманутый цыган не жилится сильней!
Выспрашивает, врет и плачет заодно...
Канючит: «О, взгляни к возлюбленной в окно!»
Ну, ладно! Загляну! Так вот что! Знай, дружок:
Юдитка-то как раз полезла на шесток,
Картошку из печи в горшке она берет,
Да так поспешно жрет, что обожгла весь рот!
О, как он мил, сей лик, страданьем искажен!
Как раз он по тебе! Тебя достоин он!
Все понял ли теперь, что делается там?
Так сгинь скорее в ад, иди ко всем чертям!

Колто, октябрь 1847 г.

МОГИЛА НИЩЕГО

Словно зверь в предчувствии кончины
В гущу леса тащится несмело,
В пустошь удалился старый нищий,
Только близость смерти подоспела.

Труп нашли разбойники проездом,
Вырыли могилу, схоронили,
На могильный холм суму и посох,
Завязав крест-накрест, водрузили.

На равнине голой и песчаной
Виден холм и этот знак могильный.
Но природа, покровитель бедных,
Затянула холм травой обильной.

Удивительно! На нищем в жизни
Лишь пестрели рваные отрепья,
Но в цветы запряталась могила,
Утопая в их великолепье.

Наконец-то он достиг покоя.
Жизнь прошла, и кончились тревоги.
Кто поверит, сколько треволнений
Испытал он на своей дороге?

Кто поверит, что рука, которой
Стал опорой посох суковатый,
В буйной юности своей махала
Боевою саблею солдата?

Кровью жертвуя своей в сраженье,
Для господ он жил страдой походной.
Ради преимуществ тех, что дали
Смертью умереть ему голодной.

Так и умер он, и позабыта
Нищета и шум боев бывалый.
Безмятежен сон его подземный,
Вкруг него безмолвие настало.

Иногда на посох птичка сядет
И поет задумчиво и жалко.
Да и что навеять может птичке
Странническая сума и палка!

Колто, октябрь 1847 г.

Снова еду в город, проведя в деревне
Тихо, одиноко месяц свой медовый.
Там средь тесноты и давки бестолковой
Я души одежды слякотью покрою.
Но пред тем как люди каменной столицы,
Встретив, ледяной водой меня окатят,
Дай мне у огня с тобой наговориться.
Жизни, кажется, на это мне не хватит.

Здравствуй снова, друг! Кругом все зеленело
В дни, когда к тебе приехал я впервые.
А теперь печально в роще опустелой,
Осень на дворе, дожди, поля пустые.
У меня с природой общность ощущений,—
Если грустно ей, и мне должно быть туго;
Но теперь со мною часть поры весенней,
Лучшая притом,— со мной моя супруга!

Я привез жену. Чего желать другого?
Мир женатого пленителен и сладок.
Пусть ругают брак отшельники и совы,
Слышать не хочу их холостых нападок.
Скажут — я в плену, заботы одолели.
Но куда мне рваться из такого плена,
Если в малой точке этой параллели
Совместились все сокровища вселенной?

Ну, да это в дверь открытую ломиться,
Воду лить в Дунай — тебе хвалить женитьбу.
Счастие семьи с заглавною страницей
Жизни всей твоей легко я мог сравнить бы.
Здесь твоя жена и двое ребятишек.
Сядем в круг, забудем перья и чернила,
Проведем в беседах времени излишек,
Чтобы наша речь часы остановила.

Так мы и обманем гайдука в ливрее,
Чтоб не гнал меня к трудам без перерыва.
Жажду славы я пустил себе на шею
И с седла не сброшу, как ни тряс бы гривой.

Но не жажда славы новый мой погонщик.
День и ночь не ей я отдаю усилья.
Я теперь тружусь, как рядовой поденщик,
Словно запродав себя нечистой силе.

Знаю, что забвенье, как добычу кречет,
Имя унесет мое в места глухие.
Пусть меня отчизна не увековечит,
Я пою затем, что петь — моя стихия!
Поскорей молва ко мне бы охладела,
Жизнь освободить бы от ее отравы!
Снова бы себе принадлежать всецело.
Розы лучше лавров ненадежной славы!

Как бы я хотел с женой и вами всеми
Погостить, пожить в глуши среди природы
И не вспоминать на будущее время
Дней, когда и я входил сначала в моду.
Навестив тебя, здесь встретится со мною
Слава и кивнет приятелю былому.
Но ответом я ее не удостою.
«Виноват,— скажу,— мы с вами незнакомы».

Чепуха! Зачем наплел я столько вздора!
Не судьба мне жить в тиши уединенья,
Суждены не мне цветущие просторы.
Поле боя — вот мое предназначенье!
Имя пусть мое в могилу с телом бросят,
Бывшее при жизни неприкосновенным.
Я не отступлю, покамест смерть не скосит.
Весь в крови паду я, но в бою священном.

Салонта, конец октября 1847 г.

ТОЛЬКО Я В СВОЕ ОКОШКО ПОГЛЯЖУ...

Только я в свое окошко
Погляжу —
Взглядом будку караула
Нахожу.

Часовой шагает мерно
Взад-вперед;
Королевски важен каждый
Поворот.

Так и я шагал у будки
Часовым:
Ведь и я служил когда-то
Рядовым.
Черно-желтый профиль будки
Мне знаком:
Там размахивал огромным
Я штыком.

И потел в телячьей шкуре
На часах,
И блистал в своих чудесных
Сапогах,
И выкрикивал я грозно:
«Халтберда»,
Подметая двор казармы
Хоть куда.

О, профессия героев!
Жизнь — алмаз!
Как жалел об этой жизни
Я подчас!
Стыдно мне, что лавровый я
Снял венок
И швырнул метлу с винтовкой,
Отбыв срок.

Эх, как я наказан богом,
Что тогда
Я покинул жизнь героя
Навсегда.
Ведь поэт я нынче только,
Да, поэт...
А в полку бы стал капралом,
Спору нет.

Надь-Варад, конец октября 1847 г.

В ДУШЕ ГЛУБОКОЙ...

В душе глубокой
Цветник Востока,
Всегда облитый солнцем вешних дней:
Всех стран растенья
Без исключенья
Собрал я полностью, казалось, в ней.

Недоставало
Лишь веры малой
В загробный мир, в иное бытие.
Теперь средь сада
Есть та рассада:
Ты посадила, ангел мой, ее.

Что о вселенной
Мне ум надменный
Не мог сказать в былые времена,
Мне объяснила
Легко и мило
Сама своей любовию жена.

Темны не склепы,
Мы сами слепы
При встрече с вечностью лицом к лицу.
Ее свеченье
Лишает зренья —
И мы уподобляемся слепцу.

Гроб не темница.
Нет, нет,— гробница
Речного перевозчика паром,
Когда с обрыва
Земли счастливой
Еще на лучший берег мы плывем.

Лишь неизвестно,
Но интересно
Расположенье этих дальних мест,
И, в лодке сидя,
В каком мы виде
Свершим туда по смерти переезд?

Как соловьи ли,
Раскинув крылья,
Мы на звезду с звезды перепорхнем,
Иль лебедями,
Скользя кругами,
Вдвоем на море вечности замрем?

Пешт, ноябрь 1847 г.

СУДЬИ, СУДЬИ...

Судьи, судьи, будьте чутки —
Приговоры ведь не шутки!
Приговаривая к смерти,
Все учтите, все проверьте!

Тише! Прозвучало слово:
«Смерть!» — сказал судья сурово.
К плахе юношу подводят,
С топором палач подходит.

Над землею солнце встало,
Наземь голова упала,
Хлещет кровь струею красной...
Ах, фонтан какой прекрасный!

Полночь, лунный свет зеленый...
Юноша встает казненный
Из-под эшафота прямо,
Из сырой могильной ямы.

Голову рукою правой
Он берет за чуб кровавый,
И по городу проходит,
И к дверям судьи подходит.

«Я невинный лег на плаху!»
Задрожал судья от страху...
Он проснулся... Дверь раскрылась,
Голова в нее вкатилась!

И с тех пор стоит ночами
Юноша перед дверями,
За неправду укоряет,
Головой в судью швыряет.

Пешт, ноябрь 1847 г.

ЖЕНУШКА, ПОСЛУШАЙ...

Женушка, послушай,
Что хочу сказать:
Надо нам с тобою
В прошлое сыграть.
Слышишь ты? За дело
Взяться не пора ль?
Время драгоценно,
Им бросаться жаль.

Нежились мы долго...
Этому — конец!
Леность изгоняет
Чувства из сердец.
В жизни надо что-то
Строить, создавать.
Вот мне и охота
В прошлое сыграть.

Так вообрази же:
Девушка ты вновь.
Вспомни сад, в котором
Началась любовь.
Эта печка будет
Деревом большим...
Помнишь? Объяснился
Я в любви под ним.

Прислонись же к печке,
Руку протяни.
И начну я снова,
Как в былые дни:

«Я вас лю... лю... лю... лю...
Госпожа моя!
Руку вам и сердце
Предлагаю я!

Вы, моя услада,
Любите меня?»
«Да, мой милый Шандор,
Я люблю тебя!»
Нет! Анахронизмы
Допускаю я —
Ты не то сказала,
Милая моя!

Ты мне отвечала:
«Я вас не люблю!»
Так, моя голубка?
Что ж! Благодарю!
Ловко! Вышла замуж
И уже тотчас
Говорит открыто:
«Не люблю я вас!»

Ха!.. Но что со мною?
Вспомнить бы пора,
Что ведь это — только
В прошлое игра.
Значит, нет причины
Затевать скандал.
Но, однако, бросим,
Я играть устал.

Я устал! Мне нужен
Отдых и покой.
Сядь сюда. Я лягу
Здесь перед тобой.
Ангел, подари мне
Сладкий, сладкий сон.
Как приятен отдых
Тем, кто утомлен!

Пешт, ноябрь 1847 г.

НОЧЬ

Спать ложитесь,
Люди!
Даль во мгле.
Иль ступайте
Тихо
По земле.

Двигайтесь
Тенями.
Легче шаг!
Крадучись,
Безмолвно,
На носках.

Чтите траур,
Чтите
Знак судеб.
Ночь надела
Нынче
Черный креп.

У нее был
Милый.
Умер он.
Ночь горюет
С самых
Похорон.

Бродит,
Ляжет наземь,
Зелень нив
Слез своих
Росою
Окропив.

Вдруг блеснет
Улыбки
Благодать.
Что это?
Откуда?
Как понять?

Встал из гроба
Месяц
И притих.
Это вот и есть
Ее
Женнх.

Радость встречи,
Нега
Без конца.
Мука
Разрывает
Их сердца.

Шепчутся.
О чем же?
Кто поймет?
Никому
Не слышен
Шепот тот.

Да и так-то
Лучше:
Велика
Тайна
Их беседы
На века.

Лишь в бреду
Безумный
Ловит слух,
Что в пространства
Духу
Шепчет дух.

Слышит их
Пред смертью
Вдалеке
Тот, чья жизнь
Висит на
Волоске.

Слышит также
Речь их
И поэт
В час, как сам
Впадает
В вещий бред.

И, не в силах
Мыслей
Прочь отвлечь,
Понимает
Мигом
Эту речь.

Но, очнувшись,
Он,
Теряя нить,
Слов ночных
Не может
Повторить.

Пешт, декабрь 1847 г.

ОКАТООТАЙЯ

Где-то рядышком с Австралией,
Позади Китая,
Есть страна, она зовется
Окатоотайя.

Далеко? Вот и прекрасно!
Значит — не удастся
Никакой цивилизации
В ту страну прокрасться!

Мы с Австралией вместе
Горды и упрямы,
И злодеям не позволим
Обмануть себя мы.

Назревает и в Китае
Некое движенье,
Мы ж стоим неколебимо
В прежнем положенье.

Так, в своем величье строгом,
Позади Китая,
Борется с судьбой и богом
Окатоотайя.

Вот счастливцы! Их достатков
Я не перечислю...
Кстати — нет нужды здесь в чувствах,
Равно как и в мыслях.

Здесь душа как ослик: главной
Пищею духовной
Служат ей осот, репейник,
Календарь церковный.

И по этой вот причине
Любят здесь не очень
И артистов, и поэтов,
И всяких таких прочих...

Если же кто, обезумев,
И пойдет на это,
Пусть он лучше спрячет зубы
В ящике буфета.

Что тут грызть? Зачем поэтам
Острые клычища?
В лучшем случае дается
Жеваная пища!

Умилительно и то, что
Здесь навек разъяты
Хром и лайка — люд незнатный
И аристократы.

Лайка! Да! Собачья шкура
Здесь в почете! Носят
Господа ее охотно
И другой не просят!

Уважаем благородство,
Только им и дышим,
Но заботимся при этом
О сословье низшем!

«Эй, мужик, раскрой ладони! —
Так помещик шепчет,—
Вот тебе в подарок кукиш.
Держи его крепче!»

Кто-то, где-то, для чего-то
Говорит ехидно,
Что публичных, мол, построек
Здесь у вас не видно.

Что? Построек нет публичных?
Лжете вы лукаво!
Виселицу можно видеть
У любой заставы!

Можешь, нация, гордиться,
Ведь, строенья эти
Воздвигая, превзошла ты
Страны все на свете.

Рождена для дел великих,
Процветай, о нация!
Пусть и впредь не потревожит
Нас цивилизация!

Пешт, декабрь 1847 г.

К ВЕНГЕРСКИМ ПОЛИТИКАМ

Поэтов бедных презирает
Самоуверенная знать,
Что на собраньях комитатов
И в сейме любит роль играть.
С дороги прочь, поэт презренный,
Месящий сапогами грязь!
Тебя задавит важный барин,
На рысаках куда-то мчась.

А чем вельможа столь гордится?
Что лошадь очень хороша?
Что челядь у него жиреет,
А у поэта — ни гроша?
А может быть, он полагает,
Дороден, пышно разодет,
Что обладает большим весом
Он в этом мире, чем поэт?

Надутые аристократы,
Вы, как на вас я поглядел,—
Костры, в которых жалко тлеет
Сор мелких повседневных дел.
Тот пламень видит ночью странник
Над свалкой где-то городской,
Но к утру станет это пламя
Холодной, мертвою золой.

Костры вы, а поэты — звезды!
Костер на поле заблестел,
И мутный пламень застилает
Сиянье звезд, небесных тел,
Но видите — давно уж ветер
Развеял пепел от костра,
А в небе крохотные звезды
Сиять остались до утра!

Поймите существо поэта,
Цените это существо!
Поэт — усвойте это, люди! —
Письмо от бога самого!
Письмо, что в милости высокой
Он вам, ничтожным, ниспослал,
Письмо, куда своей рукою
Он правду вечную вписал!

Быть может, нация иная
Не так поэта ценит дар,
Но ты-то уж своих поэтов
Обязан почитать, мадьяр.
Поэта пламенное слово
Отчизне много помогло.

И так недавно это было —
Ведь и полвека не прошло...

Ведь то последнее богатство,
Какое мы могли сберечь
Из прадедовского наследства —
Великая родная речь,—
Но и она едва дышала,
Так тяжело была больна.
Валялась посреди дороги
Бездомной странницей она.

Вы, чванные аристократы,
Чем помогли вы ей, больной?
Затем лишь к ней и приближались,
Чтоб злобно пнуть ее ногой?
Поэты — бедные поэты —
Спасли ее в конце концов
И возлелеяли.. Зачем же
Вы презираете певцов?!

Пешт, декабрь 1847 г.

НА ИМЕНИНЫ МОЕЙ ЖЕНЫ

Милой Юлишки сегодня
Именины! Где же он,
Старый ментик с позументом,
Лисьим мехом опушен?

Брюк немецких мне не надо!
Где мадьярские штаны?
Ну, теперь лечу в аптеку —
Для усов щипцы нужны!

И таким лихим я франтом
Подступлюсь к тебе, жена,
Будто мода самых славных
Дней былых воскрешена.

Люди в годы этой моды
Одевались кое-как,

Но зато уж не скупились
На раздачу всяких благ.

Вот и я тебе желаю
Благ! Но в жизни много благ,
Так они разнообразны,
Что не выберешь никак!

Я хочу в едином слове
Пожеланья уместить...
Чтоб тебе до самой смерти
Не вздыхать и не грустить?!

Нет! Не этого желаю!
Надобно порой вздыхать;
Там, где тени не бывает,
Там и света не видать.

Юность! Только в ней и прелесть!
Да ведь вот какая грусть:
Юность очень быстротечна!
Унесется... Ну и пусть!

Пусть! Дожить (конечно, вместе!)
Надо до седых волос,
Чтобы молодостью в маске
Старость сделать удалось!

Пешт, 10 декабря 1847 г.

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Волны радости! Хочу
Быстротою насладиться,
Здесь летала только птица,
А теперь вот — я лечу!

Мчалась ты быстрей меня,
Мысль моя. И вот — погоня.
Мы догоним, перегоним!
Так пришпоривай коня!

Лес, ручей, овраг, утес,
Домик, путник — что еще там?
Все подхвачено полетом,
Как в тумане унеслось!

Как безумец, сзади нас
Мчится солнце. Солнцу мнится –
Сонм чертей по следу мчится,
Разорвет его сейчас.

Утомилось! Вот беда!
В огорченьи великом
Припадает к горным пикам,
Пламенея от стыда.

Но вперед на всех парах
Так машина наша мчится,
Что не диво очутиться
Где-нибудь в иных мирах.

О строитель, строй пути!
Сотню, тысячу — строй смело!
Как артериями тело,
Ими землю оплети.

Вот артерии земли!
Высоко их назначенье:
Соки жизни, просвещенье
Через них и потекли.

Но давно ль ты строить стал?
Все металла не хватало?
Рушьте цепи! Их — немало!
Вот и будет вам металл!

Пешт, декабрь 1847 г.

К ГНЕВУ

Иссякнешь ли ты,
Мой безудержный гнев,
Стремясь с высоты
Диким горным потоком,

Вскипая и пенясь
В ущелье глубоком?
Иссякнешь ли ты,
Мой безудержный гнев?
Ужель превратится
В домашнюю птицу
Орел, озаренный небесным огнем,
Дерзавший когтями
В загривок вцепиться
Свирепому вихрю,
Чтоб мчаться на нем?
Иль страсти потухли
И в сердце орлином,
И буря рассеялась
Там, вдалеке,—
И стал мещанином
В ночном колпаке
Тот юноша смелый
И нетерпеливый,
Не знавший предела
В делах и мечтах,
Чье сердце пылало,
Чье имя звучало
У всех на устах —
Петефи гневливый?
Но полно! Не надо
Напрасных тревог,
Меня не оставит
Мой пыл благородный.
Не может исчезнуть
Мой гнев справедливый,
В душе не иссякнет
Бурливый поток!
Он только притих...
Подожди, подожди —
Течет он сегодня
По темным низинам,
Но вижу грядущее
Там, впереди,
С горами, со скалами,
С кряком орлиным!
Скорее бы этих
Достичь берегов!

О, родина!
Хватит нам сил для удара!
И яростно ринемся
Мы на врагов,
Как рушится в бездну,
Кипя,
Ниагара!

Пешт, декабрь 1847 г.

ВОН ТАБУН, ОН В ПУШТЕ ХОДИТ...

Вон табун, он в пуште ходит,
Где бетярский путь проходит.
А табунщик? Он в деревне —
Пьет, как бог, засев в харчевне.

Что ж! Пусть пьет он сколько хочет,
Глотку пыль ему щекочет,
Горло высохло от зноя —
Солнце жжется, как шальное.

Но уж если вы, папаша,
Забрели в харчевню нашу
На бетярском перепутье,
Про табун вы не забудьте!

Как же! Стражи там, снаружи,
Все один другого хуже:
Спать решили завалиться,
Шляпами укрыли лица.

Любо на земле валяться
Да под шляпой укрываться,
Хоть на солнце испекутся,
А пожалуй, не проснутся!

Едет кто-то... Кто же это?
Паренек из Кечкемета.
Едет тихо он, с оглядкой,
Конь под ним атласно-гладкий!

Конь хорош, а всадник лучше!
Взор его как пламень жгучий,
И рука сжимает кнут,
Вот разбойник! Тут как тут!

Посмотрел, полюбовался,
А потом в табун ворвался
И погнал коней гурьбою.
Киш-Куншаг, господь с тобою!

Солнцу время закатиться,
А бетяр несется, мчится;
Перед ним несутся кони.
Все прекрасно! Нет погони!

Из корчмы табунщик вылез,
Тут и стражи пробудились.
Зашумели, заметались —
Лошадей не досчитались.

И по пуште скачут, рыщут,
Лошадей повсюду — ищут...
Не доищетесь, ребятки,
Даже в Кикинде, в Сабадке!

Пешт, декабрь 1847 г.

ЛИШЬ УТРО МИНУЛО...

Лишь утро минуло — уж вечер над землею,
Лишь минула весна — зима стучит в окно.
Недавно, Юлия, знакомы мы с тобою —
Но ты жена моя, жена уже давно.

Вчера лишь мы отцам садились на колени,
А завтра будем тлеть мы с дедами в земле.
Дни человека — зыбь, бегущих тучек тени,
Жизнь — мимолетный след дыханья на стекле.

Пешт, декабрь 1847 г.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 1847 ГОДА

1

Год прошел... Итог подводят
И хозяин и хозяйка:
Вот доходы, вот расходы —
Сделай милость, подсчитай-ка!

Сколько было? Что осталось?
Кошелек тощает что-то!
Пот со лба они стирают:
Тяжела была работа!

Хорошо, что денег нету,
Женушка, у нас с тобою —
Рук не пачкаем, считая,
Пот не льется с нас рекою.

Их кубышки тяжелее,
Но сердца богаче — наши.
Наша бедность их богатства
И счастливее и краше.

2

Странно! Ровно год назад
Был еще я холост,
А теперь... Теперь всегда
Слышу женский голос.

И уж так заведено
В этом добром мире:
Нынче двое нас, а глядь —
Будет три... четыре!

3

Но шутки прочь... Ведь друг наш старый,
Наш добрый друг — на смертном ложе!
Он болен, безнадежно болен,

И выздороветь он не может.
Сплетем ему венок из лилий,
Пусть благостно он спит в могиле.

Он наши руки нераздельно
Соединил своею властью,
Высоко поднял наши души
Для неизведанного счастья.
Сплетем ему венок из лилий,
Пусть благостно он спит в могиле.

Те небольшие огорченья,
Что на сердца он капал наши,
Не омрачали нашу радость,
Она от них была лишь краше...
Сплетем ему венок из лилий,
Пусть благостно он спит в могиле.

Конец... Все глуше бьется сердце,
Тьма вечной ночи кроет эти
Святые очи, что смотрели
На наше счастье на рассвете...
Сплетем ему венок из лилий,
Пусть благостно он спит в могиле.

4

Смерть года! В этом есть величье!
Он умирает не скорбя.
Мудрейший в этот час стремится
Замкнуться и уйти в себя.

В сей час торжественно прощают
Не только другу, но — врагу,
Прекрасно это... Только все же
Я поступить так не могу.

Ведь кто мои враги? Тираны
И души рабские! А их
Прощать никак я не способен!
Нет! Это выше сил моих!

Представ перед судом господним,
Я это повторю и там.
Прощать не стану! Пусть уж лучше
Я не прощен останусь сам!

Пешт, 31 декабря 1847 г.

ЗИМНИЕ ВЕЧЕРА

Куда девалось радуги сверканье,
Рой мотыльков и кашка на поляне?
Где шум ручья, и щебетанье птичье,
И все сокровища весны и лета?
Все это стало памяти добычей,
Добычею могилы стало это.
Белеют пятна снега на пригорках.
Зимой земля — как нищенка в опорках.

Зимой земля, как нищенка в сермяге,
Дрожит в дырявом рубище бродяги.
Из льда и снега сметаны заплаты,
Но через них проглядывает тело,
Она стыдом и трепетом объята:
В такую рвань ее нужда одела.
Промозглым днем не хочется на волю,
Зато какое в комнате раздолье!

Блажен, кого господь хранит здоровым
И наградил семьей и теплым кровом.
В своем углу сейчас благословенье
Среди домашних, преданных друг другу,
А если для камина есть поленья,
Волшебным замком кажется лачуга.
Слова обычно на́ ветер бросают,
А здесь они до сердца долетают.

Как хорошо такими вечерами,
Вы б не поверили, не знай вы сами.
На первом месте, угощая свата,
Сидят хозяин и сосед бывалый.
Во рту их трубки, рядом штоф пузатый,
Наполненный венгерским из подвала.

Но им никак не одолеть бутыли,—
Опять полна, как много бы ни пили.

Сидящих потчует хозяйка дома.
Ее обязанности ей знакомы.
Она неравнодушна к доброй славе
И наполняет вновь и вновь баклагу,
Чтобы никто из здешних не был вправе
Назвать ее ленивою и скрягой.
Она все в беспокойстве, все в заботе
И все твердит: «Ну, что же вы не пьете?»

И гости пьют, радушием согреты,
А трубки догорят, берут кисеты
И мнут табак меж пальцев для набивки.
И как блуждают в доме кольца дыма,
Блуждают так же мыслей их обрывки
О прежней жизни, пролетевшей мимо.
Кто большей частью все оставил сзади,
Тот любит вспять смотреть, вперед не глядя.

К столу присели юноша с девицей,
Что прошлое? Им будущее снится.
Не беспокоит их, что было прежде.
У них все впереди, а не за гранью.
Их души сблизились в одной надежде
И смотрят вдаль сквозь чад очарованья.
Они молчат, но как красноречиво
Их взгляды обличают их порывы!

А близ камина, у его решетки,
Мал мала меньше детвора-погодки.
Они из карт игральных строят башни
И валят на пол их без сожаленья.
Что завтрашний им день, что день вчерашний?
Им важно настоящее мгновенье.
Как много в этой комнате ютится:
Что было, есть и что еще случится.

Хлеб надо завтра ставить спозаранку.
Над ситом и мукой поет служанка.
Перед окном гремит бадья в колодце,—
Соседский конюх лошадь на ночь поит.

Цыганской скрипки отзвук раздается,
И контрабас на чьей-то свадьбе воет.
Весь этот шум снаружи, сбившись в кучу,
Приобретает в доме благозвучье.

Снег падает без устали, и все же
Черным-черно в потемках бездорожье.
Прохожий в это время очень редок.
Вот с фонарем бредет домой гуляка
И, за угол свернувши напоследок,
Внезапно тонет под покровом мрака.
Но любопытство в комнате задето:
«Кто б это мог пройти теперь? Кто это?»

Пешт, январь 1848 г.

ЕСТЬ ЛИ В ВЕНГРИИ ХОТЬ ГОРСТЬ ЗЕМЛИ ТАКАЯ...

Есть ли в Венгрии хоть горсть земли такая,
Что венгерской кровью не орошена?
Но куда ж потоки отчей крови скрылись?
Перекрасить землю внуки ухитрились —
Черной от позора сделалась она!

И звучит здесь ложью истина простая,
Что не могут зайцы быть потомством львов.
Вы, отцы-герои, люди львиной силы,
Если б вы сегодня встали из могилы,
Вы б от этих хилых отреклись сынов.

Тщится это племя толковать о предках,
Тщится похваляться славным прошлым их.
Нами день грядущий станет ли гордиться?
Нет! Он, вероятно, даже устыдится
Вспомнить поколенье наших лет лихих!

Что нам! Прозябаем, будто мы — скотина:
Лишь бы только хлебом брюхо нам набить.
За судьбою мира нам уж не угнаться:
Мы не входим в круг великих наций,
Умереть не смеем, не умеем жить!

Стыд! Ведь в книге жизни некогда стояли
Мы на первом месте. Разве так сейчас?
Ничего не значим и в обоз попали!
Те ж, кто нам когда-то ноги целовали,—
О, позор отчизне! — заушают нас.

Горе мне! Я знаю: горе мне и горе,
Ибо я бичую своего отца.
Но, его бичуя, я себя терзаю.
Знаю: величайший грех я совершаю —
Землю оскорбляю, как и небеса!

Что же! Пусть как хочет бог меня карает,
Пусть страданья будут во сто крат сильней,
Но тебя, отчизна, бичевать я буду,
Сердце не забьется у тебя покуда
Иль не лопнет сердце здесь, в груди моей!

Пешт, январь 1848 г.

ЗНАМЯ

Что строчит твоя игла там?
Ты не ставь заплат к заплатам!
Та ль забота перед нами?
Шей, жена, скорее знамя!

Что-то зреет близко где-то,
Что — господь лишь знает это,
Но оно — не за горами!
Шей, жена, скорее знамя!

Так не может долго длиться,
Что-то, видимо, случится,
Что? Пойму в бою с врагами.
Шей, жена, скорее знамя!

Вольность не дается даром,—
Чтоб владеть таким товаром,
Кровью платят, не деньгами...
Шей, жена, скорее знамя!

Любящими шей руками!
Пусть победа в это знамя
Влюбится и будет с нами...
Шей, жена, скорее знамя!

Пешт, январь 1848 г.

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЛЮБЛЮ ТЕБЯ...

Люблю тебя, люблю тебя,
Мой херувим, мой ангел милый!
Ни утаить мою любовь,
Ни доказать ее нет силы.

Моим словам не внемлешь ты,
Моим не веришь увереньям,
И чем тебя мне убедить,
Как положить конец сомненьям?

О, будь я знатен и богат,
Загадку я решил бы сразу:
За слово каждое твое
Тебе дарил бы по алмазу.

А если б королем я был,
Я распрощался бы с короной,
Чтоб на меня надела ты
Венок, твоей рукой сплетенный.

И если б радугой я был,
Я б отдал луч мой семицветный,
Чтобы его цветами ты
Расшила пояс свой заветный.

И если бы я солнцем был,
Летящим в голубом просторе,
Я б отдал весь огромный мир,
Чтоб мир найти в любимом взоре.

Пешт, январь 1848 г.

КАК МНЕ НАЗВАТЬ ТЕБЯ...

Как мне назвать тебя,
Когда встает во мраке
Сиянье звездное твоих прекрасных глаз
И мне в глаза плывет оно, как будто
Ты, очарованная, смотришь в первый раз?..
Когда лучи от этих звезд вечерних
В ручьи любви сливаются
И вдруг
Мне в душу устремляются, как в море,—
Как мне назвать тебя?

Как мне назвать тебя,
Когда летит он,
Твой взгляд —
Смиренный голубок?
Он — голубь! В этом легком оперенье
Что ни перо — оливковая ветвь.
То ветви мира. Их прикосновенье
Так ласково, как будто бы они —
Мягчайший шелк, над колыбелью полог...
Как мне назвать тебя?

Как мне назвать тебя,
Когда звучит твой голос?
В такие он сливается слова,
Что если б услыхали эти речи
Зимой оцепеневшие деревья —
На них бы появилась вдруг листва,
Они бы думали, что вот она,
Весна!
Вот избавитель-соловей поет!
Как мне назвать тебя?

Как мне назвать тебя,
Когда уста-рубины
Приблизишь ты к моим губам —
В огне такого поцелуя
Сливается моя душа с твоей
В одно, как день и ночь в огне рассвета,
И кажется, что мир исчез,

И верится, что источает вечность
На нас все тайные свои блаженства...
Как мне назвать тебя?

Как мне назвать тебя,
Рождающее радость,
Мечту вздымающее до небес,
Стократ чудесней самых чудных сказок,
Чудесное живое существо?
Ты в мире драгоценнейшая самая,
Юная,
Сладостная,
Жена моя,—
Как мне назвать тебя?

Пешт, январь 1848 г.

ДОБРЫЙ УЧИТЕЛЬ

Злых учителей там было
Много — не дай боже!
Но один попался добрый,
Один был,— а все же.

Я его отлично помню.
Чуть глаза закрою,
Вот он, сгорбленный да лысый,
Сидит предо мною.

То, что лысый,— божья воля,
Как винить за это!
Старый холостяк, забыл он
Весну свою, лето.

Розы вешние завяли,
Лишь одна осталась —
На носу его алела
Да все разрасталась.

Что ни день, то расцветала
В свежести невинной;
И какой же нос не цвел бы
От поливки винной?

Грех сказать, а норов странный
У цветка такого:
Дай ему росу из бочки —
Не спросит другого!

А под носом усы были
Черны да колючи.
Один ус — веслом в землю,
Другой — веслом в тучи.

Под усами — рот как плошка,
В нем чубук дымился.
Мундштук толстый — для лопаты
Как раз бы годился.

Доломан его линялый
Был ровесник Ною.
Я подобного не видел
По цвету и крою.

На нем, как башка у турка,
Пуговицы были.
Верно, в старину такими
Басурманов били.

Весь он был сутажем вышит,
Узор — расчудесный!
В том узоре заблудился б
Даже гром небесный.

Штаны узкие, наверно,
Сшил ему портняга,
Все-таки они болтались
От каждого шага.

Много с ним возни мне было,
А что тут смешного?
Он-то заслужил уж ласки,—
Добряк, одно слово!

Школьникам такой и нужен,—
Рассудите сами:
Книги у него валялись
Под столом годами.

Если я не знал урока,
Он утешит сразу.
«Ладно,— скажет,— приготовишь
Мне к другому разу».

И за это для бедняги
Я сделал немало.
Все какой-нибудь подарок
Принесу, бывало:

Из его трубы копченых
Колбас наворую
И ему дарю,— он счастлив,
А я с ним пирую.

Пешт, январь 1848 г.

СТЕПЬ ЗИМОЙ

Степь вправду — степь теперь, и вся седа
как лунь.
Ну и хозяйка осень: дом у ней хоть плюнь!
Все, чем весна горда
И летняя страда,
Мотовка на ветер бросает без стыда.
Зимою — мерзость запустенья, холода.

Не звякают вдали бубенчики отар;
На дудке перестал наигрывать овчар;
Не слышно птичьих стай,
Увеселявших край;
Совсем умолк на кочках перепел-дергач,
И больше не пиликает сверчок-скрипач.

Замерзшим морем смотрит пустоши печаль.
Усталой птицей солнце низко тянет вдаль.
Лучей холодных пук
Стал стар и близорук,—
Нагнуться надо, чтоб увидеть что-нибудь.
Напрасный труд. Кругом одно унынье, жуть.

Пуста сторожка и дощаник рыбака.
Скотина вся в хлевах, на хуторах тоска,
Пред пойлом у корыт
По стойлам рев стоит,
Артачатся бычки, упрутся и не пьют:
В закутах духота, им хочется на пруд.

Батрак снимает с балки листовой табак,
И на порог кладет, и режет, взяв тесак.
За трубкою в сапог
Полез, набил, разжег,
Сопит, попыхивает и косится вбок:
Не опустел ли в стойле кормовой лоток?

Шинкарь с шинкаркой спят, стоит их мерный
храп,
Хоть выкинь вон ключи, замкнув подвал и шкап.
На шест у их ворот
Никто не завернет:
Зимой сюда ничья не сунется нога,
Метели замели пути. Снега. Снега.

Порывы ветра в поле рыщут вверх и вниз.
Вот вихря клуб рванулся к небу и повис,
Другой размел сугроб,
Рассыпав целый сноп
Снежинок, блещущих, как искры из кремня,
А третий взвыл и бьется с первыми двумя.

Но вот пурга без сил и уползла в углы.
Из разостлавшейся кругом вечерней мглы
Всплывает тень с кнутом
Разбойника верхом.
Іофыркивая, конь несет его домой;
За ними следом волк, над ними ворон злой.

Как изгнанный король с границы смотрит вспять
На родину, пред тем как на чужбину стать,
Так солнца диск, садясь,
Глядит в последний раз
На землю, и, пока насмотрится беглец,
С его главы кровавый катится венец.

Пешт, январь 1848 г.

Им ползать по земле осточертело,
И поднялись они, на страх врагам.
И вот их вздохи превратились в громы,
Взамен цепей клинки бряцают там!
Не бледное цветенье апельсинов,
А красных роз там нынче торжество,
О, как прекрасны вольности солдаты!
Дай счастья им, свободы божество!

Вы, чванные могучие тираны,
Куда румянец с ваших лиц пропал?
Я вижу, вы смертельно побледнели,
Как будто призрак перед вами встал,
Как будто бы явился перед вами
Дух Брута! Испугались вы его!
О, как прекрасны вольности солдаты!
Дай счастья им, свободы божество!

Брут спал, теперь проснулся он и ходит,
И вдохновляет войско он свое:
«Ведь вот — земля! С нее сбежал Тарквиний,
Свалился мертвым Цезарь на нее.
Он, великан, склонился перед вами,
А это гномы — больше ничего!»
О, как прекрасны вольности солдаты!
Дай счастья им, свободы божество!

Настанет час великий, достославный!
Туда, к нему, надежд моих полет;
Они, как птицы, мчатся в день осенний
Под небеса полуденных широт.
Падет насилье, и восстанет снова
Земля в красе расцвета своего.
О, как прекрасны вольности солдаты!
Дай счастья им, свободы божество!

Пешт, январь 1848 г.

Способны вы красно и много говорить,
Но только родине на это не прожить!
Хоть ваша речь порой достойна мудреца,
За дело принялись вы не с того конца,
Но так уж, видимо, у нас заведено,
Такими промахами славимся давно.
Представьте зодчего, который, строя храм,
Решил бы приступить сначала к куполам
И перекрытиям, а стены в храме том
Он вознамерился б воздвигнуть уж потом
И ухитрился бы фундамент подвести
Под это здание, готовое почти!
А вы вот именно такие мастера!
Отчизна кормит вас, на хлеб она щедра
И кровью сердца не скупится вам платить.
А вы? Чем так творить, уж лучше не творить!
Ведь вы — растратчики и времени и сил!
Вы возражаете: успех порою был!
Но если даже был, какой он был тогда?
Я, скажем, пить хочу — ищу я, где вода;
А вы даете мне, когда хочу я пить,
Соленую еду, чтоб жажду раздразнить.
Вот так везде, кругом, куда ни посмотрю.
И если я теперь не верно говорю,
То, видно, в люльке я рассудок потерял.
Нет! Надобно начать с начала всех начал:
Свободу слова нам пора завоевать!
Давайте же сюда свободную печать!
Чтоб нация была здорова и жива,
Такие же великие слова,
Как слово господа: «Да будет свет!» —
Пора провозгласить... А если все же нет
Гражданской гласности, то будь богатств полна,
Но тем не менее бедна еще страна!
Пусть даже золото посыплется из рук
У пахарей простых и у последних слуг,
А все ж без гласности счастливыми не быть,
И кличку нищенки страна должна носить.
А там, где гласности препон сегодня нет,

Пусть даже тот народ в тряпье еще одет,
Пускай еще пока и сыт он не вполне,—
А он богаче всех живет в такой стране:
Все будущее той стране принадлежит!
...Стремимся к знанию... А путь к нему открыт?
О, боже! Не найти того, кто нас глупей!
Хоть на ногах у нас и нет уже цепей,
Но снять повязки с глаз мы все же не хотим.
Куда идем, слепцы? Ведь в яму угодим!
Глаза завязаны, дух скован... Рвемся ввысь,—
Но нет, не улететь, хоть как ты ни стремись!
Сознанье бедное в тюрьму заключено,
Проклятий собственных вдыхает смрад оно.
Сознанье, словно пес, который во дворе
Томится на цепи в зловонной конуре.
Зачем же, словно псам, нам грызться и ворчать?
Пора бы нам идти отчизну защищать!
Сознанье сковано! А мы-то нос дерем,
Свободной нацией венгерцев мы зовем.
Неправда! Слуги мы! Мы — как рабы сейчас!
Поэтому-то все и презирают нас!

Пешт, февраль 1848 г.

КУРИЦА МОЕЙ МАТЕРИ

Что такое? Птичий гомон...
Курица, ты здесь как дома!
Бог добро творит нередко:
Возвеличена наседка.

Ходишь по дому всезнайкой,
Сядешь на сундук хозяйкой,
И кудахчешь, и трезвонишь,
И никто тебя не гонит.

Где тут? Глаз с нее не сводит
Мать-старуха, следом бродит
И голубушку любовно
Кормит с рук зерном отборным.

Королю живется хуже,
Чести кто такой заслужит?..
Что бы ни было с тобою,
Яйца ты неси чредою.

Ты же, добрый Моржа, слушай,
Навостри собачьи уши:
В доме старожил известный,
Ты служил все годы честно.

Голодая у порога,
Все же курицу не трогай:
Вы с наседкой этой оба —
Вся у матери худоба.

Пешт, февраль 1848 г.

СМЕРТЬ ЗИМЫ

Бессердечная зима,
Смерть тебя, тирана, скосит,
И земля твой скучный гнет,
Надоевший гнет отбросит;
Будет воля! Небеса
На тирана ополчатся,
Солнца жаркие лучи
В зиму стрелами вонзятся.

Ты умрешь, умрешь, зима!
Все тираны умирают,
Если вдруг народы их
Твердо воли пожелают.
Если смелые рабы
Твердо пожелают воли,
Рухнут стены их тюрьмы
И не возродятся боле.

Ты борись, земля, с зимой,
Ты бери твердыни с бою.
Завоюешь волю ты,
А зовут ее — весною.
Прилетит, придет весна,

Вся цветами заблистает,
В честь побед она тебя
Радугою увенчает.

Задрожит зима-тиран,
Чуя смерть, забыв угрозы,
Из разбитых глаз ее
Потекут пустые слезы.
Ха! Она сейчас умрет,
Жалко и трусливо тая.
Трусость, как известно всем,
Деспоту сестра родная.

Пешт, февраль 1848 г.

1848

Тысяча восемьсот сорок восемь...
Новой звезды в небесах явленье.
Льются лучи ее; вновь удалось им
Вызвать румянец и оживленье

На лике больном твоем, Вольность святая,
О новый спаситель рода людского!
Люди восстанут, тебя защищая,
И — не страшись! — не распнут тебя снова!

Мира голубка в смятенье великом
Скрылась в гнездо, не воркует, не смеет,—
Коршун войны в упоении диком
Крыльями хлопает, в воздухе реет!

Трусы! Я вижу: бледны ваши лица...
Это ведь только предупрежденье...
Ну, а подумайте — если свершится
Все, чем пылают мои сновиденья!

Судный тот день, суд народов настанет,—
Всем на земле по заслугам воздастся,—
Сабля расправу вершить не устанет,
Чтоб ни один угнетатель не спасся!

Пешт, февраль 1848 г.

ЖЕСТКИЙ ВЕТЕР...

Жесткий ветер раздувает пламя...
Наблюдайте зорче за домами!
Берегитесь, чтобы на закате
Не попасть нам всем огню в объятья!

Неужели, милая отчизна,
Нет в тебе былого героизма?
Иль с отцами он ушел в могилу —
И за саблю взяться нету силы?

Венгрия, достигнешь ли ты снова
Гордого величия былого?
Ведь врага когда-то и очами
Мы разили, будто бы мечами.

От татар и турок обороной
Были миру мы во время оно...
Ну, а если нынче что случится,
Сможем ли хоть сами защититься?

Если дело близится к развязке,
Дай нам знак, о ты, господь мадьярский,
Что еще владыка небосвода
Ты во славу своего народа.

Пешт, февраль 1848 г.

МАГНАТАМ

Как здоровье ваше, баре-господа?
Шею вам не трет ли галстук иногда?
Мы для вас готовим галстучек другой,
Правда, он не пестрый, но зато тугой,

Мы ль вас не просили, не твердили вам:
Только человечность подарите нам!
Мы ведь тоже люди, не травите нас!..
Умолял народ вас, да не в добрый час...

Вы народ считали зверем, и теперь
Он своих магнатов загрызет, как зверь.
Словно зверь, когтями схватит вас народ,
Всех вас передушит, в клочья раздерет.

Эй вы, миллионы! В поле, на простор!
Забирай лопату, косу иль топор!
Случай нас торопит, он ведет нас в бой.
Час великий мщенья возвещен судьбой.

Баре, вы веками пили кровь рабов,
Нынче вашей кровью напоим мы псов.
Вилами на свалку! Догнивайте там!
Нынче пир великий будет нашим псам!

Впрочем, нет! Не надо! Подожди, народ,
Ты ведь благородней и добрей господ!
Бог всего превыше, после бога — ты.
Будем же достойны этой высоты!

Будем благородны и на этот раз,
Чтоб господь с любовью поглядел на нас!
Радостной десницей осенив народ,
Нам благословенье он да ниспошлет.

Мы забудем муку тысячи годин,
Если нас, как братьев, примет господин,
Если он забудет о своих гербах,
Если подарит нам равенство в правах.

Значит, вы согласны — ждем вас, господа,
Встретить вас приветом рады мы всегда.
В цепь одну, как звенья, мы сплестись должны,–
Все мы нашей скорбной родине нужны!

Ждем мы — не дождемся! Видит правый бог:
Завтра будет поздно, нынче — крайний срок.
Если вы с презреньем оттолкнете нас —
Пощади всевышний вас в последний час!

Пешт, 1848 г.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Встань, мадьяр! Зовет отчизна!
Выбирай, пока не поздно:
Примириться с рабской долей
Или быть на вольной воле?
Богом венгров поклянемся
Навсегда —
Никогда не быть рабами,
Никогда!

Мы живем на белом свете
Перед дедами в ответе!
Вольным предкам нет покою
Здесь, под рабскою землею.
Богом венгров поклянемся
Навсегда —
Никогда не быть рабами,
Никогда!

Низок, мерзок и ничтожен
Тот, кому сейчас дороже
Будет жизнь его дрянная,
Чем страна его родная!
Богом венгров поклянемся
Навсегда —
Никогда не быть рабами,
Никогда!

Блещет цепь, но вдвое краше
Засверкает сабля наша.
Так зачем носить оковы?
Пусть клинки сверкают снова!
Богом венгров поклянемся
Навсегда —
Никогда не быть рабами,
Никогда!

Имя венгра величаво
И достойно древней славы.
Поклянемся перед боем,
Что позор столетий смоем!
Богом венгров поклянемся

Навсегда —
Никогда не быть рабами,
Никогда!

Где умрем — там холм всхолмится,
Внуки будут там молиться,
Имена наши помянут,
И они святыми станут.
Богом венгров поклянемся
Навсегда —
Никогда не быть рабами,
Никогда!

Пешт, 13 марта 1848 г.

15 МАРТА 1848

Истории венгерской муза,
Воспрянь, возьмись за свой резец.
Отметь великое событье:
День этот грянул наконец!

Отцы и деды за столетье
Добиться не могли того,
Что сделано за сутки эти.
Огромно это торжество!

Плещите, крылья наших мыслей,
Ты больше не рабыня, мысль!
Стремись, куда тебе угодно,—
Свободная, взвивайся ввысь!

Летай над родиной любимой,
Которую спокон веков
Ты лишь оплакивала в жгучем
И тягостном кольце оков.

Печать свободна! И отныне
За нацию не страшно мне.
Она очнулась. Сердце бьется.
Не умереть родной стране!

Отважной пештской молодежи
Честь и великая хвала,—
Целительницей всей отчизны
Отвага юности была.

Покуда в сейме, в высших сферах,
Как это водится у нас,
Бесплодные тянулись пренья,—
Здесь, в городе, ударил час.

За дело, юноши, за дело!
Замок сбивайте вековой,
Надетый на святую гласность
Богопротивною рукой!

А если враг-наймит нагрянет?
Ну что ж? Увидим, как тут быть!
Пусть лучше в сердце штык вонзится,
Чем снова цепи нам влачить!

В бой, молодые люди Пешта!
Нам всем свобода дорога!
В священном воодушевленье
Мы поднимались на врага!

Мы разрушали все преграды —
Ведь много тысяч было нас!
И пламенели наши лица,
И пламень исходил из глаз.

Воззвали мы: «Свобода слова!»
И кто заставил бы молчать!
Мы сняли с гласности оковы,
Освободили мы печать!

Затем мы устремились к Буде:
Там был писатель заточен
За то, что о беде отчизны
Дерзнул сказать однажды он.

И вот к высотам древней Буды
Взлетели юные орлы.

Дрожало под напором нашим
Подножье каменной скалы.

И узника мы подхватили,
На волю вынесли его.
Случалось ли с времен Матьяша
В стране такое торжество!

Истории венгерской муза,
На камне надо начертать
Все это, чтобы внуки внуков
Могли о торжестве читать.

Когда умело бы кичиться,
Кичилось сердце бы мое!
Ведь я возглавил это дело —
Звал молодежь и вел ее!

Одним вот этим днем великим
Вся жизнь увенчана моя!
Наполеон, моею славой
С тобой не обменяюсь я!

Пешт, 16 марта 1848 г.

К СВОБОДЕ

Дай, свобода, глянуть в твои очи!
Мы тебя искали дни и ночи,
По земле, как призраки, блуждали,
Звали мы тебя и ожидали.

С нами ты — и нам никто не страшен,
Божество единственное наше!
Пред тобой — бессмертной и священной –
Падают все идолы мгновенно.

Все же ты бесправной оставалась,
Словно Каин, по земле скиталась.
За тобою палачи следили,
Твое имя к плахе пригвоздили.

Срок пришел — и те лежат в могиле,
Что тебя похоронить спешили.
Срок пришел — и мы с тобою вместе,
Ты средь нас — на королевском месте.

Ты одна — король и повелитель,
Ты одна — наш друг и покровитель.
В честь твою не факелы сверкают,—
То сердца огнем у нас пылают.

О свобода, в душу посмотри нам,
Ясным взглядом душу озари нам,
Чтоб окрепли силы у народа
От сиянья глаз твоих, свобода!

Но, свобода, что ж ты побледнела?
Иль о прошлом дума налетела?
Иль не все мы сделали, быть может?
Или страх за твой венец тревожит?

Не страшись! Скажи нам только слово.
Только стяг свой подними. И — снова
Встанет войско грозно и сурово,
На победу и на смерть готово.

Если даже мы на поле брани
Все погибнем — из могил повстанем,
Но врагов в покое не оставим!
С призраками биться их заставим!

Пешт, 27 марта 1848 г.

ЗАСТОЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Нету отдыха моим рукам:
Я держу в одной руке стакан,
Во второй — оружие мое,
Во второй — то сабля, то ружье.

Пусть господь не пощадит того,
Кто сейчас не выпьет ничего,
Пусть его утащит сатана!..
Пьем, друзья, за родину — до дна!

А еще мы выпьем все как есть
И за храбрость, и за нашу честь.
Нам в бою без них никак нельзя,—
Наливайте же полней, друзья!

Как нам знать, что ожидает нас?
Может, завтра, в предрассветный час,
Барабаны позовут в поход
За родную землю, за народ.

Украшенье для родной земли
Из цветов свободы мы сплели.
И ему всегда на ней сверкать,
И его вовеки не сорвать!

Венгры в рабстве были только раз,
Во второй — нельзя осилить нас.
Если б даже захотел сам бог,
Он бы в рабство нас отдать не мог!

Тот, кто на свободу посягнет,
На земле недолго проживет:
Кровь его и жизнь его сполна
Мы осушим, как стакан вина!

Пешт, март 1848 г.

ВОССТАЛО МОРЕ

Море поднялось, восстав,—
Народов пучина,
Землю и небо страша,
Берег валами круша,—
Рукой исполина.

Знаете танец такой?
Музыки трели?
Так изучай, что не знал,
Можешь узнать этот шквал —
Народа веселье.

Воя, качается хлябь,
Флот весь разворочен,
И опускаются в ад
Мачты и те, что висят,
Паруса клочья.

Ну, так беснуйся вовсю.
Нам обнажи мгновенно
Все глубочайшее дно,
Брось к облакам заодно
Безумную пену.

В небе уроком черти
Вечным, великим:
Хоть наверху корабли,
Волны внизу протекли,—
Все ж море — владыка!

Пешт, 27—30 марта 1848 г.

КОРОЛЯМ

Редкостный подарок — откровенность —
Вам я, короли, преподношу!
Как хотите: хоть благодарите,
Хоть казните — выслушать прошу!
Пусть еще он цел, ваш замок Мункач,—
Не страшат подвалы и петля!
...Что бы там льстецы ни толковали,—
Нет *возлюбленного* короля!

Ха! Любовь! Цветок прекрасный этот
Вырван вами с корнем, короли,
Брошен под колеса колымаги,
На которой сами вы везли
Вами же нарушенные клятвы,
Всяческие блага нам суля...
...Что бы там льстецы ни толковали,—
Нет *возлюбленного* короля!

Вас сейчас народы только терпят...
Только терпят! Неизбежным злом
Люди вас считают. Вас не любят!

Трепещите! Все у вас в былом.
А в грядущем — ждите приговора,
Что готовит высший судия.
...Что бы там льстецы ни толковали,—
Нет *возлюбленного* короля!

Я бы мог поднять на вас народы —
Вся земля восстала бы сейчас,
Чтоб с великой яростью Самсона
Миллионы ринулись на вас!
Я б ударил в колокол смертельный,
Вы бы дрогнули, ему внемля...
...Что бы там льстецы ни толковали,—
Нет *возлюбленного* короля!

Не бунтую! Что мне тратить силы,
Потрясая ветви тех дерев,
На которых все плоды созрели,—
Нет, уже загнили, перезрев!
Те плоды с ветвей сорвутся сами.
Будет так! Да примет их земля!
...Что бы там льстецы ни толковали,—
Нет *возлюбленного* короля!

Пешт, 27 марта 1848 г.

ГОТОВЬСЯ, РОДИНА...

Готовься, родина,
Счастливая, готовься:
К такому празднику, какого не бывало
Еще ни разу
У мадьяров,
К такому празднику, который будет славен
На семь держав, как лёчский альманах...
Готовься, родина!

Безумцы венцы
Нынче очумели,
Забыли бога, с чертом сторговались,
Кричат:

«Не надо призрака свободы —
Сама свобода нам необходима!
Ее добудем мы любой ценою!»

Так чертовы приспешники толкуют,
Но чем же это кончится? А вот чем:
Премилостивый, добрый император
Однажды будет изгнан ими вместе
Со всем своим семейством августейшим —
Со всей роднею изгнан,— видит бог!

О! Это будет радость для мадьяра!
Небесный праздник счастья!
К нам прибудут
И император, и его семейство;
И эта богоданная семья
К нам обратится:
«Верные мадьяры!
Привет вам! Лишь на вас надежда наша!
Всегда мы вас отечески любили!
Мадьяры — кротче всех других народов,
Подвластных нам! И вот пришла пора —
И вам на грудь падем мы всем своим
семейством
И призываем: обнимите нас,
О наши верные сыны-мадьяры!»
А нам, мадьярам, что еще и нужно!

Мы встанем перед ними на колени,
Чтоб сцеловать и смыть потоком слезным,—
Слезами благодарности и счастья,—
Которые по Венгрии польются,
Подобно струям нового Дуная,—
Дорожный прах с их августейших ног!

Вся нация венгерская сольется
В таком могучем вопле ликованья,
Что звезды с неба грянут прямо наземь,
И возгласим мы: «Vitam et sangvinem
Pro rege nostro!» — как кричали деды.
И если между нас найдется некто
Отважный
И о том не позабывший,

Что за три века габсбургской опеки
Проклятье Габсбургам являлось для мадьяров
Сладчайшей мыслью и сладчайшим чувством,—
О, если кто-нибудь об этом вспомнит,
Такого храбреца,
Такого хвата,
Неблагодарного такого человека
Изменником отчизны мы объявим
И тут же вздернем!

Родина, готовься,
Твой праздник близок!
Вы же, господа,
Властители всех государств Европы,
Когда народы вас прогонят прочь,
Придите к нам!
Народ венгерский добрый
Вас встретит с радостью, сочтет за почесть
Откармливать вас всех! О, приходите!
Харчи, жилье мы вам дадим тотчас же.
Взамен утраченных монарших привилегий
Мадьярских судей званье вам дадим.

Пешт, апрель 1848 г.

ШУМИМ, ШУМИМ...

Шумим, шумим,— язык болтает,
А лень пошевелить рукой.
Им, видно, Венгрия-торговка
Милей, чем Венгрия-герой.

На миг блеснул меч славы нашей —
И вновь ржавеет на стене.
Еще денек-другой протянем,—
И все пойдет по старине.

А я стою, коню подобен,
Когда, разгорячен трубой,
Он храпом, фырканьем и ржаньем
Хозяина торопит в бой.

Ужели не паду звездою
В бою, средь дыма и огня?
Ужель бездействие задушит
Иль в спячку погрузит меня?

И пусть бы я один томился,
Один — еще не весь народ!
Но сколько их, кто в нетерпенье,
Беснуясь, удила грызет!

Орлы, томящиеся в клетке,
О юноши, мои друзья!
На вас гляжу — и стынет сердце,
И закипает кровь моя.

Смелей вперед! Вперед, отчизна!
Полдела сделано! Вперед!
Уже оковы ослабели,
Когда ж их гнев твой разобьет?

Пешт, апрель 1848 г.

КОРОЛЬ И ПАЛАЧ

В золотой своей короне
Восседал король на троне,
И, как черви, у подножья
Молча ползали вельможи.

Вздрогнул трон, вокруг смятенье...
Что там? Вихрь? Землетрясенье?
Страх и дрожь в придворном стане:
«Бунт! Народное восстанье!»

То народ, всех бурь свирепей,
Сокрушает рабства цепи,
И куски проклятой стали
Для него оружьем стали.

Трон дрожит, и в смертной дрожи
Разбежались все вельможи.
Лишь один из этой клики
Не покинул трон владыки.

Вот он — короля надежда:
Снег — лицо, и кровь — одежда,
Страшен взор его тлетворный...
Кто же он? Палач придворный.

И сказал король с тоскою:
«Все ушли, лишь ты со мною.
Знать, и в трудные минуты,
Друг мой, верен королю ты!»

«Полно, ты живешь во мраке:
Ведь друзей, как знает всякий,
Не бывает у тиранов,—
Отвечал палач, воспрянув.—

Те, что ползают на брюхе,
Только тени, только духи.
Тени ж — света порожденье.
Свет погас — исчезли тени.

Почему я здесь остался?
Хлебом я твоим питался.
Ясен день иль воет вьюга —
Не прожить нам друг без друга».

Пешт, апрель 1848 г.

РАКОЦИ

Свободы вождь, звезда на небе темном,
Великий сын родной своей страны!
Слезою жаркой, гневом неуемным,
О Ракоци, сердца у нас полны.

Дела твои, которым был ты предан,
Мы довершим. Но жалко одного:
Не быть тебе на празднике победы,
Не встать тебе из гроба своего.

О, если б только это можно было —
Найти твой прах, вернуть его домой!
Но кто же знает, где твоя могила?
Какой тебя засыпали землей?

Ты изгнан был из края из родного
За то, что больше всех его любил.
И век своею тяжестью суровой
Твою могилу смял и раздавил.

Но ты не мертв — жива душа героя,
И смерть вовек не прикоснется к ней.
Приди же к нам, спустись в минуты боя,
Слети душой великою своей!

И стяг возьми невидимой рукою,
Неси его, веди своих солдат.
Пусть голос твой, приглушенный землею,
Гудит в солдатском сердце, как набат.

И мы пойдем, помчимся в бой с врагами!
Пусть сотни глаз нам грустно смотрят вслед,
Пусть сто смертей возникнут перед нами —
Назад мы даже не посмотрим, нет!

И в дни победы, в пламени рожденной,
Ради которой ты дышал и жил,
Воскликнет наш народ освобожденный:
«Кто начал дело, тот и завершил!»

Пешт, 21 апреля 1848 г.

ЖЕНА И КЛИНОК

Светят в небе звезды,
Дремлют в гнездах птицы,
На мои колени
Милая садится.
Нежная росинка

На ветвях у дуба,
Как тебя в объятьях
Мне баюкать любо!

Что же не целуешь,
Если взял в объятья?
Я не скуп на это —
Буду целовать я!
Слышишь... даже слово
Не договорилось,—
В нашем поцелуе
Слово растворилось.

Вот какая радость!
Вот какая прелесть!
Жемчугами счастья
Мы с тобой оделись!
Но зачем так мрачен,
На стене висящий
Мой палаш венгерский,
Мой клинок блестящий?

Боевой товарищ!
Что ж ты в самом деле?
Или мучит ревность?
Страсти одолели?
Если это — ревность,
То мужчинам смелым
Стыдно заниматься
Глупым бабьим делом!

Не ревнуй, не бойся,
А, дружа со мною,
Подружись, товарищ,
И с моей женою!
Ты ее высокой
Прелестью душевной
Будешь очарован,
О палаш мой гневный!

А с врагом сразиться
Родина прикажет —
Кто тогда на пояс
Мне тебя привяжет?

Не жена ли скажет,
Расставаясь с нами:
«Будьте боевыми
Верными друзьями!»

Пешт, апрель 1848 г.

ВЕСНЕ

Где ж ты, дочь старухи Стужи,
Юная Весна?
Не идешь ты почему же,
Что ж ты не видна?

Нет! Спеша друзьям на радость,
Мчишь ты по лесам!
Подымай шатер зеленый
Прямо к небесам!

Излечи больную зорьку,—
Видишь, там вдали,
Бледная, она присела
На порог земли.

Если ты ее излечишь,
Может она дать
Сладость розам, радость травам,
Полю благодать.

Здесь ли жаворонок? Здесь он!
Прилетел с тобой,—
Он творец привольных песен,
Он учитель мой!

А цветы? Не позабыла
Ты об их красе?
Принеси их много, много,
Сколько хочешь. Все!

Разрослись владенья Смерти.
Знай: погребены
Здесь, в земле у нас, святые
Вольности сыны.

Видишь: голая могила,
Как она черна!
Ты осыпь ее цветами,
Милая Весна.

Пешт, апрель 1848 г.

КОНСЕРВАТОРЫ

Мы ополчились на врага
И смело ринулись вперед,
Вы где-то позади плелись,
Там, где обоз всегда ползет.
И от колонн ложилась тень
На ваши рыхлые тела;
Среди пути в часы жары
Была вам эта тень мила!

Когда же битва началась,
Остались вы верны себе:
Хватали за руки вы нас,
Пытались помешать борьбе.
«Назад, назад! — вопили вы
И подняли трусливый вой: —
Зачем стрелять? Зачем стрелять?
Нам страшен дым пороховой!

Назад! Еще ведь время есть,
Возможность есть, возможность есть,
Бежать домой, бежать домой
И тихо возле печки сесть!
Уж лучше пусть нагайка бьет,
Чем сабля голову снесет.
Домой скорее, ибо кнут —
Не сабля, до смерти не бьет!»

Такую боевую песнь
У нас вы пели за спиной.
Господь помог, и этот бой
Победой кончился большой!
Тут драгоценных птичек рой

Поднялся из-за наших спин,—
И эти совы, то есть вы,
Заухали победный гимн!

Ах, если трудно вам молчать,
Нельзя ли хоть потише петь.
За скромность больше уважать
Мы будем вас... Зачем галдеть?
Вы лишь дурачите себя,
Воображая каждый раз,
Что ваш пудушкин восторг
Способен одурачить нас!

Пешт, апрель 1848 г.

НАС ТЕПЕРЬ ВОЗНЕНАВИДЕЛ...

Нас теперь возненавидел
Целый мир, как вижу я.
Ты сегодня одинока,
Венгрия, страна моя!

Всевозможных голодранцев
Было здесь полным-полно,—
Щедро с ними мы делили
Кров, и пищу, и вино.

Ну, а кто пришел бы ныне
С нами разделить беду?
Вот такого человека
Я ищу и не найду.

Ладно! Милостив создатель!
Будет так, как должно быть.
Все забыли? Лишь самим бы
О себе нам не забыть!

Руки есть у нас и сабли!
Горько пожалеет тот,
Кто сегодня на мадьяров
Собирается в поход!

Долговечна наша кротость,
Но — война так уж война!
Будет, будет наша ярость
Долговечна и страшна!

Как мы бьемся — неприятель
Должен помнить, должен знать!
Ну, а если позабылось,
Так припомнится опять!

Коль терпенье наше лопнет,
Распушим врагов мы так,
Что и сами пожалеем
Этих немощных бедняг!

Пешт, апрель 1848 г.

БАН БАНК

Глуп и трусоват был Эндре —
Наш король; бедняжка,
Червяком он извивался
Под пятою тяжкой.
Ведь узду страны держала
В ручках королева.
И шаталась колымага
Направо, налево.

Бабьи руки слабоваты,
Тут смотри, брат, в оба.
Пуще же, когда с бессильем
Породнится злоба.
Ой, с такою злюкой
Жить на свете худо,
С той, что немка по рожденью
И зовут Гертрудой!

Добрых венгров королева
Ниже псов считала,
То и дело без причины

Служб, чинов лишала.
Что ни теплое местечко —
Все для немца-плута.
Провалиться б вам сквозь землю
В Неметчине лютой!

Оскорбления терпели
Знатные дворяне,
А народу и подавно
Горе да страданье,
И стонал народ наш добрый,
Стонал повсеместно,
Как Христос, он брел, согнувшись
Под ношею крестной.

От налогов и поборов
Вылезали очи.
И трудился горемыка,
Сколько было мочи.
Всем двором на шею сели —
Ни вздохнешь, ни охнешь
Только слышно: «Знай работай,
А потом подохнешь!»

Но не все несли покорно
Тяжкие оковы:
Смельчаки объединились
И восстать готовы.
И толкуют: «Не потерпим
Мы такого срама!
Мы очистим нашу землю
От чужого хлама!»

Лишь бан Банк, наместник строгий,–
Тот судил иначе.
То ли ждал он перемены,
То ль не ждал удачи?
Но когда его супругу...
Нет страшней историй!
Расскажу ль ее? О немец,
Горе тебе, горе!

Брат светлейшей королевы,
Вельможа поганый,
Надругался, поглумился
Над женою бана.
Молода, добра, красива,
Как цветочек в поле...
Только смех ее веселый
Уж не слышен боле.

«Подымайтесь! — бан воскликнул.—
Или мы ослабли?!
Месть в моем пылает сердце!
Смерть — на острой сабле!
Други, в замок королевский!
Кто со мной — за мною!
Разнесем притон разврата
И гнездо разбоя!»

Ворвались толпою шумной.
В королевском зале
В это время бесшабашно
Немцы пировали.
Ели, пили все чужое,
Чванились и дерзко
Издевались над народом,
Над страной венгерской.

Сразу стихнуло застолье...
«Ну-ка, что заснули?»
И в глазах мадьяр горячих
Молнии блеснули.
Немчура слегка струхнула:
Тут уж не до шутки.
И вино у тех, что пили,
Прокисло в желудке.

И сказал бан Банк учтиво:
«Доброго веселья!
Добрый вечер вам, вельможи!
Что ж вы присмирели?
Присмирели, приуныли

На последнем тосте?»
А Гертруда: «Что вам надо,
Незваные гости?»

«Погоди,— сказал наместник,—
Все узнаешь вскоре.
Все скажу тебе, Гертруда,
И придворной своре.
Будь почтительнее с нами —
Пред тобой венгерцы!
Весь народ наш пред тобою
С богом мести в сердце!

Ты сказала: мы здесь гости?
Вспомни, а не мы ли
Вам, незваным, нежеланным,
Двери растворили?
Растворили вам, а вы нас
Вышибли за двери,
И теперь вы наше тело
Жрете, словно звери.

Хватит! Попили, поели!
Вам, ничтожным трусам,
Времечко пришло последним
Подавиться кусом.
Первой ты умрешь сегодня,
Ты — всех зол причина,
Королева, шлюха, сводня
Под одной личиной!»

Тут наместник королеву
Рубанул с налета.
Мигом сабли зазвенели —
И пошла работа!
Может, кто и спасся бегством,—
Мы того не знаем,
Только воздух стал почище
Над венгерским краем.

Пешт, май 1848 г.

ЧТО-ТО НЕМЕЦ ВЫДУМАЛ СЕГОДНЯ...

Что-то немец выдумал сегодня,
Разрази его стрела господня!
С требованьем швабы к нам пристали,
Чтоб долги за них платить мы стали.

Задолжал, так и плати, собака!
Пусть язык ты высунешь, однако
Сам плати, хоть сдохни от натуги!
Мы, мадьяры, для тебя не слуги!

Говорят, что в случае отказа
Горе нам — побиты будем сразу;
Мол, на нас пойдут они войною,
С нашею расправятся страною.

Ты свою прабабушку попробуй
Захватить, а Венгрию не трогай,
Семером идут они на зайца,
А, глядите — нам они грозятся!

Нет уж, немцы, поскромнее будьте!
Перед вами — люди! Не забудьте:
Если, шваб, ты хочешь лезть из кожи,
В этом деле мы тебе поможем!

К нам вы приезжали целоваться,
А теперь хотите с нами драться.
Ну так что же, приходите, ладно,
Чтоб соваться было неповадно!

Мой совет: ходули закажите,—
Вы на них быстрее прибежите,
Да и убежите поживее,
Как от нас получите по шее!

Нам на вас оружье тратить жалко,
Для собаки хороша и палка.
Не взыщите — живо отдубасим,
Даже трубок наших не погасим!

Пешт, май 1848 г.

ПЕСНЯ О ЧЕРНО-КРАСНОМ ЗНАМЕНИ

Долой красно-бело-зеленое знамя!
Пора в этот час нам,
Пора в эти дни нам подумать, мадьяры,
О черном и красном!
Вот-вот хлынет кровь, разразится несчастье,—
Так в черное с красным знамена окрасьте!

Среди океана мы — маленький остров...
Валы океана
Стремятся на приступ родимого дома
Под гром урагана.
Вот-вот хлынет кровь, разразится несчастье,—
Так в черное с красным знамена окрасьте!

Враги на пороге. А мы наготове?
Что делают власти?
Им встать бы на стражу, но прячутся в башне:
Там дремлется всласть им!
Вот-вот хлынет кровь, разразится несчастье,—
Так в черное с красным знамена окрасьте!

Мне вспомнился Мохач. Такое же время
Тогда мы встречали.
Вот так, за столами, у пенных бокалов,
Не чуя печали...
Вот-вот хлынет кровь, разразится несчастье,—
Так в черное с красным знамена окрасьте!

О Мохач! За пестрыми мотыльками
В беспечности детской
Гнались мы, хотя уж за нашей спиною
Взревел лев турецкий!
Вот-вот хлынет кровь, разразится несчастье,—
Так в черное с красным знамена окрасьте!

Где снова погибнуть должны двадцать тысяч
Венгерских героев?
В какое мы поле, от крови сырое,
Тела их зароем?
Вот-вот хлынет кровь, разразится несчастье,—
Так в черное с красным знамена окрасьте!

Где ты, новый Мохач? Где солнце родное
Закатится снова?
Померкнет надолго, быть может навеки,
Лик солнца родного!
Вот-вот хлынет кровь, разразится несчастье,–
Так в черное с красным знамена окрасьте!

Пешт, май 1848 г.

КОРОЛЕВСКАЯ ПРИСЯГА

Дал король присягу
Ласло молодому:
«Божья власть над нами.
Клянусь небесами,
Тебя я не трону!»

Снарядился Ласло,
Хочет ехать в Буду.
Ой, Хуняди Ласло,
Спешишь ты напрасно,
Смотри, будет худо!

Заманят в ловушку
Витязя-красавца.
Сиди ты в Белграде
Иль спасенья ради
Поезжай скитаться.

Иль ты, Ласло, хочешь
Угодить в темницу?
Навек закрыть хочешь
Орлиные очи,
Саваном накрыться?

Не ходи ты в Буду,
Зван ты не для пира!
Там ждут тебя, Ласло,
Не почет и счастье —
Плаха да секира.

«Нет, россказням бабьим
Верить я не буду,

И совет ваш, братья,
Не могу принять я,—
Надо ехать в Буду!

В замке том невеста
Ждет меня, тоскуя,
Для тебя, родная,
Мир пройду до края,
Сто смертей приму я.

Но чего, скажите,
Мне бояться смерти?
Королевской клятве
И я верю, братья,
И вы тоже верьте».

Благородный Ласло
Пришел в Буду прямо.
Копайте, злодеи,
Копайте скорее
Для гостя яму!

До своей невесты
Не дошел он даже.
Ни о чем не спрошен,
С неба в ад был брошен —
В кандалы, под стражу.

«А за что же гостю
Бесчестье такое?»
«Ты свой долг нарушил,
Короля не слушал,
Замыслил дурное».

«Я свой долг нарушил?
Замыслил дурное?
Совесть вопрошу я,
«Восстань! — ей скажу я.—
Будь моим судьею!

Нет, молчишь ты, совесть,
Не молвишь ни слова.
Спишь ты, как младенец

В теплой колыбели,
А на мне — оковы».

Вы с меня снимите
Эти цепи ржавые,
Саблю принесите,
Добывать пустите
Для родины славу!»

Не смутишь их, витязь,
Ты правдивым словом!
Ушли, дверь замкнули,
Ключ в ней повернули,
Заперли засовом.

Но недолго ждал ты,
В тюрьме изнывая,
Наш цветок ты лучший,
Витязь ты могучий
Венгерского края.

«Встань и выйди, витязь!»
«Я свободен, люди?»
«Через час — конец твой!
Где теперь отец твой —
Там свободным будешь».

«Как! Меня убьете?!
Я прошу святою
Памятью отцовой:
Дайте молвить слово!
Нет вины за мною!

Мой родитель — Янош —
Наш великий витязь.
Не на казнь дорога
Сыну полубога!
Эй, не оступитесь!

Да и кто б я ни был,
Нет вины за мною!
Сам король мне клялся,

Клятвой обещался
Не чинить дурное!

Мир, тебе кричу я!
Люди, вот пример вам:
Знайте! Богомерзким
Клятвам королевским
Нельзя давать веры!»

Выволокли Ласло
И без милосердья
К плахе потащили
И там зарубили
На площади Сент-Дердя.

Палач рубил трижды,
Ударял с налету.
А Ласло все дышит,
Все видит и слышит
И молвит народу:

«Нет грехов за мною,
А хотя б и были,
Так мне по закону
Должны дать свободу,—
Меня уж казнили».

Встал Ласло, споткнулся
И упал на плаху.
Топор снова хряснул
И голову Ласло
Отсек с размаху.

Солнце опускалось
И, от гнева красно,
Глядело на расправу,
На помост кровавый,
На голову Ласло.

Оттого так солнце
Сердито глядело,
Что народ бессловесный

Стоял, сбившись тесно,
И не знал, что делать.

Зачем я там не был,
Не жил в то время!
Оглушил бы криком,
От боли диким,
Трусливое племя:

«Встань, народ венгерский!
Встань, возьми дубину!
Пусть король наш подлый
Захлебнется кровью
Той жертвы невинной!»

Пешт, май 1848 г.

ТЫ ЗАДРОЖАЛ, О СБРОД ПРЕЗРЕННЫЙ...

Ты задрожал, о сброд презренный,
Ты был не в силах скрыть испуг,
Услышав, что из нежной лиры
Исторг я первый смелый звук.
Но этот ветер — лишь предвестник
Грозы, грохочущей вдали,
С которой песнь моя, как птица,
Взметнется к небу от земли.

Грозящий вихрь еще далеко,
Лишь с дерева два-три листка
Да с губ моих погромче слово
Срывает он, дохнув слегка.
Куда ж вы спрячетесь от бури,
Когда поднимет рев она,
И вывернет дубы с корнями,
И взроет сердце мне до дна,

И громом полюсы вселенной
С их вековой оси сорвет,
И в битву ринутся стихии,
Ниспровергая небосвод,

И по залитым кровью струнам,
Последний возвещая бой,
Я в исступлении ударю
Окровавленною рукой?

Пешт, май 1848 г.

АВСТРИЯ

Как древний Иерусалим,
Вот так падешь ты, Австрия!
И, как иерусалимляне,
Пойдут скитаться по земле
Твои владыки, Австрия!
К изгнанию, к изгнанию
Готовьтесь, императоры!
В полубогов вы рядитесь,
А побежите все-таки,
Чтобы на вас не рухнули
Обломки трона вашего.
Но не раздавят до смерти,
Иное вам назначено:
Вы нищими бродягами
Блуждать по свету будете!

Напрасно руки моете
Вы, Понтии Пилаты!
Людей-то вы обманете,
Но видит бог,— он знает все! —
Не будет вам пощады!
Вы не достойны милости,
Ни милости, ни жалости!
Свободы нашей крестный путь –
Вот что такое Австрия!
Из всех желаний на земле
Одно желанье — властвовать,—
Вот вами что руководит!

Воздвигли замок Мункач вы
Затем, чтоб пламень разума
Не плавил цепи рабские,
Но гас бы в подземелиях!

А на земле лелеете
Цветы довольно гнусные —
Цвет глупости, цвет подлости,
Тиранства и насилия!
Разбойник в пурпур облачен,
И воры коронованы!
Права людей украли вы,
Сокровища похитили!

Тот клад не унесете вы!
Нет! Отберут его у вас
Разгневанные подданные.
И, полуголых, вас потом
Изгонят прочь из Австрии,
Как ангел огненным мечом
За двери сада райского прогнал Адама с Евою!

И будете вы нищенствовать, как из-за вас мы
нищенствовали,
Но только подаяния ни крошки не получите
От тех, кого вы грабили, от тех, кого вы мучили!
Все, все от вас отплюнутся
И будут с отвращением глядеть в другую сторону!
И если вам назначено вот так погибнуть с голоду,—
Никто не похоронит вас — не пожелает пачкаться!

На кучу вашей падали
Лишь вороны накинутся,
И станут вам могилою утробы этих воронов,
И будет вашим саваном проклятие народное!

Пешт, июнь 1848 г.

ДОВОЛЬНО!

Довольно! Из послушных кукол
Преобразимся мы в солдат!
Довольно тешили нас флейты,
Пусть ныне трубы зазвучат!

Кто хочет — бьет нас и толкает.
Восстань, отчизна! Где твой меч?
Иль нужен гневный гром господень,
Чтоб наконец тебя зажечь?

Когда ты, нация, проснешься?
Ужель не сбросишь ты ярма
Твоих судей медноголовых,
Лишенных сердца и ума?

Где сила прежняя мадьяра?
Иль правду говорят о нас,
Иль мы и впрямь трусливы, слабы,
Наш пыл воинственный угас?

Вы нагло лжете, пустобрехи!
Пусть откипел мадьяр давно,
В крови таит он тихий пламень,
Он — как мадьярское вино.

О, если б уж запели трубы!
Нам жизнь и кровь не дорога.
Зато мы каждой каплей крови
Мертвецки напоим врага.

Восстань, отчизна, чтобы снова
Венец твой славой заблистал!
Той славой, что разграбил немец,
Сапог немецкий растоптал.

Подобно солнцу из-за тучи,
Блеснет палаш твой из ножон,—
И все ослепнут и оглохнут,
Над кем грозой заблещет он.

Довольно! Из послушных кукол
Преобразимся мы в солдат!
Довольно тешили нас флейты,
Пусть ныне трубы зазвучат!

Пешт, июнь 1848 г.

В РОДНЫХ МЕСТАХ

Здесь я родился, я в своем краю,
Вернулся в Алфельдскую степь свою,
Где все места следами старины
И няниными песнями полны.
В одной припев был, помнится, такой:
«Жук, майский жук, пострел-проказник мой».

Ушел ребенком я из этих мест
И взрослым совершаю новый въезд.
Как странно, двадцать лет прошло с тех пор...
Да, время, время мчит во весь опор,
Наполненное счастьем и тоской!..
«Жук, майский жук, пострел-проказник мой».

Где вы, друзья тех детских лет, сейчас?
Хоть одного б увидеть мне из вас!
Уверьте, что по-прежнему я мал.
Пусть я забуду, что мужчиной стал,
Что четверть века за моей спиной.
«Жук, майский жук, пострел-проказник мой».

Как птичка прыгает с сука на сук,
Бессвязно мысли носятся вокруг,
Ловя воспоминанья на лету,
Как пчелы мед на липовом цвету.
Ах, здесь воспоминаний целый рой!
«Жук, майский жук, пострел-проказник мой».

Я мальчик вновь и на лошадку — скок,
Скачу, трубя в осиновый рожок,
Но хочет пить конек мой боевой,
Я тросточку веду на водопой.
Напился конь. Пора, бетяр, домой.
«Жук, майский жук, пострел-проказник мой».

Вот колокол вечерний зазвучал.
И всадник утомлен, и конь устал.
Я дома засыпаю в тот же миг
И долго-долго слышу в снах своих
Припев любимой песенки одной:
«Жук, майский жук, пострел-проказник мой».

Феледьхаза, 6—8 июня 1848 г.

МАРТОВСКАЯ МОЛОДЕЖЬ

В годы рабства о свободе
Кто не рад поговорить?
Мы же первыми в народе
Принялись ее творить.

Мы, подняв восстанья знамя,
Принесли стране весну.
Не словами, а делами
Разбудили мы страну.

И, родную землю тронув,
Где лежал народ-мертвец,
Все двенадцать миллионов
Всколыхнули мы сердец.

И связала нас, венгерцев,
Боль одна, мечта одна,
И слилась в большое сердце
Вся мадьярская страна.

И когда на полстолетье
Постареет этот свет,
Пусть расскажут внукам дети
О величье наших лет.

В эти дни борьбы кровавой
Был в чести мадьяр-борец.
Но увяла наша слава,
Чуть борьбе пришел конец.

Кто дремал во время боя,
Кто дрожал в грозу, как лист,
Тот надел венок героя,
Потому что был речист.

Кто скрывался в непогоду
И сидел, поджавши хвост,
За мадьярскую свободу
Возглашает первый тост.

Что ж, чешите на здоровье
На банкетах языки
И носите нашей кровью
Обагренные венки.

С вас срывать мы их не будем,
А когда-нибудь себе
Славу новую добудем
В новой доблестной борьбе.

Пусть лежат на ваших главах
Лавры, взятые в бою.
Мы боролись не за славу,
А за родину свою!

Пешт, июнь 1848 г.

МАЛАЯ КУМАНИЯ

Снова отлучался
В Малую Куманию к домашним.
Где ни очутись, повсюду неотступно
Тянет к милым пашням.
Исходил равнину,
Вкруг которой, точно дочку обнимая,
Встретились родительские руки
Тисы и Дуная.

По приезде в город
День и ночь в столице, средь ее содома,
Мысленно брожу по брошенным низовьям
У родного дома.
Чуть зажмурю веки,
С живостью встают в душе, как пред глазами,
Чудные места, одно другого краше,
В бесподобной раме.

Середина лета.
Солнце на подъеме и пыхтит, бедняжка.
Огненным дождем струится знойный полдень
На степную кашку.
Всюду степь без края.

Всюду степь, и я уйти не в состоянье
От небесной сини и от синей степи
В месте их слиянья.

Прохожу лугами.
Вон волы средь пастбищ развалились в спячке.
В этот жар собой не властвует скотина,
Не до жирной жвачки.
Волопас поодаль,
Вытянувшись, спит на кожухе пастушьем;
Обленились псы и на мою особу
Смотрят с равнодушьем.

Вон ручей в ложбине
Медленно сочится по зеленой балке.
Гладь его мертва и только оживает
Под крылом рыбалки.
Дно отлично видно.
Мелюзги в песке, пиявки сколько всякой!
Пауки водой, как посуху, шныряют,
Ноги раскорякой.

Цапля копошится
В темных камышах, и аиста супруга,
Сунув клюв в ручей, глотает жадно что-то
С крайнею натугой,
Подвернув ходулю,
Гордо замирает, на другую вздыбясь.
А в приречных травах день-деньской немолчно
Горько кличет чибис.

Вон следы колодца.
Обвалился, сгнил он и порос осокой,
Но торчит стояк, и цело коромысло
С жердью одинокой.
К мареву ль степному
Приковала взоры эта жердь на страже?
Мало ли она жарами навидалась
Марев и миражей?

А вдали и вправду
Наваждение зноя: в жаровой завесе
Постоялый двор приподняло на воздух,

Держит в поднебесье.
Но луга все реже,
Все безводней край, и степь назад отходит.
Вихрь холмит пески и их поочередно
Сносит и возводит.

После долгих странствий
Вновь пойдут маячить хуторян хибарки.
Пахнет свежим сеном, каркают вороны,
Скалятся овчарки.
Дальше небосклона
Белокудрым морем разлилась пшеница,
Кланяется, никнет, головой мотает,
Зреет, колосится.

Васильки средь нивы.
Полыхает мак, и на меже у воза,
Как звезда в крови, щетинится шиповник
Раненою розой.
Наступает вечер,
Облака пушатся в легкой позолоте.
Чудо-облака! Вы стаей детских сказок
Надо мной плывете.

Захолустный город.
Церковь с колокольней в стародавнем стиле.
А пройдя сады, за выселками,— мельниц
Маховые крылья.
Чем приворожили
Мельницы меня к своим кругам гигантским?
В ярмарку так встарь ходили акробаты
Колесом цыганским.

Пешт, июнь 1848 г.

ВЕНГЕРСКИЙ НАРОД

Мой народ свободен! Распрямили спину
Те, кого считали немцы за скотину,
Те, кто был придавлен, те, кого душили,
Те, что век в неволе, в тяжком рабстве жили.

Мой народ свободен,— наступили сроки! —
Он пойдет отныне по своей дороге.
Ржавые оковы, цепи вековые
Сам перековал он в сабли боевые.

Мой народ свободен! Больше не позволит
Немцам-чужеземцам себя обездолить.
Он ярмо их сбросил, он сказал им: хватит!
Он им все припомнит и за все отплатит.

Им землею этой не владеть вовеки!
Это наши нивы, это наши реки,
Это край венгерский — наш, родной, исконный,
Нашею горячей кровью обагренный.

Здесь распоряжаться лишь одни мы вправе,
Кланяться пришельцам нас нельзя заставить!
А придут, посмеют — встанут все венгерцы
И вонзят им шпоры в самое их сердце!

Будьте же, венгерцы, день и ночь на страже,
Будьте все готовы встретить силу вражью.
И коль так случится, что она нагрянет,
Даже полумертвый пусть с постели встанет!

Родина, свобода — те слова священны,—
Пусть их каждый с детства помнит неизменно.
Если ж, взрослый, сгинет он в бою с врагами,
Пусть простится с миром этими словами!

Пешт, июнь 1848 г.

К НАЦИОНАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

Вот вы сейчас войдете в этот зал,
Откуда выйдет нации судьба.
Так выслушайте, прежде чем войти,—
Я должен все же вас предостеречь!
От имени народов говорю:
Не той страны, которую для нас
Добыли, проливая пот и кровь,
Герои-предки! Имя лишь ее

Блуждает, как кладбищенская тень,
Здесь между нами... А отчизны нет.
Ее твердыня превратилась в прах,
И вы ютитесь под шатром небес,
Как птицы или дикое зверье.
Все, что умели пращуры создать,
Обязаны вы заново творить
Ценою самых величайших жертв.
Хотя бы всем вам жизнь отдать пришлось,
Обязаны построить вы теперь
Отчизну славную прочнее, чем была,
Где башни привилегий не стоят
И не таятся в них нетопыри,
Отчизну вольную, в которой будут свет
И чистый воздух — достояньем всех,
Чтоб все имели право видеть, жить,
Быть в безопасности... Нет, я не говорю,
Что надо выбросить все камни древних стен:
Коль крепок камень, пригодится он,
А ненадежный — надо устранить,
Какие бы священные для вас
Воспоминанья ни таились в нем.
Поймите это! Горе той стране,
Той родине, которая слаба
В своей основе! Если нехорош
Фундамент, так стене не устоять,
Постройка рухнет! И строитель тот
Не нынче-завтра будет разорен!

Вы ясно ли представили себе,
Какая вас работа ждет сейчас?
За этот труд награда велика,
Но нелегко достанется она.
И те, которых не ведет сюда
Любовь к отчизне, чистая любовь,
Все те, которых привело сюда
Тщеславье или жалкая корысть,—
Те святотатственной своей ногой
Да не осмелятся переступить
Священного порога, ибо вслед
За ними обязательно придут
Два стражника — проклятье и позор,
И будут их до дома провожать,

И после — до кладбищенских ворот.
А вы, из чьей души великий бог
Еще не изгнан идолов толпой,
Вы, у которых к родине любовь
Горит в сердцах, как свет на алтаре,—
Войдите и работайте! Ваш труд
Пусть будет так прекрасен и велик,
Что мира удивленные глаза
Однажды остановятся на нем.
И скажет мир: «Счастливая страна!
Божественны строители ее!»

Пешт, 4 июля 1848 г.

ВЕНГЕРЕЦ ВНОВЬ ВЕНГЕРЦЕМ СТАЛ!

Венгерец вновь венгерцем стал!
Он сам собою стал отныне,—
Не будет больше он слугой
При иноземном господине.

Венгерец вновь венгерцем стал —
Ярма он не потерпит снова.
Звеня осеннею листвой
На землю сыплются оковы.

Венгерец вновь венгерцем стал,
Сверкают палаши и шпаги,
Лучится солнце на клинках,
В очах горит огонь отваги.

Венгерец вновь венгерцем стал,
И пламенеют наши лица
Огнем развернутых знамен,
Зовущих в битву устремиться!

Венгерец вновь венгерцем стал!
Одно у всех венгерцев сердце,
И это сердце бьется так,
Что в ужасе враги венгерца.

Венгерец вновь венгерцем стал,
Героем стал на поле брани,
И мир, великий мир, глядит
На чудеса в венгерском стане.

Венгерец вновь венгерцем стал
И вечно будет сам собою,
Иль в славный час, ужасный час
Умрем мы все на поле боя!

Пешт, июль 1848 г.

ЗАЧЕМ ВЫ МНЕ ЗАГОРОДИЛИ ПУТЬ?

Зачем вы мне загородили путь?
Идите прочь!
Меня возносит ввысь моя мечта,
Но надо делом родине помочь.

Страна в опасности и к действию зовет
Всех сыновей.
Стократным эхом прогремел ответ
На страстный зов души моей.

Мои надежды крепче горных скал,
Не дрогнуть им!
Для родины я нынче потружусь.
Уверен я, что честь мы отстоим!

Стремленье к делу, сила добрых дел —
Как водопад,
Через меня потоки эти бьют
И с диким гулом в мир летят.

На солнце глядя в полуденный час,
Не щурюсь я,
И смело я гляжу в водоворот,
И голова не кружится моя!

В обычный час все могут устоять...
Не в этом суть!
Когда шататься все вокруг начнут —
Вот в этот час меня не пошатнуть!

Ужасные настанут времена —
Тот самый час,
Тот самый день, который по ночам
В кошмарах диких чудится сейчас!

Ни слова, ни награды я не жду
За подвиг мой.
Свой долг бесплатно нужно выполнять,
А биться за отчизну — долг святой!

А слава? Бог с ней! Пусть она пройдет,
Пусть пролетит!
Коль обнимаешь верную жену,
Вертлявая кокетка не прельстит!

Зачем вы мне загородили путь?
Идите прочь!
Теперь не время, чтоб звездой сверкать,
А делом нужно родине помочь!

Пешт, июль 1848 г.

ГОД УЖ НЫНЧЕ...

Год уж нынче, год уж нынче,
Как невеста ты моя.
Год уж нынче, как впервые
Целовала ты меня.

Поцелуй твой сладкий, первый
На уста мои упал,
Кто поверит, кто поверит,
Что теперь он слаще стал!

Время мчится, словно ветром
Уносимый мотылек,
Увяданья, умиранья
С каждым часом ближе срок.

Жизнь кончается? Бог с нею!
Пусть увянет, пусть уйдет:
Что упало с древа жизни —
Без следа не пропадет!

То, что умирает в жизни,
То в любви воскреснет вновь!
Чем мне меньше жить осталось,
Тем сильней моя любовь!

Пешт, 5 августа 1848 г.

СОТНЯ ЛЕНКЕИ

Из листвы дубовой
Я венок сплетаю
И слезами счастья
Листья орошаю.
Тот венок носите,
Ленкеи гусары,
Храбрые солдаты,
Честные мадьяры.

Боевая сотня,
Славные ребята!
Вот такими были
Прадеды когда-то.
Кровь в сердцах гусарских —
Впрямь уж кровь мадьяров!
Так хотя бы песню
Дам я для гусаров!

На слово мне верить,
Видно, не хотите,
Лучше замолчу я,
Сами вы судите!
За себя расскажут
Подвиги их сами —
Храбрецов я буду
Славить вместе с вами.

За Днестром, где округ
Есть Мариампольский,
Квартирует войско

За границей польской.
Молоды гусары,
Розовы их лица,
Что ж таким ребятам
Не повеселиться?!

Весело живется,
Танцы вечно длятся...
Но одна есть сотня —
В ней не веселятся!
В войске днем и ночью
Музыка и пенье,
Только эта сотня
Что-то в огорченье.

«Добрые гусары,
Что вас огорчает,
Почему на очи
Слезы набегают?»
«Как не быть в тоске нам,
Как не быть в тоске нам —
Сладостной отчизне
Угрожают пленом!

Злобно угрожают
Сербы, немцы — вот кто!
Пусть огонь небесный
Грянет в их болото!
Защитить отчизну
Мы стремимся ныне,
Так зачем же держат
Здесь нас на чужбине?»

Вот о чем толкуют,
Мучась и печалясь...
Вдруг промеж собою
Что-то зашептались.
Голоса их глухи,
Тайна кроет лица,
Что ж это за тайна
В их сердцах таится?

Что за лиходейство
В душах кипятится?
Трудно разобраться,
Толку не добиться.
Что за богохульство
В мыслях завертелось?
Даже молвить слово
Вдруг пропала смелость.

То не богохульство...
Хочется гусарам
Двинуться на помощь
Беднякам-мадьярам.
На родную землю
Эта сотня рвется:
Там, в полях отчизны,
Кровь мадьяров льется!

Вот о чем гусаров
Тайные мечтанья,
Но не без причины
Те мечтанья — втайне:
Тайно лишь мечтаем —
До того дошли́ мы! —
О священном чувстве
К родине любимой.

И однажды ночью
Сотня выступает.
Тьма... Днестровский берег
Струи омывают.
Здесь могучий Арпад
Набирался силы
Перед наступленьем
На страну Атиллы,

А теперь гусары
Здесь остановились.
Для священной клятвы
Их уста раскрылись.
К Венгрии взывают

Храбрые гусары:
«К вам идем на помощь,
Слышите, мадьяры!»

И, провозгласивши
Клятву ту святую,
Ринулись гусары
В пенистые струи.
Боевые кони
Были в полной силе
И большую реку
Махом переплыли.

К родине стремятся,
Едут они, едут...
Только что за всадник
Мчится им по следу?
Капитан Ленкеи —
Вот кто, словно птица,
Храбрый их начальник
Вслед за ними мчится.

«Эй, назад, ребята!
Я — от генерала.
Он велел вернуть вас
Во что бы то ни стало!»
Но назад гусары,
Нет, не поскакали.
Вот что капитану
Храбрецы сказали:

«Капитан, мы будем
Вам повиноваться,
Если вам угодно
С нами оставаться!
Коль вперед пойдете,
А не на попятный,—
Вождь такой нам нужен,
Это вам понятно?

Это дело — свято!
Нас вернуть не может
Слово генерала
Или даже божье!

И в речах о долге
Мы не видим толка —
Родина священней
Воинского долга!»

Капитан Ленкеи
Был мадьяром истым —
Впереди гусаров
Встал он в поле чистом.
Мчался впереди он,
А не плелся следом
К сладостной отчизне,
К радостным победам!

Здесь, в стране родимой,
Дорогие братья,
Вас мы принимаем
В жаркие объятья.
Любим вас любовью
Вечной, неизменной,
Что бы ни сказал там
Наш министр военный!

Пешт, август 1848 г.

К НАЦИИ

Бей в набат! Я сам схвачу веревку,
Чтобы все колокола звучали!
Я дрожу — от гнева, не от страха,
В сердце буря гнева и печали.

Я печален оттого, что тучи
Гибелью грозят моей отчизне.
Я разгневан тем, что мы заснули
И не слышим и не видим жизни.

Нация проснулась, посмотрела,
Отчего кругом шумят народы,
Повернулась на бок, и заснула,
И забыла, что уходят годы.

Родина, наказанная богом,
Пробудись для доблести и чести!
Создана ты славной и великой,
А плетешься на последнем месте.

Так проснись! Ведь если ты проснешься
Не сейчас, то сроку будет мало:
Ровно столько, чтоб свое ты имя
На надгробном камне начертала.

Встань, отчизна! Все вернуть ты можешь,
Только не робей в бою неравном!
«Победить иль умереть, сражаясь!» —
Начертай на нашем стяге славном.

Долго прозябали мы и были
У себя в дому, как на чужбине,
Так очнемся и собою править
Не позволим никому отныне!

Иль не лучше пасть от вражьей пули,
Чем влачить бесцельно жизнь такую!
Отвергаю только смерть в позоре,
Но с восторгом встречу я другую.

В бой! Умрем героями, венгерцы,
Если жить никто из нас не может!
Пусть умрем, но так, чтоб нас оплакал
Даже тот, кто сам нас уничтожит!

Будем так сражаться, чтоб дивился
Миклош Зрини, воин знаменитый,
Так сражаться, будто для отчизны
Каждый стал единственной защитой!

О, тогда, тогда мы не погибнем,
Будем жить и славиться веками,
Воплотим заветные мечтанья
И владеть отчизной будем сами!

Нация, отечество, народ мой!
Дружно, быстро — приготовься к бою!
На врага, как молния, низринься,—
И падет он мертвый пред тобою.

«Где наш враг?» — ты спросишь. Между нами!
Справа, слева,— он повсюду, братья!
Самый беспощадный и опасный
Тот, что заключает нас в объятья.

Брат, спокойно предающий брата,—
Вот она, гнуснейшая порода!
Сто других один такой испортит,
Словно капля дегтя — бочку меда.

Только смерть — достойный приговор им,
Только смерть! Иного будет мало!
Хоть бы сотню тысяч их казнили,
Хоть бы кровь по улицам хлестала!

Внешний враг не так уж нам опасен,
Коль внутри покончим с подлой тварью.
Лира, прочь! Бегу на колокольню —
И в набатный колокол ударю!

Пешт, август 1848 г.

РЕВОЛЮЦИЯ

Пусть трусы бледнеют от песен моих—
Предчувствую я Революции вихрь!

Печальные нынче пришли времена!
Отцами ты брошена, наша страна!

Затем ли оковы с себя сорвала,
Чтоб новая цепь еще хуже была?

Могильную пыль ты смела, но тотчас
Втоптала судьба тебя в худшую грязь!

Но нет, не судьбой, не судьбой, не судьбой! —
Глумятся твои сыновья над тобой!

Отвратен и страшен тот грех сыновей,
Месть неба им будет во много страшней!

Не славы венец, но из сорной травы
Готовят колпак для твоей головы.

Сруби себе голову лучше сама,
Чем ждать от тирана на шею ярма.

Тебя закует только мертвую он!
Пусть празднует он день твоих похорон,

Пусть сядет на трон на могиле твоей,
Пусть люто тиранит могильных червей!

Но, родина, ты не погубишь себя,
Ты гневным огнем загорелась, скорбя.

Берешься за саблю, готова к борьбе!
Кому ж быть свободною, как не тебе?

Прими же в уста поцелуй сыновей!
Ты, мальчик, вина наливай поживей.

Целуем и пьем! Поднимается флаг.
Мы поняли: это к восстанию знак.

Пусть трусы бледнеют от песен моих —
Предчувствую я Революции вихрь!

Пешт, август 1848 г.

И ВОТ ДОСТИГ Я ВОЗРАСТА МУЖСКОГО...

И вот достиг я возраста мужского.
Весна счастливой юности ушла
И много песен и цветов душистых,
И много упований унесла,
И жаворонка звонкого, чьи трели
Меня будили с первым блеском дня.
Как темен был бы мир, мой светлый ангел,
Когда б не полюбила ты меня!

Нет в роще птиц, нет солнца в небе хмуром,
Туман над полем стелется сырой.
В пустые гнезда только ветер грустный
Еще заходит песню спеть порой.
Угасла жизнь в лесу моих мечтаний,
Редеет он, сухой листвой звеня,
Как темен был бы мир, мой светлый ангел,
Когда б не полюбила ты меня!

Звезду рассвета бледно-золотую
И серебро предутренней росы
Действительность рукою грубой стерла,
Как только день приблизили часы.
Удушлив зной, блуждают в небе тучи,
Растут заботы, жизнь мою тесня.
Как темен был бы мир, мой светлый ангел,
Когда б не полюбила ты меня!

Средь романтичных скал бурлил когда-то
Глубокий, темный, сладостный поток —
Поток тщеславья! День и ночь, бывало,
Его струей я наслаждаться мог.
Он не иссяк, но больше пить не жажду,
Пусть пьет другой, мечту свою пьяня.
Как темен был бы мир, мой светлый ангел,
Когда б не полюбила ты меня!

Сам от себя бегу я, но напрасно:
На мой народ с надеждою гляжу —
И вижу, как, безвольный, развращенный,
К смертельному идет он рубежу.
Сожму кулак, вскипает кровь,— и что же!
Лишь негодую, плача и стеня.
Как темен был бы мир, мой светлый ангел,
Когда б не полюбила ты меня!

Люби меня так пламенно, так нежно,
Как я люблю, даруй мне до конца
Тот свет, который в сердце вобрала ты
От благостного божьего лица.
Ты весь мой мир, ты вся моя отрада,

Звезда моих ночей и солнце дня!
Как темен был бы мир, мой светлый ангел,
Когда б не полюбила ты меня!

Пешт, сентябрь 1848 г.

СВИСТ ПУЛЬ КРУГОМ...

«Свист пуль кругом, бряцание клинков,
В зеленом поле заалелась кровь,
И твердь звенит от грома битвы той.
А где поэт? Все дома он, герой?

Ты для того ль отвагу воспевал
И для того ли ты сражаться звал,
Чтоб в дни, когда мы обнажили меч,
В своей берлоге, трепеща, залечь?»

Такие речи мир со мной ведет,
Он так и сыплет стрелами острот,—
Мол, мы его насмешками убьем!
А я смеюсь и мыслю о своем:

О люди слабые! Сегодня вот они
Клеймят меня, но близятся те дни,
Когда начнут кричать: «Хвала тебе!»
Ведь о людской я думаю судьбе.

Мне ничего не надо говорить,
И сам я знаю, где мне надо быть:
Здесь, выполняя миссию свою,
Я как в аду, не только что в бою!

Пешт, сентябрь 1848 г.

В ГОРАХ

Там, внизу, внизу в ложбине,
Тонет город в дымке синей.
Он на прошлое походит
И, как время, вдаль уходит.
Он рисуется в тумане
В образе воспоминанья.

Хорошо средь высей горных,
Высоченных, непокорных.
Здесь становятся на отдых
Облака в своих походах.
Я б вступал отсюда в споры
С звездами в ночную пору.
Там, внизу, внизу в тумане,
Смутном, как воспоминанье,
Я оставил мысль о доме
В шумном городском содоме.
Я оставил там заботы.
Я не выношу их гнета,
И когда они на шее —
Я, как каменъ, цепенею.
Я средь гор вздохнуть присяду,—
Трогать здесь меня не надо.
Для других отдавши годы,
Украду хоть день свободы.
Дрязги я внизу оставил,
Вниз, в туман обиды сплавил,
Гадости и все иное.
Здесь лишь радости со мною.
Здесь со мной два близких мира:
Милая моя и лира.
Женщина с душой ребенка,—
Вон жена моя сторонкой
Мотыльков с цветов сгоняет,
Рвет цветы, венки сплетает.
Вот она мелькнула тенью,
Вот исчезла на мгновенье,
Вот опять явилась, рея
Феей леса, горной феей.
Я ж стою в благоговенье
Пред красой миротворенья.
Трепетом своим и дрожью
Листья на сердца похожи.
Сонное их шелестенье
Мерно, как сердцебиенье.
Дерево большое с края,
Голову мне осеняя,
С важностью седого предка
Надо мною тянет ветку
И, благословив, как сына,

Ласково трясет вершиной.
Господи! Я чуть не плачу
В благодарности горячей.

Зуглигет, 8 сентября 1848 г.

БЛИЗОК, БЛИЗОК ЧАС ВЕЛИКИЙ...

Близок, близок час великий,
Час, в который все решится.
Судьбы родины решатся,
Неизбежное свершится!
Вынем жребий. Будет бел он,
Этот кубик, или черен —
Знай, что в выигрыше будет
Только тот, кто непокорен!

Время, время делать выбор!
Что тебе милей и краше —
Ветвь оливы или сабля,
Что возьмем мы в руки наши?
Саблю, а не ветвь оливы
Ты бери, рука народа.
Мир? Пусть он приходит позже,
А сперва придет Свобода.

Час настал. Мы всем народам
Доказать должны на деле —
Или жизнь мы заслужили,
Иль для смерти мы созрели.
Ибо, кто достоин жизни,
Тот с бедою совладает,
А сражаться неспособный
Пусть под игом пропадает!

Саблю старую наточишь
Ты, мадьяр, готовясь к бою.
Эта сталь была в неволе
Заодно, мадьяр, с тобою.
Смоешь грязь ты с этой сабли
Новой доблестью и славой
И очистишь вражьей кровью
Тот клинок багрово-ржавый.

Только прежде, чем сражаться,
Помолиться надо, братья,
А молитвой нашей будет
Не молитва, а проклятье.
Проклянем мы наших дедов,
Пусть в гробах томятся, мучась,
Что в наследство дали внукам
Рабскую такую участь!

Пешт, 10 сентября 1848 г.

ТЫ СЛЫШИШЬ ЛИ, СЕРДЦЕ...

Ты слышишь ли, сердце, что там прошептали?
Кого это трусом зовут? Не тебя ли?
Позорно кичась и глумясь над тобой,
Твердят, что боишься ты выйти на бой.

Я знаю вас, черви! Теперь за спиною
Вы шепчетесь храбро, смеясь надо мною.
А прежде, когда бушевала гроза,
Дрожали, не смея взглянуть мне в глаза.

Я слушаю ваше шипенье? Нимало!
Тяните, тяните змеиные жала,
И если начнете за пятки кусать,
Я даже не двинусь, чтоб вас растоптать!

О сердце, будь холодно ты и бесстрастно,
Не трать благородного гнева напрасно.
А если огня не унять своего,
Свой гнев изливай на достойных его.

О сердце, будь холодно и терпеливо,
Уйми взбунтовавшейся крови порывы
И всем докажи, что не дрогнуло ты
Под натиском подлой такой клеветы.

Подла клевета, но легко оправдаться,
Да стоит ли мне с подлецами тягаться?
Ведь после победного славного дня
Они прибегут славословить меня,

Как много еще в человеке уродства,
Как мало еще у людей благородства!
Ступайте! Желаю вам счастья. Я рад
Бороться за вас. Мне не надо наград.

Пешт, сентябрь 1848 г.

О ЧЕМ ЕЩЕ, СМИРЕННЫЕ ПОЭТЫ...

О чем еще, смиренные поэты,
Поете вы в такие времена?
Ваш голос в громе битвы замирает,
И миру ваша песня не нужна.

Оставьте лиру, молодые люди!
Вы музыкой не попадете в цель!
Пора бы знать, что в громовых раскатах
Бесследно тонет жаворонка трель!

Пусть даже так! Но разве птица знает,
Кто слушает, когда она поет?
Нет! Жаворонок, реющий в лазури,
Себя да бога только признает!

Сама собой летит из сердца песня;
От радости родясь и от тоски,
Она несется, как летят по ветру
Оборванные с розы лепестки.

Товарищи! Пусть громче грянут лиры!
Мы будем петь всему наперекор,—
Поборется с земным и смутным шумом
Наш не великий, но высокий хор!

В руинах мир. Унылая картина
Тревожит сердце и печалит глаз...
Хочу, чтоб песен вьющаяся зелень
Над холодом развалин вознеслась!

Пешт, сентябрь 1848 г.

ТЫ ПОМНИШЬ...

Ты помнишь, как с тобой глядели
Мы в первый раз на этот пруд?
С тех пор два года пролетели,
Не правда ли, как дни бегут!

Стоял такой же день осенний,
Тянулись ветви в синеву,
С деревьев ветра дуновенье
Бросало на воду листву.

Поверхность пруда отражала
Свод неба светло-голубой,
И так же лодка у причала
Покачивалась над водой.

Тогда еще я только мыслью
Навстречу счастью вдаль летел.
В прямом, не переносном смысле
Я целовать тебя не смел.

Прошло два года. Не досадуй,
Утрата их не тяжела.
За это время жизнь в награду
Безмерно больше принесла.

Она дала тебя в отплату,
Спасения меня лишив,—
К чему оно, когда сама ты —
Бессмертие моей души?

Побудем здесь, где о подруге
Тогда я и мечтать не смел.
Дай мне измерить на досуге,
Как несравненен мой удел!

Эрдёд, 27 сентября 1848 г.

ЖИЗНЬ ИЛИ СМЕРТЬ

От круч Карпат до нижнего Дуная
Бушует вихрь. И виден в вихре том
Мадьяр со спутанными волосами
Над окровавленным челом.
О, если б не родился я мадьяром,
То все равно с тобою был бы я,
Ты самое покинутое племя,
Какое только ведает земля!

Народ мой бедный, нация в сиротстве,
Чем ты грешна, что столько всяких бед
Опустошают древо нашей жизни —
И бог, и черт, и яростный сосед.
И почему так подло и безумно
Ломают ветви злобною рукой
Те самые, кто здесь, под сенью древа,
Многовековый обрели покой.

О иноземцы, что вы нас грызете,
Что злобствуете? Разве не мадьяр,
В руке которого всегда сверкала сабля,
Вас защищал от турок и татар?
И честно мы делились с вами, когда
Добро мы получали за труды.
И с ваших плеч снимали половину
Несчастья, скорби, горя и беды!

А благодарность? С подлою отвагой
Король немецкий шлет сегодня вас,
Как воронов! Как будто бы на трупы,
Летите вы на Венгрию сейчас!
О вороны, вы алчны, подлы, жадны,
Но помните, мадьяр еще не прах!
Клянусь, он жив! Он вашей злобной кровью
Окрасит свой рассвет на небесах!

Да будет так! Не на живот, а на смерть
Мы будем биться,— вы хотели так! —
Покуда виден под мадьярским солнцем
На наших землях хоть единый враг,
Покуда кровь из вражеского сердца

Не вытекла последнею струей...
Отвергли вы содружество венгерца,—
Пусть будет так! — он к вам придет судьей.

Вставай, мадьяр! Вставай на бой священный!
Цветы и жизнь враги топтали тут.
Так пусть теперь бегут они, как стадо!
Вставай, мадьяр! Твори последний суд!
Века единоборствовали с нами,
Нас лишним годом битвы не убьешь!
Боролись мы с бесчисленными львами,—
Так неужели загрызет нас вошь!

Встань, нация! Есть мужество бороться!
Мир покоряли пращуры твои!
Вот Ракоци! Какие полководцы
Глядят на мир! И это — взор судьи.
Какие предки! Хоть наполовину
Стать, как они! Тогда б, как ураган,
Мы б осушили даже нашей тенью
Кровавое болото — вражий стан.

Эрдёд, 30 сентября 1848 г.

ПРОЩАНЬЕ

Едва рассвет — и вот уже закат,
Едва пришел — и ухожу назад,
Едва успел тебя поцеловать —
И вот слова прощальные звучат!
О жизнь моя, душа моя и плоть,
Жена любимая, храни тебя господь!

Я вместо лиры саблю в руки взял,
Я был поэтом — нынче я солдат,
И путь мой вместо золотой звезды
Кровавые сполохи озарят.
О жизнь моя, душа моя и плоть,
Жена любимая, храни тебя господь!

Не жажда славы в путь меня влечет,
Не лавров я ищу на сей земле,—
Не уместятся лавровый венок

И розы счастья вместе на челе!
О жизнь моя, душа моя и плоть,
Жена любимая, храни тебя господь!

Не жажда славы в путь меня влечет,—
Давно все это умерло во мне!
Отчизны ради кровь свою пролью —
Вот для чего я нынче на войне!
О жизнь моя, душа моя и плоть,
Жена любимая, храни тебя господь!

Не заклинаю: «Думай про меня,
Когда за родину я бьюсь и за тебя!»
Тебя я знаю! Знаю: у тебя
Одна лишь мысль — и это только я!
О жизнь моя, душа моя и плоть,
Жена любимая, храни тебя господь!

Быть может, искалеченным вернусь,
Но и тогда ты будешь влюблена
В меня, в меня! Тому свидетель бог!
Он знает, как любовь моя верна.
О жизнь моя, душа моя и плоть,
Жена любимая, храни тебя господь!

Эрдёд, 17—22 октября 1848 г.

УВАЖАЙТЕ РЯДОВОГО!

Я офицер. Но, встретив рядового,
Который браво отдает мне честь,
Краснею я и думаю упорно:
Какая-то ошибка в этом есть.
Я первый должен честь отдать солдату,—
Ценней нас всех солдат во много раз,
Так, значит, уважайте рядового,—
Он, офицеры, выше вас!

С солдатами идем мы вместе в битву.
За что мы бьемся? Нам ли то не знать!
Один идет бороться за идею,

Другой — свое поместье защищать.
Но слава всех влечет. Мы все в восторге
От колдовства ее прекрасных глаз.
Так, значит, уважайте рядового,—
Он, офицеры, выше вас!

Что знают рядовые об идеях?
Мать-родина! Спросить бы у нее:
Зачем, как мачеха, сует она солдату
Скупой паек и ветхое тряпье?
Грош — плата за солдатские лишенья,
Беда прошла — другая началась.
Так, значит, уважайте рядового,—
Он, офицеры, выше вас!

Солдат не знает, что такое слава,
А если б знал, так в этом что за толк?
Ведь не хранят истории анналы
Имен солдатских. Славен только полк!
Да разве это записать возможно:
Чья кровь, когда, и где, и почему лилась?
Так, значит, уважайте рядового,—
Он, офицеры, выше вас!

Поток забвенья смоет и могилы
Солдатские, не то что имена!
Бесплатно посох нищего калекам
Вручает благодарная страна.
И все ж навстречу ядрам, саблям, пулям
Спешит солдат, чтоб выполнить приказ.
Так, значит, уважайте рядового,—
Он, офицеры, выше вас!

Дебрецен, октябрь — ноябрь 1848 г.

1848

О звезда сорок восьмого года!
Ты, рассветная звезда народов!
Ночь, гонима утренней зарею,
Убегает с небосвода,
А за нею,

Пламенея,
День встает, и хмур и бешен,
Чтоб румянец, с гневом смешан,
Озарил бы после ночи
Человеческие очи!

Смерть тиранам! Стыдно быть нам в рабстве!
Время праведному гневу!
Не с молитвой, а с кровавой жертвой
Обратимся нынче к небу!
Мы лежали,—
Вы с ножами
К нам подкрались. Но напрасно!
Жизнь народа не погасла.
У народа крови много,
Вопль его дойдет до бога!

Море в удивлении великом:
Твердь земная, что с тобою?
Почему вздымаешься валами
Величайшего прибоя?
Бури ярость,
Будто парус
Вихрем в клочья разорвало,
И, безумен, у штурвала
Кормчий, будто гибнет тут он,
Рваным пурпуром опутан.

Нынче мир — сплошное море битвы.
Все с оружьем, все — солдаты!
Что топчу я? Порванные цепи!
Ха! Корона сломанная чья-то!
Эй, в огонь их!
Нет! Не тронь их!
Надо лишь на этой дряни
Начертать ее названье,
Чтобы знали наши дети,
Чем служили вещи эти.

Славный час! Свершилось по Писанью:
Во едино стадо львы и овцы!
Бог у нас один теперь — свобода!

Иноверцам умереть придется.
Пали старые
Святыни.
На руинах и в пустыне
Новый храм воздвигнем ныне.
Свод его — небес громада!
Солнце в нем, а не лампада!

Дебрецен,
октябрь — ноябрь 1848 г.

ЧТО ТУТ ЗА ШУМНОЕ ВЕСЕЛЬЕ?

Что тут за шумное веселье?
Пирушка, свадьба, новоселье?
Нет, по пути — сквозь дождь и тьму —
Примчались всадники в корчму.

«Корчмарша, гей! Без проволочки
Налей вина из старой бочки.
Что? Деньги? Будут! Кончим бой
И рассчитаемся с тобой.

Налей вина из старой бочки
Да не вели стесняться дочке.
Целуй, голубка! Кончим бой
И обвенчаемся с тобой».

Так пировали, чередуя
Вино и сладость поцелуя,
Те, чью судьбу решал рассвет,—
Как будто жить им сотню лет!

Где мы — на свадьбе иль на тризне?
Тут холод смерти с жаром жизни!
Любовь и смерть, вино и кровь,
Смерть и бессмертная любовь!

Дебрецен,
октябрь — ноябрь 1848 г.

Л Ю Б Л Ю...

Люблю я, милая!
Как я люблю тебя!
Люблю твой тонкий стан,
Люблю твои глаза,
И голос твой люблю,
И волосы люблю,
И алость этих щек,
И мягкость этих рук.
Я пальцы этих рук
Беру с волнением
И наслаждаюсь их
Прикосновением.
Я вижу, как высок
Полет души твоей,
Я вижу, как широк
Простор твоих страстей.
Будь ты веселая,
Будь ты унылая,—
И смех я твой люблю,
И слезы, милая!
Твоя улыбка мне —
Луч среди полночи,
Твой гнев мне кажется
Затменьем солнечным.
Люблю я, милая!
Как я люблю тебя!
Люблю, люблю тебя
С великой силою.
Когда б не ты — весь мир
Вдруг для меня исчез,
Не стало бы земли,
Не стало бы небес!
И я тебя зову
Во сне и наяву.
Ты — это жизнь моя,
И лишь тобой живу!
Добуду для тебя
Любую славу я;
Захочешь — откажусь

Тебе во славу я
От славы от любой,
Чтоб только быть с тобой.
И жертвы нет такой,
Которую тебе
Не мог бы принести
Я, полон радости.
И каждой мелочи
Растет значение,
И превращаются
В мои мучения
Твои малейшие
Огорчения.
Люблю я, милая!
Я так люблю тебя,
Как никогда, нигде,
Никто не мог любить!
Ведь это смерть почти!
Не может это быть,
Что можно так любить,
Что можно воплотить
Все, все в лице одном:
Быть мужем, быть отцом,
Любовником и сыном —
И все в лице едином.
И ты — в одном лице:
Сестра моя, жена
И дочь любимая.
Люблю душой тебя,
Люблю и сердцем я,
Любовью ясною,
Но и безумною!
И если за любовь
Награда быть должна,
Не мне ее иметь,
Получишь ты одна!
Тебя одну — хвалить,
Все, все тебе дарить
За то, что той любви
Сумела научить!

Дебрецен,
ноябрь 1848 г.

ОСЕНЬ ВНОВЬ...

Осень вновь, опять чаруя,
Красит мне мое житье,
Не пойму, за что люблю я,
Но люблю, люблю ее.

Утоплю глаза в просторах;
С косогора средь травы
Сяду слушать тихий шорох
Опадающей листвы.

Солнце на землю с улыбкой
Смотрит, с кротостью светя,
Словно мать, качая зыбку,
На уснувшее дитя.

У земли на самом деле
Сонный, а не мертвый вид.
Нет, она в своей постели
Не кончается, а спит.

Снявши платье дорогое,
Положила на кровать,
Чтобы было под рукою,
Как придется надевать.

Спи, красавица природа,
Спи до первых дней весны.
Пусть тебе до их прихода
Снятся сладостные сны.

Кончиками пальцев трону
Лиру тихую свою.
Легкий звук скользнет к затону,
Призывая к забытью.

Сядь, дружок, со мной в прохладе.
До тех пор молчи, пока
Смолкнет звук над водной гладью,
Словно шепот ветерка.

Если целоваться станем,
Чуть коснись губами губ,
Чтоб не разбудить касаньем
Дремлющих древесных куп.

Эрдёд, ноябрь 1848 г.

КОСОЛАПЫЙ ПАРЕНЬ

Плохо, плохо девкам стало!
Я страдал по ним, бывало,
А теперь за мной их — стая.
Вот так так, нога хромая!

Тех парней, что поудалей,
На войну от нас забрали.
Я просился, да куда там,
Где хромому быть солдатом!

Помнишь, Ката, как когда-то
Умолял я: сжалься, Ката!
Но смеялась ты, гордячка.
Ты смеялась — так поплачь-ка!

Кто смеялся — всем отвечу:
Не взгляну на них, как встречу,
А взгляну, так непременно
Я взгляну на них надменно.

Кто красивей всех, лишь с тою
Я пройдусь, коль удостою,
Но чтоб я назвался мужем,
Пусть попросит — мы не тужим.

И в хромом об эту пору —
Верно, девки? — нет зазору.
Хоть нога-то и хромая,
За меня пойдет любая.

Дебрецен, ноябрь 1848 г.

ЛУК МОЙ СЛАВНЫЙ...

Лук мой славный, дорогой,
Грянем в трон разок-другой!
Прямо в бархат бей, стрела,
Чтобы тучей пыль пошла!
Учиним с тобой расправу
Мы республике во славу!

А теперь, второй стрелой,
С короля венец долой!
Много чести — на осле
Ездить в бархатном седле!
Учиним с тобой расправу
Мы республике во славу!

А теперь я подыщу
Место красному плащу,—
Он назначен у меня
На попону для коня!
Учиним с тобой расправу
Мы республике во славу!

А теперь мы выбьем, лук,
Скипетр у него из рук!
Заступ я ему даю,
Чтоб могилу рыл свою.
Учиним с тобой расправу
Мы республике во славу!

А теперь мораль моя:
Дураки вы все, друзья!
Сколько лет прошу, молю:
Дайте в морду королю!
Учиним скорей расправу
Мы республике во славу!

Дебрецен, декабрь 1848 г.

БОЕВАЯ ПЕСНЯ

Трубит трубач, бьют барабаны!
Вперед, друзья, на подвиг бранный,
Вперед, мадьяры!

Пуля поет, палаш сверкает,
Все нас на подвиг вдохновляет.
Вперед, мадьяры!

Пусть развевается над нами
Все шире, шире наше знамя.
Вперед, мадьяры!
Написано на нем «Свобода».
Пусть это видят все народы!
Вперед, мадьяры!

Мадьяр — так, значит, он бесстрашен?
Бесстрашен,— значит, родич наш он!
Вперед, мадьяры!
Мадьяр и ты, небесный боже,
Замыслили одно и то же!
Вперед, мадьяры!

Травы побагровела зелень:
Увы, друзья, там друг застрелен!
Вперед, мадьяры!
Он умер, этот храбрый витязь!
Как смерч, сквозь смерть, живые, мчитесь!
Вперед, мадьяры!

Раскинув руки, наземь грянем,
Но отступать теперь не станем.
Вперед, мадьяры!
Кто уцелеет? Я не знаю!
Но не умрет страна родная,
Вперед, мадьяры!

Дебрецен, 8 декабря 1848 г.

НА ВИСЕЛИЦУ КОРОЛЕЙ!

Нет больше Ламберга — кинжал покончил с ним.
Латура вздернули. Теперь черед другим.
Все это хорошо, прекрасно — спору нет!
Народ заговорил — и вот залог побед.

Но мало двух голов! Смелей, друзья, смелей!
На виселицу королей!

Косарь скосил траву — но завтра вновь она
В полях расстелется, свежа и зелена.
Садовник обрубил деревья — через год
Их ветви новые дают и цвет и плод.
Когда корчуешь лес — не оставляй корней.
На виселицу королей!

Когда же наконец, о глупая земля,
Возненавидишь ты и свергнешь короля?
О, неужели я в народ мой не волью
Неисчерпаемую ненависть мою?
Клокочет, как прибой, она в груди моей.
На виселицу королей!

Природа яд взяла, чтоб кровь его создать,
Преступной подлостью его вскормила мать,
В позоре он зачат, и жизнь его — позор,
Чернеет воздух там, куда он кинет взор,
Гниет земля, как труп, вокруг его костей.
На виселицу королей!

Война свирепствует во всех концах страны,
Пылают города, деревни сожжены,
От воплей в воздухе немолчный гул стоит,—
Довольна жатвой смерть, один король не сыт —
Виновник стольких бед, убийств и грабежей.
На виселицу королей!

Напрасно льешь ты кровь, о мой народ-герой!
Корону с головы, и голову долой!
Не то чудовище поднимется опять,—
Тогда придется все сначала начинать.
Покуда время есть, о жертвах пожалей.
На виселицу королей!

Всем — наша дружба, всем — прощенье и привет.
Одним лишь королям вовек прощенья нет.
И если некому повесить их — добро!

Я саблю отложу, оставлю я перо,
Сам стану палачом,— но только бы скорей!
На виселицу королей!

Дебрецен, декабрь 1848 г.

КОНТ И ЕГО ТОВАРИЩИ

Венгрия моя родная,
Ты от горя чуть живая,
Вся в слезах, сочатся раны...
Что с тобой, мой край желанный?

«Тяжело мне, боже правый!
Сжав меня рукой кровавой,
Чудище сидит на троне,
Сеет зло и беззаконье.

Жигмонд, изверг человечий,
Не дави мне так на плечи:
Подогнутся мои ноги,
И свалюсь я на пороге.

Для того ли я вручила
В черный час тебе кормило,
Чтоб меня ты, лютый дьявол,
Истерзал и обесславил!

Все, куда я взор ни кину,
В злую ввергнуто пучину,
Всюду скорбь, нужда и смуты...
Будь ты проклят, дьявол лютый!

Сыновья мои, придите,
Мать-отчизну защитите!
Где ж вы, где мои герои?
Почему вас нет со мною?»

Ой, напрасно, мать, вздыхаешь,
Сыновей зовешь, скликаешь:
Разбрелись они по свету,
Им путей обратных нету.

Лишь в лесной глуши Баконя
Иштван Конт, как зверь в загоне,
Притаился ночью длинной
С поредевшею дружиной.

Вот он, думою объятый,
Под сосной сидит мохнатой.
Все черней ночные тени,
Все сильней в душе смятенье.

И когда созрела дума,
Он друзей созвал угрюмо,
Оглядел их и сурово
Молвил им такое слово:

«Все погибло, все пропало!
Нас осталось очень мало,
Нас осталось только тридцать,
Нам победы не добиться.

Родина, господь с тобою!
Мы повержены судьбою.
Нам одно осталось ныне:
Приготовиться к кончине.

В Буду! К Жигмонду с повинной!
Кончим, други, спор с судьбиной:
Палачу сдадимся в руки,
Но спасем детей от муки».

И, потупившись в печали,
Витязи ему внимали.
Будь, что будет! В стремя ногу,
И отправились в дорогу.

Едут молча, стремя в стремя,
Ночь идет, к рассвету время,
Едут чащею дремучей
Тихо, молча, туча тучей.

Наконец в рассветном блеске
Замок вырос королевский.
В замке сумрачном старинном
Конт предстал пред властелином.

Стал он с гордой головою:
«Вот мы здесь перед тобою,
Можешь нам грозить могилой,
Но детей, детей помилуй!»

И мятежники вздохнули,
Молча сабли отстегнули,
Молча с ними попрощались,
Будто с сердцем расставались,

В кучу жалкую сложили...
«Хорошо вы нам служили,
Полежите, горемыки,
Как рабы, у ног владыки».

Образ кроткий и печальный
Родины многострадальной,
Что лежит, вздохнуть не смея,
Под пятою у злодея.

И король, довольства полный,
Оглядел отряд безмолвный,
Глаз прищурил и, помешкав,
Выдавил со злой усмешкой:

«Ну, бесстрашные герои,
Отшутились — вон из строя!
И поджали хвост, вояки,
Как побитые собаки.

Ах, скажите, уж не вы ли
Власти короля грозили?
Уж не ваши имена ли
В страх и дрожь его вгоняли?

Что ж,— добавил он надменно,—
Раз, как нищие, смиренно
Вы простерли руки к трону,—
Так и быть, я вас не трону!»

Тут у витязей во взорах
Ярость вспыхнула, как порох,
Обожгло сердца их пламя,
Мир качнулся пред глазами.

И, усы свирепо дернув,
Конт обрушил, словно жернов,
Гневом налитое слово
На властителя лихого:

«Замолчи, во имя бога!
Чести воина не трогай!
Сам ты был бы нищим, вором,
Если б не был живодером.

Нам, познавшим муки ада,
Милости твоей не надо!
Мы пришли, чтоб наши дети
Не были за нас в ответе...

Дети... Но такому зверю
И младенца я не вверю.
Кровь течет с твоей короны,
Провались ты в ад бездонный!

Если крови тебе мало,
Можешь нас казнить, пожалуй.
Только знай: к тебе, тирану,
Обращать мольбы не стану».

Речью разъярен такою,
Онемел король... Рукою
Вдруг махнул он в диком раже,
И вошел палач со стражей.

Все готово для расправы...
«Стой! — вскричал король кровавый.–
Тем, кто станет на колени,
Обещаю я прощенье».

Он тревожно оглянулся:
Ни один не шевельнулся,
И в ответ на обещанье —
Лишь презренье и молчанье.

«Жизнь постыла? Смерти ждете?
Приступай, палач, к работе!
Пусть зароют в грязной яме
Спесь их вместе с головами!»

Вот уже лежат во прахе
Головы, скатившись с плахи,
За кровинкою кровинка
Капает на камни рынка.

И тридцатым тут по счету
Конт подходит к эшафоту.
Конт — последний луч свободы
В царстве тьмы и непогоды.

Он взошел и стал без страха,
И под ним качнулась плаха,
На врагов в священной злобе
Посмотрел он исподлобья;

Он на короля воззрился,
И король поник, склонился,
Пригвожденный гордым взором,
Словно божьим приговором.

Крикнуть бы, прервать молчанье,
Но язык прилип к гортани...
Грудь ногтями он терзает,
Губы бледные кусает.

Мастер смерти наготове...
Вдруг нагнулся Конт и крови
Зачерпнул рукой нежданно
И плеснул в лицо тирана.

И сквозь вой придворной знати
Разнеслось его проклятье:
«Ты, проливший крови реки,
Проклят, проклят будь навеки!»

Тут блеснул топор точеный,
И, как солнце с небосклона,
Конта голова скатилась...
Луч погас, и все затмилось.

Злой был Жигмонд, как собака,
Королей других, однако,
Не страшней: ведь их различье
Только в кличках да в обличье.

Слушай, мир: ты болен с детства...
Лишь одно осталось средство:
Нож возьми и вырежь сразу
Самовластия проказу!

Дебрецен, декабрь 1848 г.

СТЫД ПОРАЖЕНИЙ, БЕГСТВ ПОЗОР...

Стыд поражений, бегств позор
Везде, куда ни кинешь взор!
Известья что ни день, то хуже!
Как будто камень брошен в лужу
И грязь летит — так с поля битв
В твое лицо позор летит.
О нация моя! Куда же
Ушла из дрогнувших сердец
Уверенность, что иго вражье
Ты можешь сбросить наконец!
Кто скажет, что боюсь я битв,
И в малодушье обвинит?
Но из загадочного мрака
Неведомых грядущих дней
Летят и на меня, однако,
В обличии нетопырей
Сомненья, сердце мне тревожа.
В ушах звенит их подлый визг,
И холодею я до дрожи,
И ужас надо мной навис!

Страна венгерская моя,
Иль проклята твоя земля?
И если так, хотел бы знать я,

Чем заслужила ты проклятье?
Зачем желанная свобода
Быть вечно странницей должна:
Придет — и сразу в миг прихода
Вновь изгоняется она!
Так — век за веком! Снять оковы
Стремимся снова мы и снова,
Но ведь ни разу не стряхнули,—
Лишь кровь текла из наших ран,
И наши сабли в ней тонули,
И нагло хохотал тиран!

О, для того ль мы вновь восстали,
Чтоб снова в землю нас втоптали?
Нет! Нынче надо нам, друзья,
Иль победить, иль умереть!
К оружью, нация моя!
Вперед! Победа или смерть!
Нельзя предпочитать бессмертью
Уродливую эту жизнь!
Чем лечь в болото — в гроб ложись!
Тот, кто готов к прекрасной смерти,
Тот победит и не умрет!
Итак, вперед!
Мильоны, вам пора подняться
И выйти из Египта рабства,
Как Моисея шел народ!
Нас Ханаан свободы ждет!
Бог и у нас есть! Знак подаст нам —
Восстанет огненным столпом!
Кровь вражья будет морем Красным,
Которое мы перейдем!

Дебрецен, декабрь 1848 г.

В КОНЦЕ ГОДА

Старый год, итак — уходишь?
Порожнем уходишь? Стой!
Под землею — мрак могильный,
Надо бы туда светильню,—
Песнь мою возьми с собой.

Вновь, испытанная лира,
Службу я тебе задам.
Ты со мной с поры ребячьей,—
Что же нам сказать в придачу
К прежде сказанным словам?

Если славилась ты звуком,
Оправдайся пред молвой.
Заслужи былое мненье
И торжественность мгновенья
Звука важностью удвой.

Ну, а вдруг последний вечер
Это на твоем веку?
Может быть, потрогав струны,
В угол я тебя засуну
И назад не извлеку?

Я в солдаты записался
И на поприще большом
Распрощусь с тобой покуда
И стихов писать не буду —
Или только палашом.

Ну, так разбушуйся, лира!
Выйди вся из берегов.
Пусть струна с струною сцепит
Смех, и стон, и плач, и лепет,
Спутай жизнь и смерти зов!

Будь как буря, пред которой
Дубы с корнем — кувырком,
Или расчеши полоску
Еле слышным, как расческа,
Бороздящим ветерком.

Будь как зеркало, и в лицах
Жизнь мою восстанови
С первым возрастом начальным

На глубоком дне зеркальном
И бездонностью любви.

Душу вывороти, лира!
Вспомни солнца мотовство
И обеими руками
Сей слабеющее пламя
В час захода своего.

До последних замираний
Звуков сдерживай раскат,—
И в горах времен, пожалуй,
Твой аккорд, как гул обвала,
В будущности повторят.

Дебрецен, декабрь 1848 г.

В НОВОГОДНИЙ ДЕНЬ 1849 ГОДА

...И вот в сорок девятый год
Вступает Венгрия, в борьбе изнемогая,
Зловещей тьмой закрытый небосвод
Не погасил звезды родного края,
Пускай моя изранена рука —
Она сжимает рукоять клинка.
И каждый мой удар оставит след —
Кровавую печать на много лет.

Да будет этот след клеймом стыда.
И пусть, когда настанет час великий —
Последний час небесного суда,—
На лбу злодея будет он уликой.
Пусть, черные дела запечатлев,
Он на убийц обрушит божий гнев,
Чтоб не избегли справедливой кары
Те, чьей рукой задушены мадьяры!

Но мы суда господнего не ждем.
Когда еще он будет — неизвестно.
И столько раз мы слышали о том,

Что милостив и благ отец небесный,
Так бесконечна к нам его любовь,
Что он простит проливших вашу кровь.
И потому над бешеными псами
Последний суд вершить мы будем сами!

Дебрецен, 1 января 1849 г.

НЕМЕЦКИЙ ФЛАГ ОПЯТЬ НАД БУДОЙ ВЬЕТСЯ

Немецкий флаг опять на Будой вьется.
Как яростью душа не захлебнется!
Мы все краснеем,— то стыда румяна,
То горький стыд наш, но не кровь тирана!

Рука у нас в оковах, ну и что же?
Пусть закуют вторую руку тоже?
Пусть, миру на позор, для нашей муки
Опять польются старой песни звуки?

Свободы саблю тем и брать не стоит,
Кто ржавчину стыда с нее не смоет,
Кто, вновь унижен деспотом упрямым,
Ее клинок покроет новым срамом.

Смотри, мадьяр,— оружье стало лишним.
Не для сражений создан ты всевышним!
Скорей беги и где-нибудь в подвале
Прислушивайся, бледный, к звону стали.

Придет хозяин — кинься на колени
И кнут целуй в почтительном смиренье!
Велят — умри и жди, чтобы могила
Тебя из списка наций исключила.

О, не страшна ли будущность такая?
Встань, мой народ, моя страна родная!
Спишь — так проснись, а если умерла ты,
Восстань из гроба требовать расплаты!

Клянусь, не трусость мощь твою сломила,
А злого рока пагубная сила.
Но если не отчаялась, то веруй,—
Ты счастье вновь получишь полной мерой.

Смелее в битву с кликою проклятой!
Ведь с нами бог, и наше дело свято!
Взмахнем освобожденными клинками!
Нет бога в небе, если он не с нами!

Вперед, мадьяр! Пусть гордо сердце бьется,
Тебе победа скоро улыбнется!
Пылай, лицо, не от стыда краснея,
Но лишь от крови короля-злодея!

Дебрецен, 6—7 января 1849 г.

ТИХА ЕВРОПА...

Тиха Европа, вновь тиха, бои
Всех революций отгремели.
Презренье ей! Она затихла, и
Свободу взять народы не сумели.

И одного оставили, бежав,
Венгерца,— трусы, все ослабли,
На всех руках уж цепи дребезжат.
В руке венгерца только блещет сабля.

Так что же нам — впадать в отчаяния мрак?
Печалиться, что вышло так с другими?
О родина, пускай все это так,—
Уверенность как раз твой дух подымет!

Пускай подымет наш венгерский дух
То, что мы свет единственный для прочих:
Когда все спят — наш светоч не потух,
Горит во тьме непроходимой ночи.

Когда бы свет наш не светил с земли,
Здесь, в бесконечной ночи без просвета,—
На небе, там, подумать бы могли,
Что вымерла печальная планета.

Свобода! Ты взгляни, на нас взгляни,
Узнай, что твой народ выносит,—
Те слез пролить не смеют в эти дни.
А мы тебе всю в жертву кровь приносим.

Иль нужно еще больше, чтоб твое
Нам заслужить не зря благословенье?
Когда вокруг предательство встает,
Мы лишь одни тебе верны в служенье!

Дебрецен, январь 1849 г.

ГРЕМЕЛА КАНОНАДА...

Гремела канонада
Подряд четыре дня.
Меж Визакной и Дэвой
Красна была земля.

Был мир красивым, белым,
Когда мела пурга,
Но кровью обагрились
Глубокие снега.

В таком бою мы бились,
Какой за жизнь свою
Не видело и солнце,—
Четыре дня в бою!

Но бились что есть силы,
Как требовала честь.
Был этот бой неравным,—
Мы проиграли здесь.

И нас господь и счастье
Покинули совсем.
Один лишь вождь остался —
Лишь ты, наш славный Бем!

Величием душевным
Нас всех ты поражал.
О Бем, наш вождь отважный,
Наш храбрый генерал!

Чтобы тебя прославить,
Я слов не нахожу,
И лишь с немым восторгом
Я на тебя гляжу.

И если б человека
За бога я признал,
То, преклонив колени,
Перед тобой бы встал.

Горжусь я грозной славой,
Что я с тобой служу
И это поле битвы
С тобой я обхожу.

С тобой скакал я рядом
В отчаянных боях,
Где гибло все живое,
Где зрела смерть в полях.

Ты многими покинут,
Отважный старец мой,
Но я тебя не бросил,
Ведь я-то здесь, с тобой!

Пусть скажут, что с тобою
До смерти я шагал,
О Бем, мой вождь отважный,
Мой славный генерал!

Дебрецен, 10—15 февраля 1849 г.

В БОЮ

Разгневана земля,
Разгневан небосвод —
Кровь льется по земле,
И солнце пламень льет.

Вечерняя заря
Вся в пурпуре встает.
Вперед, венгерцы, в бой!
Вперед, войска, вперед!

Закат глядит на нас
Из диких облаков.
И видится в дыму
Мерцание штыков.
Медлительная мгла
Клубится и ползет.
Вперед, венгерцы, в бой,
Вперед, войска, вперед!

Ружейная пальба
Гремит и там и здесь,
Орудия ревут,
И мир трясется весь.
Не рухнут ли сейчас
Земля и небосвод?
Вперед, венгерцы, в бой,
Вперед, войска, вперед!

Отвагой боевой
Свирепо возбужден,
И дымом опьянен,
И кровью опьянен,
Останусь ли в живых,
Иль смертный час мой бьет?
Вперед, венгерцы, в бой,
Вперед, войска, вперед!

Меддеш,
2—3 марта 1849 г.

Я ГОВОРЮ, ЧТО ПОБЕДИТ МАДЬЯР...

Я говорю, что победит мадьяр:
Назло земле и небу наш удар!
Лишь потому не шли к победе мы,
Что были розны души и умы.

Сейчас едины все, мадьяр, поверь!
Когда ж победа, если не теперь?
Все, как один, чтоб жизнь в бою сложить,
И потому, народ, ты будешь жить.
И будет жизнь всех краше и светлей,
На зависть всем живущим на земле.
Я смело встал среди войны огня
И знаю, пуля не пронзит меня.
Судьба меня от смерти сохранит
И знает: я не должен быть убит,—
Затем, что в день, когда враги умрут,
Я должен быть поднявшим песен труд,
Чтобы воспеть свободу до конца
И память о священных мертвецах,
Чьей кровью ты, отчизна, крещена,—
Рожденья песней прозвучит она!
До этого дожить я должен дня,
Чтоб нас могла свобода осенять.
Чтоб смыть годов проклятых, темных грязь,
От радости и плача и смеясь,
Чтоб звук разбитых навсегда цепей
Звучал молитвой родины моей.
Нет, должен я дожить до дня того,—
Мой меч и лира бились за него!

Марош-Вашархей,
6—7 марта 1849 г.

ВНОВЬ ЖАВОРОНОК НАДО МНОЙ...

Вновь жаворонок надо мной.
Чуть от него я не отвык.
Пой, вестник дней весенних, пой,
Ликуй, что так простор велик.

О, господи, как этот звук
Мне после шума битвы мил!
Он кровь мне с обагренных рук
Своею чистотою смыл.

Пой, милый, не жалей рулад.
Ты мне напомнил в их пылу,
Что я не только ведь солдат,
Но твой собрат по ремеслу.

Твой щебет оглашает синь
Во славу музы и любви.
Во имя этих двух богинь
Безумствуй и в лазурь зови.

Воспоминанье и мечта,
Проснувшись, прерывают сон
И, как два розовых куста,
Цветут во мне под твой трезвон.

К возлюбленной лететь мечтой,—
Наверно, счастия предел,
И этой счастья полнотой
Я всех бы наделить хотел.

Могу сказать, как на духу:
Создав ее, признался бог,
Что рай небес не наверху,
А здесь, внизу, у наших ног.

Пой, жаворонок. Ты — призыв,
Чтоб вышли из земли цветы.
Пой, вешний вестник, пробудив
Души дремавшие пласты.

Бетлен, 8 марта 1849 г.

ЭРДЕЙСКАЯ АРМИЯ

Мы ли дрогнем? Старый Бем ведет нас,
Вольности испытанный солдат.
Мстительным багрянцем нам сияет
Остроленки гибельный закат.

Вот идет он, вождь наш седовласый,
В наступленье первый, как всегда,
Точно символ мира в день победы,
Белым флагом вьется борода.

Вот идет он, вождь наш седовласый,
В ногу с ним — наш юношеский строй.
Так, бушуя, волны океана
Спорят в беге с бурею седой.

В нас две нации соединились,
И какие две! Мадьяр, поляк!
Кто их превозможет, если оба
К общей цели свой направят шаг!

Цель у нас одна: разбить оковы,
Родина, мы скоро сбросим их!
Мы клянемся в том священной кровью
Незаживших старых ран твоих.

Слышишь, коронованный разбойник?
Шли своих наемников на нас!
Мостом в ад тебе их трупы будут,
Близок, близок твой последний час!

Мы ли дрогнем? Старый Бем ведет нас,
Вольности испытанный солдат.
Мстительным багрянцем нам сияет
Остроленки гибельный закат.

Банфи-Хуняд,
26—27 марта 1849 г.

КТО Б МОГ ПОДУМАТЬ...

Кто б мог подумать, мог сказать,
Что битва здесь была,
Что несколько недель назад
Здесь кровь рекой текла?

Вот здесь сраженье началось,
Здесь враг нас окружил,
Смерть впереди, смерть позади...
День этот страшен был!

Тогда померкли небеса
От тягостных невзгод,—
Теперь, как детские глаза,
Лазурен небосвод.

Тогда старухою седой
Была в снегах земля,—
А нынче, как мечта юнца,
Тут зелены поля.

Здесь пели пули нам свою
Убийственную песнь,—
А нынче жаворонка трель
Звучит над нами здесь.

Здесь были груды мертвецов,
Повсюду стыла кровь,—
Сейчас, где были мертвецы,
Горят венцы цветов.

Кто б мог подумать, мог сказать,
Что битва здесь была,
Что несколько недель назад
Здесь кровь рекой текла?!

Сасшебеш,
3—12 апреля 1849 г.

НА СМЕРТЬ РОДИТЕЛЕЙ

Вот и состоялось
Наконец свиданье.
Нету в нем отрады,
А одно страданье.
Не отца родного, гроб его я видел,

Крышку гроба видел помутненным взглядом,—
Видел — опускали мать мою родную,
Мать к отцу в могилу, чтоб лежали рядом.

Нет вас, нет, родные,
И не будет вечно.
Как бы вас я обнял
В горести сердечной,
След ваш на дороге целовал бы плача,
Потому что вскормлен был я вашей кровью,
Потому что был я, как земля лучами,
Обогрет священной вашею любовью.

Почему, родные,
От меня ушли вы?
Знаю, сон могильный —
Сон для вас счастливый.
Но блаженство ваше — для меня проклятье,
Мука, от которой сердце разорвется.
Если от любивших так я настрадался,
Что ж от нелюбивших ждать мне остается?

Навсегда, навеки
Разлучен я с вами.
Оболью могилу
Горькими слезами.
Вы теките, слезы, ручейком горячим,
Омочите, слезы, мертвые их щеки,
Расскажите, слезы, им о горе сына,
Как он над могилой плачет, одинокий.

Нет, уйду отсюда,
Чтоб моей печали,
Слез моих горячих
Вы не увидали,
Если бы, о боже, вы могли проведать,
Как меня жестоко горе надломило,
Вы бы потеряли и покой и счастье
Даже в жизни вечной, даже за могилой.

С богом! До свиданья!
Обниму, бессильный,
Обниму еще раз
Этот крест могильный,—

Крест, который руки распростер широко,
Словно все на свете разом обнимая,
Словно вы, родные, поднялись из гроба,
В милые объятья сына принимая.

Пешт, 19—20 мая 1849 г.

ЯВИЛАСЬ СМЕРТЬ...

Явилась смерть, чтоб нас смести бесследно
С лица земли. Повальный этот мор
Из сатанинской гнилостной утробы
Злодей-король дохнул на нас в упор.
Смертельный вихрь летит со страшной силой,
Как будто в день последнего суда.
И гнемся мы, как лес во время бури,
Но — живы! Не сломить нас никогда!

Венгерец жив! Стоит еще отчизна.
Заговорили сабель голоса,
И отзвук их летит по всей Европе,—
Венгерец, сотворил ты чудеса!
Кто прежде знал, что где-то на Дунае
Живешь ты, унижаясь и скорбя?
А вот теперь первейшие из наций
Взирают с изумленьем на тебя!

Кто из венгерцев не считал проклятьем
Того, что был венгерцем он рожден?
Кто из венгерцев нынче не гордится,
Что божьей милостью венгерец он!
Венца из самых драгоценных лавров,
О Венгрия, заслуживаешь ты,
Где я найду, священная отчизна,
Твоей главы достойные цветы!

Однако не закончена работа,
Которую должна ты завершить,—
Наполовину лишь разрублен узел,
Который ты решилась разрубить.
И в день, когда его ты перерубишь,
Страна моя, окрепшею рукой,
Уже не мне венчать тебя придется,—
Венчать тебя придет весь род людской.

Вперед же, нация! Остановиться
Ты разве можешь здесь, на полпути!
Да, тяжек путь! Но ты идешь к вершинам.
Легко бывает только вниз идти.
Вперед, вперед, венгерский знаменосец,
Пойдет Европа следом за тобой!
Страна моя, ты нынче вождь народов!
О, вдохновись великою судьбой!

Пешт, 21 мая 1849 г.

УЖАСНЕЙШИЕ ВРЕМЕНА!

Ужаснейшие времена!
Кошмарами полна страна...
Быть может, был
Приказ небес,
Чтоб все это случилось,
Чтоб отовсюду кровь лилась?
О, так и есть! Ведь против нас
Полмира ополчилось!

Лицом к лицу стоим с войной.
Но разве горе в ней в одной?
Война — войной,
А за спиной
Ужасный призрак мора!
Сплеча господь отчизну бьет,
Двумя руками гибель жнет —
Всё на ее просторах!

Погибнем все? А может стать,
Кто выживет, чтоб написать
Рассказ
Про самый черный час
На белом свете?
Вот только бы хватило слов,
Чтоб был рассказ его толков
Про злодеянья эти!

А если хватит слов, так все ж
Ему ответят: «Это ложь!
Ведь это бред,
Чтоб столько бед
Наваливалось разом!»
И, выслушав рассказ такой,
Подумают, махнув рукой,
Что помутился разум!

Мезё-Берень,
6—7 июля 1849 г.

1

Безоблачных небес неистов жар жестокий,
И мучится пастух на солнечном припеке.
Напрасно с высоты так солнце припекает,
Пастух на берегу и без того страдает.

В его груди пожар, он от любви безумен.
Он неспроста пасет овец у сельских гумен.
Пока пасутся овцы под горой в лощине,
Валяется в траве он на своей овчине.

Ромашки вкруг него головками качают.
Внимания пастух на них не обращает.
Внизу течет ручей, бурля и извиваясь,
И на него пастух глядит не отрываясь.

Но взор его совсем не к пене волн прикован.
Он девочкой в ручье прельщен и очарован.
Он восхищен ее тяжелою косою,
И ростом, и лицом, и стана красотою.

Она стоит в ручье и, подоткнувши юбку,
Полощет в нем белье и скатывает в трубку.
И Янчи ослеплен и смотрит в удивленье,
Как белизной горят в воде ее колени.

Задумчивый пастух с заплатанною блузой
Не кто-нибудь иной, но Янчи Кукуруза.
А девочка в ручье — его любовь до гроба,
Свет Илушка, его сердечная зазноба.

«Жемчужина моя, свет без тебя затмился,—
Он к девочке в ручье с поляны обратился,—
Голубушка моя, души моей отрада,
Хотя на миг один выдь, ангел, на леваду.

Порадуй душу мне своим лучистым взглядом,
Дай мне обнять тебя и сядь со мною рядом.
Выдь, красота моя, выдь на минуту, люба,
Дай всласть и до смерти нацеловаться в губы».

«Когда б мне не белье стирать велели, Янчи,
Не надо бы просить, сама б я вышла раньше.
Но горе ведь с бельем,— случись с ним проволочка,
Съест мачеха меня, я ей чужая дочка».

Так Илушка ему ответила покорно
И принялась опять белье стирать проворно.
Но с шубы встал пастух и, подойдя к потоку,
Сказал еще нежней подруге синеокой:

«Выдь на берег скорей, живее, голубь белый.
Два слова, поцелуй-другой — большое ль дело?
И мачеха сейчас не над душою самой.
Уморишь ты меня,— как быть с тобой, упрямой?»

И выманил пастух любовь свою на сушу,
И с нею говорил, и отводил с ней душу.
И целовал ее раз сто и полтораста,—
И знает только бог, как крепко и как часто.

2

Шло время между тем, и золото заката
Румянило ручей и мачехину хату.
Сердилась мачеха: «Где эта тварь дрянная?
Ну, погоди, придет, я девку отругаю!»

Та мачеха была несносной ведьмой злою.
Не знала Илушка от мачехи покоя.
«Небось баклуши бьет,— так думала старуха,—
Накрою-ка ее, влеплю ей оплеуху».

Ах, Илушка, беги от мачехи, родная!
Бедняжка, не уйти тебе от нагоняя.
От сладких снов любви, несчастная сиротка,
Ты вдруг пробуждена ее визгливой глоткой.

«Ах, вот ты где, овца, святая недотрога?
Ты вот чем занята? И не боишься бога?
Вот девушкам пример! Любуйтесь ею, люди!
Чтоб с места не сойти теперь тебе, паскуде!»

«Довольно горло драть, вы слышите ли, тетка!
Заткните сами рот, иль мы заткнем вам глотку!
Про Илушку хоть раз скажите слово худо —
Я зубы выбью вам и сожалеть не буду».

Что говорил пастух, он сам в сердцах не ведал,
Но Илушки-красы своей в обиду не дал.
К старухину лицу он свой кулак приставил
И вот что ко всему для внятности прибавил:

«Смотрите, если вы не станете потише,
Я петуха пущу вам красного на крышу.
И так ведь девочка оттерта на задворки,
Гнет спину день и ночь, не видит хлеба корки.

Брось, Илушка, робеть. Она ведь ясно видит,
Что будет с ней, когда она тебя обидит.
Чем всюду нос совать, вы дома бы сидели
Да за собой, кума, получше бы глядели».

Накинув свой тулуп, простился он с подругой
И в поисках овец пошел шагать по лугу.
Он обошел луга, крестьянские угодья,—
Лишь несколько овец паслось кой-где в разброде.

3

Уж стало вечереть, повеяло прохладой...
Овец недостает, нет половины стада.
Где остальные? Где другая половина?
Кто это, вор иль волк в пропаже их повинны?

Чья б ни была вина, раздумывать в печали
Уж было поздно тут, раздумья запоздали.
Что делать Янчи? Он — неробкого десятка.
Погнал овец домой, не глядя на нехватку.

«Ну, Янчи,— думал он,— за новые успехи
Достанется тебе сегодня на орехи.
Ты рос, и так глаза хозяину мозоля,
А нынче... Что уж там, на все господня воля!»

Так думал он, хотя не время думать было:
Отара в ворота хозяйские входила.
Хозяин, как всегда, стоял перед оградой,
Чтоб там пересчитать вернувшееся стадо.

Вот Янчи говорит: «Не буду я лукавить:
Полстада нет. Мой грех. Но дела не поправить.
Я пред тобой стою с повинной головою,
Хоть режь меня, хоть жги, убытка не покрою».

«Я смеха не люблю, и мы не скоморохи.
Ты, Янчи, не дури, со мною шутки плохи,
Ты дело говори, а то, предупреждаю,
Все ребра я тебе, смотри, пересчитаю».

Когда ж старик узнал, что это все не шутки,
От гнева он едва не тронулся в рассудке.
Стал бегать он кругом, крича и угрожая:
«Где вилы? Вилы мне! Проткну я негодяя!

Ах, вор, головорез, грабитель беззаконный!
Умри! Пусть выклюют глаза тебе вороны!
Затем ли подлеца я выходил и холил,
Чтоб висельник меня за хлеб мой обездолил?

Сквозь землю провались, исчезни, скройся, Каин!» –
Орал до хрипоты на пастуха хозяин.
Потом, собравшись вдруг с последнею силенкой,
За Янчи побежал с дубиною вдогонку.

Но Янчи удирал, не пред дубиной струсив.
Не испугался б он и потолочных брусьев,—
Он парень был силач, шутя коней треножил,
Хотя до двадцати годов еще не дожил.

Он потому бежал, что должен был признаться,
Что в этот раз старик был вправе бесноваться.
И в драку ли вступать ему с отцом приемным,
Что сжалился над ним, найденышем бездомным?

Вот отчего бежал он, обливаясь по́том,
Покамест не пропал старик за поворотом.
Куда глаза глядят пошел он по проселку,—
Так был он сразу сбит несчастьем этим с толку.

4

Когда вода ручья совсем зеркальной стала
И вся роями звезд несметных засверкала,
Он, к радости своей, негаданно-нежданно
На Илушкин плетень набрел среди тумана.

Он стал перед плетнем средь вьющегося хмеля
И грустно заиграл на ивовой свирели.
Вечерняя роса, сверкавшая в бурьяне,
Казалась в эту ночь слезами состраданья.

А Илушка спала в те грустные мгновенья.
Ей летнею порой служили спальней сени.
Проснулась, услыхав свирели переливы,
И выбежала вон, одевшись торопливо.

Но Янчи напугал ее своей печалью.
«О Янчи, у тебя глаза и щеки впали.
Скажи мне все скорей, быть может, легче станет.
Ведь краше в гроб кладут, и на тебе лица нет!»

«Эх, Илушка моя, я бледен не впустую.
В последний раз тебя я, может быть, целую».
«О Янчи, перестань! Ты так меня пугаешь!
Побойся бога ты! На что ты намекаешь?»

«Я правду говорю, моя весна и зорька!
В последний раз свирель моя рыдала горько.
В последний раз тебя я вижу, утро мая,
В последний слышу раз, в последний обнимаю!»

Потом, чтоб разъяснить ей страшную загадку,
Он рассказал ей все, как было, по порядку,
От Илушки лицо заплаканное пряча,
Чтоб видом слез своих не огорчить в придачу.

«Ну, Илушка, пора, мой белый ангел в небе,
И думай иногда про мой несчастный жребий.
Когда зимой в буран заслышишь веток стоны,
Пусть вспомнюсь я тебе, твой бедный нареченный».

«Ну, Янчи, добрый путь, раз такова судьбина.
Господь с тобой, тебя я в мыслях не покину.
Найдешь в пути цветок с головкой отсеченной,—
Подумай о своей несчастной нареченной».

Прижались, обнялись, рванулись друг от друга.
Заплакали. В сердцах у них завыла вьюга.
Оставив всю в слезах ее вдали на шляхе,
Он шел и утирал глаза полой рубахи.

Он наудачу шел, шел напрямик от тына
И не глядел вперед, и было все едино.
Кругом паслись стада, звон бубенцов был ласков,
А он не замечал смеющихся подпасков.

Деревня позади уже давно осталась,
И больше по пути костров не попадалось.
В последний раз назад взглянул несчастный Янчи,
И колокольни тень мелькнула великаншей.

Будь рядом кто-нибудь и вздох его подслушай,
Тот понял бы, что он вложил в него всю душу.
Но Янчи был один, лишь журавли держали
Вдоль по небу свой путь и вздохов не слыхали.

Он брел все глубже в ночь. Его тулуп овечий
Сегодня тяжелил так непривычно плечи.
Как заблуждался он! Не шуба тяжелила,
А сердце у него надорванное ныло.

Лишь только солнце, встав, луну домой услало,
Простерлась степь кругом, как море степь лежала.
Все, все, что видел глаз с восхода до заката,
Все это степь была, все было ей объято.

Ни кустика кругом взор Янчи не заметил,
Но вид травы уж был по-утреннему светел.
Лишь солнце поднялось, в его лучей потоке
Вдали сверкнул песок и озеро в осоке.

Там цапля, не спеша и жерди долговязей,
Ловила лягушат средь камышей и грязи,
И, рассыпаясь врозь и собираясь в стайки,
Летали вниз и вверх на длинных крыльях чайки.

А Янчи брел один с своей огромной тенью,
Не видя ничего кругом от огорченья.
Уже давным-давно под солнцем степь сияла,
А у него в душе разлуки ночь стояла.

В полдневный час, когда палило солнце в темя,
Он вспомнил, что сейчас перекусить бы время.
Такой далекий путь за сутки одолевши,
Он еле шел, с утра вчерашнего не евши.

Он сел и, сумку сняв, доел остаток сала.
Лишь небо с высоты за Янчи наблюдало
Да, громоздя в песках манящие курганы,
В обманчивую даль звала фата-моргана.

Когда он подкрепил иссякнувшие силы,
Он к озеру свернул,— так жажда затомила.
Тут, шляпой зачерпнув воды, стал пить он жадно.
Он сроду не пивал такой воды прохладной.

От озера едва успел он удалиться,
Сонливость налила свинцом его ресницы.
Он вытянулся весь и выбрал изголовьем
Пучок густой травы на холмике кротовьем.

И сон его унес в родимое селенье.
Он встретил Илушку в счастливом сновиденье,
Но чуть ее хотел губами он коснуться,
Гром пробудил его, он должен был проснуться.

Он стал искать кругом: «Где небо голубое?»
Все двигалось над ним, приготовляясь к бою.
Как бедствие войны, простерлась тень над краем.
Небесный свод померк и стал неузнаваем.

Степь спрятала лицо под черною одежей.
Трещал небесный гром, разили стрелы божьи,
Разверзлись хляби вод, и в шуме их и гаме
Озерная вода покрылась пузырями.

Встал Янчи, крепче сжал свой посошок пастуший,
Шляпенку поплотней надвинул он на уши
И, вывернув тулуп овчиной наизнанку,
Стал наблюдать стихий небесных перебранку.

Но мимолетный вихрь улегся так же скоро,
Раздорам был конец положен в ту же пору,
Толпою облака валили с места боя,
И радуги цвета раскинулись дугою.

Перевернув тулуп, наш Янчи не сушился,
Но воду отряхнул и дальше в путь пустился.
Уж солнце спать ушло, а Янчи Кукуруза
Все без дороги шел степной травой кургузой.

И вот он вдруг забрел в урочище лесное.
Непроходимый лес кругом стоял стеною.
Там ворон падаль жрал и первым Янчи встретил
И карканьем его у входа в лес приветил.

Но не пугал его ни лес, ни ворон вещий.
Он шел, и мрак густел и становился резче.
Он шел средь темноты, и видел на тропинке
Свет месяца, и шел без страха и заминки.

6

Уж время к полночи, наверно, приближалось,
Полоска света вдруг средь чащи показалась.
Взял Янчи на нее и видит — свет в окошке
В дремучей глубине на пешеходной стежке.

«Вот счастье,— думает,— как видно, двор заезжий.
Вот мне ночлег и кров в такой глуши медвежьей.
Наверное, корчма, благодаренье богу!
Переночую в ней и отдохну немного».

Ошибся Янчи. Дом в густом лесу зеленом
Был не корчмой. Он был разбойничьим притоном.
Дом не был пуст, была полна народу хата,—
Двенадцать человек, как на подбор ребята.

Разбойники, ножи, секиры, пистолеты...
Кто б не струхнул при том? Ведь не игрушки это.
Но Янчи не робел и без малейшей дрожи
Поднялся в дом и стал в разбойничьей прихожей.

«Компании честной почет и уваженье!» —
Сказал он из сеней, помедлив в отдаленье.
Разбойники, вскочив, взялись за ятаганы,
Но удержали их по знаку атамана.

«Кто ты,— спросил вожак,— что дерзко, без тревоги
Переступил порог разбойничьей берлоги?
Родители твои, жена и сестры-братья
Поплачут о тебе, что ты так смел некстати».

Но сердце не быстрей у Янчи стало биться
От этих грозных слов начальника станицы,
И он ему, при всей повольнице разбойной,
Ответил не спеша, толково и спокойно:

«Кто жизнью дорожит, тому необходимо
Чураться ваших мест и в страхе ехать мимо.
Я с жизнью не в ладу и крест на ней поставил
И потому к вам путь без трепета направил.

Я все от вас приму, и, если захотите,
Мне сохраните жизнь и на ночь приютите,
А если нет, ну что ж, губите невозбранно:
Презренной жизни я отстаивать не стану».

Так он сказал. Его безмерная отвага
Поставила в тупик разбойничью ватагу.
«Вот это, братцы, хват! Вот это удаль-малый! —
Воскликнул атаман.— Тебя судьба послала.

Бедовый у тебя святой, клянусь я богом!
Природой создан ты, чтоб грабить по дорогам.
Ты презираешь жизнь и смерти не боишься.
Ударим по рукам — ты в нашу рать годишься.

Для нас забава — кровь, убийство, святотатство.
Награда же за труд — несметное богатство.
Вот бочка с серебром, а в этой вот дукаты.
Ну, что, хотелось бы тебе зажить богато?»

Какие б ни были у Янчи втайне мысли,
Но атаману он ответил, поразмысля:
«Согласен, по рукам. Вступаю к вам в дружину.
Сегодня лучший день моей судьбы кручинной».

«А чтобы этот день еще был много краше,—
Прибавил атаман,— полней нальемте чаши.
Покойный поп знал толк в вине, и всем собраньем
Мы за его помин на дно баклаг заглянем».

И заглянули так, что память всем отшибло,
Всей братией честной, всей вольницею гиблой.
Но тут, не будь дурак, наш Янчи в общем гаме
Знал меру и вино отхлебывал глотками.

Когда вино глаза разбойникам смежило,
Как раз настало то, что Янчи нужно было.
Разбойникам, кругом валявшимся вповалку,
Сказал он: «Добрый сон! Мне вас тревожить жалко.

Усните, больше вам никто мешать не будет,
Пока на Страшный суд труба вас не разбудит.
Вы многих жизней свет задули бессердечно.
Я наведу на вас за это сумрак вечный.

Теперь же — к золотым! Набью полну кошелку
И милушке снесу на самый край поселка.
Откупится она от мачехи сварливой,
Не будет больше ей рабыней терпеливой.

Посереди села хороший дом построю,
И милушку введу в него своей женою,
И заживем вдвоем, король и королева,
Как некогда, до нас, в раю Адам и Ева.

Но что я говорю? Не так я опрометчив,
Чтоб счастье строить, жизнь и душу искалечив.
На этих золотых кровавый знак насилья,
На них проклятья след. Мы их не накопили.

Нет, я не трону их, я рад, что голос строгий
Мне не велит их брать, благодаренье богу.
Нет, Илушка, прости, я снять хвалился бремя,
Но, видишь, не могу, неси свой крест со всеми».

С горящею свечой, совсем не тронув денег,
Он вышел на крыльцо, спустился со ступенек,
Поджег со всех сторон нависшие стропила,
И пламя через миг всю крышу охватило.

Огонь взвивался ввысь, и нес клоки соломы,
Лизали языки оконные проемы,
И звезды и луна затмились от пожара,
Все сделалось черно от сажи и угара.

При виде зарева зловещего на тучах
Шарахнулась сова, спугнув мышей летучих,
И стала крыльями над головою хлопать,
То облетая дом, то рушась в дым и копоть.

На утреннем ветру деревья шевелились.
Пожар уж догорал, развалины дымились.
На выжженной земле, свидетели рассвета,
Лежали средь золы разбойничьи скелеты.

7

За тридевять земель уносят Янчи ноги.
Забыл он о лесной разбойничьей берлоге.
Задумавшись, идет он,— глядь, пред ним нежданно
Откуда ни возьмись солдаты, доломаны!

Гусары едут в ряд пред ним по перелеску.
Глядь, сабли наголо, отточены до блеска.
Гарцуют лошади жеманно и красиво,
Небрежно в лад шагам помахивая гривой.

Завидел Янчи их, и сердце так забилось,
Что у него в груди насилу уместилось.
«О, если б,— думал он,— нашелся мне ходатай
И упросил бы их принять меня в солдаты!»

Лишь поравнялись с ним красивые мундиры,
Услышал над собой он окрик командира:
«Куда ты прешь, земляк, весь свет забыв в кручине?
Смотри, коней моих не задави, разиня!»

И Янчи отвечал: «Простите, ваша милость,
Мне заслоняет свет моей судьбы постылость.
Когда б я мог служить в команде вашей славной,
Я солнцу бы всегда глядел в глаза, как равный».

Начальник возразил: «Мы мчим не на пирушку.
Мы едем на войну, а это не игрушка.
Французов турки жмут. Мы, дорожа союзом,
Во Францию спешим на выручку французам».

И Янчи отвечал: «В столь доблестной затее
Я с вами разделить опасности сумею.
А смерть в бою сто раз я предпочту кончине
От беспокойных дум и горького унынья.

Признаться, до сих пор мне был конем осленок.
Я с детства в пастухах и пас овец с пеленок.
Но я венгерец, а венгерец гнет подковы.
Создав венгерца, бог задумал верхóвого».

Речь Янчи, смелый вид, и рост, и живость взгляда
Понравились весьма начальнику отряда,
Он только посмотрел в его глаза живые
И тотчас же его зачислил в рядовые.

Нет слов, чтоб описать, как Янчи Кукуруза
Торжествовал, надев гусарские рейтузы,
Стянувши доломан, и ментик перекинув,
И саблю из ножон сверкающую вынув.

Он сел на жеребца, и тот, бока запенив,
Стал искры высекать, как дьявол, из каменьев.
Но Янчи так прирос к седлу, что взятки гладки:
Землетрясенье не испортило б посадки.

Он удивлял своих товарищей сноровкой,
Осанкою, огнем и выездкою ловкой,
И в деревнях, когда снимались со стоянки,
Смотрели вслед ему и плакали крестьянки.

Но сколько девушек в пути ни улыбнулось,
Все ж Янчи ни одна из них не приглянулась.
Хоть много разных стран объехали гусары,
Не встретил никого он Илушке под пару.

8

Шла армия вперед с беспечностью гусарской,
Достигнув глубины империи татарской.
Опасности таил гусарам край суровый:
Ту землю населял народ песьеголовый.

Их царь, нагнав гусар в дороге непроезжей,
Приветствовал гостей, как истинный невежа:
«Куда вы сунулись, глупцы и непоседы?
Известно ль вам, что все в краю мы людоеды?»

Их были тысячи, венгерцев очень мало,
И сердце у гусар от этих слов упало.
Добро, на счастье их, тогда в столице ханской
Гостил заступник их, властитель негритянский.

Он не согласен был с такою речью дерзкой,
Он помнил Венгрию и знал народ венгерский.
Когда-то молодым, в прогулке кругосветной,
Проездом в Венгрии он пожил незаметно.

На память о былом он смело и открыто
Взял сторону гусар и стал на их защиту.
Он, надобно сказать, был другом закадычным
С песьеголовым тем насильником владычным.

И он сказал царю: «Я знаю их. Ей-богу,
Все это — добряки. Оставь их и не трогай.
Пожалуйста, уважь меня и, мне в угоду,
Дай пропуск им чрез край для вольного прохода».

«Всем услужу тебе,— воскликнул повелитель,—
И даже прикажу им дать путеводитель».
Так он сказал, и в две каких-нибудь минуты
Велел им выписать удобные маршруты.

Хоть знали, что в пути им нечего страшиться,
Как ликовали все, достигнувши границы!
Приелись кушанья им тут одни и те же:
Лишь финики весь год да фрикасе медвежье.

9

Песьеголовую страну давно покинув,
Трусила конница под сенью розмаринов.
Тут были рощи их, Италии пределы,
Италия на них со всех сторон глядела.

Здесь, славы не стяжав для нашего оружья,
Венгерцы бедные боролись с лютой стужей.
В Италии зима всегда без перемены.
Солдаты шли в снегу глубоком по колено.

Но совладал гусар и с холодом и с бурей.
Все было нипочем выносливой натуре.
Чтоб не закоченеть, они с коней слезали
И на спину себе на время их сажали.

Дойдя до Польши, в ней гусары не стояли,
Проехали ее и повернули дале.
Хоть Индия лежит близ Франции вплотную,
Не так легко попасть из первой во вторую.

Индийские холмы становятся все круче
И в глубине страны скрываются за тучи.
Поближе к рубежу так вырастают горы,
Что служат небесам надежною опорой.

Понятно, что войска, вспотев на перевале,
Сорвали галстуки и доломаны сняли.
И шутка ли! Места, где так они томились,
В двух милях с небольшим от солнца находились.

Питались здесь одной лишь синевой надмирной,
Откусывая твердь, как леденец имбирный.
Когда ж хотелось пить, ручищами своими
Брались за облака, как за коровье вымя.

Не стало сил дышать. Они достигли гребня.
Стать и передохнуть все делалось потребней.
Бригада шагом шла, преграды попадались.
Все чаще лошади о звезды спотыкались.

И Янчи размышлял об этих звездах в небе,
Что в каждой заключен людской житейский жребий
И если чья-нибудь звезда с небес сорвется,
То жизнь его внизу земная пресечется.

Он думал: «Жалко, я не отличу по виду,
Какая изо всех тут мачехи планида.
С небесной крутизны, без дальних размышлений,
Я сбросил бы ее звезду в одно мгновенье».

Снижался горный кряж. Свершали спуск по склону.
Воспрянул эскадрон, бодрее шла колонна.
Спадала духота, и легче всем дышалось,
И Франция внизу под ними показалась.

11

Французский край почти второй обетованный.
Он сущий рай земной и лучше Ханаана.
Вот на него зачем точили турки зубы
И вторглись в этот край своей ордою грубой.

Когда в страну пришла венгерская подмога,
Враг буйствовал вовсю, уже награбив много.
Тащили что могли — церковное убранство,
Лохмотья бедняков, имущество дворянства.

Пылали города, людей ловили в поле
И уводили в плен, чтоб посадить на колья.
Они и короля изгнали, низложили
И милой дочери единственной лишили.

В те дни его нашел в степи разъезд венгерский.
Он прятался, страшась расправы изуверской.
При виде короля в какой-то кофте рваной
Заплакали навзрыд гусары-ветераны.

Изгнанник говорил: «Теперь я нищ, как парий,
А я ведь был богат, как царь персидский Дарий.
На свете все пройдет, и я мирюсь, понятно,
С превратною судьбой, с потерей невозвратной».

«Утешься! — убеждал венгерский полководец.—
Управу мы найдем на этот злой народец.
Резвятся пусть они, пускай оружьем машут,
Но завтра у меня еще резвей попляшут.

Мы за ночь отдохнем, раскинемся привалом,
А завтра зададим острастку самохвалам.
И, голову тебе даю на отсеченье,
Я край твой отвоюю за одно сраженье».

«Что край! — вскричал король.— Житье ли
в одиночку?
Верните дочь мою, единственную дочку!
Ее турецкий князь похитил дерзновенно.
Я дам ее тому, кто дочь вернет из плена».

Понятно, как от слов таких зажглись венгерцы.
У каждого из них сильней забилось сердце,
И каждый залетал мечтами в поднебесье,
О битве думая и грезя о принцессе.

И, может быть, средь них лишь Янчи Кукуруза
Не слышал этих слов венчанного француза.
Он думал, как всегда, об Илушке с печалью,
И помыслы его в других местах витали.

12

Наутро солнце, вновь взошедши по привычке,
Увидело внизу приготовленья к стычке.
То, что теперь под ним творилось на равнине,
Превосходило все, бывавшее доныне.

Сыграли зорю. Все, кто ночью был в дозоре
Или на койке спал, все оказались в сборе.
Точили палаши, звенели сабель сталью,
Поили лошадей, вели их и седлали.

Король стоял на том, чтобы идти со всеми.
«Оставьте,— слышал он.— Другим сражаться время.
Повоевали вы, держали с честью знамя,
Пора на отдых вам, а очередь за нами.

На бога и на нас надейтесь. Мы клянемся,
Что к вечеру уже с победою вернемся.
Все возвратим, конец положим беззаконьям,
На трон вас возведем и вон врага прогоним».

Начальник не любил с врагом игры и жмурок.
Как он сказал, так и повел отряд на турок.
Искать их не пришлось. Гонца к ним отрядили
И с помощью его войну им объявили.

Пришел назад гонец. Раздался клич горнистов.
И битва началась. Был шум ее неистов.
Звон стали, глоток гик и боевые кличи
Перемешались вмиг во всем многоязычье.

Пришпорили коней. Под выездкой военной
Поднялся частый стук подков попеременный,
Как будто это гул начавшийся сраженья,
Волнуя, участил земли сердцебиенье.

Турецкий вождь, паша семилошаднохвостый,
В две бочки толщиной, был небольшого роста.
Его распухший нос был сиз от перепоя,
Как спелый огурец осеннею порою.

Средь подначальных войск заметивши упадок,
Турецкий командир привел ряды в порядок,
Но армия его не двинулась ни шагу,
Увидевши гусар летевшую ватагу.

Атака их была нешуточной и жуткой.
Ряды сошлись лицом к лицу без промежутка.
Противник потерял при этом столько крови,
Что травянистый луг стал кумача багровей.

Мелькали там и сям бегущие фигурки,
И падали с седла зарубленные турки.
Но дрался все еще паша их толстопузый,
Пока не налетел на Янчи Кукурузу.

А тот уже кричал, скача ему навстречу:
«Ах, бочка сальная, ах ты, курдюк овечий!
Приятель, из тебя свободно выйдут двое.
Не хитрый это труд, сейчас я все устрою!»

И, саблю с силою на толстяка обрушив,
Рассек он пополам увесистую тушу.
С седла свалились вниз две равных половинки.
Покинул мир паша, убитый в поединке.

Узнав про смерть паши и потому горюя,
В испуге турки прочь пустились врассыпную.
Быть может, до сих пор их пятки бы мелькали,
Когда б гусары их в дороге не нагнали.

Бегущим головы сшибал гусар-рубака,
Как в поле васильки или головки мака.
Все пали, и один лишь мчался без оглядки.
И Янчи припустил за ним во все лопатки.

То несся сын паши. У дерзкого пришельца
Белела пленница на чепраке седельца.
Она лишилась чувств от горести душевной.
Та пленница была французской королевной.

За похитителем гнал Янчи шибче серны
И вслед ему кричал: «Остановись, неверный!
Стой, или я в тебе отверстье пробуравлю
И к праотцам твой дух из тела вон отправлю!»

Не в знак смиренья сын паши остановился,
А потому, что конь без сил под ним свалился.
Тут всадник спешился и, павши на колени,
У Янчи стал просить пощады и прощенья.

«Пощады, удалой мой богатырь, пощады!
Я молод, жизнь люблю, мне ничего не надо.
Взгляни, как молод я, и сжалься надо мною.
Оставь мне жизнь одну, бери все остальное».

«Ступай отсюда прочь, трусишка, а не воин!
Ты от руки моей погибнуть недостоин.
Все забирай с собой, своим расскажешь дома,
Какой конец пришел вам, роду воровскому».

Тут Янчи слез с коня, без хвастовства и спеси
Почтительно шагнул к очнувшейся принцессе.
Она была без чувств; теперь, придя в сознанье,
Сказала, устремив на Янчи глаз сиянье:

«Освободитель мой, кто б ни был ты, бесценный.
Благодарю тебя. Ты спас меня из плена.
Я все тебе отдам, все сделаю, желанный,
И, если хочешь ты, женой твоею стану».

Кровь, не вода текла в нем, не был он колодой.
В нем встрепенулась вся горячая природа,
Но он смирил ее, припомнив ненароком
Об Илушке своей в родном краю далеком.

Он тихо ей сказал: «Мой друг, спешить не будем.
Поедем к твоему отцу и все обсудим.
Пускай поступит он по своему желанью».
И с девушкой верхом поехал по поляне.

13

Когда приехали они на поле брани,
Садилось солнце и глядело на прощанье
Опухшими от слез и красными глазами
В пустую даль пространств с лугами и полями.

Была покрыта сплошь земля телами павших
И стаями ворон, покойников клевавших.
И солнце было так потрясено картиной,
Что поскорей ушло на дно морской пучины.

Близ поля прежде пруд блистал красой излучин,
Теперь он был, как кровь, багров и взбаламучен.
Сейчас в его воде проточной, у верховий,
Гусарский полк отмыл следы турецкой крови.

Когда гусары кровь с себя в пруду отмыли,
То в замок короля толпою проводили.
Тот замок, отнятый назад в бою жестоком,
От поля битвы был в соседстве недалеком.

Чуть в замке собрались его однополчане,
Приехал, опоздав, и Янчи на собранье.
Он королевну ввел и с нею стал у входа,
Как туча с радугой у края небосвода.

Не ждав ее в живых, король при встрече с нею
К принцессе бросился без памяти на шею.
Он долго с ней стоял в восторге непритворном.
Потом, опомнившись, сказал своим придворным:

«Чтоб ознаменовать счастливое событье,
На кухню поскорей за поваром сходите.
И этот чародей, умом своим раскинув,
Спроворит ужин нам для этих паладинов».

«Я здесь уж, мой король,— вмешался в общий говор
Случайно в комнату в тот миг вошедший повар.—
В соседней зале все накрыто по-французски.
Там дорогих гостей ждут вина и закуски».

Его слова для всех приятно прозвучали,
И заставлять просить себя они не стали.
Вокруг столов с вином, в чаду мясного пара,
Расселись без чинов немедленно гусары.

Как с турками они расправились нещадно,
Так обошлись с едой и влагой виноградной.
И диво ли, что так они проголодались,
Когда они с таким усердием сражались!

В разгаре пиршества и оживленной встречи
Приветствовал гостей король такою речью:
«Я нечто важное скажу вам в заключенье,
Внимайте, речь моя исполнена значенья».

Гусары, как один, оставили кувшины,
Чтоб вслушаться в слова седого властелина.
А тот отпил глоток, откашлялся немного
И начал речь свою торжественно и строго:

«Скажи, как звать тебя, мой доблестный воитель
И дочери моей достойный избавитель?»
Тот отвечал: «Меня звать Янчи Кукуруза,
И это прозвище ношу я без конфуза».

Король заметил тут отважному герою:
«Не беспокойся, мы дадим тебе другое.
Мы в дом тебя введем, тебе мы станем тестем
И примем в рыцари и Яношем окрестим.

Ты дочку спас мою. Я думаю, законно,
Чтоб ты венчался с ней, взяв королевну в жены.
Я за тебя ее охотно выдам замуж.
Займи мой трон и мне наследуй, витязь Янош.

Я долго просидел на троне, долго правил.
Давно пора, чтоб я другим его оставил.
Я стар и болен стал в заботах государства.
Прошу, смени меня и с нею сам поцарствуй.

Я дам тебе свою корону золотую,
И ничего взамен ее не попрошу я
Сверх малого угла при замковой палате,
Где мог бы я дожить остаток дней у зятя».

Так говорил король. Гусары молчаливо
Сидели, слушая, и лишь давались диву.
А витязь Янош встал и, будто бы в угаре,
Смутившись, отвечал седому государю:

«Спасибо, государь, за добрые желанья!
Но я не заслужил великодушной дани.
Хоть редко снится сон такой, когда мы дремлем,
Но для меня твой дар великий неприемлем.

Наверно, ты не ждал, что я его отрину.
Послушай быль мою, она тому причиной,
Что на любезный дар ответил я отказом,—
Не буду в тягость я тебе своим рассказом?»

«Рассказывай, мой сын, без всяких отговорок.
Едва ли знаешь ты, как нам ты мил и дорог».
Так ободрял король простого рядового.
Что Янош им сказал, повторим слово в слово:

14

«Сперва — как получил я имя Кукуруза?
Средь кукурузных гряд нашли меня, бутуза.
Та, что нашла меня и оказала помощь,
Так прозвала меня. Я стал ее приемыш.

Жена сквалыжника, большая сердоболка,
Однажды занялась на огороде полкой
И вдруг подобрала младенца-карапуза,
Который нагишом лежал средь кукурузы.

Я плакал, говорят. Она из состраданья
Решила взять меня к себе на воспитанье.
Любя ребят, она сама была бездетна,
Но муж был скуп у ней. С ним спорить было
тщетно.

Как увидал меня, так, стыд теряя всякий,
Стал бедную жену ругать он, как собаку.
«Ты что, с ума сошла? Сокровище! Подкидыш!
Чужого все равно за своего не выдашь!»

А мужу та в ответ: «Еще б недоставало,
Чтоб он остался там, живой ребенок малый!
Когда б он там погиб, как я б могла своими
Губами призывать потом господне имя?

Да надо рассудить, ведь это не змееныш!
Немного подрастет, окупится найденыш.
Он даровой чабан для вас, для овцевода,
И помощь мне в дому,— вот и вернет расходы».

Сдавался злой ворчун, но на меня, по злобе,
Смотрел всегда потом он косо, исподлобья,
И если дел своих я чуточку не ладил,
Он батогом меня и так и этак гладил.

Так я и вырос бы среди пинков и брани,
Ничем не скрасив тьмы такого прозябанья.
Но я дружил с одной девчуркой белокурой,—
Мне радостью она была в той жизни хмурой.

Мать умерла давно у ней, у горемычной.
Женился на другой отец ее вторично,
Но умер вскоре вслед и он, и оказалось,
Что с мачехою злой она одна осталась.

Та девушка была мне розаном весенним,
Единственным моим всегдашним утешеньем.
Как я любил ее! Соседи в околотке
Нас звали ласково: приходские сиротки.

За то, чтобы ее увидеть было можно,
Я жертвовал легко ватрушкою творожной.
Как радовался я, когда я в день воскресный
Мог вместе с ней играть средь детворы окрестной.

Так дружно жили мы в ребячестве сначала,
Когда же я подрос,— как сердце заиграло!
За поцелуй ее или прикосновенье
Я был готов весь мир отдать без рассужденья.

Но мачехина злость, пинки и перебранки
Ей отравляли жизнь,— бог не простит тиранке!
Кто знает, что б еще с ней сделала старуха,
Когда б не я. Востро со мной держала ухо!

Но вот и для меня собачья жизнь настала:
Хозяйка наша жить нам долго приказала.
Не стало у меня той матери названой,
Печальницы, меня нашедшей, мальчугана.

Я жизнью закален и нравом не плаксивый,
Слезинку для меня пролить — большое диво,
Но на похоронах я плакал неуемно
По доброй той душе, по матери приемной.

А Илушка, кого назвал я розой вешней,
Та плакала еще, быть может, неутешней.
Как было не рыдать? При жизни доброхотка
Старалась обласкать, где чем могла, сиротку.

Покойница не раз твердила перед смертью:
«Не беспокойтесь, я вас поженю, поверьте,
Ей-богу, поженю. Да что за шутки, право!
А пара-то из вас получится на славу!»

Слов тратить попусту бедняга не любила,
И если б не сошла сама от нас в могилу,
То обвенчала б нас, могу сказать наверно,
Ни мужа не боясь, ни той старухи скверной.

Но вот ушла она, и с ней ее обеты.
Для нас настала ночь без всякого просвета.
Как в памятные дни поры первоначальной,
Друг к дружке льнули мы средь этой тьмы
печальной.

Но счастья не судил нам бог и отнял тоже
Последний луч надежд и благодати божьей.
Я стадо потерял, хоть овцы — не булавка.
Хозяин разругал меня и дал отставку.

Я с Илушкой тогда простился белокурой
И по миру пошел, унылый и понурый.
Я обошел весь свет с востока до заката.
И видел многое, и поступил в солдаты.

Когда я уходил, не заклинал я милой,
Чтоб сердца своего другому не дарила.
Она мне верила с таким же простодушьем.
Мы знали — верности друг другу не нарушим.

Располагать собой не властен, королевна.
Я Илушку люблю и в мыслях с ней вседневно.
Куда ни заберусь, куда себя ни дену,
Кого ни встречу я, не будет ей замены».

15

Так Янош заключил, и все, кто были в зале,
Под властью слов его сидели и молчали.
Принцесса плакала, слезам давая волю,
От жалости к нему и от сердечной боли.

Король ему сказал: «Мой дорогой, помилуй,
К женитьбе я тебя не принуждаю силой.
Но чувства добрые, уж коль не этим браком,
Позволь мне выразить другим посильным знаком».

Подвалы отперев, велел он казначею
Наполнить Яношу мешок казной своею.
Он Яноша водить стал за собой повсюду,—
Кругом до потолка сокровищ были груды.

«Мой долг велик,— сказал король,— а деньги — малость.
Возьми их. Отпустить тебя — такая жалость!
Вернись в свое село, к оставленной невесте,
На эти деньги с ней живи беспечно вместе.

Я б не пустил тебя, но ты не уживешься.
Ступай, ведь ты и так к своей голубке рвешься,
А вы, его друзья, товарищи по роте,
Останьтесь с нами здесь, живите тут в почете».

Так говорил король, так было в самом деле.
Все мысли Яноша домой в село летели.
Сказал принцессе он и королю: «Простите»,—
И на корабль пошел, назначенный к отплытью.

Король и армия стояли у причала,
И свита долго вслед ему с мостков кричала,
Весь двор руками вслед ему махал со взморья,
Покамест не исчез корабль в морском просторе.

16

Шел по морю корабль, в нем Янош находился,
И ветер, в паруса вцепившись, выл и злился;
Шел по морю корабль, прошедши много за ночь,
Но дальше залетал мечтами витязь Янош.

Он все перелетал, он несся без препятствий.
О встрече думал он, о будущем богатстве.
Он думал так: «Мой друг, тебе во сне не снится,
Кто по морю к тебе на корабле стремится.

К тебе спешит жених, чтоб браком сочетаться,
И больше мук не знать, и больше не скитаться,
И в радости зажить, и ею всех превысить,
И впредь ни от кого на свете не зависеть.

Хотя хозяин мой был скопидом и жила,
Я все простил ему, и все во мне остыло.
Притом повинен он в моем обогащенье.
Я щедро награжу его по возвращенье».

Вот Янош где витал своей мечтою смутной,
Покамест плыл корабль и ветер дул попутный,
От Франции вдали, в открытом океане,
От Венгрии ж еще на большем расстоянье.

Раз Янош вечером у вышки корабельной
Взад и вперед бродил по палубе бесцельно.
Матросам шкипер так сказал: «Заря румяна,
Ребята, не было бы завтра урагана».

Но Янош не слыхал, что молвили матросы.
Клин аистов над ним как раз в то время несся.
Шло дело к осени. Наверно, в те недели
Они из Венгрии, с земли родной, летели.

С восторгом он смотрел вослед их веренице.
Скрываясь вдалеке, на юг летели птицы.
Неся ему как бы далекие призывы
Красивой Илушки и родины красивой.

17

На следующий день, как небо предвещало,
С утра поднялся шквал, упорный и немалый.
Плетями вихрь хлестал валы нетерпеливо,
Валя их кувырком и им косматя гривы.

Команда видела, что положенье трудно.
Волна, как скорлупу, подбрасывала судно.
Крепился экипаж. Он знал — момент опасный.
Спасенья не было, и было все напрасно.

Вот черный смерч нашел, корабль в его капкане.
Бьют молнии, слепит их частое сверканье.
Удар в корму, еще удар, корма пробита.
Пропало все, конец дырявому корыту!

Обломки корабля плывут, куски обшивки,
Всплывают мертвецы, плывут снастей обрывки.
А где ж герой наш? Что предпринял Янош-воин,
Когда в корабль вода вбежала из пробоин?

Ведь смерть уже почти взяла его за горло,
И вдруг спасенья длань судьба ему простерла.
Все выше гребни волн, вода несет все выше.
Он достает рукой край облака нависший.

С какого-то в воде торчавшего осколка
Нацелившись, поймал он облако за холку
И полетел, вися на нем, покамест туча
Не врезалась концом в береговую кручу.

Он на землю сошел. Упавши на колени,
Вознес он господу за все благодаренье.
Что клад его пропал, в том он не видел горя.
Ведь главное, что сам не потонул он в море.

Вот огляделся он: на выступе стремнины
Тень грифова гнезда висела над равниной.
Заметив, что птенцов кормила птица злая,
Подумал Янош: «Вот кого я оседлаю».

К гнезду подкравшись, он негаданно-нежданно
Одним прыжком вскочил на птицу-великана,
Пришпорил хищника, и тот раскинул крылья,
И горы и моря под ними вдаль поплыли.

Его бы сбросил гриф на дно глубин отвесных,
Когда бы сам в тисках не очутился тесных,
Но Янош обхватил ему бока умело,
И, воле вопреки, с ним птица вдаль летела.

Бог знает сколько стран мелькнуло по дороге.
Случайно солнце раз взошло на холм отлогий
И осветило вдруг внизу подъем неровный,
И колокольни верх, и сельский двор церковный.

Святые небеса! Он чуть не помешался.
То был поселок их. Поселок приближался
Все ниже гриф летел,— его земля манила.
Он все искал, где сесть, он выбился из силы.

Вот опустился гриф усталый на пригорок.
И витязь Янош слез скорей с его закорок.
Он позабыл про все и, не простившись с птицей,
Шел, глядя на село и церкви черепицы.

«Без золота иду и не довез подарка,
Но сердцем рвусь к тебе,— оно, как прежде, жарко!
А это, Илушка, всех царств земных превыше.
Сейчас увижу я тебя, сейчас услышу».

Подобных мыслей полн, прошел он сельский выгон,
Вдоль виноградников околицы достиг он.
Бочонок прозвенел и въехал воз в ограду.
Он понял: у сельчан дни сбора винограда.

Навстречу ехали тяжелые подводы.
Никто не узнавал чужого пешехода.
Вот за угол он взял, где, по его расчетам,
Шла к Илушке тропа, и подошел к воротам.

Перехватило дух от первой же попытки
Открыть затвор, рукой притронуться к калитке.
С волненьем справившись и замираньем сердца,
Шагнул он — и чужой народ нашел за дверцей.

«Я не туда попал, тут есть другая тропка»,—
Решил он, повернув опять дверную скобку.
«Кого вы ищете?» — его в дверях светлицы
Спросила новая какая-то жилица.

Он отвечал кого. «О, милосердный боже!
Простите, ваш загар, обветренная кожа,
Я не узнала вас,— растерянно, негромко
И вся смутясь, ему сказала незнакомка.—

Прошу вас в дом. Зачем мы топчемся у входа?
Я расскажу вам все, что было в эти годы».
И, с гостем в дом войдя и севши у окошка,
Так продолжала речь, помедливши немножко:

«Неужто вы меня совсем не узнаёте?
Девчурка, помните, боялась строгой тети?
В те годы к Илушке ходили часто дети...»
«Где Илушка сама, скорее мне ответьте!»

«Где Илушка? — вздохнув и утерев слезинки,
Переспросила эта женщина в косынке.—
Что, дядя Янчи, мне сказать? Она в могиле.
Не знали разве вы? Ее похоронили».

Не рухнул на пол он затем, что слушал сидя.
Поник он, ничего перед собой не видя,
Но плакать он не мог. Прижавши к сердцу руку,
Он как бы сдерживал нахлынувшую муку.

Он долго так сидел, без всякого движенья,
И тихо вдруг спросил, как после пробужденья:
«Не замужем она? Нарочно, может, скрыли?
Я б это предпочел. Чтоб только не в могиле.

Я б увидал ее хоть раз еще единый,
И сладкой стала б мне тогда моя кручина».
Но не дождался он от женщины ответа
И вздрогнул, заключив, что, значит, правда это.

18

И он закрыл лицо, чтоб горя скрыть улики,
И слезы полились рекой у горемыки.
Разбилась вдребезги вся жизнь, вся раскололась.
Он что-то говорил, и прерывался голос.

«Зачем я не погиб в бою от вражьей силы?
Зачем морская хлябь меня не поглотила?
Зачем я в мир пришел? Имело ль смысл родиться,
Чтоб это пережить и с этим примириться?»

И стала боль сдавать, как бы собой пресытясь.
«Скажите,— спрашивал крестьянку Яношь-витязь,—
Как померла она и по какой причине?»
«От безутешных слез, от долгого унынья.

Пока вас не было, ведь мачеха-ехидна
Вогнала в гроб ее напраслиной обидной.
Замучила совсем, на сиротинке ездя,
Зато сама теперь и мается в возмездье.

Все было Илушке без вас кругом постыло.
И вам она свой вздох последний посвятила.
Она шептала: «Вот я ухожу отсюда.
Мой Янчика, не плачь, я там с тобою буду».

Так перешла она в тот мир легко и просто.
Народу много шло за гробом до погоста.
Никто пройти не мог, не прослезившись, мимо.
Все плакали — она в селе была любима».

«Скажите, где ее покоятся останки?»
«Пойдемте на могилу»,— был ответ крестьянки.
На кладбище, один, расставшись с провожатой,
В безмолвье он упал лицом на холм покатый.

Иные времена он вспоминал и сроки,
Когда в ней все цвело, уста, глаза и щеки.
Нет ничего теперь, все смерти вихрь развеял,
Что он чрез жизнь пронес, что он в мечтах лелеял.

Шло солнце на закат, румяня край дороги.
Потом зарю сменил на небе серп двурогий.
Безрадостно луна смотрела из тумана,
Безрадостно он брел с могильного кургана.

Но он вернулся вновь. Средь трав и повилики
Рос на могиле куст — колючий розан дикий.
Он ветку отломил и с думой невеселой
Засунул черенок за отворот камзола.

«Из праха сироты ты вырос, цветик сирый,—
Сказал он,— будь со мной в путях далеких мира.
Я сохраню тебя в дороге кругосветной,
Покамест не пробьет мой смертный час заветный».

19

Два было у него дружка в житейском море,
Два спутника в беде: булатный меч и горе.
Сидело горе в нем и грудь тоскою ело,
А меч сидел в ножнах, заржавевши без дела.

Сменилось много лун, валили зимы скопом,
Пока он шел и шел по неизвестным тропам.
Весной, когда земля была в цветном уборе,
Сказал он одному из двух собратьев — горю:

«О горе, для чего всегда меня ты гложешь?
Ты видишь, что меня ты доконать не можешь.
Другого избери, других терзай, преследуй,
Над теми, кто слабей, одерживай победу.

Не гибнут от тоски,— все это бабьи бредни.
Не от тебя удар я получу последний.
Неравная борьба, опасность и невзгода,
У вас молю себе смертельного исхода!

Расстанемся добром, я сам тебя оставлю.
И ты не мучь меня своей бесцельной травлей».
Так он сказал, с тех пор закрыв страданью двери,
Стараясь вспоминать поменьше о потере.

С терзаньями тоски покончив в это время,
Он жизни лишь тащил наскучившее бремя,
Тащил, тащил и раз, весной, в дневную пору,
Увидел воз в грязи среди густого бора.

То воз был гончара,— гончар готов был плакать,
Что воз так глубоко увяз, ушедши в слякоть.
Гончар стегал коня по морде, дик и злобен,
А возу хоть бы что,— нейдет он из колдобин.

Вот Янош говорит: «Здорово, друг сердечный».
Но злобно посмотрел ремесленник горшечный:
«Проваливай-ка ты с твоим здоровьем к черту!
С телегой я тут бьюсь уж скоро час четвертый».

А Янош отвечал: «Не злись, мастеровщина!»
«Да как не злиться мне, дорога — что трясина.
С утра хлещу коня, обдергал все поводья,
Знать, приросли к земле колесные ободья».

«Ну что ж, не унывай, твоей беде поможем.
А что там за большак бежит лесным изложьем?»
«Какой большак?» — «Да вон, мелькает между елок».
«Да это не большак, а так — глухой проселок».

«Ну что ж, хотя б и он. Вон там, на повороте...»
«Да нет, чур вас туда! Пойдете — пропадете.
Никто не приходил оттуда цел-нетронут.
Там великаний край, там люди камнем тонут».

«Я сам уж рассужу,— мне, думаю, виднее,
Давай-ка воз тащить. Возьмемся, да дружнее»,—
Ответил Янош, сам схватился за нахлестку,
Оглоблю потянул и вытащил повозку.

Глаза у гончара расширились с тарелку,
А Янош это все считал пустой безделкой.
Стоял и вслед глядел горшечник, рот разинув,
А Янош шел уже в пределы исполинов.

Он шел и вдруг достиг границы пресловутой,
Где всем бывал капут, где гибли смертью лютой.
По рубежу земли поток кипучий мчался.
В другой стране бы он большой рекой считался.

У края на часах стоял детина ражий,
Служивый великан из пограничной стражи.
И Янош, вскинув взор, детину мерил снизу,
Как башни городской зубцы или карнизы.

Вдруг тот пробормотал: «Никак, ползет разведчик?
А ну-ка поглядим, кто это? Человечек?
Знать, пятки неспроста чесались беспрестанно,
Сейчас я раздавлю его, как таракана».

Но саблю поднял вверх над головой лазутчик.
Не видел никогда жердяй таких колючек.
Ступил он на клинок и, ногу вверх отдернув,
Всей тяжестью в поток обрушился, как жернов.

«Он плюхнулся как раз, как надо мне, в канаву,—
Подумал Янош,— вот и мост для переправы».
И, бросившись стремглав к громаде бездыханной,
Чрез воду перешел легко по великану.

Дозорный не успел еще пошевелиться,
Как Янош был уже на том краю границы.
Он саблею своей взмахнул со всею силой
И жилу разрубил на шее у верзилы.

Уж больше часовой с земли не подымался.
Глазами зоркими вперед не уставлялся.
Нашло на жизнь его внезапное затменье
На вечность целую, наверное, не мене.

Труп запрудил поток, и, хлынувши по телу,
Мгновенно вся вода от крови покраснела.
Что будет с Яношем? Терпеньем запасемся:
В свой срок мы не спеша до цели доберемся.

Все дальше Янош шел лесистым буераком,
Ошеломленный всем, и деревом и злаком.
В тех дебрях что ни шаг он видел тьмы диковин,
К которым он не мог остаться хладнокровен.

Деревья тут росли, и вширь и кверху пялясь.
Такие, что нигде их ветки не кончались.
А листья были в рост людской, и половины
Листа могло хватить на платье с пелериной.

Большие комары величиной с бугая
Летали тучами, дорогу преграждая,
И сабле Яноша нашлось где разгуляться:
Он стаи их крошил, чтоб дальше продвигаться.

Величина ворон... Вот это птички были!
Одну он увидал на расстоянье мили.
Сидела на суку ворона, когти скрюча,—
Он принял издали ее сперва за тучу.

Так витязь Янош шел страной замысловатой,
Вдруг на небо легла косая тень заката.
То замок короля туземного мудреный
Полнеба заслонил зубцами бастиона.

Ворота были в нем — я смею вас уверить —
Такие, что никто не мог бы их измерить.
Но вот чем я могу пытливость успокоить:
Не стал бы великан ворот пустячных строить.

Стал Янош и стоит: «Построен замок ловко.
Наружный вид хорош. Посмотрим обстановку».
Он по мосту прошел легко и без заминки.
И замковых ворот раскинул половинки.

И что ж он увидал! Перед столом накрытым
Изволил их король обедать с аппетитом.
Но знаете, что их величество жевало?
Никак не угадать. Береговые скалы!

Чуть Янош увидал утесистые груды,
Не по душе пришлось ему такое блюдо,
Но великанский царь с улыбкой хлебосола
Стал потчевать его той пищею тяжелой.

«Раз,— говорит,— зашел, тебе не будет спуску,
Садись, не обессудь и с нами камни лускай.
А то конец твоим всем потрохам-лохмотьям,—
Всего как есть тебя в одежде мы проглотим».

Нельзя сказать, чтоб рад он был словам царевым,
Но Янош отвечал согласием готовым:
«Признаться, кручи гор глотать мне непривычно,
Но раз на то пошло, согласен я, отлично.

Чем не пожертвуешь для светского общенья?
Но сделайте тогда и вы мне одолженье.
Я — издали, в трудах пути уставший странник.
Прошу мне наколоть помельче ваш песчаник».

Царь отколол ему на четверть пуда глыбу.
«Закусывай,— сказал,— соленой этой рыбой,
А на второе вот порфировая груда.
Ее ты с толком ешь. Она — мясное блюдо».

«Нет,— Янош возразил,— я погожу, а лучше
Ты сам прожуй и съешь свой жребий неминучий».
И камнем угодил в висок царя так метко,
Что брызнули мозги фонтаном на салфетку.

«Ну, что, не прожевал? Застряло в глотке жадной? —
Со смехом говорил он королю злорадно.—
Ты все шутил! Вперед наука зубоскалу:
Другому в рот не суй свои кремни и скалы!»

Тут великаний род был весь охвачен скорбью.
Подперши головы рукой и спины горбя,
Печалились они, тайком шепчась друг с дружкой.
Их каждая слеза была воды кадушкой.

И старший великан взмолился: «Бога ради,
Наш победитель, все мы молим о пощаде!
Будь нашим королем, у царственного стяга
Все в верности тебе мы принесем присягу».

«Он волю выразил и общий голос схода»,—
Раздался в зале гул пришедшего народа.
И долго там и сям твердили в перепуге:
«Царь, смилуйся! Мы все твои рабы и слуги».

И Янош отвечал: «Прослушав, постановим:
Я королевский сан приму с одним условьем.
Остаться мне нельзя. Я дальше шаг направлю
И за себя у вас наместника оставлю.

Берите, кто вам люб, на должность запасную.
А я вас вот к чему за это обязую:
Понадобитесь вы,— на мой призыв далекий
Должны явиться вы в одно мгновенье ока».

«Великий государь, возьми свистульку эту.
Как свистнешь, мы придем хотя бы к краю света!»
Так Яношу сказал из великанов старший,
Униженно припав к его руке монаршей.

Заслуженно гордясь своей победой громкой,
Засунул он свисток в дорожную котомку.
При множестве кивков и теплых пожеланий
Покинул он предел державы великаньей.

21

Как долго шел он, я понятья не имею,
Но чем он дальше шел, тем делалось темнее.
«Я в памяти, и я не сплю, но уж неделю
Не вижу я ни зги. Ослеп я, в самом деле?»

Так Янош рассуждал, пришедши к заключенью,
Что наступила ночь иль он теряет зренье.
Он зренья не терял нисколько, и, однако,
Сходилась все плотней пред ним завеса мрака.

То было царство тьмы, и Янош, как незрячий,
Отныне дальше шел на ощупь, наудачу.
Он изредка слыхал над головою шорох
Несущихся над ним каких-то стай бесперых.

Не крылья птиц над ним в полете трепетали,
А толпы ведьм верхом на метлах пролетали,
В бессолнечность, в страну беззвездья и безлунья
Слетались испокон на шабаш свой колдуньи.

Сюда на сборища для плясок до упаду
Столетьями они слетались кавалькадой.
Они и в данный миг собрались в сердце пущи,
Где лес непроходим и мрак черней и гуще.

Они теснились тут вокруг костра в пещере,
Как Янош подсмотреть успел сквозь щелку двери.
Потрескивал огонь сухих еловых сучьев,
И свешивался вниз котел с железных крючьев.

Когда подкрался он к собравшейся ораве,
Колдуньи были тут уже во всем составе:
На цыпочках, застыв у скважины замочной,
Смотрел он чуть дыша на сбор их полуночный.

Скача вокруг котла, сестрицы внутрь кидали
Лягушек, дохлых крыс и много всякой швали,
Цветы, кровавый мох с гнилого эшафота,
Людские черепа и пакостное что-то.

Покамест он смотрел на сцену их разгула,
Мысль невзначай одна у Яноша блеснула:
«Наверное, сейчас в пещере этой гадкой
Все ведьмы, сколько есть на свете, без остатка».

Полез он за свистком, чтоб кликнуть великанов,
Но отскочил назад, взволнованно отпрянув:
Запуталась рука в каком-то колком хламе.
Он стал его впотьмах ощупывать руками.

То были лошади всей этой стаи храброй —
У входа под скалу наваленные швабры.
Он их в охапку взял и снес подальше к шуту,
Чтоб ведьмы не нашли их в нужную минуту.

Тогда-то засвистал он в свой свисток карманный.
И только свистнул раз, явились великаны.
«Высаживайте дверь! Вперед, ребята, смело!» —
Скомандовал он им, и с петель дверь слетела.

Ну и галдеж пошел у ведьм и суматоха!
И, в довершенье бед, в чаду переполоха
Хватились метел — нет! Как мы их вой опишем
При этом бедствии, над ведьмами нависшем?

А великаны той порою не дремали,
Спасающихся ведьм на всем скаку хватали
И ударяли так об землю, взяв за ножки,
Что вышибали дух и плющили в лепешки.

И любопытно: чуть одна из ведьм кончалась,
Так постепенно тьма на небе прояснялась.
Редела мгла небес, лились потоки света,
Лучами солнца вся земля была согрета.

Последняя из ведьм, из чертова отродья,
Вилась между землей и солнцем на восходе.
Кого ж он в ней признал, вглядевшись в чародейку?
Бич Илушки, ее насильницу-злодейку.

«Ну,— вскрикнул Янош,— дай я эту сам
приплюсну!» —
Из великаньих рук рванув ее искусно.
Но ведьма не далась ему так просто в руки.
И увильнула прочь проворнее гадюки.

«Чего стоишь как пень? Лови, дурак, неловкий!» —
Он гаркнул. И в момент смял великан чертовку
И, высоко ее подбросивши, как мячик,
Навеки излечил от всяческих болячек.

Труп ведьмы грохнулся, перелетев созвездья,
В родное их село, на улицу при въезде.
Все ненавидели ее и сторонились.
Вороны — даже те не каркали, ленились.

А в царстве тьмы с концом души ее змеиной
Установился день в честь ведьминой кончины.
И Янош, уходя, сжег метлы до единой,
Чтоб более о них уж не было помину.

С дружиною простясь и побежденным мраком,
О долге службы вновь напомнил он воякам,
И каждый великан ему ответил браво,
Потом он влево взял, а великаны вправо.

22

Так Янош двигался, пересекая страны.
Он больше не страдал. Закрылась сердца рана.
И не впивалась в грудь колючею занозой
С могилы Илушки обломанная роза.

Он за подкладкою хранил ее отводок.
В пути, когда на грудь склонял он подбородок
И мельком на нее посматривал украдкой,
Его охватывал какой-то трепет сладкий.

Так он однажды брел. За рощей солнце село.
Недолго полоса заката розовела.
Угасла и она и скрылась с глаз бесследно.
Дорогу осветить ей вышел месяц бледный.

Уже зашла луна, когда шагавший Янош
Решил привалом стать на этом месте на ночь.
Не разбирая, где свалила с ног усталость,
Он как попало лег, чтоб отоспаться малость.

Он спал, не ведая, где он расположился,
А он на кладбище забытом находился,
На старом кладбище, где вольно, без ухода,
Царила, буйствуя и одичав, природа.

Как полночь пробило, открылись все гробницы,
И бледных призраков явились вереницы.
Их выдохнула глубь могил во всяких видах,—
В истлевших саванах и простынях-хламидах.

Они пустились в пляс, перелетая ямы,
И затряслась земля от топота и гама.
Ни песен их, ни их прыжков в тиши безлюдной
Не слышал Янош,— так уснул он непробудно.

Вдруг он замечен был одной плясавшей тенью.
«Смотрите-ка, живой! — вскричало привиденье.—
Захватим смельчака, похитим сумасброда,
Посмевшего прийти в час нашего обхода».

И сонмы мертвецов, сдвигая полукружье,
Столпились вкруг него, и кончилось бы хуже,
Когда бы нечисти, теснившейся в тумане,
Не разогнал петух, пропевший ранней ранью.

Проснулся Янош, весь от холода в ознобе.
Дул ветер и качал траву среди надгробий.
Встал Янош, посмотрел на плиты удивленно
И далее пошел дорогой неторeной.

23

Взобрался Янош раз на горную вершину.
Свет озарил верхи, не захватив долины.
Был дивный мир внизу в рассветной мгле раскинут.
Он ждал, что и туда лучи вот-вот нахлынут.

То исчезая с глаз, то появляясь снова,
Плыла звезда зари средь неба голубого
И скрылась, замерев, как тихий вздох упрека,
Чуть солнце поднялось, свершая въезд с востока.

Вкатившись в золотой, горящей колымаге,
Взглянуло солнце вниз, в простор недвижной влаги.
Казалось, вдалеке теряясь, гладь морская
Была объята сном, сном без конца и края.

Хоть море замерло, не тронутое зыбью,
Местами косяки его рябили рыбьи,
Когда они, плещась, выкидывались стаей,
На солнце чешуей алмазною блистая.

На берегу морском была рыбачья хата.
Рыбак был старый дед, седой и бородатый.
Он только что хотел закинуть сеть с обрыва,
Вдруг Янош стал пред ним и вымолвил учтиво:

«Бог в помощь, дед! — сказал.— Услуги мне
не явишь?
Меня ты за море в челне не переправишь?
Я б щедро заплатил, да деньги буря съела,
Я в ноги поклонюсь, ты даром это сделай».

«Хоть их имей, хоть нет,— ответил дед толковый,—
Не надо денег мне, на что их рыболову!
Морская глубина родит довольно рыбы,
А это, сын мой, все, что надо мне, спасибо.

Но сам-то ты сюда, скажи, попал откуда?
Ведь это океан. Вот ты тут и орудуй.
У океана нет конца и нет начала,
И перевоза нет, чем ни дари, ни жалуй».

Но Янош думал так: «Чем цель недостижимей,
Тем манит и влечет она неудержимей.
Я буду там, назло преграде ненавистной,
Есть способ у меня: в свисток карманный свистну».

Едва он просвистал, как тут же по призыву
Явился великан пред ним трудолюбивый.
«Скажи, ты можешь ли,— спросил он великана,—
Со мной успешно вброд пройти по океану?»

«Могу ли? — тот сказал, смеясь.— По этой луже?
Взберись на шею мне и обними потуже».
Послушно Янош влез, тот по земле потопал,
Чуть подвернул штаны и по воде зашлепал.

24

Они недели три уже в дороге были.
И шагом великан отмахивал полмили,
Но сколько он ни шел, при столь великой прыти,
Не видели земли они со дня отбытья.

Раз на заре, когда туман свиваться начал,
«Земля!» — вскричал он. Холм пред Яношем маячил.
Вгляделся великан и говорит: «Возможно.
Но то не материк, а островок ничтожный».

Стал Янош спрашивать, чей остров в отдаленье,
И великан сказал, что это фей владенье.
Край света тут, конец, а там, за этой гранью,—
Страна небытия, край несуществованья.

«Неси ж меня туда, мой преданный служитель,
На остров, к феям тем, в волшебную обитель».
«Ну, что же,— великан сказал,— могу, согласен.
Но ты имей в виду, что вход туда опасен.

Обдумай наперед, что ты себе готовишь.
Ворота стережет там несколько чудовищ».
«Ты только донеси, а там, войду ли, нет ли,—
Я тоже не дурак лезть на погибель в петлю».

И великан понес его беспрекословно,
На остров высадил, спустил на берег ровный.
Отвесил Яношу поклон, тепло простился
И тотчас по морю в обратный путь пустился.

25

У входа в царство фей передние ворота
Оберегали три медведя-живоглота.
Он сладил с ними и ушел из лап когтистых.
Недаром Янош встарь служил в кавалеристах.

«Достаточно пока, устрою передышку,—
Подумал Янош вслух, свалив меньшого мишку,—
Здесь на ночь протяну измученные члены,
А завтра дальше вглубь проникну непременно».

Как и предполагал он по своим расчетам,
Назавтра подошел он ко вторым воротам.
У этих сторожа куда лютее были:
Привратниками тут три страшных льва служили.

У Яноша и тут был разговор короткий,
Он саблю выхватил, бросаясь к загородке.
Как яростно себя ни защищали звери,
Но испустили дух и эти у преддверья.

Гордясь одержанной победой справедливо,
Он далее решил идти без перерыва.
И от своих трудов, еще покрытый потом,
Он к третьим подошел таинственным воротам.

Но, приближаясь, что увидел он с дороги?
Чудовищный дракон валялся на пороге!
Дракон позевывал прожорливо и сонно.
Свободно шесть волов входило в зев бездонный.

Не робок Янош был и был умом не глупый,
Преграды брал судьбы, всходил на гор уступы,—
Увидел он, что тут отвага не годится,
Задумался, какой тут хитростью пробиться.

Понявши, что нельзя и думать о защите,
Решился Янош сам предупредить событья.
Дракону прыгнул в пасть, влетел в отверстье зева
И сердце стал искать, вбежав в драконье чрево.

Он сердце саблею проткнул без промедленья.
Дракон рванулся, взвыл и рухнул без движенья,
Тогда возник вопрос, как выбраться из туши
Драконовой, чтоб не погибнуть от удушья.

В драконе просверлить проход был труд немалый,
Чтоб выйти из его нутра, как из подвала,
Но Янош справился, пролез, дыру проделав,
И радостно вступил внутрь островных пределов.

26

Нет ночи в царстве фей, нет ни зимы, ни снега.
Там дышат круглый год одной весенней негой.
Там не слыхал никто об осени и лете,
Там алая заря, как утром на рассвете.

Там смерти нет, там дни весенних равноденствий,
Там тонут юноши и девушки в блаженстве,
Там не едят, не пьют, нет ни воды, ни хлеба,
И нежности любви — единая потреба.

Там горе слез не льет, но плачут от веселья,
И слезы фей текут в нутро земли сквозь щели
И образуют там, в глубинах зарождений,
Смарагдов залежи, алмазов отложенья.

От выжатых волос в глуби речного ила
Родятся россыпи и золотые жилы,
И золото течет по всем дорогам мира
В ведро старателя и в лавку ювелира.

Там дети фей плетут цветную ткань для радуг
Из шуток юношей и девичьих оглядок,
Когда достаточной длины навьют плетенье,
Обтягивают край небес для украшенья.

Спят феи на цветах, и ветра колыханье,
Укачивая их, полно благоуханья.
От этих запахов все более пьянея,
Лежат и видят сны царицы края, феи.

Весь этот остров фей лишь тень их сновидений.
Еще пышнее их игра воображенья.
Впервые любящего первое объятье
Дает о жизни фей неполное понятье.

27

Сперва для Яноша на острове красивом,
На что б он ни глядел, все было сном и дивом.
Рябило так в глазах от розового света,
Что он не мог смотреть на близкие предметы.

Доверчивей детей, нисколько не робея,
К нему со всех сторон толпой сбегались феи.
Приветливо шутя и весело болтая,
Они его вели все дальше в сердце края.

Чем больше он смотрел на остров небывалый,
Тем больше пелена с глаз Яноша спадала.
Он вспомнил Илушку, и горе охватило
И стало грызть его с возобновленной силой.

«Здесь, средь чудес, в стране любви и единенья,
Брожу лишь я один угрюмой, скучной тенью.
Куда я ни взгляну, везде счастливцев пары,
И в жизни только я лишен такого дара».

На острове был пруд иль озеро большое.
Он подошел к нему с печальною душою
И, в воду броситься решив у перевоза,
С груди своей достал сухой цветочек розы.

«Цветок мой,— он сказал,— мне к милой путь
неведом.
Будь мне поводырем. Плыви, я брошусь следом».
И бросил розу вглубь, и сам за нею ныром
Готов был броситься, расставшись с этим миром.

Но что он увидал! Лишь роза погрузилась,
Как в Илушку она в воде преобразилась.
К воскресшей девушке он устремился в воду,
Чтобы спасти ее и вынесть на свободу.

То было озеро живой воды, ключ жизни,
И воскрешало все, на что ты ей ни брызни.
Из праха Илушки был розан. Ключ встревожил
Дремавший в розе прах, проснулся прах и ожил.

Ни в сказке не сказать, ни описать пером мне,
Как Янош ликовал, когда, себя не помня,
Он вынес Илушку в объятиях, волнуем
Трепещущим ее и первым поцелуем.

Как Илушка была прекрасна! Даже феи
Смотрели на нее без слов, благоговея.
И было решено всей островной столицей,
Чтоб Янош был царем, а Илушка царицей.

Так правит Янош там с царицею своею
Прелестным островом, где обитают феи,
Страною неги и любви, чудесным краем,
Балуем счастием, народом обожаем.

Пешт, 1844 г.

Я лодочник на бешеной реке.
Взлетает вверх и вниз моя лодчонка,
Как колыбель, которую в тоске
Качает нянька в злобе на ребенка.
Ты — нянька злющая моя, судьба!
Ты лодку так и сяк мою качаешь,
Ты бурей у причального столба
В неистовстве страстей меня встречаешь.

А я устал. Где берег? Далеко?
Быть может, ближе до водоворота?
Отраден дом, но я б уснул легко
И в омуте с такою же охотой.
Ни берега, ни бездны. Даль небес,
Да волны в лодку хлещут. Неужели
Нельзя ни в омут, ни на волнорез,
Ни умереть, ни твердо стать у цели?

Чей это голос? Что за дивный звук
Вплетается в привычный гул теченья?
Чей дух, отбыв весь круг геенских мук,
Уходит к небу, получив прощенье?
Ах, это лебедь тянет надо мной
И запевает гимн перед кончиной.
Воспоминанье, задержись, постой.
Как замиранье песни лебединой!

Я вышел из ребячества тогда
И был в счастливом возрасте подростка.
О, как напоминают те года
Рассвета заалевшую полоску!

В младенческой душе еще темно,
Но проблеск чувств уже ее румянит,
Как утром все давно озарено,
Задолго до того, как солнце встанет.

Я веровал, что все мои мечты
Способны сбыться,— и сбылись мечтанья,
Но я мечтал о малом, без тщеты,
Мечтал о друге, верном до скончанья.
Мой друг был верен; в возрасте таком
Еще не портит нас своекорыстье,
Еще не выедены червяком
В саду души ее цветы и листья.

Мой друг был верен. С ним я осушал
Бокал своей восторженности ранней,
И в эмпиреях, как орел, витал,
Оглядывая сверху мирозданье.
Я всем владел, на что бросал свой взор,
Все, все принадлежало мне по праву:
И богача узорчатый ковер,
И звездная корона громкой славы.

Я в будущее веровал тепло
И думал, что оно уже настало.
Вдруг существо мое переросло
Тот мир, который сердце обнимало.
В действительности мир ли измельчал,
Душа ль моя взаправду углубилась,
Но в ней образовался вдруг провал,
Разверзлась пропасть, трещина открылась.

Она росла, и я уж не парил,
Душою преждевременно увянув.
Я захандрил и без надежд и сил
О будущем не строил больше планов.
Меня уж не манило ничего,
Постылыми мне стали все приманки,
Так потускнеет неба волшебство,
Когда протрутся звезды до изнанки.

На всех я дулся, был на друга зол,
И в тягость стал себе, как посторонний,
И от мирского шума я ушел

Куда глаза глядят, как от погони.
Стоянку сделав далеко в лесу,
Я долго прожил на своем привале.
Как описать прогалины красу
И тех существ, что тут кругом летали!

То были вереницы чудных фей.
Они всплывали где-то по соседству,
Со дна опустошенности моей,
И чем-то мне напоминали детство.
Я их просил помедлить хоть на миг,
Схватить пытаясь хоть одну из стаи
И удержать в объятиях моих,
Но феи улетали, исчезая.

Они не возвращались никогда
И, словно воздух, были невесомы,
Но в сердце оставалась борозда:
Тоска и жалость, легкая истома.
И чем бесследней было и полней
Исчезновенье бледных тех видений,
Тем краше мне казался мир теней,
Тем слаще наше странное общенье.

Я таял и насмешки возбуждал
Во всех своей хандрою беспричинной,
Лишь друг мой с грустью головой качал
И не смеялся над моей кручиной.
«Да что с тобой?» — он спрашивал, а я
И сам не знал причины отчужденья.
Я жаждал ведь, и не было питья,
Которое дало бы утоленье.

Оскомину набил мне белый свет,
Земная красота мне надоела.
«Туда, туда,— твердил я,— в круг планет,
Где скрывшихся сестер моих пределы!
Дыша с семьей их воздухом одним,
Залью я жажды той огонь священный,
А если скроются они, как дым,
Вдогонку я пущусь по всей вселенной».

Весна была, и тьмы цветов и трав
Охватывали радугой поляну.
Они грустили, словно угадав,
Что, кажется, я скоро в вечность кану,
Я мимо них взошел на косогор
И загляделся в купол бирюзовый.
Я в синеву небес глядел в упор,
В средину неба, за его покровы.

Прекраснейшее в мире существо
Стояло в глубине. Мне видно было.
Что шепчут губы счастья моего
И как рукой она меня манила.
«Сейчас»,— шепнул я, став на край крутой
Внизу зиявшей бездны стосаженной,
Но сзади схвачен чьей-то был рукой,
И навзничь я упал без чувств мгновенно.

Очнувшись, вижу: то же существо,
Что с неба улыбалось за минуту,
Внезапно, ни с того и ни с сего,
Стоит со мною рядом почему-то.
«С земли до неба, значит, только шаг,—
Я заключил,— раз я совсем недавно
Был на земле, и вот — на небесах,
И это предо мною ангел явно?»

Так думал я, но про себя, не вслух,
Боясь, что если разожму я губы,
То небо тотчас разлетится в пух
От одного лишь звука речи грубой.
Из страха потерять ее, с тоской
Я за руку схватил ее, с опаской
Обвивши стан ее своей рукой,
Как пламенем объятой опояской.

Я ею любовался без конца.
Как не ослеп, как сохранил я зренье
При свете лучезарного лица
И глаз ее горящих озаренье?
Глаза переливались, как сапфир,

И брови черной радугой сгибались,
И как нисходит ночь в полдневный мир,
По белой шее кудри рассыпались.

Отмалчивался я — и вдруг понес
О рае, небе, ангелах. Но скоро
Прочел в глазах у слушавшей вопрос,—
Ей были чужды эти разговоры.
«Постой,— она сказала,— здесь не рай.
Мы на земле, я девушка земная.
Ты в пропасть бы свалился невзначай,
Не удержи я вдруг тебя у края».

«Мы на земле! — вскричал я.— Решено.
И объяснений от меня не требуй.
Что небо, что земля, мне все равно,
Но там, где ты со мной, конечно — небо.
Но ближе сядь, позволь тебя обнять.
Чтоб все в тебе ответом мне дышало,
Ты собственность моя, ты — благодать,
Тебя давно мечта мне предсказала».

Мы сели на вершине крутизны,
Беседуя. Она спросила, кто я.
«Я вздохом был до нынешней весны,—
Ответил я,— и жизнью стал с тобою.
Целуясь, я умру, но не горюй:
Ты воскресишь меня своею властью,
Вернув мне мой смертельный поцелуй,
Я вздохом был — и стал улыбкой счастья».

Мы обнялись и замерли вдвоем.
Я упросил об этом без усилий.
Зачем в тот день мы бронзовым литьем,
Как статуи, друг с другом не застыли?
Прошли б века, не разлучая нас.
Восторг был несравним, неописуем!
Как будто небо душу в первый раз
В меня вдохнуло этим поцелуем.

«Смотри,— шепнула, оторвав уста,
Мне девушка,— какие перемены!
Другое небо, и земля не та.

Что поцелуй наш сделал со вселенной!
Синее даль. Не так несносен зной,
Свежей в тени, и солнца свет лучистей,
Нас обвевает ветер неземной,
Нарядней розы, зеленее листья».

«О да! — я согласился.— Ты права.
Не знаю, мы ль глядим проникновенней,
Иль жизнь неузнаваемо нова,
Но будем благодарны перемене».
Так средь простора вольного, одни,
Друг друга прерывая то и дело,
За розовой гирляндой болтовни
Мы не заметили, как солнце село.

Темнело. Солнце, тучи золотя,
Садилось за лиловые предгорья.
Вставал туман и подползал, пыхтя,
Лугами, как по высохшему морю.
В лучах зари утес горел огнем,
Подобно трону под багряной тканью.
Счастливые стояли мы на нем
Четой венчанной в час коронованья.

Легко простились мы, два мотылька,
Не сомневаясь, что за тьмой унылой
Нам новый день готов наверняка,
Как верят в воскресенье за могилой.
Мы не давали клятв, идя ко сну.
Но поутру оказывались рядом.
Так прожили мы целую весну,
Уста в уста, грудь с грудью, взгляд со взглядом.

Так прожили мы лето. Каждый день
Был нам цветком на олимпийском пире,
И каждый час обозначал ступень
К блаженству, еле мыслимому в мире.
Увы, цветы все эти отцвели.
Будить воспоминанья нет причины.
Развейся, сон волшебный, сгинь вдали,
Как замиранье песни лебединой!

В дни осени поднялся ураган,
Тиранил рощи, оголял деревья,
Гнал листья ворохами вдоль полян,
Ногами их растаптывая в гневе.
Вот так и наше счастье растоптал
Тот ветер, как последний из злодеев,
И нас обоих порознь разметал,
В разлуке розы наших щек развеяв.

Расстались мы. Я должен был уйти.
В осенний вечер, сумрачный и строгий,
Я, девочке моей сказав «прости»,
Взглянул еще раз на нее с дороги.
Я побежал, не видя сам куда,
Лицо и грудь изранив в кровь о тернья,
Как падает изгнанница-звезда,
Отвергнутая небом в час вечерний.

Давно сошли царапины с лица,
Срослись порезы памяти упрямой,
На теле ни единого рубца,
И даже в сердце не осталось шрама.
Но тем-то мне, быть может, и больней,
Что, первая любовь, блаженство рая,
Волшебный сон тех незабвенных дней,—
Тебя я постепенно забываю!

Салк-Сентмартон, 1846 г.

Меж Гёмёром и Ноградом простерлась
Лесистых гор темнеющая цепь
И смотрит вдаль, как ставший у обрыва
Увенчанный косматой гривой лев.
На этой высоте в дни непогоды
Седые караваны облаков
Нередко отдыхают по дороге.
Здесь в мастерской кузнец небесный, гром,
Выковывает молний злые стрелы
Бушующему божеству грозы.
Здесь замок Шалго высился зубцами
И дерзкою рукой, как великан,
Тянулся к небу, похищая звезды.
Но, небо подпирая головой,
Внутри таил он тартар, ад кромешный.
Тяжелые шаги веков давно
Свалили башен каменную кладку.
Лишь там и сям развалины стены
С печальным видом коротают время,
Как после долголетних кутежей
В пустыню удаляется отшельник.
Сюда взошел я летом как-то раз
И сел поразмышлять среди обломков.
Был светозарный, бесподобный день.
Как птица, улетевшая из клетки,
Носился беспрепятственно мой взор
По многоверстным темно-синим далям.
Везде, везде на пасшихся стадах,
В воде ручьев, на сельских колокольнях
Широкий, ровный солнечный поток
Дробился, ослеплял, переливался.

Но я был полон образов других.
Обрывки незапамятных преданий
Закрыли от меня весь горизонт.
Передо мной роплись привиденья
И мглистой дымкой призрачно мелькал
Кровавый страшный мир средневековья.

Настал четырнадцатый век. Наш край
Покрылся мраком беспросветной ночи.
За Эндре Третьим вымерла вся ветвь
Арпадов. Солнце славы закатилось.
Пошли междоусобья. В вихре смут
Всплыла вся муть со дна, а в мутных водах,
Известно, рыба ловится легко.
Исчезла, вывелась любовь к отчизне.
Святыню потерявшие сыны
Топили Венгрию в потоках крови,
Забыв, что это их родная мать.
Все одичали. Чуть не каждый замок
Был обращен в разбойничье гнездо,
Где пировали, как бы потешаясь
Над стонами несчастных деревень,
Испуганно ютившихся в долинах.
Так отвечает хохот зимней вьюги
На тихий плач осеннего дождя.
Петр Комполти был господином в Шалго.
В окру́ге только на ухо, дрожа,
Произносить решались это имя.
Что приглянулось — он тащил к себе,
А где сопротивлялись — он в отместку
Сжигал дома, стерев с лица земли.
Достойными помощниками были
Отцу в его злодействах сыновья
Иов с Давидом. Не было владений
В окрестностях, где б он не побывал
С потомством, не ронявшим родословной.
И вот они втроем теперь лежат
Пред винной бочкой на медвежьих шкурах,
Которые накинут на себя
При первом кличе боевого рога,
И обсуждают, на кого напасть.
Они лежат и пьют. Вино сгущает
В их жилах без того густую кровь,

Что слепо мечется у них по жилам,
Как мечутся кометы между звезд.
И вот отец орет: «Подымем кубки!
Здоровье Геде! Да поможет бог,
Мы завтра в ночь к нему нагрянем в гости!»
«Здоровье Геде!» — вторят сыновья,
И гулко повторяют своды замка,
Как будто разбудили свору псов
И лай пошел, надорванный, протяжный,
И долго, долго тявканье стоит,
Покамест псы, охрипнув, не устанут.

Молчит, как вымер, замок Гедевар.
Подобно крышке гроба на усопшем,
Лежит на нем ночная тишина.
Но кто не спит в полночный этот час
В глухих стенах немого Гедевара?
Любовь к стране и женская любовь,
Две лучшие звезды на звездном небе,
Не знают сна. Пусть в целом мире спят,
Заботы об отечестве не дремлют
И прогоняют сон у Геде с век.
Тем временем, как он при тусклой лампе
Обдумывает будущность страны,
Стоит в соседнем зале на коленях
В благоговейных думах и слезах
Его жена, красавица Перенна,
И молит бога, чтобы он послал
Земле венгерской радость: ведь покамест
Не будет счастья всей родной земле,
И муж ее не будет ведать счастья.
Но вдруг, услышав близкий лязг мечей,
Она в испуге вскакивает с полу
И входит к мужу, бледная как смерть.
И в тот же миг в другую дверь заходит
Петр Комполти, держа в руке свой меч,
И объявляет: «Добрый вечер, Геде!
Мы в гости, видишь, прибыли к тебе.
Твое гостеприимство безупречно,
И гостю, верно, ты предложишь сам,
По доброй воле все свое богатство.
Но наш приход застиг тебя врасплох?
Ты удивлен? А это объяснимо.

Подкуплен твой привратник и открыл
Ворота Гедевара. Нас тут сотня,
Пойми, сто человек, как на подбор.
Твою дружину уложили в лежку.
Ребята спали богатырским сном,
И мы им без труда скрутили руки.
Так не скупись, все подавай сюда!
Но, может быть, ты мне еще не веришь?
Так посмотри!» Он двери распахнул
И показал на сто вооруженных
С Иовом и Давидом впереди.
«Завладевай, разбойник, всем, что сыщешь! –
Сказал с презреньем Геде.— Ну, а ты,
Дитя мое, ступай в свою светелку
И не страшись, я защищу тебя,
Сокровище мое и драгоценность!
Лишь ты мой клад, все остальное прах,
Пусть давятся моим добром мерзавцы!»
Петр с шайкою на розыски пошел.
Все разбрелись по замку, кроме братьев.
У них же, видно, отнялся язык,
А то б они, наверное, спросили:
«Что это значит? Где мы? Это сон?
Что за мечта сошла с небес на землю?
Какая фея из страны чудес?»
И вот прошел столбняк. Как по команде,
Послушные чему-то одному,
Рванулись оба к комнате Перенны.
Но тут им муж дорогу преградил.
Он страшен был, как ангел перед раем
С вращающимся огненным мечом.
«Назад! — предостерег он громко братьев.—
Здесь смерти и отчаянья слуга
Несет охрану этой чистой двери
И стережет священный этот вход.
Назад! Ни шагу дальше! Прочь с порога!»
Но ни взволнованная речь, ни взгляд,
Ничто не удержало негодяев!
«Опомнись! — крикнул яростно Иов.—
Ты мне грозишь? Ты стал мне на дороге?
Когда б держал ты даже сто мечей
И сто смертей оскалилось на каждом,
Я б через них пробился! Берегись!»

И, лезвием стуча о лезвие,
Они схватились. Все перемешалось.
Тем временем, пока шел бой, Давид
Пробрался незамеченно к Перенне,
Которая не помнила себя
От ужаса. И в этот миг раздался
Предсмертный чей-то вздох и чей-то вскрик:
Вскрик женщины, предсмертный вздох мужчины,
Вскрик жертвы у Давида на руках,
Вздох умиравшего ее супруга.

На полдороге между Гедеваром
И Шалго — замок Хайначкё. Была
В глубокий сон погружена природа.
Лишь сторож на дозорной каланче
Старался не дремать, и то вполглаза,
И то с трудом. Песочные часы
Показывали полночь. Тишь. Ни звука.
Но что за шум прорезал тишину?
Он с каждым шагом явственней и ближе.
Перекрестился сторож и глядит
С отяжелевшим сердцем вниз в долину.
Что это может быть, как не возня
Злых духов? Полночь — время привидений,
И вот он видит: золотой парчой
Лежит на замке свет луны, а ниже
Серебряной парчой лежит туман,
И мгла и месяц обнялись друг с другом,
Как будто две влюбленные души.
Дорогою из Гедевара в Шалго
Несется с женщиною на руках
Какой-то всадник. Незнакомка в белом,
С копною черных взвихренных волос,
Рассыпавшихся прядями. А сзади
Им вслед другой какой-то верховой.
Виденье промелькнуло так мгновенно,
Что показалось часовому сном,
Когда он отоспался после смены.

Когда с чудесною своей добычей
Примчался в Шалго наконец Давид,
То пленница лежала без сознанья
В седле пред ним. Она лишилась чувств

От горя, быстрой скачки и испуга.
Он снес ее на мягкую постель
И стал за ней ухаживать, как мальчик
За выкраденным из гнезда птенцом.
Ошеломленный этой красотою,
Он говорил: «Когда бы наш творец
Дал вместо головы мне купол неба
Со столькими глазами, сколько звезд,
Я на тебя глядел бы ими всеми,
Глядел и наглядеться бы не мог.
Кто ты? Откуда так до слез знакомы
Твои черты? Где я тебя встречал?
Я что-то вспоминаю, вспоминаю.
Мы виделись. Постой. О, как давно!
Я мал был, сердце обливалось кровью
При виде лани раненой. В те дни
Любил бродить я по дремучим чащам.
Вот, вот когда ты попадалась мне.
Я на траве дремал. Как усыпляло
Ее благоуханье! И сквозь сон
Я видел, как ко мне ты наклонялась,
Склоняясь, словно радуга к земле.
Я узнавал твой серебристый голос,
И руки простирал к тебе в тоске,
И — просыпался. Тут ты исчезала,
Мелькая в чем-то белом вдалеке,
Я в гору за тобой взбегал вдогонку
И останавливался наверху
Как вкопанный: ты на меня глядела
С далекой, беспредельной высоты
Большой звездой вечерней с небосвода.
Но детство улетело навсегда,
И тихий мальчик стал головорезом.
Но я тут говорю и говорю
Без умолку, а ты меня не слышишь
И рухнувшею статуей лежишь.
Что, ты жива или мертва? О, только
Не умирай! Пусть больше на земле
Не будет никогда цветов и весен,
Лишь ты не умирай! О, наконец,
О, наконец глаза она открыла!
Но что за взгляд! Что тут? Литейный двор,
Где миру солнца мастерит зиждитель?

Вселенная сгорит дотла, едва
Пойдут вращаться оба эти солнца!»
«Довольно, брат! Довольно, мой черед! —
Иов прервал Давида,— он приехал
Как раз в тот миг.— Мы будем сообща
Владеть с тобой жемчужиною этой».

Перенна ожила, бросает взор
Блуждающий кругом, зовет супруга:
«Мой муж! Я вижу тут чужих мужчин,
И комната не наша. Все чужое.
Мой друг, не оставляй меня одну!
Мне страшно без тебя! Где ты? Откликнись!»
«Твой муж отсюда очень далеко,
Красавица,— сказал Иов.— Напрасно
Ты б стала ждать его. За этот срок
Увянут прелести твои. Послушай,
Забудь его, предайся лучше нам.
Дай нам вкусить, что муж твой безраздельно
Забрал себе, похитив у небес».
«Назад, подлец! — воскликнула Перенна.—
Прочь от меня! За каждый шаг ко мне,
За каждое мне сказанное слово
Отмстит мой муж, когда вернется он!»
«Да, если он вернется,— возражает
Иов с усмешкой,— но ведь я сказал,
Он страшно далеко. Ему с песчинку
Казаться должен этот шар земной.
Короче, полно ждать, он не вернется,
Мой меч в крови, и эта кровь — его.
Я сам убил его своей рукою.
Итак, теперь ты освобождена
От рабских уз супружеского долга.
Так пользуйся свободой. Вместо двух,
Как раньше, рук теперь хотят четыре
Тебя в объятья страсти заключить».
Перенна, побледневши, цепенела,
Как мертвой зимней ночью куст в степи
В снегу, без листьев. Неподвижным взором
Она смотрела на преступный меч,
Запятнанный такой родною кровью.
Но был обманчив временный покров

Беспамятства ее и омертвенья!
Как подо льдом замерзшая река,
Рыдала в ней душа, металась, билась,
Стучалась в стенки тела, в сердце, грудь
И — вырвалась! Как столб огня и дыма
Из огнедышащей горы, взвилась
Ее тоска. Проклятье за проклятьем,
Одно другого горше и страшней,
Посыпались на голову убийцы.
Но тот стоял, как под дождем цветов,
И наконец вскричал: «Ты не поверишь,
Как хороша ты в гневе! Я б желал,
Чтоб каждый день ты выходила замуж,
И мужа у тебя я убивал,
И каждый день купался в водопаде
Твоих ругательств, не боясь того,
Исполнятся иль нет твои проклятья».
Тогда Перенна бросилась к ногам
Давида и, обняв его колени,
Взмолилась: «Сжалься, защити меня!
О юноша, ты смотришь человечней,
Чем этот дьявол. Хочешь, полюблю
Тебя, твоей рабыней верной буду,
Но защити меня от сатаны,
Не отдавай меня убийце мужа!»
«Я защищу тебя,— вскричал Давид,
Ее прижавши к сердцу,— светлый ангел,
Благословенье детских снов моих!
Я защищу тебя ценою жизни
И грудь свою подставлю под удар,
Я — щит и панцирь твой, на них наткнется
Любой, кто лишь приблизится к тебе!
Имей в виду, мой брат Иов, запомни!»
«Как бы не так! — вскричал Иов, сверкнув
Глазами.— Это против уговора!
Всегда добыча общая у нас,
И женщина не будет исключеньем.
Но если хочешь, вот мой острый меч,
Которым я снабдил ее супруга
Проездом на тот свет. Ну как? Начнем?»
Сошлись вплотную братья, предоставив
Решающее слово двум мечам,
И в этот миг отец вошел в хоромы.

«Остановитесь! Стойте!» — он вскричал.
«Будь нам судьей,— сказал Иов,— ты видишь,
Брат хочет пленницей владеть один,
А это не по нашему уставу.
Я с ним поспорил. Разве я не прав?»
«Ничтожества! Из-за такого вздора
И в драку? — заорал на них отец.—
И я, по-вашему, судья, посредник
В подобных пустяках? Что ж, хорошо:
Я разрешу ваш спор. Добыча будет
Ничьею — ни твоею, ни его.
Для простоты моею будет баба.
Вы поняли?» И выпали из рук
Мечи у сыновей. Почти с шипеньем
Кровь бросилась в лицо им, как шипит
Вода в реке от попаданья молний.
Они ворчали, но отец сказал:
«Что там еще? Кому охота дуться,
Когда Петр Комполти прикажет: «Цыц!»

Приходится дивиться, из чего
Бог создал человеческое сердце.
Как не разорвало́сь оно от мук,
Постигших сразу бедную Перенну!
Она под стражей в Шалго пять-шесть дней,
Но каждый день казался ей столетьем;
Страданье миг растягивает в век,
То скорбь по мужу ей томила душу,
То дикий страх ей душу леденил,
То поглощали мысли о побеге,
Чтоб подлому убийце отомстить,
И все напрасно: время проходило,
И не было возможности бежать.
Тут подоспел тягчайший из ударов.
Петр Комполти вошел к ней и сказал:
«Ты, несомненно, с сатаной в союзе.
Я околдован, госпожа моя.
Ты с каждым часом нравишься мне больше
И, как там хочешь, будешь мне женой».
«Согласна»,— отвечала так Перенна,
Как будто ангел смерти возвестил:
«Петр Комполти, твой час последний пробил!»

К себе Давида вызвавши тайком,
Она спросила юношу: «Признайся,
Твоя любовь действительно любовь,
Иль ты блуждающим огнем обманут?
И если правда ты меня любил,
Скажи, ты любишь ли меня доныне?»
«Люблю,— ответил юноша,— люблю,
Как любит ручеек свою лощину,
Как любит высь небесную звезда
И червячок — малину! Как добиться
Твоей любви, как мне ее достичь?»
«Есть способ, есть,— ответила Перенна.—
Твой брат — убийца моего супруга.
Отец твой сватается за меня.
Он ненавистен мне, как тот убийца.
Ты любишь, говоришь, меня? Так знай:
Спаси меня от этих двух злодеев,
Обоих погуби, и я твоя».

Любовь, любовь, извечная загадка!
Ты, как река, уносишь на себе
Красу цветов, и грязь, и муть, и тину
Из омута речного одного,
Тот омут — человеческое сердце.
Ты — океан, которого никто
Не переплыл, ты глубина, которой
Никто не мог постичь, ты великан
Из великанов. Вот, подобно морю,
Ты разлеглась безмерной синевой,
И звезды полным счетом, до последней
Отражены в тебе. И вдруг, смотри:
Все духи ада, схватываясь в драке,
Катаются клубками по тебе.
Любовь, ты всемогуща! Ты всесильна:
Ты превращаешь в ангелов людей,
И в бесов — божьих ангелов, и бесам
Обличье человека придаешь.

Безмолвная, безоблачная ночь.
В венце из звезд спокойно смотрит месяц
На землю, а на ней совершено

Отцеубийство и братоубийство.
В отцову спальню вполз змеей Давид,
Дрожа, откинул полог пред кроватью.
«Он спит. Какая кротость на лице! —
Подумал сын.— А днем, когда проснется,
Не человек, а дьявол, Вельзевул!
Иль мне таким его рисует совесть,
Трусливый сторож мой, незваный гость?
Прочь от меня, я глух к твоим веленьям.
Напрасно подымаешь ты свой перст.
Оставь! Смотри — раз, два, и все готово».
Давид за горло спящего схватил,
Сжав с силой,— небольшое содроганье,
Хрип еле уловимый, и — конец.
И прочь пошел Давид,— задернув полог.
Но у порога повернул назад —
Увериться, недвижен ли покойник,
Не ожил ли? Он к ложу подошел,
Но полог приоткрыть он не решился.
Едва дыша, он побежал бегом
К Иову, разбудив его шагами,
Но раньше, чем успел очнуться тот,
Кинжал с его стены у изголовья
Уже торчал в его груди. Удар
Был не смертелен. Брат шагнул, шатаясь,
К Давиду, но удар мечом по лбу
Свалил Иова. Обливаясь кровью,
Он рухнул наземь. Бросив меч, Давид
Из комнаты пустился без оглядки,
Как будто сотни тысяч ведьм, чертей,
Всего, что есть ужасного на свете,
Неслись за ним вдогонку по земле
И воздуху. И на задворках замка
Забился в угол и закрыл глаза.
Увы, и сквозь опущенные веки
Он видел их. То бледного отца,
То, рядом, окровавленного брата.
Они теснились в ярости к нему,
Впивались в грудь, вонзали в тело когти.
Он с криком растянулся на полу.
Когда очнулся он, уже светало
И перед ним была кровать отца.
«Вставай, вставай,— он обратился к трупу.—

В дорогу! Улучим удобный миг.
В стране нет короля и — безначалье.
Вставай! Пойдем ограбим Гедевар!
Не надо спать так долго! Погуляем!
Берите все себе, а мне одну
Хозяйку замка. Что ж ты заспался так?
Ну, все равно, проснешься в Судный день.
Не вздумай там наябедничать богу,
Что по моей вине ты долго спишь».
Давид пошел в другое помещенье.
«А это кто? — спросил он, пнув ногой
Труп брата.— Брат Иов, не ты ли?
Ну так и есть. На каменном полу?
Не неженка ты, значит, если ребер
Себе не отлежал! Довольно спать!
Вставай, вставай! Отмой лицо от крови!
Да что вы, сговорились не вставать?
Что тут у вас сегодня в самом деле?
Ну, все равно. Тем лучше. Под шумок
Теперь я удеру с моею милой».
К Перенне он пошел. «Ты их убил?» —
Она спросила. «Что ты, бог с тобою!
Убил? Я никого не убивал.
Они лежат рядком, не шевелясь,
Один бледнехонек, другой весь красный.
Нас не заметят. Торопись, бежим.
Взбежим на башню, а оттуда — к небу!»
«О, ужас, да ведь он сошел с ума!» —
Кричит Перенна, пятясь, отступая.
Но, на руки легко ее схватив,
Давид бежит с ней через двор на башню.
Ступень, ступень, ступень,— она кричит
В смертельном страхе. «Тише, тише, тише! —
Упрашивает юноша.— Молчи,
Мой ангел, жизнь моя, ты их разбудишь,
Нас схватят, и тогда пропало все.
Теперь летим!» — вскричал он на площадке,
Прижал Перенну крепче и с зубцов
С ней в пропасть кинулся вниз головою.
Кусты по крутизне и край скалы
Окрасились огнем зари и кровью.
Под замком, обойдясь без похорон,
Лежал Давид и рядом с ним Перенна.

Но не нашлось руки, чтоб погребла
Его отца и брата. Род их вымер.
Дворовые при дележе богатств
Друг друга изрубили, так что мало
Кто уцелел. Над трупами весь год
Кружились вороны. И замок Шалго
Ветшал, ветшал. И жители внизу
Шарахались, когда дул ветер сверху.

Дёмшёд, 1846 г.

Рыцарское время доблести суровой!
Северным сияньем ты отполыхало.
Жаром вдохновенья озарю я снова
Родину героев старого закала,
Где царем вздымался дуб отваги смелой
И цветком любви царица роза рдела.

Двести лет назад Дёрдь Ракоци с войсками
В Венгрию пришел за дело веры биться.
В Гёмёрских горах за темными лесами
Крепости Мурань он увидал бойницы.
К самым облакам забравшись на высоты,
Замок ждал его, открыв ему ворота.

Бетлева вдова, краса Мария Сечи
Вышла к Ракоци, сказав гостеприимно:
«Здравствуй, храбрый сын Эрдея, рада встрече,
Уваженье наше, видимо, взаимно.
Делу одному мы посвятили сердце,
Руку дай, пожму тебе, единоверцу.

Вот моя рука, дай мне свою спокойно.
В поводах к тому у нас нет недостатка.
Муж мой и отец вели со славой войны,
Да и я сама — неробкого десятка.
Так-то, Дёрдь. Теперь мы связаны судьбою.
Недруги, друзья у нас одни с тобою».

Ракоци Марии выделил охрану
И пустился с войском дальше в путь-дорогу.
Он считал, что если враг придет нежданно,
Неприступны склоны горного отрога.
За черту громов ушла Мурань на круче,
Молнии топча и попирая тучи.

И пришли войска на штурм твердыни дерзкой.
Вел их полководец Ференц Вешелени.
Подступив к Мурани с армией имперской,
Он дает гонцу такое порученье:
«Подымись в Мурань и, умысла не пряча,
Объяви им бой или потребуй сдачи».

В форт придя, гонец смущен явленьем странным:
Женщина выходит из-за бастиона.
«Я поговорить хотел бы с капитаном».
«Говори, я здесь начальник обороны».
Стал в тупик гонец и смотрит на Марию.
Воина такого видел он впервые.

Победив смущенье, говорит, однако:
«Отвори добром ворота, а иначе
Силой их взломаем, бросившись в атаку.
Что мне передать? Согласна ль ты на сдачу?»
Гордо улыбнулась, не моргнувши глазом,
Сечи и гонцу ответила отказом.

Рассказал гонец, когда пришел обратно,
О переговорах. Слушал Вешелени
И не знал, что думать. Было непонятно,
Сердце или ум задело донесенье.
Тучей он смотрел, в тревоге незнакомой,
И метал такие молнии и громы:

«Только этих лавров мне недоставало —
Пушки наводить на чепчики и кички!
Наступлю ногой на кончик покрывала,
Голову с тебя сорву я с непривычки!
В кладовой ли пусто у тебя, чертовка,
Что пришлось на саблю променять шумовку?

Слава ли моя сюда не долетела,
Что она со мною связываться смеет?
Завтра ведь заря от грохота обстрела,
Вспыхнуть не успев, смертельно побледнеет!
А к восходу солнца на обломках зданья
Трубку разожгу я головней Мурани.

Женщина в доспехах! Странное явленье!
Как мужчина в юбке или же в корсете.
Я об амазонках слышал измышленья,
Значит, в самом деле есть они на свете?
По словам гонца она к тому ж красива?
Надо непременно посмотреть на диво».

Время шло лениво, долго, безысходно.
Как сороки треск и во́рона галденье,
Спорили в душе его поочередно
Демон любопытства и желанье мщенья.
Ночь прошла. Светает. Будет загляденье
Наблюдать зарю с развалин укрепленья!

Вот и сам рассвет на звонкой колеснице
Словно победитель катит по долине.
На плечах багряный мантик шевелится,
В шапке светится звездой перо павлинье.
Он зарезал ночь, снял голову с казненной
И забрызгал кровью полог небосклона.

А ряды тумана из обоза ночи
Бросились бежать и быстро поредели.
Разметенной мглы разрозненные клочья
Спрятались внизу, на самом дне ущелья.
Как бы удавившись с горя и позора,
Всюду вис туман на соснах косогора.

Чу! В Мурани трубят сбор, гремят оружьем,
Видя, что снаружи враг пришел в движенье.
«В бой, друзья! Примером храбрости
послужим!» –
Раздается слово воодушевленья.
Зов Марии льется жаворонка трелью,
Звонко отдаваясь в глубине ущелья.

Бесновался конь под ней разгоряченный,
Удила́ грызя и фыркая все время.
Всадница бряцала саблей золоченой
В панцире стальном, в стальном блестящем шлеме.
Панцирь, сабля, шлем отсвечивали резко,
Но в глазах Марии было больше блеска.

Люди позади лихого командира
Ждали, чтоб завыли вражьих пушек глотки.
Как цепные псы, оскалились мортиры,
Глядя с ближних гор на замок посередке.
И, однако, вместо пушечного грома
Входит в замок новый вестник незнакомый.

Он — красы мадьярской лучшее наследье,
И его глаза, как факелы отваги,
Светят по дороге к смерти иль победе.
Вот он поднял их и стал белей бумаги.
Перед ним Мария. Кровь с лица мгновенно
Скрылась в угол сердца самый сокровенный.

Он стоял пред ней, соображая туго,
Сам без языка, как колокол разбитый.
Все сочли, что он молчит от перепуга,
Лишь одной Марии было все открыто.
Женщина всегда прочтет в душе мужчины,
В чем ее красы пленительность повинна.

Прелестью своей гордясь и торжествуя,
Что она бедняге голову вскружила,
Всадница к гонцу подъехала вплотную
И улыбкой край зубов полуоткрыла.
Конь одним прыжком осилил расстоянье.
И тогда гонец с трудом прервал молчанье.

«Госпожа! — сказал он.— Мой начальник снова
Предлагает сдаться. Вдумайся серьезно.
Всякий, кто сперва не слушается зова,
Кается, когда раскаиваться поздно.
Грозны наши пушки. Видишь их свирепость?
Львы дохну́т огнем и сдунут вашу крепость».

«Поблагодари сердечно полководца,—
Молвила Мария,— но пускай он знает,
Что у нас решили до конца бороться,
И напрасно нас он предостерегает.
Знай, у наших ног в исходе передряги
Лягут ваши львы, как мирные дворняги.

Замок на скале, и укреплен неплохо,
Но, не будь и этих башен из гранита,
Руки и мечи до рокового вздоха,
До последней капли крови нам защита».
Хлопнувши рукой по сабле золоченой,
Кончила Мария воодушевленно:

«С богом! Приходите. Дрогнут наши стены,
Сами мы тогда подымемся стеною.
Крепость может пасть, но храбрость неизменна.
И уж если мы умрем, то как герои.
Мы умрем, не видя, как потом над нами
Оттеснив наш стяг, взовьется ваше знамя».

На нее смотрел гонец в оцепененье,
И слова Марии пропадали даром.
Дух его пылал, как будет все творенье
В страшный Судный день охвачено пожаром.
Поклонился он, а может, без поклона
Удалился, прямо в сердце пораженный.

Юношу Мария провожала взглядом,
Сетуя, что с ним так мало говорила.
«Он бы до сих пор стоял со мною рядом,
Глядя на меня так пылко и уныло.
Больше бед наделать мог гонец несмелый,
Чем его начальник батареей целой».

Только у ворот опомнился насилу
Молодой гонец, позвал сторожевого,
Попросил в сторожку принести чернила
И присел черкнуть по делу два-три слова.
«Сплоховал я, брат,— сказал он,— в замке вашем,
Как гонец-осман пред королем Матьяшем.

Гаркнувши: «Султан привет шлет властелину!» —
Смолк он, и ни с места, стал балда балдою,
С языком отсохшим, так и я, дубина,
Только что стоял пред вашей госпожою.
Здесь есть все, что я забыл сказать в смущенье.
Передай письмо скорей по назначенью».

Сторож снес письмо. Верхом, как прежде, сидя,
В чтение письма Мария погрузилась.
Хорошо еще, что, бедная, при виде
Этих строк с коня на землю не свалилась!
Спешившись и внешне овладев собою,
Со двора она ушла в свои покои.

О, как не терпелось ей одной остаться!
Чуть к себе вошла, раздумывать не стала,
Панцирь свой сняла, чтоб лучше отдышаться,
Так теперь ее вооруженье жало.
Сердце билось с болью, прежде неизвестной,
Отшвырнула шлем,— ей в шлеме было тесно.

Если скинуть шлем и сбросить панцирь можно,
Надо ли, чтоб сабля на боку моталась?
И ее сняла Мария осторожно,
Точно на нее теперь взглянуть боялась.
Та, что обнаженной саблею махала,
С робостью теперь ее в ножнах держала.

Превратился Марс в Венеру. Шум прибоя
Переходит так в безветрия затишье.
На закате, после духоты и зноя
Солнце золотит остынувшие крыши.
И глаза, что прежде молнии метали,
Розы щек в росе счастливых слез купали.

Много раз прочла записку, раз за разом.
«Женщина, превыше всех! — она читала.—
Ум был у меня единственный, и разум
Я не уберег, и ты его украла.
Тысяча сердец зато ему замена,
Отдаю их все одной тебе, бесценной.

Надо увидаться до начала боя.
Может статься, я паду в его разгаре.
Умереть, пред тем не свидевшись с тобою,
Было б равносильно ада вечной каре.
Покажись хотя бы лишь на то мгновенье,
Сколько надо сердцу на одно биенье.

Укажи мне путь, какой тебе угодно.
Я к тебе пробьюсь чрез пламя преисподней,
На тебя взгляну и радостно, свободно
Смерть из рук твоих приму хотя б сегодня.
Свой ответ отправь Ференцу Вешелени
Это он к тебе являлся в укрепленье».

Вот письмо какими чувствами дышало.
Но не поддается вовсе описанью,
Что с Марией сталось, что обуревало
Всю ее при чтенье этого посланья.
Над душой промчалась буря грозовая,
Словно в море волны белые вздымая.

В этом море сердце, маленькая шлюпка,
Смело вдаль гребло сквозь волны и буруны.
Ах, оно везло в своей обшивке хрупкой
Целый мир надежд, сокровища подлунной.
Берег был далек, но цель уж засветилась.
Впрочем, все равно: она на все решилась.

«Напишу ему»,— Мария прошептала.
Села, замечтавшись над пустой страницей,
Мысль из-под пера скользила, ускользала,—
Нет, она писать была не мастерица.
Наконец в своей растерянности шалой —
«В полночь будь у южной башни»,— написала.

Сам не зная, как попав в свою палатку,
Лег в ней Вешелени на медвежью шкуру.
Жестким мех казался, постлан был негладко,
Вешелени встал и вышел злой и хмурый.
В поисках помягче постланной постели
Лег на голый камень в глубине ущелья.

Высилась скала как раз против Мурани.
Он в раздумье сел под сенью старой ели.
Снизу доносилось ручейка журчанье,
Птичек голоса над головой звенели.
Раньше он совсем не замечал их пенья,
А теперь впервые слушал в умиленье.

«Наконец нельзя так! — он вскричал с досадой.—
Я заворожен! Я только ею занят!
Мир завешен силой колдовского взгляда!
Занавес на всем, и тьма мой взор туманит.
В занавесе дырка проткнута иголкой,
Чтобы этой ведьмой любоваться в щелку.

Хороша, смела! Мы были б славной парой.
Схоронив жену, я горевал невольно,
Но пришел в себя я скоро от удара,
Так она была скучна и богомольна.
Лучше б до меня она пошла в монашки.
В браке состоять совсем не шло бедняжке.

О любовь, любовь! Нежданной гостьей чудной
Ты пришла ко мне. Сказать тебе спасибо
Иль проклясть, что кончен сон мой непробудный,
Что могла ты сдвинуть каменную глыбу?
Вдруг она ответит гордо, нелюбезно?
Не толкай меня, безумье, к краю бездны».

На Мурань взглянув с угрозою впервые,
Он пошел в шатер и замер на пороге:
В глубине палатки ждал ответ Марии.
У него едва не подкосились ноги.
Став белей бумаги, он волненье спрятал
И письмо рукой дрожащей распечатал...

...Вот и ночь пришла, видений королева.
Месяц в волосах у ней венцом сияет.
Гибель звезд алмазных на груди у девы,
Как ни при каком дворе не насчитают.
Но сейчас пришла царица без регалий:
Небо затянуло, звезды не сверкали.

Ночь пришла в плаще под черным капюшоном.
Может быть, и ей свиданье предстояло?
Вешелени ждал во рву под бастионом
И о милой думал. Время шло, бежало.
Вдруг он вздрогнул: в башне на краю обрыва
Пробило двенадцать гулко и лениво.

Он считал удары. Как он волновался!
Из окошка сверху к башни основанью
Лестницы конец веревочной спускался.
Вешелени вверх полез без колебанья.
Что ждало его? Блаженство или плаха?
Все равно. С окна он спрыгнул внутрь без страха.

Он застал ее одну, но в ореоле
Тысячи красот, с почетной свитой всею
Темно-синих глаз, волос чернее смоли,
И вишневых губ, и белоснежной шеи.
Лампа на столе от ревности дрожала,
Чувствуя, какое чудо освещала.

«Я пришел,— сказал он,— выразить сначала,
Как я благодарен за великодушье
Повторять ли вновь, что ты уже читала?
Душу ты во мне растормошила! Слушай:
В одиноком сердце, мертвом и угрюмом,
Птицей вьет любовь гнездо с веселым шумом.

Это сердце дрожью все теперь объято
Не как розы куст от ветра дуновенья,
Но как иногда качаются Карпаты
В миг, когда колеблет их землетрясенье.
Это сердце — крепость, и она — во власти
Овладевшей ею величайшей страсти.

Но скажи, что ждет меня в судьбе тяжелой?
Жалость ли твоя? Или благоволенье?
Женская насмешка? Гордости уколы?
Или на вершине моего мученья
Ты надежды замок возвести решила?
Объясни, зачем меня ты пригласила?»

«Хочешь знать зачем? — переспросила Сечи.—
Потому что я горю к тебе любовью.
Сердцем и рукой, поверь чистосердечью,
Я теперь твоя, но вот одно условье:
Докажи и ты мне искренность желанья,
Будь со мною вместе в протестантском стане».

«Нет,— он ей ответил твердо и сурово,—
С этим разум мой не может примириться.
Требуй жертв, проси чего-нибудь другого.
Ты дороже жизни мне. Но есть границы.
Жизни мне не жаль, но выше честь и имя.
Даже для тебя не поступлюсь я ими.

В верности поклявшись цезарскому стягу,
Я по гроб останусь верен клятве этой.
Если научусь я нарушать присягу,
Как сама поверишь ты в мои обеты?
Пожелай другого, сжалься надо мною,
Или я уйду с разбитою душою».

Между тем Мария тихо, молчаливо
Любовалась им и втайне ликовала:
«О, как хороши души его порывы!
Я его себе таким и представляла.
Что же делать мне? Для нашего блаженства
Стать отступницей, пойти на отщепенство?»

И она сказала с яростью притворной:
«Если, оказалось, ты такой безбожник,
Что не покорился истине бесспорной,
Что ж, ты не уйдешь отсюда, ты — заложник.
Раз пренебрегаешь ты постелью брачной,
Есть другая спальня, там темно и мрачно».

Потайную дверь Мария отворила.
Рядом был застенок с черным эшафотом.
Глянул Вешелени, но не страх унылый,
Жгучий стыд покрыл его холодным потом.
«О, глупец! — вскричал он.— О, глупец
влюбленный,
Простотой своей и страстью ослепленный!

Я предвидел ведь, подозревал ловушку
И пришел, однако, к своему позору!
Где помощник твой? Поторопись, подружка!
Кончены мои с тобою разговоры.
Обезглавь меня, зарой в могильной яме
И укрась мой холм ослиными ушами!

Тот, кого сам бог войны щадил в сраженье,
Женскими руками глупо пойман в сети!
Но при чем тут ты и это обвиненье?
Каждый жнет, что сеял. Это я в ответе!
Приступай скорей к заслуженной расплате.
Не тебя, себя я предаю проклятью».

«Думать брось о плахе! — женщина вскричала.–
Не на плаху, нет, сюда, в объятья эти!
Силы нет такой, чтоб между нами стала.
Жребий наш записан на одной планете.
А чтоб честь твоя осталась без изъяна,
В вере я сама отступницею стану.

Мне единоверцы не простят разрыва.
Близ тебя я, верно, справлюсь с этой болью.
В будущем, надеюсь, вникнут справедливо,
Почему я тут не доиграла роли,
Почему в итоге я не удержалась
И в воительнице женщина сказалась.

Я стыжусь, что я платила дань актерству,
Унижая тем военные доспехи.
На плечах мужчины это не притворство,
И война не шутка и не для потехи.
Роза, цвет любви, вот в чем одном по праву
Женское оружье, женская держава».

Через день в Мурани загремели пушки,
Только это были залпы холостые,
Громовой салют на свадебной пирушке
Князя Вешелени и его Марии.
Долго ли на этой свадьбе пировали,
Не слыхал, но знаю лишь, что без печали.

Двести лет спустя я был тут мимоходом.
Шума прежней жизни не было в помине.
Розы осыпались грустные пред входом
В старую Мурань, забытую твердыню.
Розу я сорвал. Быть может, роза эта
Выросла из праха женщины воспетой.

«Так и есть! Идет по следу
И догонит вот сейчас!
До чего же смертоносно
Злобное сверканье глаз!

Беспощадно он стегает
Лошадей.
Нагоняет, настигает!
Во весь дух летит, злодей!

Ваша милость,
Провалитесь к черту в ад!
Не гонитесь, отвяжитесь!
Смилуйтесь, вам говорят!

В этой пуште хватит места.
Неужели трудно нам —
Вам направо, мне налево —
Разойтись по сторонам.

Если это вам угодно,
Я вам низко поклонюсь:
Проходите восвояси,
Видите — я сторонюсь!»

Так один юнец смиренный
Ливень убедить хотел...
Не свернул с дороги ливень —
С дикой злобой налетел.

А юнец?
Так и стоял он,
Будто Цезарь, увидавший
Брута с блещущим кинжалом,

И, как будто Цезарь, тогой
Он прикрыл лицо свое...
Да, прикрылся бы он тогой,
Если бы носил ее.

Но стоял он величаво,
Не дрожа, не трепеща,
Будто бы имел две шубы
На плечах поверх плаща.

С превеликим равнодушьем
Он промолвил: «Подождем!
Коль не я, так гром небесный
С этим справится дождем!

Всем на свете христианам
Я примером послужу,
Потому что я крещенье
Бесконечно прохожу!

Но крестить меня вот этак —
Все равно что негра мыть!
Отмывайте, как хотите,
А меня не изменить!

Может дождь, я допускаю,
Смыть одежду мою,
Но никак с меня не смоет
Философию!

Шил сей плащ искусный мастер,
Я другого не хочу.
И — дешевка! Прямо — даром!
А не многим по плечу!»

И при этом рассмеялся
Он так звонко, горячо,
Что ударил в злобе ливень
Беспощаднее еще.

«Побеснуйся, побеснуйся! —
Думал путник молодой.—
Не к лицу мне возмущаться
С неба льющейся водой!»

И умчалась злая туча.
Встала радуга, да так,
Будто в небе ее вывел
Юный путник-весельчак.

«Ах ты, радуга-дуга! —
Молвил странник.— Блеск твой пестр,
Как грядущее мое
И как райской птички хвост!

Радуга, ты словно арка
В честь того, что солнца мощь
Победила
Гром и дождь!

Радуга, ты далека,
Точно ближний городок!
День скончался, ночь близка,
Непролазна грязь дорог!

Не пророк я, но пророчу:
К ночи в город не добраться!
Нынче в городе девицы
Мной не будут любоваться.

Очень жалко мне бедняжек,
Но ведь кто же виноват,
Что не аист я вот этот
И, увы, я не крылат!

Что ж поделать? Вероятно,
У дороги здесь, во мгле,
Мне придется мокрым боком
Присоседиться к земле?

Нет, хоть я и глупый Ишток,
Не такой я простачок!
Заверну-ка я на ближний
Хуторок!

Милый хутор! Может статься,
Воры там приют нашли,
Но бесстрашен тот, чье злато
Не добыто из земли!

Там труба дымится — ergo,
Там на кухне топят печь,
Ergo — высохну и даже
Сытым спать смогу я лечь!

Что за счастье, что за радость,
Что я логику учил!
Vivat школам! Без науки
Я б сего не заключил!»

Хуторочек мрачный,
Очень небольшой,
Притаился в самой
Глубине степной.

Обветшал
И полусгнил
Вроде старых он
Могил.

Как сиротки у надгробья
Мертвой матери грустят,
Несколько деревьев жалких
Возле домика стоят.

Мастером возведено
Это чудное строенье,
Но оно —
Добыча тленья.

Обвалилась штукатурка,
Ставни с окон сорвались
И, быть может, с ураганом
В даль степную унеслись.

В безнадежности тоскливой
Перед дверью пес лежит,
На врага он и на друга
Одинаково ворчит.

На дворе старик батрак...
Шло бы дело ничего,
Если только бы топор
Сам работал за него.

Этот хутор
В пуште мокнет,
Будто
Целым миром проклят.

Подошел поближе Ишток,
И невольно мысль явилась:
«Здесь нашествие монголов
Все еще не завершилось!

Все равно!
Пусть Тимуры, Чингис-ханы здесь таятся,
Но —
Мне их нечего бояться!»

И вошел...
Татар не встретил,
Лишь старушку
Он заметил.

Та старушка угли в печке
Ковыряла кочергой
И юнец рассыпал бисер
Перед старою каргой:

«Добрый вечер, тетушка!
Как здоровье, матушка?
Здравствуйте, любви голубка,
Бабки моей бабушка!»

Но достойная особа
Прервала: «Иди к чертям!
Ты куда пришел, бродяга?
Не корчма здесь! Видишь сам!

Мы не будем всех бродяжек
На ночь глядя принимать!»
Но юнец ответил нежно:
«О моей прабабки мать,

О любви моей голубка,
Я не выжил из ума,—
Я бы к вам не постучался,
Если б не настигла тьма...»

Так он начал. Только речи
До конца сказать не мог —
Погнала его старуха
За порог.

Закричал он, упираясь:
«Не дури!
Кто хозяин в этом доме?
Говори!»

«Я — хозяин! Что угодно?» —
Чей-то голос прозвучал,
Будто колокол подводный
Глухо в море зазвучал.

Был хозяин сед как лунь,
Лик морщинистый был хладен.
Так он и стоял, старик,
Неприступен, безотраден.

Так стоял он, будто крест
На погосте, одинок,
А вокруг — студеный мрак,
Белый снег лежит, глубок.

И казалось: в сердце старца
Целое кладбище было,
Где могил полно и радость
В первую легла могилу.

Резвости цветной платочек
Живо Ишток с шеи снял
И почтительно
Сказал:

«Сударь! Я — усталый путник
И ночую где придется...
Хоть еще я не замерз,
Но и пот с меня не льется!

Ливень гнался вслед за мною,
Промочил меня слегка.
Разрешите посушиться,
Посидеть у камелька!

Если б и еще кусочек
Доброты могли вы дать,
Я б воспользовался ею,
Чтоб остаться ночевать!»

«Разрешаю»,— молвил старец
И ушел, невозмутим.
И хотя ответ был краток,
Был юнец доволен им.

И на корточках у печки
Тотчас примостился он,
Гордый и такой веселый,
Как король, воссев на трон.

«Вся вселенная моя! —
Он подумал.— Чуял я —
Выйдет дело! И предвижу:
Будет ужин у меня!»

Думал он о том, о сем,
Кой о чем еще другом.
Что ж! Не зря ведь этот Ишток
Был и прозван дурачком.

Все, что было, что придет
И чему и не бывать,—
Все умел он в голове
Умещать.

И любил свои познанья
Выражать посредством речи...
Много новостей старуха
Услыхала в этот вечер.

Не могли бы три телеги
Вздора этого свезти,
И старуха ухмылялась:
«Врет как, бог ему прости!»

Появился на устах
Редкий гость у ней — смешок,
Заскрипел старушкин рот,
Как заржавленный замок.

Время шло... Я из рассказа
Устраняю ряд длиннот...
Вышло, как и думал Ишток:
Ко столу старик зовет.

«Ну,— подумал Ишток, миску
Наполняя в третий раз,—
Старая Мафусаильша
Постаралась ради нас!

Только жаль: вкушаем пищу
Молчаливо, без бесед.
Дай-ка старца я окликну!
Он ответит или нет?»

«Сударь мой, ваш ужин чуден! –
Молвил Ишток.— Но одна
Замечается оплошность:
Пища мало солона!

И приятна будет соль нам
Не в солонке, не в желудке,
А в застольном
Споре, в шутке!

Мы угрюмы так, что даже
Рыбам сделалось смешно б!
Умерли мы с вами, что ли,
И для нас готовят гроб?

Ведь молчанье — половина
Смерти! Я ее боюсь!
Если вы молчите, сударь,
Дайте — я разговорюсь!

Я художник и поэт,
Знахарь я и агроном,
Звездочет я и юрист
И с историей знаком!

Север, юг, восток и запад
Мне известны! Я бывал
И под кровом жалких хижин,
И среди дворцовых зал!

Так о чем начать беседу?»
Но старик ему ответил
(Больше взглядом, чем устами):
«Мне постыло все на свете!»

«Что вы, сударь? — крикнул Ишток.-
Вы грешите против бога,
Отрицая мир вот этот,
Где прекрасного столь много!»

«Здесь прекрасного столь много? —
Отозвался старец строго.—
Да! Но очень для немногих
Здесь прекрасного столь много!

Вот когда на сердце ляжет
Груз восьми десятилетий,
И воспоминаний сладость
Не украсит годы эти,

И без цвета древо жизни
Высохнет и покосится,
И поймешь ты, что на ветках
Не певала счастья птица,

А, как висельники, висли
На сучках одни страданья,—
Вот тогда, ребенок малый,
Ты оценишь мирозданье!

Молодость была, как старость,
Ну, а старости моей —
Уж не знаю даже, право,—
Как именоваться ей!

Я любил. Но ангел неба —
Та, которую любил,—
На земле в грязи погибла;
Здесь позор ее убил.

Да! Весна была бесцветной...
Я решил: не унывай,
Будет лето колосисто,
Будет осень, урожай!

Но пришла за летом осень...
Что мне толку от нее?
Ах, послушай, если сердце
Может выдержать твое,

Вот моих мучений долгих
Краткий перечень! Внимай:
Двух детей похоронил я,
Третий сын мой — негодяй!

Мы расстались с ним. И света
Я не вижу десять лет.
Ожидаю только смерти,
А других желаний нет!

Ведь уж я давно покончил
С жизнью счет!
Что ж она в меня вцепилась,
Что ей надобно? Что ждет?

Я давно уж выпит жизнью,
Остается лишь отстой.
Почему ж она не хочет
Бросить прочь стакан пустой?

Проклинаю эту жизнь,
Говорю ей: «Отвяжись,
И не мучь своих рабов,
И над ними не глумись!»

Проклинаю все на свете
И мечтаю лишь о яме,
В глубь которой не посмеет
Жизнь последовать за нами!

Хорошо лежать, и тлеть,
И блаженно забывать
Плаху, что зовется миром!
О, какая благодать!»

И, прослушав эту повесть
Долгих лет и долгих бед,
После долгого молчанья
Юноша сказал в ответ:

«Свято чту я все страданья,
Горе старца вдвое чту,
Так прости меня за резкость
И прости за прямоту:

Грешен ты. За это кару
И несешь. А грех не мал:
В том ты, сударь мой, виновен,
Что в отчаянье ты впал.

Это — всех грехов венец!
Выше нет греха того!
Как ты смеешь отвергать
Волю бога твоего?

Отрицанье — голос ада,
Вопиющий к небесам.
Бога нет в тебе, который
Путь указывает нам!

Кто такую речь,
Вот как ты, ведет,—
Недостоин тот
Божеских забот!

Ибо есть отец у мира,
Он заботится о нас.
Могут все его увидеть,
Кто не отвращает глаз.

Так умерим нетерпенье!
Ведь у бога тьма забот,
И детей у бога много...
Стыдно забегать вперед!

Ведь закон таков: дождется
Каждый часа своего!
Бог — как солнце! Над землею
Доброта плывет его.

Коли счастья нету нынче,
Жди до завтра! И заметь:
Лишь дождавшись часа счастья,
Смертный волен умереть!

Не опаздывает счастье!
Сей нектар целебен столь,
Что преображает в сладость
Вод морских сплошную соль!»

Упивался, как младенец
Материнским молоком,
Старец юношеской речью —
Поглощен был целиком.

И когда закончил Ишток,
Старец тихо произнес:
«Где ты этому учился?
Кто ты, мальчик? Где ты рос?»

Ну, а юношу серьезность
Вогнала уже в тоску,
И поэтому шутливо
Он ответил старику:

«Где я этому учился?
Все мне это рассказал
Некий филин, в чьей пещере
Я грозу пережидал!

Где я рос? Я не имею
Ни отчизны, ни жилья.
Вольной птичкой перелетной
Бабушка была моя!

Я хожу-брожу по свету,
Нынче здесь, а завтра там,
А дружу я только с тем,
Кто со мною дружит сам.

Чем я больше голодаю,
Чем я больше холодаю,
Тем богаче и прекрасней
День грядущий ожидаю.

А зовусь я?.. Вот уж вправду
Имя я забыл почти что,
Потому что всем известен
Я под кличкой: глупый Иштоk».

...А наутро глупый Иштоk
Узелок свой в руки взял
И, хозяина окликнув,
На прощанье сказал:

«Бог с тобой! Когда дождешься
Часа счастья своего,
Обо мне ты вспомни! Я ведь
Предсказал тебе его!»

Тут хозяин гостя
За руку схватил
И, глотая слезы,
Так проговорил:

«Бог с тобою, добрый мальчик,
Ты, который... мне... желаешь,
Ты, который... предрекаешь...
Нету слов... ты понимаешь?

Бог с тобою... Впрочем, нет,
Не скажу я: бог с тобою.
Никуда не уходи,
А останься здесь, со мною!

Станет скучно — и уйдешь
Ты тогда,
А понравится — останься
Навсегда!

То, что ты сказал вчера мне,
Сотни раз тверди, юнец!
Это так приятно слышать,
Что поверю наконец!

Ты останешься, дружочек?»
Ишток молвил: «Хорошо!
Я обязан здесь остаться,
Если уж на то пошло!

Если рассужденья эти
Душу могут усладить —
Ты не бойся; хоть столетье
Я способен их твердить!»

...Грохот на дворе:
Въехала карета!
Здесь, в степи, карета!
Боже! Кто же это?

«Никого не принимаю!» —
Грозно старец закричал.
«И меня?» — приятный голос
Из кареты зазвучал.

Распахнулась дверь,
Девушка вошла...
Как она бледна,
Как она мила!

Бросилась в объятья старца...
Поцелуи... Ливень слез...
И душевное смятенье
Сквозь рыданья излилось.

«Дедушка! Как крест святой,
Обнимаю я тебя,
И с восторгом и с надеждой!
Радуюсь и плачу я!

Я пришла за утешеньем!
Защити меня, укрой!
Горе мне, сто раз мне горе!
Мой отец мне недруг злой!

Замуж выдает насильно!
Нету сердца у него!
Злой! Его не могут тронуть
Муки сердца моего!

Все мольбы мои напрасны!
Он — как статуя из камня.
Дедушка, спаси меня!
Страшная грозит судьба мне!

Все понятно мне. Читаю
Я в глазах твоих упрек.
Хоть и поздно, но решилась
Я ступить чрез твой порог.

Не суди! Пришла давно бы,
Но отец твердил, пугая:
«Дед твой никого не любит!»
Ах! Отца судить должна я.

Все ж пришла! И здесь навеки
Буду с этого я дня.
Да, навеки... если только
Не прогонишь ты меня!»

Многое хотел бы старец
Ей сказать в мгновенье это,
Но ни слова — нет, ни слова —
Не нашел он для ответа.

Только всхлипыванье старца
Раздалось,
Полились из глаз потоки
Сладких слез.

Словно две реки большие,
Чей разлив бурлив, велик,
Прошлое слилось с грядущим
В этот миг.

И грозило это море
Поглотить его бесследно.
Можно было опасаться
За его рассудок бедный.

«Значит, кто-то все же любит
И меня? О, неужели?!
Господи! Мои седины
Будто снова почернели!

Помню я тебя малюткой,
И не виделись с тех пор!
Видишь, юноша, как мил он —
Девичий прелестный взор!

Юноша! Тебе за мудрость
Руку должен я пожать:
Ты сказал, что лишь счастливцем
Смертный может умирать!

Внучка! Ты пришла! Останься
И не бойся ничего!
От людей найдешь защиту
И от бога самого!»

И бог знает что еще
Обещать бы тут он мог,
Все начала и концы
Спутавши в один клубок,

Но раздался снова шум,
Со двора донесся крик:
Прикатил отец за дочкой...
«Прочь, злодей! — вскричал старик.–

Для твоих презренных ног
Недоступен мой порог!
Только через отчий труп
Ты переступить бы мог!

Ты за дочкой? Дочь твоя
Перестала быть твоей!
И зачем ей быть твоей?
Гибель ты готовишь ей!

Ты отрекся от отца,
А ребенок твой теперь
Отказался от тебя!
Это — божий суд! Поверь!

Не хочу благословлять
И не буду проклинать!
Убирайся с глаз долой,
Не хочу тебя я знать!»

Не сказал ни слова сын
И покинул отчий двор,
А взволнованный старик
Руку правую простер.

Неподвижно замер старец,
Величав в своем молчанье
И печален, точно айсберг
В Ледовитом океане.

И послал вдогонку сыну
Только вздох, но вздох такой,
Что на части рвал он сердце...
И пошел старик домой.

Он вошел. И погрузился
В полное безмолвье дом...
Наконец промолвил Ишток,
Вставши перед стариком:

«Сударь! Я теперь здесь лишний,
Мне пора и уходить:
Есть, кто может вас утешить
И развлечь, развеселить!

Я же, в руки взявши посох,
За своей пойду судьбой.
Добрый старец, бог с тобою!
Девушка, господь с тобой!»

И ушел бы, если б старец
Не остановил,
Если б ласково, но твердо
Так ему не объявил:

«Нет! Останься! Не прошу,
Но приказываю я!
Ты меня узнал в несчастье,
Нынче в счастье знай меня».

«Я останусь,— молвил Ишток,—
Здесь мне хочется пожить,
Но с условьем: вам я буду
За хозяина служить.

Если есть девица в доме —
Дом в порядке должен быть,
А порядок этот надо
В руки твердые вручить!

Я не зря бродил по свету,
Потружусь теперь немного,
Чтобы не был этот хутор,
Как звериная берлога!»

И со слугами он вместе
Сразу к делу приступил...
Лежебоки были слуги —
Он их живо подбодрил.

Мыло, метлы, тряпки, щетки —
Все пошло тотчас же в ход,
Так что стал на третьи сутки
Хутор вовсе уж не тот.

Все нарядно заблестело,
Словно воинский мундир,—
Старой ржавчины не стало,
Старой грязи, старых дыр.

То-то, Ишток-дурачок!
Это, братец, все — твой труд.
Ты — душевный человек,
Ничего не скажешь тут!

Иштока вы не учите —
Знает, как за дело взяться,
Чтоб могла красавица
Улыбаться.

Вот для этого и в пушту
Направляется чуть свет он,
Возвращается с прекрасным
Полевых цветов букетом.

Девушка
Встает утрами
И любуется
Цветами.

По утрам — цветы; весь день —
Разговор веселый, пестрый.
Внучка хвалит за сердечность,
Дед — за ум живой и острый.

Так проходят, пролетают
И часы, и дни за днями,
И, не ошибусь, пожалуй,—
Это длится месяцами.

Нам не видны эти дни,—
В сердце пушты кто ж заглянет? –
Но, что славно шли они,
Отрицать никто не станет.

Ну, а дальше... словом... ну...
Словом, как я ни тяну,
А сказать не удержусь я,
Хоть писать и стыдно... Ну...

Дивная случилась штука...
Впрочем, что за диво в том:
Ишток взял суму и посох
И предстал пред стариком.

Губы двигались, но только
Он ни слова не сказал,
Будто голос
Потерял.

Старец сразу разгадал,
Что юнец сказать стремится,
Это ясно поняла
И красавица девица.

Поглядел на внучку дед
И заплакал вместе с нею.
Тут и Ишток зарыдал,
Да не так, а посильнее.

И они рыдали хором,
Так, что лучше и нельзя,
И хозяин
Поднялся,

И у Иштока с плеча,
Плача, он суму снимает.
Внучка
Посох отнимает.

Здесь тот посох, здесь сума...
Ибо этот человек,
Глупый Ишток — не ушел,
А остался здесь навек.

Хоть и звался простаком он,
Все же был он не дурак,
Чтобы прочь уйти из дома,
Где его любили так!

Все в природе увядало,
Уж ненастье в пуште выло,
Но невесте на венок
Все-таки цветов хватило...

Муж с женой из церкви вышли,
Давши верности обет.
И, растроганный сердечно,
Вот о чем сказал им дед:

«Нынче счастливы вы, дети!
Будьте счастливы и впредь!
Но теперь, изведав радость,
Я могу и умереть».

«Умереть тебе нельзя,—
Зять сказал.— Ты должен жить,
Чтобы правнуков своих
В добрый час благословить!»

...И приходят и уходят
День за днем, за годом год,
Соревнуются: который
Больше счастья принесет?

И... рассказывать ли это?
Ветер гонит облака,
Всюду снег ложится густо...
Степь под снегом... ночь близка.

Лишь один огонь сияет в пуште:
Там, на хуторе, лампадка зажжена,
Льет она сиянье на счастливцев,
Радуется будто и она.

Там, на хуторе, у теплой печки,
Где поленья искрятся, трещат,
Сели старец, муж и молодица,
С ними двое маленьких ребят.

И прядет и напевает молодица.
Муж и дед с детьми играют. А в окно
Зимний вихрь стучится. Не ворвется!
Песня льется, и жужжит веретено.

Пешт, 1847 г.

1

На мрачный город навалилась ночь,
В других краях луна блуждает,
Смежились
Золотые очи звезд,
Мир темен,
Как подкупленная совесть.

Один-единственный заметен луч
Там, в вышине,
Мерцает он устало,
Как чей-то взор мечтательный, больной,
Как чья-нибудь последняя надежда.

Горит под крышей этот огонек.
Кто там не спит в мансарде при лампадке?
Кто бодрствует высоко над землей?
Там две сестры — Нужда и Добродетель.

Огромная, огромная Нужда,
Она едва вмещается в мансарде.
Не больше ласточкиного гнезда
Вся эта поднебесная клетушка.
И пусты стены этого гнезда,
Вернее, были бы они пустыми,
Когда бы плесень не покрыла их
Своим узором незамысловатым
И не исполосатили дожди,
Чьи струйки, проникая через крышу,

Оставили под ветхим потолком
Широкий след,
Весьма похожий
На шнур звоночный в доме богача.

Здесь воздух тягостен от вздохов
И мерзкой сыростью напитан...
Привыкшие к удобным будкам,
Изнеженные барские собаки
В мансарде этой сдохли бы, наверно!

Сосновый стол, два стула рядом,—
За эту мебель на толкучке
Никто бы не дал ни гроша,—
Кровать с соломенным матрасом,
Сундук, изъеденный жуками,—
Вот все предметы обстановки.

Кто здесь живет?
В усталом свете
Со мглой борящейся лампадки
Перемещаются фигуры,
Неясные, как сновиденья.

Глаза обманывает пламя,
А может быть, жильцы мансарды
На самом деле столь бескровны,
Столь призрачны?
О, бедность, бедность!

Там, на кровати, мать с младенцем.
Сосет младенец с хриплым стоном
Сухую грудь, но в ней — ни капли,
А мать задумалась, должно быть,
О чем-то
Очень невеселом —
Как в оттепель капель с карнизов,
С ресниц срываются слезинки,
Стекают по лицу младенца...

Но, может быть, и не в раздумье
Застыла женщина, а просто
Роняет слезы по привычке,

И льются, льются эти слезы,
Как по камням
Родник струится.
Сын старший, слава богу, спит.
Иль только кажется, что спит,
Там, на соломе у стены,
Дерюгой грубою прикрыт.
Спи, милый, спи!
Пускай тебе приснится хлеб,
Хотя б во сне ты будешь сыт
И сон твой будет королевским!

А у стола сидит мужчина.
Он молод. И темнее ночи
Его лицо,
Как будто сумрак.
Наполнивший мансарду эту,
Спускается с его чела.
Чело мужчины точно книга,
В которой все заботы мира
Записаны... Нужда и горесть
Мильонов жизней отразились
На том челе, как на картине,
И, освещая ту картину,
Пылают два огромных глаза,
Как две блуждающих кометы,
Которым некого бояться,
Но сами вызывают ужас.
И взгляд тех глаз летит все дальше
Сквозь громоздящиеся тучи,
Покуда, как орел могучий,
Не унесется в бесконечность.

2

Повсюду в мире тишина,
И тишина стоит в мансарде.
Вздыхает ветер за окном —
Вздыхает женщина в мансарде.
Присел в постели старший мальчик,
К стене устало прислонился

И глухо, будто из могилы,
Сказал:
«Отец, хочу уснуть я,
Но мне от голоду не спится.
Отец, найди кусочек хлебца!
Хоть покажи и спрячь обратно,
И это будет хорошо!»

«Мой милый, подожди до завтра!
До завтра. Утром хлеб получишь,
Ты булку сдобную получишь
На петушином молоке!»

«Нет! Нынче черствый хлебец
Дороже мне, чем завтра утром
Любая сдоба, потому что
Могу до завтра умереть!
И я умру. Я это знаю!
Ты день за днем сулишь мне завтра,
Но завтра будет, как сегодня,—
Голодное, как и вчера!
Отец, скажи, когда умрем мы,
Когда в могилу нас положат,
И там нас будет мучить голод?»

«Нет, сын мой, если мы умрем,
Мы больше голодать не будем».

«Отец, тогда хочу я смерти!
Прошу тебя — купи мне гробик,
Купи, отец, мне гробик — белый,
Как нашей матери лицо!
На кладбище меня снесите,
А там в могилу закопайте.
Отец, ведь мертвецы — счастливцы,
Им даже голод нипочем!»

Кому же в голову приходит
Ребенка называть невинным?
Где штык такой, такой кинжал,
Который мог бы беспощадней
Пронзить отеческое сердце,

Чем чистые уста ребенка?
Отец несчастный! Он пытался
Сдержать себя, но слезы градом
Вдруг хлынули! Закрыл руками
Лицо свое отец несчастный,
И показалось, что не слезы,
А кровь из лопнувшего сердца
Своей соленой, жаркой влагой
Покрыла руки!

Он не привык стонать и плакать.
Но тут не мог он удержаться.

«Господь небесный! Почему же
Меня ты не оставил вовсе
В небытии, куда стремятся
Душа и тело возвратиться?!
Зачем, господь, семью ты дал мне,
Раз не могу ее питать я,
Как пеликан, своею кровью?!
Но что я говорю? Наверно,
Господь уж знает, что творит,
И мне, слепому человеку,
Его высокий план неведом...
Мне ль бога призывать к ответу?
Бог плыть меня послал по морю,
Свой компас он вложил мне в сердце,
Плыву, куда укажет стрелка!
...Бери, мой сын, бери и ешь!
Ешь маленький кусочек хлеба
И наслаждайся. Этот ломтик
Хотел я поберечь до завтра.
А если съешь его сегодня,
То лишь господь небесный знает,
Чем завтра утром будешь сыт!»

И с жадностью схватил ребенок
Господень дар — сухую корку,
И ярче светлячков влюбленных
Сверкнули детские глаза,
Когда же он с последней крошкой
Покончил — сразу опустилась

Дремота на его головку,
Как опускается на землю
Туман вечерний в час заката.
И мальчуган заснул с улыбкой.
Что снилось:
Хлебец или гробик?

И мать,
Рыдать уже не в силах,
Двух братцев уложила рядом,
Руками обняла обоих,
Заснула на краю постели.
И встал из-за стола мужчина
И, тихо подойдя к кровати,
Задумался, скрестивши руки.

«Вот наконец-то вы счастливы,
Мои родные. С плеч усталых
Снимает сон всю тяжесть жизни,
Ту тяжесть, что влачить должны мы
С утра до ночи... Боже, боже!
Ведь это значит,
Что сон их любит
Сильней меня! Дарит он счастье,
Которого я дать не в силах!
Ну что же! Я и тем доволен,
Что хоть во сне они счастливы!
Родные, спите!
Доброй ночи!»

Затем поцеловал он спящих,
Как будто троицу святую,
И распростер над ними руки
(А сверх того благословенья
Не в силах дать он был ни крошки),
И отошел, на спящих глядя
Нежнейшим взором, чтобы розы
И ангелы всю ночь им снились...
А после, подойдя к окошку,
Он посмотрел во тьму ночную
Так угрожающе, как будто
Поджечь хотело сумрак ночи
Очей полярное сиянье.

Где мысли этого мужчины?
Куда стремится дух бессмертный?
Он на таких блуждает высях,
Куда взлететь способны только
Безумцы или полубоги!
Заботы дня, заботы дома
Он сбросил, как птенец скорлупку,
И мчится.
Человек в нем умер,
В нем только гражданин живет.
Кто прежде был привязан к дому,
Теперь привязан только к миру.
Он не троих
В объятьях держит,
А миллионы.

И крылья духа плещут в высях,
Откуда очи видят землю
Такою крошечной, как искра
В бумажном пепле.
И дух крылатый мчится к звездам,
И эти звезды
Трепещут от его полета,
Как пламень свечек!

Мильоны миль в одно мгновенье
Летят светила,
Но дух людской летит быстрее,
И отстают миры, как будто
В лесу от всадника
Деревья!

Когда же он взвился превыше
Скоплений звездных,
Когда уже проник, наверно,
Он в центр вселенной,
Тогда предстал пред ним создатель
Всего живого.
Тот, кто мирами управляет
Единым взглядом,
И свет живет во взгляде этом,
И света этого крупица

Зовется Солнцем,
Вокруг которого вращаться
Назначено Земле с Луною.

И воззвала душа людская,
Купаясь в божьей благодати,
Как лебедь нежится в прозрачной
Воде озерной:

«Господь, мой бог, мое блаженство,
Вот я — одна твоя пылинка!
К тебе взлетел, чтоб распластаться
Перед тобой
И рассказать: я сын твой верный,
Тобою послан в путь жестокий,
Но не ропщу, благословляя
Тебя, отец небесный, ибо
Ниспосланное испытанье
Есть знак любви твоей, о боже!
Я знаю, что тобой я избран!
Земные люди измельчали,
Забыв тебя, рабами стали,
А рабство — всех грехов начало.
В грехах погрязли
Дети рабства,
И человек пред человеком
Склоняется! А кто способен
Вот так склоняться перед ближним,
Тот, господи, есть твой хулитель!
Тебя, господь, позорят люди,
Но так не может длиться вечно —
Вновь обретешь свое величье!
Ты дал мне жизнь, отец небесный,
Я посвящу ее тебе,
И будет ли за то награда —
Не думаю об этом я!
Ведь каждый раб готов трудиться,
Когда награду посулят,
Но без надежды на награду
И без желания наград
Трудился я и снова буду
Трудиться точно так и впредь!
И будет мне вознагражденьем,

Что из несчастнейших рабов
В людей вновь превратятся люди...
Хоть грешники они, но все же
Я их люблю. О боже правый,
Дай света, боже, дай мне сил,
Чтоб ради ближних потрудиться
Мне не напрасно удалось!»

Такую речь душа сказала
И возвратилась с небосвода
Обратно в тесную каморку,
Где тело ждет ее, застыв.

И вот мужчина содрогнулся,
Озноб прошел по телу,
Холодный пот блеснул на лбу
Въявь это было или снилось?
Въявь. Потому что спать хотелось.
Устал летать. И на ресницы
Уселся сон. И человек
Свое измученное тело
Приподнял и понес, шатаясь,
К соломенному тюфяку.

И вот
Тот самый,
Кто недавно
Беседовал на небе с богом,
Теперь валяется на грубой
Подстилке, где-то на полу.
Пал на солому благодетель
В тот час, когда владыки мира,
И палачи, и нечестивцы
На шелковых подушках спят.
В последний раз ночник мигает,
И гаснет язычок усталый,
Рассеивается за окошком
Ночная тьма.
Вдаль уплывают тайны мрака,
Заря, садовница вселенной,
Проснувшись, рассыпает розы
На стекла окон городских.
А вот и солнце. Луч рассвета
Ложится на чело мужчины,

Как золотой венок,
Как теплый
Блестящий божий поцелуй.

4

Кто ты, чудесное созданье?
Кто ты, мужчина?
Одеянье
Твоей души —
Плащ огнецветный,
Из звездных сотканный лучей,
Но тело у тебя одето
В лохмотья! А в карманах — пусто.
Тебя с семьею мучит голод,
И праздником считаешь ты,
Коль свежим хлебом удается
Украсить непокрытый стол,
Но осчастливить мир ты хочешь
Такими благами, каких,
Увы, не можешь обеспечить
И для семейства своего!
Свободный вход имея к богу,
Попробуй-ка явись ты в гости
В господский дом. Тебя не впустят.
Ты вольно с богом говоришь,
Но если богача окликнешь,
Он даже и не обернется...
Есть люди, что тебя сегодня
Святым апостолом зовут,
Другие же тебя готовы
Назвать злодеем, святотатцем.
Кто ты? Откуда происходишь?
Родители тобой гордятся,
Иль от стыда горят их лица,
Коль о тебе заходит речь?
На чем рожден ты? На дерюге?
А может быть, и на парче?
Я мог бы рассказать подробно
О жизни этого мужчины.
Я расскажу... А если б кистью
Изображал я эту жизнь,

Меня преследовал бы образ
Ручья, берущего начало
Среди неведомых утесов,
Текущего через ущелья,
Где стаи воронов ютятся,—
Ручья, который с гор стремится
И спотыкается о камни,
И вечной болью стонут волны...

5

Часы провозгласили полночь,
А ночь была жестокой, зимней,
Ее тираны — Тьма и Холод —
Владычили над целым миром.
В домах таились люди. Кто бы
Стал искушать богов небесных
В такую ночь под вольным небом?
На улицах, где так недавно
Томились и толкались люди,
Все было пусто, точно в руслах
Иссохших рек. И в том безлюдье
Скитался лишь один безумец —
Вихрь...
Он по улицам метался,
Как будто бы оседлан чертом,
Который огненные шпоры
Ему в бока вонзал...
Гневливо
Он вскакивал на крыши зданий,
И в трубы лез,
И мчался дальше,
И выл в простуженные уши
Глухой, ослепшей зимней ночи,
Затем тот вихрь вцепился в тучи,
Когтями разодрал их в клочья;
В испуге звезды задрожали,
И, как утопленник, всплывая
Меж туч, луна заколыхалась.
Но вот уже через мгновенье
Вихрь снова мощным дуновеньем
Укутал в тучи
Луну и звезды,

И на землю с высот небесных,
Как птица хищная на жертву,
Он ринулся,
Но уцепился
Лишь за расшатанную раму
В оконце ветхом,
Встряхнул ее и вырвал с треском
И, насладясь переполохом,
Умчался прочь со страшным смехом.
Был город пуст. Кому охота
Гулять в такую ночь? Но все же
Вот путник... Иль, быть может, призрак -
Его обличие неясно...
Идет... все ближе он... и видно,
Что это женщина. Но только
Останется загадкой мрака,
Кто это — дама под вуалью
Иль просто нищенка в лохмотьях?
Она несмело огляделась
И вдруг увидела карету,
К ней воровским подкралась шагом,
Удостоверилась, что кучер
На козлах дремлет преспокойно,
И тихо приоткрыла дверцу...
Ворует? Нет, наоборот,—
Кладет в карету что-то... Дверцу
Захлопнула и исчезает...
И вот открылись двери дома,
Выходят господин и дама,
Они идут к карете. Сели.
Бич свистнул. Лошади помчались.
Но что за крик внутри кареты?
То дама взвизгнула. В карете
У ног ее пищит дитя!

Доехали... Открылась дверца,
Выходят господин и дама,
И тут вознице молодому
Сказала пассажирка так:

«Вот получите деньги эти,
А там в карете вы найдете
Ребенка, малое дитя!

Себе на чай его возьмите —
Великолепный мальчуган!
О нем вы, милый, позаботьтесь —
Ребенок — это дар господень!»

И господа ушли, смеясь.

Дитя, найденное в карете,
Что ж ты не родилось собакой!
Ведь на коленях этой дамы
Тебе местечко бы нашлось!
Она тебя бы воспитала...
Но так как ты не собачонка,
То знает лишь господь небесный,
Что в жизни станется с тобой!

Почесывал затылок кучер...
Молился он или бранился?
Но ясно было и понятно,
Что этот самый божий дар
Ему пришелся не по вкусу:
«Ведь вот щенок! Что с ним поделать?
Везти домой? Но мой хозяин
Обоих вышвырнет за дверь!»
И зло стегнул он лошадей
И горестно поехал прочь.

Он улицей окрайны едет
И видит, что в одном трактире
Еще не кончилось веселье.
Окно трактира багровеет,
Как пьяницы распухший нос.
«Ну вот и ладно!» — буркнул кучер,
Господень дар к дверям кабацким
Подбросил и погнал коней!

Едва успел отъехать кучер,
Как из дверей кабацких выпал,
Крича ужасные проклятья,
Порядочно хмельной старик.
Через порог переступая,
Споткнулся он и растянулся,

Да так, что носом снег вспахал.
«Вы пострадали, ваша милость! —
Он сам себе промолвил лежа.—
А ты, порог, ты вырос, что ли?
Вчера ты не был так высок!
Ведь если был таким вчера ты,
То я бы и вчера споткнулся,
Но ведь вчера я не споткнулся,
Хотя не меньше пил вина.
Я в этом деле очень точен!
Я пью по мерке. Понимаешь?»
Так он бурчал, с трудом поднявшись,
И прочь поплелся он, твердя:
«Нет, что вы там ни говорите,
А по сравненью с днем вчерашним
Он вырос... И не отступлюсь я
От этого... Я сделал шаг,
А он, проклятый, вырос... Стыдно
Подстраивать такие штуки!
А может быть, подложен камень?
Ведь люди злы! Все может быть!
Всегда хотят подставить ножку,
Дурные люди, злые люди!
Брось под слепые ноги камень,
И человек расквасит нос!
Мол, слепость ног подгадит носу!
Ну ладно! Я хоть тем утешусь,
Что все о камешек споткнутся!
Хе! Полюбуюсь, посмотрю,
Как будут люди спотыкаться...
Но, впрочем, что я говорю!
Старик, ты что это задумал?
Достойно ли тебя злорадство?
Нет, старина, вернемся к двери,
Отбросим этот камень прочь!
Я вор, а при нужде — грабитель,
А если надо, я — убийца,
Но все же не допустит совесть,
Чтоб люди спотыкались зря!»

Идет назад старик почтенный,
Чтоб от дверей отбросить камень,
Нагнулся, взял его руками.

«Ха! Что за писк!» И вздрогнул старец
И закричал от удивленья:
«Гром разрази меня, но только
Не видел мир такого камня!
Он — мягкий, и к тому ж визжащий!
Визжащий камень! Это странно!
А ну-ка, поднесем к окошку...
Хо-хо! Да это же — младенец,
Ребенок самый настоящий!
Гу! С добрым вечером, братишка!
Или сестренка? Непонятно!
Ты кто таков? Какого черта
Здесь оказался? Вероятно,
Удрал ты из родного дома,
Злодей малюсенький! Однако
Что я толкую? Вздор какой-то!
Ведь ты, бедняжечка, в пеленках,
Быть может, только что родился.
А кто родители? Я знал бы,
Так вмиг бы им тебя доставил!
Вот это уж злодейство вправду —
Такого малого ребенка
Подкинуть, как башмак дырявый!
На это ведь не только воры,
А даже свиньи не способны!
В лохмотья жалкие укутан,
Ты — бедной матери ребенок.
Гм... а быть может, и не бедной,
А для отвода глаз она
Тебя укутала в лохмотья,
Чтобы никто не догадался
О знатности происхожденья...
Кто знает? Знать никто не может,
Навеки тайна будет тайной...
Но кто займется человечком?
Кто? Я! Ей-богу, я и стану
Отцом твоим, и честь по чести
Тебя я воспитаю. Буду
Красть для тебя, покуда в силах.
Когда ж для этой я работы
Состарюсь,— будешь красть, мой мальчик,
Ты для меня. Уж так ведется.
Рука-то руку моет! Понял?

И воровство мое отныне
Становится вполне законным —
Я на двоих теперь ворую!
Терзать меня не будет совесть!
Однако молоко ребенку
Необходимо. Что ж! Достанем!
Соседка своего младенца
Как раз вчера похоронила —
Теперь тебя кормить возьмется.
Возьмется! Коль почует деньги,
То выкормит она и черта!»

Так бормоча, побрел он к дому,
Старик добрейший. Переулки
Вели к жилищу потайному,
К норе в подвале...
И соседку
Он разбудил:

«Соседка, свечку!
Зажгите свечку поскорее,
Не то сожгу я всю трущобу!
Зачем свеча — вы знать хотите?
Зажжете — все вам станет ясно!
Так! А теперь без промедленья
Младенца накормите грудью.
Где взял его я? На пороге
Нашел. Подарок это божий,
Ведь говорил я не однажды —
Меня господь небесный любит!
Да! Любит! И гораздо больше,
Чем это думают попы!
Вот вам сокровище, соседка,
Но, чур, его не уморите,
Как своего дитятю. Ясно?
А все расходы и затраты
Я вам, конечно, возмещу!
Ведь мы друг друга понимаем!
Сочтемся! Правда, деньги нынче
Родятся плохо — люди стали
Стоглазы, черт их побери!
Но все ж я уплачу по-царски.

Поможет бог! И повторяю:
Заботьтесь о ребенке этом,
Как будто о самой себе!
Ведь старости моей надежда
Найденыш этот!»

Сторговались...
Дитя пригрето. Ротик тянет
Из женской груди жизни горечь.
Лишь день живет дитя, но сколько
Его уж эта жизнь швыряла?!
А что еще случится дальше?!

6

Поутру рано старый грешник
Спросил соседку с любопытством:
«Как чувствует себя ребенок?
Хозяевами гость доволен?
Э, милая моя соседка,
Мне кажется, у вас прохладно!
Вы, ведьма этакая! Скряга!
Сто раз я повторять вам буду:
Топите печь!.. Ну, ладно, ладно...
Он мальчик или же девчонка?»
«Да, господин сосед, он мальчик —
Он первосортнейший мальчишка!»

«Тем лучше! Лет за восемь-девять
Такой Христос из парня выйдет,
Такого вора воспитаю,
Что прямо прелесть!
В этом деле
Я знаю толк!
Кем, как не мною, был воспитан
Хотя бы Тамаш одноглазый,
Тот самый, что на днях повешен?
Вот это вор был! Одноглазый,
Тысячеглазого он бога
Обворовал! Сынок, не бойся,
И ты не самоучкой будешь!
Но — имя? Надобно, соседка,
Ребенку дать такое имя,

Которое его прославит
На целый мир.
Итак, мой ангел,
Какое имя дать ребенку?
А ну-ка мы заглянем в святцы.
Так... Был вчера Сильвестров день!
Прекрасно! За попа я буду,
А вы, соседка, будьте крестной,
Мы окрестим его, чтоб имя
Носил мальчишка по закону
И был бы добрый христианин,
А не язычник, и не смел бы
Его прогнать от двери райской
Апостол Петр...
Итак, приступим...
Есть теплая вода в кастрюльке?
Ребенка дайте мне сюда!
Но — стойте. Я ведь поп. Где ж ряса?
В мешок вот этот облачусь!»

И, облачившись, старый грешник
Схватил кастрюльку церемонно
И, совершив обряд крещенья,
Сильвестром мальчика нарек.

7

Прошло четыре с лишним года.
И вот Сильвестр уж не младенец.
Во мгле трущоб, во тьме подземной
Он вырос вместе с преступленьем
И насекомыми. На небо
Он не глядел, и воздух чистый
Он не вдыхал, и красотою
Земли не мог он любоваться.
Он жил, как мертвые в гробах.

Но радовался старый грешник,
Что ум и ловкость может высечь
Из маленького мальчугана,
Как будто искру из кремня.
Не сомневался он нимало —

Из искры разрастется пламя!..
Таскал уж у торговок фрукты
Четырехлетний мальчуган,
Умел выуживать монеты
Из шляпы нищего слепого...
И свежим хлебом, добрым словом
Платил, нисколько не скупясь,
Премудрый старый воспитатель
Воспитаннику за успехи,
Но бил ребенка, если за день
Ни крошечки не крал Сильвестр,
Хоть так случалось очень редко.
И видел мудрый старый грешник:
Растет его надежда, крепнет!
И множество воздушных замков
На скалах будущего ставил
Старик, покуда не пришлось
Застрять между землей и небом
Ему в петле,— хоть мудрый старец
Гораздо больше заслужил!

В минуту вознесенья старца
Соседка не сидела дома,
А видела, как ловкий мастер
На благодетеля накинул
Петлю. И высунул нахально
Старик язык свой, и как будто
Над целым миром издевался
Он на прощанье в этот миг.

Домой вернувшись после казни,
Соседка мальчику сказала
Приветливо и благосклонно:
«Ну вот... Теперь тебя, сыночек,
Черт может взять, когда захочет.
Так уходи же с богом к черту!
Отныне за тебя не платят.
Не на свои же деньги буду
Откармливать тебя, как гуся!
Я окажу тебе любезность
И провожу тебя до двери,
Но если ты назад вернешься,
В канаву выброшу тебя!»

Всего не понял несмышленыш,
Но он повиновался молча.
Когда ж за ним закрылись двери,
На этот звук он обернулся
И в путь бестрепетно пустился.
Он брел
По улицам столицы.
Столь далеко зашел впервые,
И все, что видел, было ново:
Дома, ряды нарядных лавок,
Толпа прохожих разодетых...
Раскрыв глаза, стоял мальчишка,
Раскрыв глаза, шагал он дальше,
И если улица кончалась,
Она в другую превращалась,
Как будто город был бескрайным.

От путешествия такого
Устал ребенок. И на тумбу
Взял и присел у перекрестка,
Ребят каких-то увидал.
Любуясь блеском их игрушек,
Он улыбался, и как будто
Играл он тоже вместе с ними,
И незаметно задремал.

Спал долго.
Вдруг ему приснилось,
Что два нылающие прута
Из раскаленного железа
В глаза ему хотят вонзиться.
И тут он застонал от страха,
Затрепетал и пробудился.
Была уж ночь. На небе — звезды,
На улицах — ни человека,
И только жирная старуха
Стояла перед ним.
Упорно
Она в глаза ему глядела,
И мальчик испугался больше,
Чем раскаленного железа,
Ее пронзительного взгляда.
И головой припал он к тумбе,

Взглянуть не смея на старуху,
Но и не смея отвернуться.
Погладила его старуха
И ласково проговорила:
«Как звать тебя? Кто папа с мамой?
Где ты живешь? Пойдем. Дай ручку.
Я доведу тебя до дома».
«Сильвестр я,— мальчик ей ответил.—
Кто папа с мамой — я не знаю.
Меня нашли. Домой вернуться
Я не могу — меня соседка
В канаву бросить обещает!»
«Тогда пойдем, сынок, со мною.
Пойдем! Тебе я буду мамой
Заботливой и кроткой... Хочешь?»

И вслед за страшною старухой
Пошел с тревогою ребенок.
Дрожал, почти терял сознанье —
Чего боится — сам не знал.

«Мы здесь живем, сынок. Вот видишь,—
Сказала страшная старуха,—
Мое жилье — каморка эта!
А кухня будет за тобой.
Ты не соскучишься. Тут — песик...
Эй, песик! Правда, милый песик?
Вот с ним и будете вы вместе
Здесь на одной подстилке спать!
Постели лучшей и не надо —
Тебя согреет милый песик.
Не бойся, это — добрый песик!
Гляди, как ласково он смотрит,
Приветливо хвостом виляет!
Вы будете любить друг друга,
Как братцы, я не сомневаюсь!
Ну вот, ложись теперь и спи.
Есть хочется? Дала бы ужин,
Но поздно, спать тебе охота,
Да и к тому ж, на сон грядущий,
Особенно ребятам малым,
Есть не полезно — черти снятся!
Ложись же, мальчик, и усни!»

Затем старуха удалилась,
А мальчик робко к псу поплелся
И лег с ним рядышком несмело.
Но дружелюбно
Прижался пес к спине ребячьей.
Сквозь сумрак ночи очи пса
Сверкнули, и мерцанье это
Таким казалось мирным, братским,
Что мальчик вовсе осмелел.
Они все ближе и все ближе
Во мгле друг к другу прижимались.
Ребенок гладил пса по шерсти,
И в губы пес его лизнул,
И разговаривал с ним мальчик,
А пес в ответ скулил о чем-то,
И такова была завязка
Горячей дружбы...

А наутро
Старуха мальчику сказала:
«Теперь, дитя мое, послушай!
Пойми, пожалуйста, что даром
Я содержать тебя не стану —
Ведь даром даже гроб господень
Не стерегли! Пойми, дружок:
Работать надо!
Так и написано в Писанье:
«Кто не работает — не ест!»
Тебе придется потрудиться.
Не бойся! Будет этот труд
Не тяжелее, чем у принца!
Труд этот нищенством зовут!
Вот — вся работа. Мне уж стыдно
Просить — я слишком раздобрела.
Меня народ жестокий гонит,
Когда я руку протяну.
А ты для попрошайства годен,
Тебя-то люди пожалеют
И подадут. Ты говори:
«Я сирота, отец мой помер,
А мать лежит больная дома!»
Следить я буду за тобою
Из-за угла, и это значит,

Что ты трудиться должен честно.
В противном случае — заплачешь.
Могу сказать тебе заране:
Добра я в добром настроенье,
Но очень зла я, если — злая!
И будет лучше, если это
Ты на носу себе зарубишь.
Ты понял?
Значит, будешь клянчить
У всех, чье платье побогаче,
Чем у тебя. Таких — немало...
При виде их ты тянешь руку,
А голову склоняешь набок,
А брови этак вот сдвигаешь,
А губы так вот опускаешь,
А глазки этак вот слюнявишь,
А произносишь вот что, помни:
«Во имя матери и бога!»
Все ясно? Повторять не надо?
Не понял — повторю сначала,
А непонятны объясненья,
Так я науку попрошайства
Вобью в тебя вот этой палкой!»

«Я понял все,— Сильвестр ответил,—
Я ничего не позабуду».
«Ну, покажи! — сказала ведьма.
Послушала и удивилась.—
Хи-хи! Прекрасно, в самом деле!
Впрямь дно нашла я золотое
В тебе, сынок!»

Тут ухмыльнулась
Старуха пакостная:
«Будем
Как графы жить! Совсем как графы!
Немедленно приступим к жатве.
Есть хочешь? Ну, когда вернемся,
Наешься прямо до отвала.
А впрочем, много есть не надо,
А то некстати разжиреешь,
И вся удача, точно заяц,
Ускачет, а тогда по следу

Хоть палкой бей — не будет толку!
Гроша не стоит
Толстый нищий!»

Идут на людный перекресток.
«Вот здесь и встань!» — сказала ведьма,
Сама идет в кабак соседний,
Поглядывает из окошка.
И каждый раз, когда Сильвестру
Бросает кто-нибудь монету,
Карга стаканчик подымает,
Отхлебывает, ухмыляясь.

8

Так проходили дни за днями.
Просил и голодал ребенок.
Заботилась карга исправно,
Чтоб он не разжирел, бедняжка.
Просил и голодал — лишь это
Он знал и ничего иного.
Он видел: сверстники играют,
И думал: «Как бы славно было
Играть вот так, с другими вместе!»
И созревал печальный разум,
И ясно понимал ребенок,
Что он — несчастен!
Уже два года
Он попрошайничал вот этак,
Уж больше и не приходилось
Слезу подделывать слюною —
Глаза слезой блистали сами!

И лишь один был друг, который
Всегда глядел тепло и с лаской
На мальчугана.
Любовь у них была взаимной,
И с этим другом он делился
И тем, что получал от ведьмы,
И тем, что подавали люди.
Была собака
Этим другом!

Сильвестр утрами чуть не плакал
При расставанье с другом верным,
А возвращаясь, ликовал он,
Увидев пса... Старуха ведьма
Уже возревновала к дружбе.
Завидовала, что собака
Ее любила много меньше,
Чем мальчика. И часто била
Собаку, а собака выла,
А мальчик плакал. И старуха
Собаку выгнала из дома,
Но пес тотчас же возвратился.
Сильвестр любил его все крепче,
Старуха гневалась все больше!

Так жил ребенок. Шестилетний,
Он нищету шести столетий
Познал. И радости сиротской
Познал он несколько минут.
Дрожа от холода, стоял он
На улице. Был поздний вечер
Ненастной осени. Над грязью
Висел туман.
В грязи, в тумане,
Сильвестр, босой, стоял без шапки,
Худую маленькую руку
Протягивал к прохожим он.
Просил он. И горящей болью,
И перезвоном похоронным
Его моленья доносились
До человеческих сердец.

И вдруг какой-то хмурый барин
Взглянул так пристально и грозно,
И так его сверкнули очи,
Что захотелось убежать.

«Постой! — промолвил хмурый барин.
Сильвестр не смел пошевельнуться.—
Где мать твоя и кто отец твой?»
«Мать...» Мальчуган хотел начать
Привычное повествованье,

Что мать больна и голодает,
Отец же только что скончался,
Но вдруг решил, что хмурый барин
Не даст ему солгать ни слова.
«Он знает все»,— подумал мальчик...
«Родителей нет у меня! —
Он прошептал.— И ничего я
Про них не знаю. Я — подкидыш!»
«Иди за мною»,— буркнул барин,
И мальчуган повиновался.
Но ведьма, выйдя из трактира,
«Лжец! — закричала.— Дрянь мальчишка,
Куда ты? Это сын мой, сударь!
Ведь это, сударь, мой сынок!»

«О сударь! — закричал ребенок.—
Не сын я ей! Не верьте, сударь!
Спасите, сударь, защитите,
С собой возьмите, умоляю!
Мне нищенствовать надоело,
Я соберу — она отымет!
Она меня почти не кормит,
Затем чтоб стал я худ, как щепка,
И мне щедрее подавали!
О, господи! Я есть хочу!»
Так закричал Сильвестр. С мольбою
Он поглядел на господина,
И слезы хлынули как дождь.

«Ах ты подлец, ах, богохульник! —
Седая ведьма заорала,—
Ах, желудь с дьявольского дуба!
Ты колос лжи, худая морда,
Негодная и на подметки!
Такой-сякой ты, дрянь сплошная!
Ты скажешь, что и подаянье
Мне отдаешь? Стыжусь до смерти
Такого попрошайки-сына —
Недогляжу, а он уж клянчит!
Ведь сколько раз его лупила
За то, что он меня позорит.
Бедна я, но просить нет нужды —

Живу на заработок честный...
Его я голодом морила!
На самом деле от себя
Кусок я лучший отрываю
И прямо в пасть ему сую...
Ну, ладно. Пусть... Но — отрекаться!
Ах ты, ничтожная душонка,
Неужто можешь ты, негодник,
От матери родной отречься?
Да как же печень, селезенка
Не вырвутся из злой утробы?
От матери своей отречься!
Как смел ты, внучек? Покарает
Тебя господь! Как смел от бабки...
Тьфу, черт... От матери отречься?»
И тут, переведя дыханье,
Карга пошла браниться дальше,
Но хмурый барин вдруг воскликнул:
«Молчать! Комедии довольно.
Не то тебя ударю палкой!
Ишь, ведьма!
Ты ж пьяна, как бочка!
Ну, ладно. С метриками завтра
Приди ко мне, но в трезвом виде
(Живу в большом вот этом доме)
И если метрики покажешь,
Ребенка я отдам обратно...
Ну, прочь иди! А ты, мой мальчик,
Иди за мной!»

За господином
Сильвестр пошел. Ему казалось,
Что ведьма тащится по следу,
За шиворот схватить готова.
Но та, не смея приближаться,
Там и осталась, где стояла,
И только кулаки казала,
Глазами страшными вращая.
Они пылали, как раскаленное железо,
Когда его кует кузнец.

Гораздо лучше зажил мальчик —
И воровать теперь не надо,
И попрошайничать не надо —
Что за блаженство! Что за счастье!
Лишь иногда тревоги ястреб
Над ним нарил: а вдруг старуха
Придет и метрики предъявит?
Что делать? А порою реял
Над мальчиком нечали голубь —
Припоминался верный песик,
Друг и товарищ.
В такие дни к старухе ведьме
Готов был мальчик возвратиться
И попрошайничать, чтоб только
Увидеть пса. Он часто снился.
Сильвестр во сне ласкал собаку,
А та ему лизала руку.
И, пробудившись, мальчик плакал
Так долго-долго, горько-горько.
А барин, приведя Сильвестра
В свой дом, тотчас распорядился,
Чтоб слуги привели в порядок
Несчастнейшего мальчугана.
Его почистили, отмыли
От старой грязи, вместо тряпок
В нарядное одели платье...
Как было все это приятно!
Как будто снова он родился!
Но вслед за этим хмурый барин
Позвал его и молвил строго:

«Вот сын мой! Ты его обязан
Звать «милостивым государем»,
И это будет твой хозяин.
Чтоб ты ему повиновался!
Он будет барин, ты — прислужник.
Ты должен слушаться, и только.
Едва успеет он подумать —
Понять ты должен и исполнить.
И все тогда в порядке будет,—
Тебя одену и обую,

А коль не так — тебе на плечи
Навешу я твои лохмотья,
В которых ты сюда явился,
И — уходи куда угодно
И попрошайничай, как прежде!»

И молодому господину
Служить подкидыш начал честно.
Сопровождал его повсюду
И сделался хозяйской тенью.
И по движенью губ хозяйских
Угадывал, что хочет барич,
Чтоб выполнить без промедленья.

...Но все ж страдал наш бедный мальчик
По той причине,
Что юный сударь
Таким же был щенком противным,
Как все барчата...
Ежеминутно, ежечасно
Барчонок унижал Сильвестра:
Коль супом обжигал он губы,
То бил он по губам Сильвестра,
И если кто-нибудь при встрече
Не кланялся барчонку злому,
То он срывал с Сильвестра шапку.
А если за волосы дергал
Цирюльник барича, то барич
Тотчас хватал за чуб Сильвестра.
И не было такой издевки,
Какая бы ни приходила
На ум барчонку. Он Сильвестру
Ступал на пятки: «Прочь с дороги!»
Плевался и бросался грязью,
Чтоб посмеяться: «Как ты грязен!»
И бил. И если мальчик плакал,
То барич звал его ублюдком.

Терпел немало бедный мальчик,
Страдал все больше он и больше,
Однако все свои несчастья
Претерпевал он, как мужчина,
В котором дух живет могучий.

А почему не оставлял он
Мучительную эту службу?
О, если б вы об этом знали!

Нет, не харчи и не одежда
Удерживали от соблазна
Бежать отсюда без оглядки!
Он не был гусаку подобен
Иль петуху, что забредают
Далёко, но, почуяв голод,
Вновь возвращаются к кормушке.
Нет! Был на соловья похож он,
На жаворонка походил он,
Которые, едва почуяв,
Что растворились дверцы клетки,
Пренебрегают сытой пищей
И улетают безвозвратно,
Чтоб вольной волей насладиться.

Вот кем он был! Он был как птица,
Стремящаяся на волю,
Но все ж не покидал он клетки,
Он к этой клетке был прикован
Одним желанием —
Учиться!

Учился он в господском доме:
Стоял он за спиной барчонка,
Заглядывая жадно в книги.
И все, что говорил учитель,
Немедленно запоминал он,
И то, что выучил однажды,
Из головы не вылетало —
Читать, писать он начал прежде,
Чем глупый барич...

Вот так и умножались годы,
Вот так и умножались знанья,
Как будто бы рога оленя,
Они ветвились.
И мальчуган гордился этим.
И, если барич
Все путал, по обыкновенью,

Сильвестр его ошибки видел,
И про себя он улыбался.
Все это понимал учитель
И знал он, что слуга способней
Высокомерного барчонка.
И если тот не знал урока,
Учитель, на позор лентяю,
К слуге с вопросом обращался
И, получив ответ толковый,
Стыдил барчонка.

Но успехи
Сильвестру не сулили счастья.
Наоборот — кичливый барич
Слуге, который был умнее,
Мстил и придумывал обиды
Все оскорбительней, все злее.
А мальчик барские удары
Душою ощущал, не телом.
Краснел не потому, что больно,
А потому, что было стыдно.

Так время шло. И на рассвете
Семнадцатого года жизни
Лучи всходящего светила
Рассеяли туман сознанья,
И каждый луч сливался в букву,
И буквы стали письменами.
«Довольно! По какому праву
Здесь бьют меня? Какое право
Один имеет человек
На то, чтоб обижать другого?
И разве создает господь
Того хорошим, а другого
Плохим? Нет! Если справедлив
Господь небесный, то не может
Так делать! Значит, всех людей
Он любит равно! Вот в чем правда!
Я больше не могу терпеть!
Довольно, хватит, будь что будет!
Я получаю пищу, кров,
Но ведь работаю за это.
И за добро я заплатил.

Они меня заставить могут,
Чтоб я работал дни и ночи.
У них на это право есть,
Но нету права на побои!
Пусть тронут только раз еще,
И я не потерплю, ей-богу!»

Так и случилось. И однажды,
Когда барчонок замахнулся
(Ждать этого пришлось недолго),
Сильвестр воскликнул:
«Хватит, барич!
Не смейте! Дам такую сдачу,
Что плакать будете до смерти.
Довольно был я вам собакой,
Которую пинали, били!
Теперь я стану человеком!
Ведь слуги — это тоже люди.
Поймите: то благодеянье,
Что оказал мне ваш родитель,
С меня вы сколотили палкой.
Итак, мы — квиты!»

От этой речи необычной
Остолбенел барчонок. Взвизгнул:
«Ты бунтовщик! Да как ты смеешь?
Подкидыш! Рабское отродье!»

Но голосом, презренья полным,
Ему в ответ промолвил мальчик:
«Да? Рабское отродье? Если
Уж говорить о родословной,—
Быть может, мой отец знатнее
Всех ваших предков, вместе взятых.
А то, что он меня подкинул,
Его, а не моя ошибка.
И если все аристократы
Так омерзительны, как вы,
То мой отец прекрасно сделал,
Что бросил он меня. Теперь
Благодаря его поступку
Я стану честным человеком!
Я бунтовщик? Но если бунтом
Считается у человека

Сознание, что человек он
И остальных людей не хуже,
То званье бунтаря приму я
С великой гордостью! И если б
Свои я чувства обнаружил,
За мной бы встали миллионы
И все бы в мире задрожало,
Как Рим дрожал во дни Спартака,
Когда рабы, сорвав оковы,
Хлестали ими стены Рима!
Нет, милостивый государь!
Бог с вами! Мы должны расстаться.
Сегодня с вами говорил я
Как человек. А коль слуга
Подымется до человека,
То лучше с голода умрет
И лучше он пойдет на плаху,
Но не останется слугой!»

И повернулся он и вышел
Навеки из большого дома,
Где детство, как цветок болотный,
В воде стоячей отцвело.

Пошел куда глаза глядели,
В огромный мир побрел без цели,
И юность загорелась в сердце,
Пылало сердце, будто город,
В котором пламень раздувался
Орущим великаном
Вихря.
И столько образов чудесных
В пыланье этом возникало,
И закалял тот пламень душу,
Как пламень горна брус железа!
А у заставы
Настиг Сильвестра
Учитель барский.
Едва переводя дыханье,
Добряк сказал:

«На, спрячь подальше
Вот эти деньги... Это за год
Я накопил... Тебе ж, мой мальчик,

Не на год хватит,
Коль будешь тратить
Экономно...
Я говорю тебе, сыночек:
Большим ты станешь человеком!
Я мальчиков тебя достойней
Еще не видывал... И сам я
Твои испытываю чувства,
Но высказать их я не смею.
Я очень за тебя боялся —
Ты поразил меня отвагой!
Благословит тебя создатель
За все слова твои... Совет мой...
Нет, мой приказ... Приказ! Ты слышишь?
Чтоб ты учился, кончил школу!
Я прокляну
За ослушанье,
Да и господь тебя накажет.
Не для себя на свет рожден ты,
А для отечества, для мира.
Вот мой приказ: изволь учиться!
А впрочем,
Сам ты это знаешь,
Ведь ты и так учиться любишь!
Итак, благословит создатель
Тебя, сынок! Живи счастливо
И вспоминай меня порою,
А если мой совет забудешь,
То и меня забудь навек!»

К учителю склонился мальчик,
Хотел поцеловать он руку.
Тот сделать это
Не позволил,
А сам Сильвестра крепко обнял,
Поцеловал и удалился
Он со слезами на глазах...

...Как радовался подросток,
Как радовался бедный мальчик:
Его впервые полюбили!
Шестнадцать лет он жил на свете
И мучился,

Покуда встретил
Человека,
Который оттолкнуть не хочет,
А обнимает.

10

Вот прочь из города он вышел,
Из тесных стен на вольный воздух,
Как из тюрьмы освободившись,
Пошел, вдыхая воздух вольный.
Наиценнейший дар господень,
От коего и ноги крепнут,
И крылья духа вырастают.

И на ходу он оглянулся,
А город был уже далеко,
Дома один с другим сливались,
И поглотил наполовину
Туман коричневые башни,
И, как пчелиное жужжанье,
Шум толп из города донесся.
И подбодрял себя подросток:
«О, дальше, дальше, чтоб не слышать
Тот шум и ничего не видеть,
Чтоб позабылось все, что было
В той жизни, если только жизнью
Все то, что было, звать возможно!»
Как будто бы кнутом гонимый,
Бежал Сильвестр. И город скрылся,
И лишь тогда, в бескрайной дали,
Он ощутил себя свободным.
«Свободен я! — вскричал подросток.—
Свободен я!» Ни слова больше
Не мог он вымолвить, но слезы
Об этом чувстве говорили
Красноречивее, чем речи.
О, что за чувства, что за мысли,
Когда впервой почуешь волю!

Все дальше, дальше шел подросток,
Туда, куда влечет природа,
И с величайшим удивленьем

Глядел он на леса, и горы,
И на луга, и на равнины,—
На все, что открывалось взору.
И все это казалось новым.
Впервые видел он природу
В ее красе.
И жадный взор
Блуждал в зеленых дебрях леса
И по вершинам дальних гор,
Где шум ручья звучит, как гром,
А гром звучит, как будто грохот
Во время Страшного суда...
И возвращался взор тогда
К безмолвным низменностям пушты,
Где тихие ручьи блуждают
И кажется великим шумом
Жуков чуть слышное жужжанье.
Повсюду побывал подросток
И восхищенными глазами
Все обошел. И вот, охвачен
Священным чувством восхищенья,
Он опустился на колени
И господу взмолился так:
«Господь! Тебя я обожаю!
Теперь я знаю, кто ты! Часто
Слыхал твое святое имя
И сам твердил я имя это,
Не ведая его значенья.
Но вот Великая Природа
Твое величье объяснила.
Теперь я знаю — кто ты! Славься,
Господь, вовеки!»

Куда б он ни взглянул — повсюду
Он видел чудную природу.
Но также видел он, скитаясь:
Везде несчастен человек,
Везде нужда и злодеянья
Его гнетут! Везде, всегда!
И убедился юный путник,
Что все ж не самый он несчастный
Среди людей,
И было больно

Понять, что есть на свете люди,
И большей жалости достойны,
Чем он. И собственная скорбь
Все меньше делалась, покуда
Не позабыл о ней он вовсе
И ощущать ее не стал.
И, чуя лишь чужие беды,
Сильвестр чело склонил на камни
И зарыдал.

11

И то, что кроткий воспитатель
Ему сказал, вручивши деньги
И обнимая на прощанье,—
Слов этих не забыл Сильвестр.
Он поступил учиться в школу
И обучался в ней прилежно,
И, как луна средь звезд, сиял он
Среди товарищей своих.
Товарищи ему дивились,
Но все ж его не полюбили —
На них давило, точно камень,
Величие его души.
Так на Сильвестра ополчились
И издевательство и зависть —
Летели ранящие стрелы.
Что тут поделать мог Сильвестр!

«Зачем понадобилось это? —
Нередко с кроткой добротою
К товарищам он обращался.—
Вы обижаете меня!
Зачем, друзья, вам это надо?
Учусь не для своей я пользы —
А ради вас!
Ведь все, что в школе я узнаю,
Поверьте мне, пойдет на пользу
Всем добрым людям в этом мире —
Кому угодно, а не мне!
Когда б вы мне взглянули в душу,

Наверное бы полюбили
Меня вы так же, как сейчас
Вы ненавидите меня!
Когда б вы мне взглянули в душу,
Вы поняли б свою ничтожность
И веток бы рубить не стали,
Где созревает плод для вас!
В тени вот этих самых веток
Когда-нибудь вы отдохнете!
О близорукие ребята!
И вы полюбите меня!
Ей-богу! Я уверен в этом!»

Ребята, слушая, смеялись.
Все уверения Сильвестра
Служили лишь зарядом новым
В ружье насмешки. То ружье
Всегда нацелено на сердце
Сильвестру было. И подросток
Все дальше отходил от мира,
Все глубже уходил в себя.
Всех избегал. И стало другом
Лишь одиночество ему.

Так он и жил... О чем он грезил,
Пустой мечтой считали люди,
Но знал Сильвестр — его виденья
Живыми были существами,
Прообразами дней грядущих.
Они ему глядели в душу.
И как Коран магометане,
И словно Библию евреи,
Историю он мировую
Читал...

О, как она прекрасна,
Та книга чудная! Ведь каждый
Все в ней найдет, чего он ищет.
И для одних она — блаженство,
А для других она — мученье.
Жизнь для одних она, другим же
Сулит погибель книга эта.

Одним даст она оружье:
«Ступай, борись! Бороться будешь
Ты не напрасно!
Ты человечеству поможешь!»
Другим же говорит: «Довольно!
Слагай оружье!
Бороться стал бы ты напрасно!
Ведь будет мир несчастен вечно,
Как и в былых тысячелетьях!»

Что юноша прочел в той книге,
О чем он думал,
Когда дрожащею рукою
Закрыл он книгу?

«Вот виноградина,— он думал,—
Невелика она, а все же,
Чтоб виноградина созрела,
На это требуется лето!
Земля ведь тоже плод огромный,
Так сколько лет необходимо,
Чтоб этот мощный плод созрел?
Тысячелетья? Миллионы?
Но все же и земля созреет,
Созреет этот плод великий,
И будут лакомиться люди
Им до скончания веков!
...Под солнцем зреет виноград,
И прежде, чем он станет сладок,
Мильоны солнечных лучей
В него вдыхают пламень жизни!
Вот так же и земля! Она
Ведь тоже зреет под лучами,
Но те лучи не солнце льет,
А человеческие души.
Явление души великой
И есть вот этот самый луч,
Но появляются не часто
Такие души на земле.
Так как же можем мы хотеть,
Чтоб этот мир созрел столь быстро?
Я чувствую, я — тоже луч,

И помогаю зреть я миру.
Лучи живут лишь день единый,
И знаю я: когда начнется
Тот виноградный сбор великий,
Я отгорю уже, погасну,
И след моих трудов ничтожных
Затерян будет меж великих
Трудов всего людского рода.
Но все же придает мне силу,
Спасает от боязни смерти
Сознанье, что я тоже — луч!

Так принимайся
За работу,
Душа моя!
Пусть ни минуты,
Ни дня потеряно не будет!
Задача велика,
А время
Летит,
И жизни дни — недолги!
А какова цель жизни? Счастье!
А счастье нам дает свобода!
Бороться буду за свободу,
Как многие уже боролись!
Пусть суждено платить мне кровью,
Как с многими уже случалось!
Примите, витязи Свободы,
Меня в ряды свои святые!
На верность знамени Свободы
Я присягаю! Если в теле
Найдется у меня хоть капля
Дурной, изменнической крови —
Ее я выжму или выжгу
Из самой сердцевины сердца!»
Такое сделал он признанье.
Признанья не слыхали люди,
Но бог услышал. И открыл он
Священный фолиант,
В котором
Записаны все жертвы,
И записал в ту книгу имя
Сильвестра.

Так вырос в юношу подросток,
Так вырос юноша в мужчину,
И год за годом приходили,
И на земле они гостили
И, не прощаясь, уходили,
Не обошли они Сильвестра —
И каждый год оставить след
Стремился на лице и в сердце.
Сильвестр давно окончил школу,
И шел по жизни он, как будто
В толпе,
Где толкотня такая,
Что от толчков и от ударов
Тускнеет и души разумность,
И свежесть юного румянца.

Мир не совсем таков на деле,
Каким рисуется в мечтах,
Он с каждым днем казался меньше,
И все ничтожней были люди,
Которых некогда господь
По своему подобью создал:
Те, что должны смотреть на солнце,
Теперь клонили очи долу,
Как будто у червей учились
В пыли дорожной пресмыкаться.
Но чем казались меньше люди,
Тем более казался важным
Тот труд, к которому призванье
Имел Сильвестр. И, духом крепок,
Быть может, делал он не больше,
Чем муравей, но делал это
Упорно он и неустанно.
Венец трудов роскошным не был,
Но был он целиком охвачен
Души немеркнущим сияньем!

Познания и добродетель
Прославили его и в школе.
Когда ж прошел он курс наук,

Заманчивые предложенья
Богатой и почетной службы
Он получил от многих лиц:

«Ты поступи ко мне на службу!
Слугой мне будешь, это — верно.
Но ты учти: большая почесть
Служить такому господину,
Как я! И если преклониться
Передо мной тебе придется,
То тысячи людей в округе
Преклонятся перед тобой.
И будешь только тем ты занят,
Что тысячи людей вот этих
Ты станешь обдирать как хочешь,–
Разбогатеешь без хлопот».

Сильвестр ответил: «Благодарен
Я вам за эти предложенья,
Но, чтобы слуг иметь ораву,
Не стану я слугою сам!
Я не желаю, чтобы в ноги
Мне кланялись собратья-люди,
И пусть никто не пожелает,
Чтоб перед ним я спину гнул!
Не знаю никого на свете,
Кто ниже был бы, чем я сам,
Но также никого не знаю,
Кто был бы выше, чем я сам.
А что касается богатства —
Его и даром не возьму!
Тем более — ценой насилья!»
Так отвечал он знатным людям,
Снимая перед ними шляпу,
Но голову не опустив.

Он пренебрег почетной службой,
Но бедняки пришли однажды,
Нотариусом пригласили
В свою деревню. Он пошел.
Он был и радостен и счастлив.
И вот, когда вошел в деревню,
Сказал с горящими глазами
Он бедным жителям ее:

«Народ, будь счастлив! Посмотри же
В глаза мои, чтоб стал я ныне
Тебе наставником, отцом!
Твоих обязанностей тяжесть
В твой мозг вбивали с колыбели,
А я пришел сюда сегодня
Учить тебя твоим правам!»

И он исполнил обещанье,
И не в корчму по вечерам
(Как это исстари водилось)
Крестьяне шли, а шли к нему.
И мог завидовать священник
Нотариусу молодому:
Его речам внимали старцы
И, что потариус промолвил,
Передавали молодежи.
Сильвестра чтили, как отца.

Но было все-таки два дома,
Откуда не благословенья,
А лишь проклятия летели...
И обитали в тех домах
Помещик и священник местный.
Все ненавистней становился
Для них Сильвестр.
И, наконец, они решили
Сгубить Сильвестра,
Решили твердо, ибо знали:
Коль не погубят —
Погибнут сами!

Но билось и в господском доме
Такое сердце,
Которое всегда болело
За человека из народа;
Нашлась и здесь душа такая,
Что к молодому человеку
Стремилась, как стремились души
Крестьян окрестных.
И если кто хвалил Сильвестра,
То это сердце
Торжествовало,
И горевало это сердце,

Когда порочили Сильвестра.
Но чьи же очи оценили
При самом скверном освещенье
Достоинства картины чудной
И правильно о ней судили?
Кто это был? Не кто иная —
Хозяйка дома молодая!
Да кто другой и быть бы мог?

Прекрасны женские сердца!
Для эгоизма эти двери
Всегда закрыты,
И может он туда проникнуть,
Лишь как насильник или вор,
Но сердце женское открыто
Для радости, для красоты.
И правда, если даже правда
Была гонима отовсюду,
Приют находит в сердце женском...
Прекрасны женские сердца!

Сильвестр и не подозревал,
Что наверху, в покоях барских,
Есть у него такой союзник,
Такой красивый покровитель.
Он видел девушку, когда
Она гуляла по деревне
Иль из дворцового окошка
В упор смотрела.
Чудеснейшее ощущенье
В душе Сильвестра возникало,
И будто говорило сердце:
«Ведь человек
Не только гражданин, но все же
И человек... Всегда ль он должен
Жить для других? А для себя?
О бедный малый, бедный малый,
Когда же будешь, бедный малый,
Жить для себя? Придет ли время?
Своей душой ты всех даришь,
А кто тебе свою подарит,
Хотя бы часть ее, хоть взгляд,
Чтоб понял ты, что значит — счастье?
Ведь сердце жаждет!

Это сердце
Способно выпить целый ливень,
Но, может быть, росинки даже
Не упадет тебе на сердце!
Будь, юноша, судьбой доволен,
Неси спокойно холод жизни;
Даритель счастья, оставайся
Несчастным! Сделайся землей,
Которая родит пшеницу,
Чтобы ее другие жали!
Будь факелом, который сам
Сжигает собственное тело!»

Судьба,— добра она иль злобна,—
Но порешила, чтоб однажды
Произошла такая встреча...
Свиданье было очень кратким,
Был разговор немногословен,
Но с этих пор встречались чаще,—
Случайно или же нарочно,
Они не думали об этом,—
А только все добросердечней
Их встречи были. Говорили
О чем угодно, об одном лишь —
Лишь о себе не говорили.
Но как-то раз,— быть может, это
Спросила девушка из замка
Или сама душа раскрылась,
Сильвестр не помнил,— но однажды
Поведал он,
Что нет на свете человека,
Который другом или братом
Его назвал бы...
Рассказал он,
Как жил у старикашки-вора,
И как попал он к попрошайке,
И как он сделался слугой...
Крал, побирался, был лакеем.
И муки нищенского детства
Все ж были легче мук душевных,
Отяготивших его юность
Еще ужаснее, чем голод...
...И, снова заглянувши в омут

Той жизни, из которой выплыл,
Там, в глубине озерной, черной,
Он муки все свои увидел,
И дрогнула душа, и слезы
Из глаз бежали, как солдаты
Бегут толпою с поля битвы,
Когда проиграно сраженье...
А с ним и девушка рыдала.

13

И в тот же день пришлось Сильвестру
Совсем иные разговоры
Вести с отцом своей подруги.
К себе призвал его помещик
И отчитал: зачем крестьян
С пути он истинного сводит
И чуть не к мятежу зовет.
«Коль этого не прекратите,
То выгоню я вас отсюда!»
Сильвестр с достоинством ответил:
«Почтительно прошу вас, сударь,
Мне лекций не читать. Я вырос
Из школьных лет. И не привык
К нотациям. Коль я преступник
И бунтовщик, то есть законы,
Которые меня осудят!
А коль ни в чем не виноват,
То по какому это праву
Бранитесь вы? Чем вы грозите?
Я увольненья не страшусь!
Ведь я себе на пропитанье
Сумею всюду заработать,
Но я и здесь полезен людям,
И потому я не уйду!
И вы, в своих же интересах,
Не будете пытаться, сударь,
Изгнать меня! Ведь вслед за мною
Пойдет, пожалуй, весь народ,
Иль вынуждены удалиться
Вы сами будете отсюда!
Вам в виде доброго совета
Я, сударь, это говорю!

Я знаю жителей деревни
И пользуюсь у них доверьем,
Они на многое решатся,
Коль я скажу!»
И вышел прочь Сильвестр с поклоном.

А в следующее воскресенье
О нем церковный проповедник
Орал, от гнева содрогаясь,
Так обращался он к народу:
«Нотариус ваш святотатец!
Он богохульник, бунтовщик!
И все, кто с ним имеет дело,
Погибнут для земли и неба.
За то, что с бунтарем якшались,
Король предаст их казни смертной!
Не примет небо после смерти
Тех, кто с безбожником дружил!
Покайтесь же! — взывал священник.—
Исправьтесь же, пока не поздно,
Пока не грянул Страшный суд!»
Упрашивал священник слёзно
И в этой жизни и в загробной
Не отвергать возможность счастья,
Жизнь предпочесть позорной смерти,
Не выбрать вместо рая — ад!

Гневясь, народ покинул церковь
(Обитель господа и мира),
И ринулся он диким зверем
На молодого человека,
Которого еще недавно
Готов был звать отцом родимым.
Сказали юноше: «Коль завтра
Ты будешь здесь —
Убьем на месте!»
Как мог, старался убедить их
Сильвестр. И с небывалой страстью
Он возражал. Не помогло!
Где поп заговорит, там правда
Тотчас распятью предается,
От страха умирает правда!
Где только рот раскроет поп,

Там черт является тотчас же,
А черт, хотя и не всесильней,
Но все ж красноречивей бога,
И коль не делом победит,
То соблазнит иным манером!
И было так. Народ покинул
Сильвестра с криками и бранью.

И духом пал Сильвестр на миг.
И от отчаянных раздумий
Отяжелела голова —
Насели на нее сомненья,
Как во́роны на прах бездушный:
«Вот он каков,
Народ любимый,
Тот, для которого живу я
И кровь свою пролить хочу!
Таким он был тысячелетья
Тому назад. Тысячелетья
Пройдут, пока иным он станет.
Ну что ж! Ребенок он еще,
Его обманывать не трудно!
Но ведь и он когда-то будет
Мужчиной зрелым... А пока что
Дивиться нечему: попы
И короли — земные боги —
На том стоят, что в ослепленье
Людей держать необходимо.
Так для властей необходимо!
Ведь править можно лишь слепцами!
Как жаль народ мне этот бедный!
Всегда я за него боролся,
Теперь с удвоенною силой
Бороться буду за него!»
Спустился вечер. Ночь настала...
Последняя... К утру был должен
Уйти Сильвестр. В тени аллеи
Он встал. Темно окошко замка,
Откуда девушка глядела.
Она к окошку не подходит,
Исчез цветок его желаний,
Но юноша не отрываясь
Глядит. Он превратился в призрак...

Нет — в каменное изваянье!
В печаль и в лунное сиянье
Укутано его лицо.

Вдруг чувствует прикосновенье.
Он этого прикосновенья
Сначала даже не заметил...
Рассеянно он обернулся,
Увидел ту, кого искал!

«Я вашу милость ждал,— сказал он.–
Я вашу милость ждал, надеясь,
Что вы покажетесь в окошке
И перед вечным расставаньем
Я молчаливое прощанье
Пошлю глазами... Так я думал.
Но все ж судьба ко мне добрей!
И не глазами, а устами
Могу я с вами говорить,
И руку милую могу я
Сейчас пожать!
Господь с тобою, дорогое,
Единственное в этом мире
Родное существо! Решилась
Меня ты другом называть,
И мне позволила ты другом
Себя назвать! Воспоминаний
Нет у меня. И в бедном сердце,
Как будто в нищенской лачуге,
Останешься ты, как икона,
Перед которой на коленях
Стоять я буду по ночам!
Но если бы хранил я в сердце
Сокровища ценнейших в мире,
Блистательных воспоминаний,
Я выбросил бы их оттуда,
Оставив лишь тебя одну!
Господь с тобой! Коль обо мне ты
Хорошие получишь вести,
Твоей заслугой это будет.
Хорошим стану и большим,
Чтоб ты испытывала радость
И не могла бы пожалеть,
Что приняла меня однажды

В свои друзья...
Господь с тобой!
Прощай, о ангел мой хранитель!»

И юноша во тьму рванулся.
Но девушка не отпустила
Его руки. И, запинаясь,
Сказала так:

«Господь с тобою!
Иди, мой друг! Господь с тобою!
Иди! Ты — самый благородный!
О, если б мне уйти с тобой!
Пошла бы с радостью великой!
Что ж! Не увидимся мы больше?
О ясная звезда, навеки
Ты падаешь с моих небес!
Ведь я люблю тебя. И, значит,
Я все должна сказать сегодня.
Должна сказать! Таить не надо,
А то душа моя извергнет
Всю скорбь, как пламенную лаву
Везувий извергает с громом!
Люблю! Но мне не быть твоей,
И вот, клянусь тебе я богом,
Что если я твоей не буду,
То не достанусь и другому!
Возьми... Вот перстень обручальный,
Пусть сломится алмаз вот этот,
А все ж тебе не изменю!»
И рай на юношу свалился
Со всем своим блаженством райским:
И юноша упал пред нею,
Ее колени целовал.
...Он в путь пустился утром рано,
Он шел и все глядел на перстень
И снова, снова убеждался.
Что все это не сон безумный,
А явь.

Сильвестр пошел в столицу —
А почему, и сам не знал он,—
Но шел туда, где крал, где клянчил,
Где был у барича слугой.

В предместье
Нанял он мансарду.
Не знал еще он, чем займется...
Вдруг слышит: в дверь к нему стучатся,
И входит дама под вуалью.
Вуаль откинула и молча
Остановилась на пороге.
И бросился Сильвестр навстречу —
Узнал Сильвестр свою подругу.
Сказала девушка ему:
«Поехала я за тобою,
Но коль тебе я буду в тягость,
Скажи — и я уйду отсюда!
Не бойся, милый, не обижусь,
А только сяду на пороге
И так сидеть у двери буду
До той поры, покуда сердце
В груди не перестанет биться!
Я дома не могла остаться,
Шла всюду за тобою следом
И вот теперь дошла сюда...
Скажи, что сделаешь со мной?»

Она ему на грудь склонилась,
И вместе плакали они.

«Меня ты не прогонишь, значит? —
Спросила девушка.— Оставишь
Делить с тобою все, что будет,—
Все радости и все печали?
Вот так с тобой я буду вместе
Переносить нужду и горе,
И если я взропщу однажды —
Не верь, что я тебя люблю!»

14

Как муж с женой они остались.
Соединил их не священник —
Любовь и бог соединили.
Они не повторили клятву
Быть верными друг другу. Клятва

Там, в глубине их душ, осталась,
Где оставаться и должна
Нетронутой, неизреченной
И чистой, как звезда, которой
Дыханье даже не коснулось...

Дни счастья шли, и шли недели.
И мир не ведал,
Что было с ними.
Они не знали,
Что было в мире
И существует ли он даже.
Но, наконец, заговорила
Душа Сильвестра и сурово
Спросила: «Не пора ль проснуться?
Не для себя, а для других ты
Живешь на свете. Неужели
Забыл ты о своем призванье?
Вставай же и берись за дело!»
А вместе с тем еще суровей
Сказал забот домашних голос:
«Берись за дело, а иначе
Придется голодать обоим,
А вскоре и троим, пожалуй!»

И за перо тогда он взялся,
И написал достойно, вольно
Все, что душа ему сказала,
И труд к редактору понес.
И тот прочел и так ответил:
«Вы, сударь, человек великий,
Но и безумец вы великий!
Величье ваше в том, что славный
Вы написали труд! Наверно —
Руссо не написал бы лучше!
Но вы безумец потому, что
Воображаете, что это
Вы ухитритесь напечатать.
Вы не слыхали
О цензуре?
Поймите, что это такое!
Я, сударь мой, сравню цензуру

С такой чертовской молотилкой,
В которую снопы бросаем,
Чтоб вымолачивала правду
Она, как зерна, и пустую
Солому только возвращала
Для жвачки публике почтенной.
Неправда? Испытайте сами!
За зернышко малейшей правды,
Оставшееся в той соломе,
Согласен проглотить я пулю!
И если нет у вас желанья
Попасть в такую молотилку,
То сейте, сударь, не пшеницу,
А хмель и прочие дурманы!
Все это можете подать вы
Хоть целиком. Скажу я больше —
За это наградят вас щедро!»

Домой пришел он оглушенный,
Как будто головой о стенку
Он стукнулся... Решил он: ладно!
Напишет мягко он, смиренно...
Так гладко, что рука цензуры
Скользнет по бархатным страницам.

Но только, книгу переделав,
Заметил он: еще вольнее
И много горше книга стала.
И много раз писал он снова
И разрывал, прекрасно видя,
Что он идет не той дорогой...
И наконец он убедился:
Все то, что годно для печати,
Учить людей, увы, не может,
А то, что годно для ученья,—
Не может выйти из печати.

«Ужасно! — закричал он.— Значит,
Нет способа, чтоб мир услышал
Мои слова! Итак, я должен
Гасить в себе душевный пламень,
Которым мог бы мир поджечь!

Как видно, тот душевный пламень
Меня пожрет! Нет! Жить я должен!
Но где ж возьму на это денег?
Иль мне от принципа отречься
И, изменив ему, святому,
Покорно присоединиться
Ко всяким этим негодяям,
Обманщикам людского рода?
Нет! Лучше с голода подохну,
Уж лучше так я жизнь окончу,
Как начал — буду красть и клянчить,-
Чем напишу одну хоть букву,
Которая б не изливалась
Из чистого истока духа!
Нет! Не набью фальшивой марки
На помысел, пусть самый малый!
О помыслы мои! Бог с вами!
Как узники вы в каземате!
Пусть будет гробом и темницей
Для вас мой ум!

Нет! Так не будет.
Не допущу, чтоб вы погибли!
Настанет день, настать он должен,
Когда раскроются темницы
И вы всю землю обойдете,
Тепло и свет неся с собою,
Как солнца летнего лучи!»

Так
Отдых дал своим он мыслям,
А чтобы не лишиться хлеба —
Чужих творений перепиской
Он занялся. О, труд тяжелый!
Ведь и с работой дровосека
Он не сравнится!

С утра работая до ночи,
Нередко видел переписчик
При свете лампы,
Как ночь проходит
И новый день сменяет ночь.
Но этот день был так же беден,

И на окне узор мороза
Был все затейливей и ярче,
И даже замерзали слезы
В глазах у женщины, но все же
Ее любовь не остывала.

А годы шли. И год за годом
Росла семья. Их стало трое,
И четверо. И четверилась
Нужда в мансарде поднебесной,
Где стены дождь исполосатил,
Где сырость порождала плесень,
Где на кровати спало трое,
А на полу, у изголовья,
Спал на соломенной подстилке
Глава семьи...

Лучи рассвета
Ложились на чело Сильвестра,
Как золотой венец,
Как теплый,
Блестящий божий поцелуй.

15

Вот пробуждается семейство.
Сначала — муж, хоть спал всех меньше,
Затем — жена и старший мальчик.
А младший? Все еще он спит.
Каким он сном заснул глубоким!
На цыпочках все ходят тихо
И разговаривают тихо —
Пусть спит младенец. Пусть он спит!
Родители и добрый братец,
Оставьте этот тихий шепот!
Теперь гремите, грохочите —
Младенец не услышит вас!
Ведь мертвые не слышат шума...
Ведь с голоду ребенок умер!

Что может чувствовать родитель,
Что может испытать отец,

Увидев, что ребенок умер,
Особенно — когда он умер
От голода?!

Когда б господь
Влил в руку мне всю силу правой
Руки своей, едва ли все же
Я мог бы описать мученья,
Которые когтей мильоном
Тут в сердце женское впились!

О, дайте ей,
Припавши к тельцу,
О, дайте плакать, плакать, плакать,
Бросать из самых глубочайших
Водоворотов лютых мук
В недостижимый лик господень
Весь гнев души, все богохульства!
Не трогайте в священном буйстве
Безумно бьющуюся мать!
Мужчина в молчаливом горе
Склонился над младенцем мертвым,
А впрочем, может быть, он даже
И радовался, что ребенок
Страдать уже не будет больше.
А старший брат, на братца глядя,
Подумал, что, пожалуй, скоро
И он таким же точно станет —
Холодным, белым, неподвижным...
Что ж! Мертвых голод не томит!

Часы текли. Хоть тихо-тихо,
Но все ж текли. И без сознанья
Мать, словно мертвая, упала
На дитятко своих несчастий.
И вот на сердце стало легче,
И вздыбленные волны духа
Не штурмовали больше неба,
А только тихо колыхались,
Как будто на ветру колосья...
Взяв сына мертвого в объятья,
Качала мать его, как прежде,
И что-то говорила, пела,

Как шелестят во мраке зимнем
Лесные ветви.
«Спи, малышка,
Мой младенец!
Расскажи мне,
Что приснилось?
Верно, видишь
Сон хороший!
Спишь еще ты
Не в объятьях
У земли,
А мать качает,
Мать качает, обнимает!
Спи,
Прекрасный мой ребенок,
Белый цветик,
Белый лучик!
Спи,
Пока ты не проглочен
Матерью —
Землею черной!
Небеса
Закат целует,
Он целует их,
Румянит.
Я лицо твое целую —
Не горит на нем румянец!
Ты не хочешь улыбнуться,
Прежде чем со мной расстаться!
О душа моя и сердце,
Почему же ты не хочешь?
На погосте
Снежный холмик,
Белый крестик —
Спи, мой мальчик.
Над могилой
Я склонилась,
И не дождик —
Слезы льются.
Тише вы,
Акаций ветви!
Со своим безмолвным сыном
Говорю я

На погосте,
Мы беседуем,
Молчите!

Не болит твоя головка?
А не ноет ли сердечко?
Под землей тебе не тяжко?
Для тебя что, мальчик, мягче —
Руки матери иль гробик?
Спи, мой голубь!
Доброй ночи!
Об одном тебя прошу я:
Чтобы я тебе приснилась,
Чтоб всегда мы были вместе!»

Качая мертвого ребенка,
Мать задремала. И пока
Она спала, отец гадал,
На что он купит гроб ребенку?
И чем заплатит за могилу?
Ведь денег нет!
И в комнате он огляделся:
Быть может, что-нибудь найдется
Такое, что продать удастся?
Нет! Ничего!

Но от какой ужасной мысли
Вдруг побледнел и задрожал он?
Чтоб голым в землю
Не лег младенец,
Продать сокровище придется,
Которое хранил он пуще
Зеницы ока,—
Вот этот перстень обручальный,
Который с пальца не сумела
Сорвать Нужда!

Он поседел от этой мысли,
Но — что поделать?

Снимая с пальца этот перстень,
Почувствовал он боль такую,
Как будто с сердцем расстается

И будто рубит пополам он
Все то, что есть, и то, что было,
И будто мост он разрушает,
Что зиму связывал с весною,
И будто лестница сломалась,
С земли ведущая на небо...
Но, значит, так уж надо было,
Чтоб в землю голым
Не лег младенец.

Его красиво хоронили,
Был крепок гробик деревянный,
А саван соткан был из шелка.
Велик был камень над могилкой.
Недешево был продан перстень,
И все пошло на погребенье —
Душа отца не допустила,
Чтоб был истрачен
Даже грошик
На хлеб насущный,
Хоть в нем нужда была огромна.
Но в яд бы превратилась пища
И отравила бы Сильвестра,
А жить ему еще хотелось!

16

Ведь он сказал, что мысль его
В нем не умрет,
А день придет —
Покинет мысль свою темницу
И обойдет весь шар земной!

Так и случилось. Что не мог он
Достичь усильем долголетним,
На что он тратил труд напрасный,–
Все, все осуществилось вдруг:
Нашел он тайную печатню,
В земле сокрытую глубоко,
И там он отпечатал книгу...
Что было в том произведенье?

Там было, что попы — не люди,
А черти;
Короли — не боги,
А люди.
Было там, что люди
Все равны пред лицом господним,
И человек не только право
Имеет на свою свободу,
Но он обязан перед богом
Свободным быть!
Свобода — лучший дар господень,
И те, что этот дар не ценят,
Не ценят бога самого!

И книга вышла. Эта книга
С невероятной быстротою
В десятках тысяч экземпляров
Распространилась по земле.
Мир поглощал страницы эти,
Как освежающий напиток,
Но Власть от гнева побледнела,
Нахмурилась от гнева Власть,
И вот слова загрохотали:
«Мятежник-автор оскорбил
Его величество и веру!
Да понесет мятежник кару!
Ведь свят и неприкосновенен
Закон!»

И страшно был наказан автор.
Средь улицы его схватили
И повели...
И закричал он: «Погодите,
Я не хочу бежать! Пойду
За вами я беспрекословно,
Но подождите хоть немного.
Вы видите мансарду эту?
Я в ней живу!
Туда меня вы отведите
Хотя б на краткое мгновенье!
Жену и малого ребенка
Я обниму, благословлю,

А после этого тащите!
Простившись с ними, в ад пойду я,
А не простившись — не желаю
Попасть и в рай!
Вы не отцы и не мужья вы!
Что испытали бы вы сами,
Коль так бы поступили с вами?
Ведь, кроме сына и жены,
Нет у меня на свете близких,
А у жены и у ребенка
Нет никого другого в мире,
Лишь я один у них и есть.
О люди добрые, пустите
Проститься, увидать друг друга
Хотя б на краткое мгновенье
И, может быть, в последний раз!
О, не меня вы пожалейте,
А их! Они не виноваты,
Они закон не нарушали,
Так для чего же их карать!
О, боже! Вас не могут тронуть
Мои слова. Но пусть вас тронут
Вот эти слезы — капли крови,
Моей души смертельный пот!»

Рыдая, пал он на колени
И, как в былом своей любимой
Он ноги обнимал, так ныне
Колени обнял палачам,
Но палачи, смеясь жестоко,
Поволокли его к телеге,
Уже стоявшей наготове.

Увидев, что слова напрасны,
Все силы он свои напряг,
Чтоб, яростно сопротивляясь,
Спасти себя!
Боролся с львиною отвагой,
Но тщетно! Смяли, и связали,
И бросили его в телегу,
И, лежа в ней,
Вопил он страшные проклятья:

«Проклятье вам и вашим детям,
О сатанинские вы твари,
Одетые в людскую кожу!
Нет человеческого сердца
У вас в груди, там жабы скачут!
Пусть отвратительные язвы
Покроют ваши злые морды,
Как злоба кроет ваши души!
Пусть черви из помойной ямы
Сожрут вас всех!
Будь проклят ты, король злодейский,
Себя считающий за бога!
Ты черт проклятый, лжи ты демон!
Кто поручил тебе мильоны?
Не пастырь ты людскому стаду!
Красней твоих одежд пурпурных
Твоя кровавая рука,
Твой лик бледней твоей короны,
А сердце у тебя чернее,
Чем траур, тянущийся, точно
Ночная тень,
Вслед за деяньями твоими!
Проклятый вор!
Как долго ты еще сумеешь
Владеть украденною властью?
Зачем похитил ты права?
Пускай восстанут миллионы,
И если ты тогда посмеешь
Пойти наперекор народу
С толпой наемников своих,
Пусть бог не даст тебе погибнуть
В геройской битве, как мужчине!
Ты бросишься трусливо в бегство,
Захочешь спрятаться под трон,
Как под кровать собака лезет,
Но вытащат тебя оттуда
Со смехом дети и старухи,
И в умоляющие очи
Они начнут тебе плевать!
А те, кому давал ты ногу
Для поцелуя,
Твои оскаленные зубы
Ногами вышибут из рта!

Пусть выбьют из тебя пинками
Твою ничтожнейшую душу,
И сдохнешь ты в таком же горе,
В какое ты меня приводишь!
О, скорбь! Жена моя и сын!»

17

Дремал ли он и вдруг очнулся?
А может быть, с ума сходил он
И выздоровел? Без сознанья
Был час он или много больше?
Не знал он этого. Он думал
И думал — что это случилось?
Глядел и ничего не видел...
Очнулся он во тьме кромешной.
Сказал он: «Ночь. И, вероятно,
Я спал, и что-то мне приснилось...
Тот сон не целиком я помню,
Но он, конечно, был кошмарным.
Об этом даже и не стану
Жене рассказывать. Не надо
Ее пугать... Скорей бы утро!
Такой гнетущей, жуткой ночи
Еще, пожалуй, не бывало...
Любовь моя, меня ты слышишь?
Наверно, спит. Не отвечает.
Ну, ладно... Спите, дорогие!
Спокойно спите, тихо спите.
Но где ж рассвет? Когда же утро?
Меня задушит ночь густая.
Яви, рассвет, свой лик блестящий!
Хотя бы кончиками пальцев
Коснись меня. Мой лоб пылает,
Как будто извергают лаву
Из головы моей вулканы,
А мозг уже разъят на части...»

Чтоб отереть свой лоб вспотевший,
Он поднял руку. Что такое?
Что зазвенело?
Кандалами

Грохочет он! Все, все он вспомнил!
И холод пробежал по телу,
Как ветер мчится средь развалин.

Все, все теперь он вспомнил ясно:
Его на улице схватили,
И потащили, и связали,
И он не мог увидеть даже
Жену и сына своего.
Не мог он с ними попрощаться,
Взглянуть им в очи дорогие,
Которые его богатством
И счастьем были...
И теперь он
Меж стен тюремных под землею
Сокрыт бог знает как глубоко,
Во всяком случае, поглубже,
Чем труп,
Опущенный в могилу.
Когда ж он вновь увидит солнце?
Когда увидит дорогую?
Кто знает! Никогда — быть может!
А почему попал он в яму?
А потому, что вздумал людям
Поведать откровенье божье:
Есть общее добро на свете,
Которое должно достаться
Всем поровну, и это благо —
Ты, драгоценная Свобода!
И кто отымет у другого
Хотя бы крошечку Свободы,
Тот совершает грех смертельный
И истребленью подлежит!

«О ты, священная Свобода,
Теперь я за тебя страдаю,—
Сказал с великой болью узник,—
И если бы я в этом мире
Один был, как в былые годы,
То здесь, на каменной скамейке,
Сидел бы я теперь спокойно,
Так гордо, как сидит на троне
Король-насильник! И, ликуя,

Носил бы я свои оковы,
Как прежде — перстень обручальный!
Но у меня жена, ребенок.
Кто будет хлебом и любовью
Питать их? Что случится с ними?
О сердце, если ты не можешь
В холодный камень превратиться,
Так что же ты не разорвешься?»
Так он стонал, кричал и плакал,
А вечный мрак смотрел спокойно
И равнодушно на Сильвестра.
И замолчал он наконец,
Как будто сдался дух усталый,
И стал немым и неподвижным,
Таким бесчувственным, как камень
Тот, на котором он сидит,
Таким бесчувственным, как мрак,
Которым нынче он объят.
Не чувствовал, а только думал.
Летели мысли низко-низко,
Как птицы, чьи подбиты крылья:
«Тюрьма моя, сестра могилы!
Кем выстроена? Кто разрушит?
С каких ты пор стоишь? Доколе?
Кто до меня во мгле томился?
Свободолюбец, мне подобный,
А может быть, простой разбойник?
И здесь ли в прах он превратился
Иль снова божий мир увидел?
Прекрасен мир — поля и горы,
Леса, и реки, и равнины,
Цветы и звезды... Но, быть может,
Я больше их и не увижу,
А может быть, тогда увижу,
Когда забуду их названья...
Неужто год пройдет в темнице?
Здесь каждая минута — вечность,
Здесь время медленно плетется,
Как старый нищий одноногий!
Год! А быть может, даже — десять,
Быть может — двадцать. Даже больше!
Придите же ко мне скорее,
Вы, мертвецы, что здесь уснули!

Потолковать хочу я с вами.
Меня научите, быть может,
Как надо коротать здесь время.
О мертвецы, ко мне придите!
И я, уже мертвец, быть может,
Дурные сны в могиле вижу...
Меня живым похоронили,
Я мертв! Уже не бьется сердце,
А эта дрожь в груди холодной
Не боле, чем последний трепет
Больной души...»

И вовсе перестал он думать.
Ни в голове его, ни в сердце
Ни чувств, ни мыслей не осталось.
Сидел, как статуя, недвижно,
Смотрел он молча в очи ночи,
Заполнившей его темницу.
Застыли, омертвели члены,
И голова его склонилась,
И начал он терять сознанье,
И навзничь он упал на камни.
Заснул ли? Потерял ли память?
Лежал он долго без движенья.
И вдруг,
Как будто поднят взрывом
Или железом раскаленным
Ожжен, вскочил с таким он воплем,
Что даже стены застонали:
«Куда ты? Стой!»
Простер он руки,
Как будто что-то обнимая,
И снова рухнул на скамейку
Он, обессилев. И застыли
В его очах большие слезы.
И, будто выдыхая душу,
Он прошептал:

«Ушла. Исчезла!
Теперь всему конец. Свершилось!»

Что сталось? Кто его покинул?
Что кончилось? Приснилось что-то?
Нет. Было то не сновиденье,

И все ж не явь!
Перед Сильвестром
Явилось женщины виденье,
В котором он узнал супругу.
Она, она к нему склонилась
И на ухо ему шепнула:
«Господь с тобой! Я — отстрадала!»
Поцеловала и исчезла.

И он вскочил. Глаза раскрылись,
Но все ж ее он видел, видел
Еще мгновенье. Вслед за этим
Сгустилась тьма еще ужасней,
Как после молнии бывает.
«Господь с тобой! Я — отстрадала!»
Он вспомнил этот мертвый голос,
Он понял: больше не придется
Услышать этот голос нежный.
«Господь с тобой! Я — отстрадала!»
«Господь с тобой! Под страшным вихрем
Ты, ветвь души моей, сломилась!
С цветущей ветвью вихрь умчался,—
Зачем он дерево оставил?
Пусть вывернет меня он с корнем
И унесет за ветвью следом!
Пусть я найду тебя увядшей,
Чтоб весь остаток этой жизни
Проплакать у святых развалин.
За жизнь я больше не цепляюсь —
Я жизни цель уже утратил:
Была ты целью этой жизни!
Ведь для тебя я жил на свете,
Благодаря тебе и жил я,
О ты, любви моей богиня!
Действительность — лишь только ты,
А человечество, свобода —
Ведь это все слова пустые,
Лишь призраки, во имя коих
Бороться могут лишь безумцы!
Ты, только ты реальность жизни,
Ты — явь, любви моей богиня!
И ты потеряна навеки!
И если я, как крот, разрою

Всю землю — не найду тебя я!
Ты только прах, как все другое,
Такой же и ничем не лучше!
Среди других ты растворишься,
Как будто зверь или растенье!
Но даже и утрату эту,
Всю тяжесть эту понесу я,
До той поры пока не рухну,
Лишь удалось бы попрощаться
И ей сказать одно лишь слово,
Одно коротенькое слово!
Конец, конец! Ведь даже это
Господь мне не позволил сделать...
Как беспощаден бог небесный!
А человек, глупец ничтожный,
Склоняет перед ним колени,
Зовет отцом и обожает...
Нет! Ты — тиран, господь небесный!
Я шлю тебе свое проклятье.
Сидишь ты на небесном троне,
В своем величье хладнокровном
Земным тиранам уподобясь,
Сидишь, господствуя кичливо,
И, что ни день, зари лучами
И кровью из сердец разбитых
Окрашиваешь тусклый пурпур
Давно уж выцветшего трона!
Ты хуже всякого тирана!
Будь проклят! Так же, как отрекся
Ты от меня, я отрекаюсь
И от тебя! Пусть будет меньше
Одним рабом! Возьми обратно
Жизнь, что швырнул мне как подачку!
Бери назад! Отдай другому!
Пускай другой в ней прозябает!
Меня не тешит жизнь-подачка!
Я под ноги тебе бросаю
Всю эту жизнь! Пусть разобьется
Она, как черепок негодный!»

Он так вопил, что тьма дрожала
В испуге. И, вопя безумно,
Лбом он ударился о стену,

И зазвенела от удара
Степа, как будто бы от боли.

И так лежал он в луже крови,
Сочащейся из головы,
И все ж не умер, жив остался.
Жизнь горемычная прилипла
И приросла к нему так крепко,
Как и к душе его — мученья,
Как и к тюрьме его — безмолвье!

18

Десятилетье в каземате!
Ведь это даже и на воле
Немалый срок, а здесь... подумать!
Оброс он гривой, бородою...
Все всматривался: «Не седею?»
И все себе казался черным,
Хоть белым стал давно, как голубь,
Но в темноте не видел это.

И было то десятилетье
Единой бесконечной ночью,
Но все-таки он ждал рассвета.
По временам ему казалось,
Что он века, тысячелетья
Сидит на этом самом месте,
Что Судный день уже свершился
И что земля давно погибла,
И только вот темница эта
Стоит, в которой он забыт.

Из сердца вылетели страсти,
Не проклинал он больше бога,
И даже и не вспоминались
Ни бог, ни люди...
Скорбь из сердца
Давно уж вылетела тоже,
И только иногда он плакал
При пробужденье, потому что
Во сне к нему еще являлось

Виденье милое — супруга,
Которая за гробом даже
Была верна... Но милый образ
Скрывался, исчезал бесследно,
И узник плакал, плакал, плакал...

Но почему не видел сына?
Ведь сын-то у него остался?
Он спрашивал себя об этом
И отвечал: «Должно быть — так!
Не умер сын мой, потому что
Живым сюда пути закрыты
И только мертвые приходят...
Лишь ты приходишь, милый ангел,
А сын наш — жив, большим он вырос...
Но кем же стал ты, мой сыночек?
Что делаешь ты, сиротинка?
Нуждаешься, наверно, ты?
Быть может, сделался ты вором
И захоронен палачами
Здесь, под землею, по соседству,
В одном из этих казематов?
Ты помнишь об отце, ребенок?
Ты любишь ли меня, сынок?»

Но что за шорох необычный?
Какой-то непривычный голос?
Прислушался несчастный узник,
И затаил дыханье он.
И тут душа его раскрылась,
Совсем как под лучами солнца
Вдруг распускается цветок.
И вот за десять лет впервые
Слагаются в улыбку снова
Сухие губы.
Ведь это птичка прилетела,
На край стены тюремной села
Поблизости его окна.
И сладостно она запела.
И шепчет узник, а быть может,
Он только лишь подумал это,
Сказать не смея, чтоб словами
Прелестной гостьи не спугнуть.

«О господи, какая радость!
Впервые я услышал щебет
С тех пор, как здесь томлюсь, а это —
Я знаю — длится целый век!
Пой, птичка, пой! Пусть песнь напомнит,
Что жил я, что живу и ныне!
Пусть щебет твой напомнит юность,
Давно умчавшуюся юность,
Весну и тот цветок весенний,
Который мы зовем любовью!
Твой голос пробуждает муку,
Но вместе с тем и утешает,
А утоление страданья,
Быть может, сладостней, чем радость!
Пой, птичка, пой! Но чей ты вестник?
Кто научил тебя, о птичка,
Взлететь сюда, на эту стену,
Куда взлетают лишь проклятья?
Святое небо! Эти мысли
Меня убьют!
Умру от счастья!
Душа предсказывает: буду
Я на свободе, и умру я
Не в этом мертвом каземате,
А под господним вольным небом!
О птичка на стене тюремной,
Ты — странник по просторам вольным,
Ты — вольной воли провозвестник!
Так будет! Я не сомневаюсь!
Будь крепким, сердце! Если горю
Тебя сломить не удалось,
Пускай тебя не сломит радость!
Так будет! Ведь позор и горе
Однажды опостылят миру,
Он бросит их и первым делом
Тюремные разрушит своды,
И слезы радости вселенской
Сейчас же упадут на лица
Тех, кто томится за Свободу!
О птичка на стене тюремной,
Ты — странник по просторам вольным,
Ты — вольной воли провозвестник!»

И ключ в замке тюремном скрипнул,
Испуганно вспорхнула птичка,
Открылась дверь, и страж тюремный
Сказал Сильвестру: «Ты свободен!»

И узник в радости великой
За голову свою схватился,
Как будто удержать сознанье
Хотел он, чтоб не улетело.
«Есть! — в детской радости он крикнул.—
Есть! Улететь не дам сознанью!
Я не безумен. Понимаю
Все, что случилось. Я — свободен!
Но это значит, что свободны
И нация, и вся отчизна?»

«Тебе какое дело, дурень,
До нации и до отчизны? —
Ответил сумрачный тюремщик.—
Благодари, что сам свободен!»

Но узник этого не слышал,
Далёко улетели мысли,
Они полмира облетели,
Ища безвестную могилу,
В которой спит его супруга.
«Я отыщу тебя сначала! —
Так про себя проговорил он.—
Меня ты навещала часто,
Найду и поцелую землю,
Которая тебя покоит!
...О, как вы медленно, как долго
Сбиваете с меня оковы!
Минуты эти длятся дольше,
Чем годы, что страдал я здесь».

19

Как молоко сосет ребенок,
К груди припавши материнской,
Так сладко пил он вольный воздух,
И каждый вздох снимал по году

С его души окаменевшей,
И будто мотылек легчайший,
Его душа теперь порхала
В цветах, среди воспоминаний,
И этот вольный, чистый воздух
Омолодил Сильвестру душу,
Но тело оставалось дряхлым,
Он брел, на палку опираясь,
И ветер развевал печально
Седую бороду и космы.
...За десять лет сто лет он прожил!

Дойдя до дома,
Где когда-то
На чердаке он жил с семьею,
В людей он пристально вгляделся,
Но не нашел он лиц знакомых.
Наверно, это — новоселы,
А может быть, забыл он лица...
Спросил он:
«Кто сказать мне может
О бедных людях, что когда-то,
Давным-давно в мансарде жили?»
И описал свое семейство.
«Да, помню я,— проговорила
Одна смиренная старушка,—
Жила тут юная бедняжка,
Был муж у ней злодей, безбожник,
Но он понес за это кару —
Давным-давно сидит в темнице,
А может быть, он там и помер!
Его несчастная супруга
Не выдержала потрясенья,
Скончалась от разрыва сердца!
Я не пойму, как можно было,—
Сказала добрая старушка,—
Любить подобного злодея
И от печали умереть!»

И выслушал он равнодушно
Старушечье повествованье,
Как будто это говорилось
О ком-то вовсе постороннем.

Спросил он: «Где похоронили
Ту женщину? Что сталось с сыном?»
«Что сталось с сыном, я не знаю,—
Ответила ему старушка.—
Как мать его похоронили,
Не видела его я больше,
А где ее похоронили —
Мне это неизвестно тоже;
На похороны собиралась,
Да не пошла я — в это время
Меня позвали на крестины».

«Ну, я найду,— Сильвестр промолвил,–
На кладбище я побываю
И разыщу...»

И он поплелся
На кладбище. И все могилы
Он дважды обошел, но все же
Не мог он отыскать могилы,
В которой милая зарыта.
Исчезла! Сгинула бесследно,
Как солнечных лучей сиянье;
Надгробный крест свалила буря,
Могильный холмик ливнем смыло...
Бог с нею!
Но больно, больно, очень больно
Для старца было, что не мог он
Остаток слез, не иссушенных
Огнем страданий многолетних,
Излить на прах своей любимой.
И утешал себя он тем лишь,
Что эта боль была последней.
И навсегда он рассчитался
И с радостями и с печалью,
И может он теперь по миру,
Как тень бесплотная, скитаться,
Как плоть бездушная...

Ошибся!
Страданье не было последним!
Когда, из каземата выйдя,

Спросил он: «Нация свободна?
Свободна родина?» — к ответу
Он не прислушивался даже,
В свободу эту свято веря...
И что же испытал он вскоре?
Он вскоре понял, что отчизна,
Вся нация, весь мир томятся
Под игом более жестоким,
Чем десять лет назад, в те годы,
Когда дерзнул поднять он голос...
Он понял: с каждым днем слабеет
Достоинство людского рода
И тирания все жесточе!
Напрасны были все страданья,
Напрасны были эти жертвы,
И пылкие сердца напрасно
За человечество страдали.
Так неужели бесполезны
Все устремленья оказались
И оказалась безнадежной
Борьба? Возможно ли все это?
Нет, сто раз нет! Так быть не может!
Обрел он силу в этой мысли,
Огонь воспрянул, еле тлевший.
И голову вновь поднял к небу
Вновь юношею ставший старец.
И в голове его родились
Весьма таинственные планы,
Решимость, смелость, от которых
Зависят судьбы наций или,
Быть может, даже судьбы мира!

Был план не нов. Он стоил жизни
Уж тысячам людей, пожалуй,
Но, может быть, теперь удастся
Он одному ему? Кто знает!
Он замысел скрывал глубоко,
Он даже спать не мог при людях —
Во сне чтоб не проговориться
И замысел не обнаружить.
Помощников искать не стал он
Не из тщеславия, что дескать,
Он справится и в одиночку,

А для того, чтобы опасность
Другим не угрожала, если
Задуманное дело рухнет.
...В столице шумной сотни тысяч
Людей снуют. Сияют лица,
И, как разлившиеся реки,
По улицам несутся крики:
«Да здравствует!» А что за праздник?
Быть может, бог сошел на землю
И сам вручает
Рабам своим несчастным, людям,
Дары свободы?
Вот почему такая радость!
Нет, нет! Не бог — другой там некто,
Он меньше бога,
Но думает, что выше бога!
Он тот, кто королем зовется!
С кичливостью высокомерной
Он шествует среди народа,
Как между маленьких дворняжек
Ходить умеют волкодавы.
Он взглянет — и в ответ поклоны,
Почет, коленопреклоненья,
Как будто лес во время вихря
Вершины наклоняет долу.
И стадо слуг кричит до хрипа:
«Да здравствует король!» Кто смел бы
Молчать или кричать иное?
Из этих тысяч кто посмел бы?
И вот посмел... один из многих...
Вдруг голос над толпой взметнулся,
Великий шум перекрывая:
«Смерть королю!» И раздается
Внезапно выстрел пистолетный,
И наземь пал король кичливый.
Вставай, вставай, тиран трусливый!
Тебя не поразила пуля —
Она вошла в твою одежду,
В одежду, а не в сердце! Дьявол,
Которому ты душу продал,
Тебя хранит, тиран трусливый.
Вставай, сотри с лица грязищу!
Кто на убийство покушался?

Там он стоит? Нет, брошен наземь
Он, полумертвый,
И кто-то там ловчится плюнуть
В лицо поверженному старцу,
Другие пнуть его ловчатся...
Народ несчастный! Собираешь
Себе же на голову нынче
Проклятье божье!
Не довольно ль
Тебе и тех проклятий древних,
Которые лежат веками?
Распяв Христа, зачем же снова
Спасителей ты распинаешь,
Народ несчастный?

И не прошло еще недели,
А эшафот уже воздвигли.
Старик стоит на эшафоте,
И перед ним палач явился,—
Блестит секира темной смерти.
Толпу злорадную окинул
Старик спокойным теплым взором,
И слезы жалости сияют
В его глазах. Людей жалеет,
Которые его пинали,
Которые теперь сбежались
Смотреть на смерть его, ликуя.

Секира страшная блеснула,
Она блеснула и упала...
И голова скатилась наземь...
«Да здравствует король!» — вопили
Людишки возле эшафота.
И обезглавленное тело
Под виселицу пало в яму.

20

...Оно старело, вымирало,
Невольничье поколенье.
Пришло другое поколенье,
Которое теперь, краснея,

Отцов деянья вспоминает...
Ведь стоило им захотеть —
И стали лучше грешных предков.
И поколение героев
Явилось в мир,
И рабства цепь — отцов наследство —
Сорвало поколенье это
И бросило его на гробы
Тех, кто его ковал народу,
Чтоб эти трупы вдруг очнулись
И чтоб в земле им стыдно стало.
И поколенье-победитель
Прекрасно помнит, не забудет
О тех святых и тех великих,
Которые свободны были
Уже тогда, в годины рабства,
И шли провозглашать глаголы,
И получили смерть в награду —
Конец позорный!
И поколенье-победитель
В великой радости победы
Сплело бы имена святые
В торжественные венцы,
И принесло бы их
В храм Славы.
Но где ж найти их, где ж найти их?
У виселиц они истлели,
Святые эти имена!

Пешт, 1848 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

Первое наиболее полное Собрание стихотворений Петефи вышло еще при жизни поэта в 1847 году. Первое академическое собрание сочинений было выпущено в шести томах в 1892—1896 годах. Подготовил его к печати Адольф Хаваш, который и снабдил это издание подробным комментарием. Последнее академическое Полное собрание сочинений в семи томах начало выходить в 1951 году, последний том вышел в 1964 году.

Стихи Петефи переведены почти на все языки мира.

В России имя Петефи известно давно. Уже в пятидесятых годах прошлого столетия стали переводить его стихи. Первый перевод принадлежит В. Бенедиктову (1857 г.). Затем стихи Петефи переводил известный русский революционер-демократ М. И. Михайлов, далее Н. Аксенов, Ф. Берг, О. Михайлова, П. Быков, М. Шелгунов, В. Мазуркевич, Д. Корш, И. Нович (псевдоним Н. Бахтина), Д. Садовников. Стихи эти печатались в различных журналах того времени, а тридцать пять стихотворений вошло в антологию «Мадьярские поэты» под редакцией Н. Новича (СПб. 1897). Почти все дореволюционные переводы стихов Петефи на русский язык делались не с оригинала.

Цензурные условия самодержавия вообще помешали тому, чтобы поэзия Петефи получила широкое распространение. Только после Октябрьской революции стали появляться и революционные стихи поэта.

В 1925 году вышел в Москве первый сборник стихотворений Петефи в переводе А. В. Луначарского с его же вступительной статьей.

В 1942 году Гослитиздат выпустил в Красноуфимске небольшой сборник Петефи «Сорвем с Буды немецкий флаг».

В 1946 году работа над переводами произведений Петефи возобновилась. В 1948 году вышел в Гослитиздате первый однотомник Петефи. Затем выходили небольшие сборники массовыми тиражами в различных издательствах. И, наконец, Гослитиздат в 1952—1953 годах выпустил Собрание сочинений Петефи в четырех томах.

Предисловия ко всем упомянутым изданиям, а также и к Собранию сочинений были написаны А. Гидашем.

В 1955 году Гослитиздат выпустил новый однотомник Петефи, в 1958 году вышел еще один однотомник с предисловием Белы Куна, написанным им в 1936 году для сборника, который был подготовлен издательством «Academia», но в свет не вышел. Вскоре после этого издательство «Корвина» дважды переиздало в Будапеште Собрание сочинений Петефи на русском языке. В 1969 году издательство «Художественная литература» выпустило иллюстрированный сборник стихов Петефи «Любовь и свобода».

С 1946 года произведения Шандора Петефи вышли на русском языке больше чем в миллионе экземпляров.

Данный том подготовлен на основании четырехтомного собрания сочинений, вышедшего в 1952—1953 годах в составлении и под редакцией А. Кун. Порядок расположения стихов сверен с последним академическим изданием, выпущенным в Венгрии в 1951—1964 годах.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Хортобадьская шинкарка (стр. 30).— Написано осенью 1842 г., когда Петефи совершил путешествие пешком через всю хортобадьскую степь. Это первое стихотворение Петефи, ставшее народной песней. Известный собиратель фольклора Янош Эрдеи включил «Хортобадьскую шинкарку» в сборник «Подлинных народных песен», не зная, что автором ее является Петефи.

В связи с этим стихотворением и другими вакхическими песнями поэта любопытно отметить, что сам он пил очень мало, о чем свидетельствует ряд его современников. Так, например, писатель Мор Йокаи, который был долгое время дружен с Петефи, рассказывал: «Тот, кто читает его вакхические песни, может подумать, что Петефи был заправским пьяницей. Таким я не знал его никогда... он сам сочинял только стихи о вине». Поэт Янош Вайда писал об этом следующее: «Обвинение его в грубости и вульгарности столько же соответствовало действительности, сколько и слухи относительно его пристрастия к вину. Лично я, хотя и видел его несколько лет подряд почти ежедневно, никогда не замечал в нем даже малейших признаков хмеля».

На родине (стр. 31).— Написано осенью 1841 г., по возвращении в родные места Киш-Куншага, где Петефи не бывал с 1838 г. Первое произведение, опубликованное под фамилией «Петефи», а не «Петрович». Стихотворение это привлекло внимание крупнейшего в ту пору венгерского поэта Михая Вёрёшмарти, который решил, что «под именем Петефи скрывается какой-то более маститый поэт».

На пиршестве по случаю убоя свиньи (стр. 32).— Написано в бытность Петефи актером Секеш-Фехерварской труппы. В Секеш-Фехерваре Петефи снимал угол у мясника, который и пригласил его на пиршество. В честь этого Петефи сочинил стихотворение, хотел напечатать его и продавать театральной публике, чтобы таким образом пополнить свой пустой кошелек. Но цензор запретил печатание стихотворения, считая особенно недопустимой последнюю строфу. Тогда Петефи пришлось переписать стихотворение от руки и в таком виде распространять его.

Издалёка (стр. 37).— В конце марта 1843 г. Петефи покинул труппу Сабо и отправился в Пешт, где повидался с поэтами Байзой и Вёрёшмарти. Из Пешта он поехал к друзьям в город Папу и в мае направился в Пожонь, надеясь поступить там в театральную труппу. Но директор не принял Петефи, и он вынужден был заняться перепиской «Ведомостей сейма». «И вот я весь день переписываю «Ведомости сейма»...— писал он поэту Байзе,— а оплата так ничтожна, что только и хватает на хлеб насущный. К тому же глаза мои слабеют и грудь побаливает, а при столь сухих занятиях и муза меня обходит. При таких обстоятельствах я с удовольствием покинул бы Пожонь и стал искать актерскую труппу, которая приняла бы меня... но в моем положении это невозможно: я нищий!» В этом же письме Петефи послал несколько стихотворений для журнала «Атенеум», в том числе и «Издалёка», о котором написал следующее: «Достопочтенный господин редактор, в стихотворении «Издалёка» я последовал вашему совету написать народную песню метрическим стихом — и вряд ли достиг успеха».

Адский пламень, черт рогатый!.. (стр. 38).— Напечатано вместе с другими стихами 30 августа 1843 г. в журнале «Атенеум» под общим заглавием «Народные песни» и подписано псевдонимом Пал Пёнёгеи Киш.

Размышления человека, страдающего от жажды (стр. 45).— Литературное общество «Национальный круг», решившее издать стихи Петефи, поручило отбор произведений писателям Михаю Вёрёшмарти, Шандору Вахоту и Эдэ Сиглигэти. В связи с этим Петефи писал своему другу Беле Тарканн: «...и они, друг мой, изъяли штук пятнадцать, большей частью вакхические песни. Подумай только, они хотели выкинуть и «Размышление человека, страдающего от жажды», но уж этого я не допустил».

Неудавшийся замысел, Побывка у своих (стр. 48—49).— Покинув сцену, Петефи помирился с родителями и после полуторагодичной разлуки навестил их в Дуна-Вече, где отец был арендатором сельской корчмы. Он провел у родителей около двух месяцев, потом уехал в Пешт, где занял должность помощника редактора журнала.

Он в жизни лишь учился скотину свежевать.— Намек на то, что отец Петефи был мясником.

Жужике (стр. 54).— Во время пребывания в Дуна-Вече Петефи не мог остановиться у родителей ввиду их стесненных жилищных условий и снял комнату у одного зажиточного соседа Пала Надя. Дочь его звали Жужикой. Петефи посвятил ей несколько стихотворений. *В честь вот этой стихи сработал он!* — «Сработал», «сделал», «вырубил» стихи — любимые выражения Петефи.

Алфельд (стр. 61).— В «Путевых письмах» Петефи пишет: «Я хочу умереть там, где родился,— в степях Алфельда, между Тисой и Дунаем. Пусть унесут мои останки далеко, далеко от шума мирского и похоронят меня посреди степи, где холм могильный, как бы мал он ни был, будет самой большой возвышенностью на всем этом бескрайнем просторе. Я хочу успокоиться здесь, где нет ничего, кроме скромных репейников, летних миражей да осенних перелетных птиц».

Зима в Дебрецене (стр. 66).— В этом стихотворении Петефи юмористически вспоминает о тяжелой зиме 1843/44 года, которую он, больной и голодный, провел в богатом городе Дебрецене, приютившись в доме у бедной вдовы Фогаш.

Флакон с чернилами (стр. 75).— *Медери* Карой (1798—1842) — известный венгерский комический актер. Карп — ласкательное от имени Карой. *Сентпетери* Жигмонд (1798—1858) — известный венгерский актер.

К солнцу (стр. 76).— Поступив помощником редактора в журнал «Пешти диватлап» («Пештский журнал мод»), Петефи получил от владельца и редактора журнала комнатку, в которую никогда не заглядывало солнце, так как единственное окошко ее было наполовину загорожено лестницей.

Легенда (стр. 77).— Это стихотворение Петефи послал в письме своему другу Элэку Дэмэку. «Вчера написал стихотворение, при желании можешь прочесть его на обратной стороне листа,— «Легенда». При жизни поэта оно не могло быть напечатано по цензурным условиям, но довольно широко распространялось в списках под заглавием «Поп».

Чоконаи (стр. 79).— *Чоконаи* Витез Михай (1773—1805) — выдающийся венгерский поэт-просветитель. Автор многих анакреонтических песен.

Дикий цветок (стр. 81).— Написано в ответ на первые нападки реакционной критики, обвинявшей Петефи в грубости и вульгарности. Здесь Петефи впервые сформулировал в какой-то мере свое эстетическое кредо. Стихотворение свидетельствует о том, как сознательно относился Петефи к своему призванию «народного поэта» и с какой решительностью отмежевывался от «тепличных цветочков», от правил и канонов дворянской поэзии.

Против королей (стр. 85).— Напечатано впервые 26 октября 1848 г. Под заглавием в скобках Петефи приписал: «Это стихотворение было написано мной еще в 1844 году; нет нужды объяснять, почему оно до сих пор валялось в ящике моего письменного стола, и к тому же на самом его дне».

Зимнее время (стр. 89).— *Дрожит тарелка над цирюльней...* Тарелка — цеховой знак цирюльников.

Лесное жилье (стр. 93).— *Керени* Фридеш (1822—1852) — поэт, друг Петефи. *Томпа* Михай (1817—1858) — известный венгерский поэт. Стихи были напечатаны со следующим примечанием: «В лесу, возле Эперьеша, стоит домик. Гуляя в этих краях, мы все трое условились не описывать его точно, а нарисовать только приблизительно сходный пейзаж. *К.П.Т.*» (Керени, Петефи, Томпа). Сохранились следующие любопытные строки, принадлежащие перу Томпы: «В 1845 году я служил воспитателем в Эперьеше, где проживал и Керени. Весной нас навестил Петефи, которого до тех пор мы ни разу не видели. Можно себе представить, как мы веселились! Однажды Шандор сказал: «Ребята, напишем в память нашей встречи какое-нибудь стихотворение на одну и ту же тему». Мы согласились, что предметом стихотворения будет «лесное жилье». Весь этот разговор произошел в комнате. При этом было твердо решено, что стихотворение будет пейзажным, описательным. Никаких рефлексий! И только я один остался верен задуманному плану.

В ту пору газеты много писали об этом. Позднее же я сам слышал от юных жителей Эперьеша и даже читал в путевых заметках кое-каких проезжих, что они видели наше «лесное жилье», веселились в нем и вспоминали трех соревновавшихся поэтов. Больше того! Года три назад один мой друг по Эперьешу написал, чтобы я готовился приехать к ним, так как лачугу украшают и в ней будут устроены празднества. Вот как воображение превратило в существующее то, чего не существовало никогда. Ведь мы же никогда никакой хижины не видели,— все это была фантазия. И тем не менее в горах Эперьеша до сих пор показывают воспетую нами лачугу. Я улыбался, но не возражал. Было бы подлинным варварством разрушить иллюзию, поэзию общественного мнения».

Мое воображенье (стр. 94).— Реакционные критики постоянно упрекали Петефи за «низменность его фантазии», то есть за его народность, за новизну и демократичность тем, за новаторство в стихосложении и прямоту в высказывании своих социальных взглядов. Например, «Хондерю», журнал реакционного дворянства, писал о Петефи: «Муза поэта летает большей частью очень низко». Это стихотворение является ответом Петефи на подобные выпады критиков-современников.

В сто образов я облекаю любовь... (стр. 96).— Как и следующие любовные стихи — из цикла «Жемчужины любви». Весь цикл посвящен Берте Меднянски, дочери знатного дворянина, с которой

Петефи познакомился после возвращения из путешествия по Верхней Венгрии. Петефи бывал в гостях в Гёдёллёвском замке, где она проживала. Первые стихи этого цикла написаны в Пеште и в Гёдёллё. Затем поэт уехал к своим родителям в Салк-Сентмартон, дописал там весь цикл стихов и вернулся с намерением жениться в Пешт. Но отец девушки, мечтавший о выгодной партии для своей дочери, заявил, что «ни за актера, ни за поэта» дочь свою не выдаст. Да и сама девушка не соглашалась быть женой бедного поэта. Это был серьезный удар для Петефи. Он был воспринят им тем острее, что одновременно с этим реакционная критика начала травлю против него.

Старый добрый трактирщик (стр. 102).— После всех разочарований, пережитых осенью 1845 г., Петефи поехал к своему отцу в Салк-Сентмартон. Отец поэта — прежде мясник, разорившийся в 1838 г. (дом его снес разлив Дуная, хлеб побило градом, и люди, которым он верил, обманули его), теперь был арендатором сельской корчмы.

Последний человек (стр. 104).— Это стихотворение порождено тем же тяжелым душевным состоянием, как и следующий дальше цикл «Тучи». Однако «Последний человек» и ряд других произведений подобного мрачно-романтического звучания, не вошли в цикл «Тучи». Петефи собирался объединить их под названием «Беззвездные ночи». Об этом свидетельствует следующее объяснение в журнале «Пешти диватлап»: «Петефи издает сборник под названием «Беззвездные ночи». Сколько можно судить по отрывкам, что нам удалось прослушать, этот сборник займет достойное место рядом с его книгами «Жемчужины любви» и «Тучи». Однако этот сборник стихов так и не был выпущен.

В альбом К. Ш. (стр. 107).— Стихотворение написано в Борьяде, где Петефи гостил у родных своего друга детства доктора Иштвана Шаша, который написал впоследствии воспоминания о Петефи. Посвящено Карою Шашу, младшему брату Иштвана, с которым Петефи был тоже дружен.

Мажара с четверкой волов (стр. 107).— Написано во время пребывания в Борьяде. *Эржике* — сестра Иштвана Шаша.

Перемена (стр. 111).— С этим стихотворением связано знаменательное событие в жизни Петефи, его окончательный разрыв с владельцем журнала «Пешти диватлап» — Имре Вахотом.

В 1846 г. Петефи основал первую организацию передовых венгерских писателей — «Товарищество десяти». В нее вошли десять молодых писателей. Товарищество это решило учредить свой журнал и обязало своих членов целый год не печататься нигде, кроме как в этом журнале. Так как речь шла о популярных писателях, и прежде всего о Петефи, то подобное решение задело редакторов других журналов. Они увидели в этом угрозу своим доходам. Однако Имре Вахот быстро нашелся и уже после решения товарищества напечатал в своем журнале стихотворение

«Перемена», которое давно лежало у него в редакторском портфеле. В связи с этим Петефи писал Яношу Араню: «Товарищество десяти» возникло первого июля прошлого года, и сразу же — в первом июльском номере «Пешти диватлап» — я увидел свое стихотворение (вместе со стихами остальных членов «Товарищества десяти»). Я сказал Вахоту, что выступлю против него публично. А он ответил, что если я посмею всерьез выступить, то он меня уничтожит. «Посмею», «уничтожит» — слышал ли ты, что-нибудь подобное? Я написал статью и в ней попросту доказал, что Вахот напечатал украденное у меня стихотворение. Прочитав мою статью, он швырнул ее обратно, заявив, что печатать ее не станет, и назвал меня с глазу на глаз подлецом. На это я мог ответить только острием клинка или пулей. Я послал к нему секундантов, но он после полутора суток оттяжки наконец решительно заявил, что ни в коем случае не станет драться. Напоследок я ему сказал: «Оказывается, ты не только подлец, но и трус».

В Надь-Карое (стр. 142).— *Кёльчеи* Ференц (1796—1838) — венгерский поэт, автор гимна Венгрии. Начиная с 1829 г. принимал активное участие в общественной жизни сатмарского комитата. В своих речах он призывал к уничтожению крепостного права, чем вызвал к себе ненависть реакционных помещиков и деятелей комитата.

В одном из «Путевых писем» Петефи так писал о нем: «...на чекейском кладбище Ференц Кёльчеи. Прошлой осенью я жил здесь несколько недель и навещал священную могилу, в которой истлевает одно из самых благородных сердец. На могильном холме ни гранитного памятника, ни даже деревянного креста, на котором стояло бы его имя. Но в этом нет и нужды — путник, приближающийся к могиле, по стуку своего сердца узнает, кто в ней похоронен. Тихо в этих краях, шум мирской, шум городов не доходит сюда. Только ветры сотрясают кусты шиповников вокруг могилы великого человека...»

6 сентября 1846 г. вместе со своим другом — поэтом Эндре Папом, у которого он гостил в Сатмаре, Петефи поехал в Надь-Карой навестить их общего друга поэта Игнаца Ришко. В Надь-Карое в это время состоялись выборы комитатского головы, на которых присутствовал и Петефи. В связи с этим и написано стихотворение. *Илоты* — одна из бесправных групп земледельческого населения древней Спарты; илоты считались собственностью государства и по своему положению не отличались от рабов. В переносном смысле — люди, безропотно переносящие бесправие.

В мае 1847 г. в своих «Путевых письмах» Петефи писал: «На днях я направляюсь в Сатмар, где меня ожидают с распростертыми объятиями, а кое-кто, может быть, и вооружившись палкой со свинцовым набалдашником. Я слышу, господа гневаются из-за моего стихотворения «В Надь-Карое». Очень жаль, и вместе с тем я несказанно рад — ведь я стремился именно к тому, чтобы пнуть их хорошенько в бок, как они

того заслуживают. Признаюсь, еще больше хотелось бы мне дать им по башке, но пустые бочки страшно гремят, а у меня не было охоты подымать большой трезвон. Впрочем, их угрожающие свинцовые набалдашники не так страшны, как иные распростертые объятия».

В а л ь б о м б а р ы ш н е Ю. С. (стр. 147).— Посвящено, как и все последующие любовные стихи, Юлии Сендреи, будущей жене поэта.

Г р а ф у Ш а н д о р у Т е л е к и (стр. 152).— *Телеки* Шандор (1821—1892) в 1848—1849 гг. был полковником революционной армии, состоял при генерале Беме. После поражения революции уехал во Францию. В 1860—1861 гг. участвовал в восстании Гарибальди. В 1867 г. вернулся на родину и выпустил книгу «Воспоминания». Телеки был близким другом Петефи; в 1847 г. он предоставил ему свой замок Колто, где поэт провел первый месяц после женитьбы. При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

В а л ь б о м б а р ы ш н е Р. Э. (стр. 154).— В начале ноября Петефи поехал в Дебрецен, где остановился у своего друга Даниеля Эмёди (1819—1891). Эмёди служил в это время воспитателем в доме профессора Йожефа Эрдеи. Поэт провел в гостях полторы недели и перед отъездом в благодарность за гостеприимство вписал это стихотворение в альбом дочери профессора, Розы Эрдеи.

Я д о м о й в е р н у л с я... (стр. 154).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

О д н о м е н я т р е в о ж и т... (стр. 158).— Одно из самых известных революционных стихотворений Петефи. Впервые было напечатано в марте 1847 г. в журнале «Хазанк» («Наша родина»), выходившем в городе Дёр под редакцией Пала Ковача. В этом журнале печатались все молодые прогрессивные писатели Венгрии. Опубликованию этого стихотворения предшествовало очень характерное для Петефи столкновение с редактором журнала. Петефи прислал ему несколько стихотворений, в том числе и «Одно меня тревожит...», и, по своему обыкновению, указал, в каком порядке их печатать. Но ввиду того, что цензор запретил печатать это стихотворение, Ковач поместил вместо него «Кутякапаро». Петефи, ничего не зная о запрещении цензора, послал Ковачу следующее письмо.

«Милый мой Пали! Только сейчас с величайшим удивлением заметил, что в «Хазанке» помещено «Кутякапаро», вопреки тому, что я пронумеровал стихи и просил их печатать в обозначенном порядке. Признаюсь, что к этому я не привык. На сей раз готов простить такой небольшой редакторский произвол, но на будущее должен заявить со всей решительностью, что если вы станете таким образом поступать с моими произведениями, я буду вынужден сам исключить себя из числа сотрудников «Хазанка». Во-первых, потому, что я устанавливал порядок печатания не произвольно, не для собственного удовольствия или из ребячества, а во-вторых и главным образом потому, что я смертельный, страш-

ный враг всякого произвола, всего того, что носит даже малейший оттенок деспотизма».

Любовь и свобода... (стр. 159).— Это стихотворение Петефи поставил эпиграфом к собранию своих сочинений.

Кутякапаро (стр. 160).— В «Путевых письмах» Петефи пишет о венгерских корчмарях: «Удивительные люди венгерские корчмари, мой друг. От них только за плату и можно добиться слова, а какой-нибудь еды, так и за плату не добьешься. Нет! Что бы вы у него ни попросили, на все он отвечает: «Нет!» Или скажет, что не станет ради этого разводить огонь. Так было со мной в двух деревнях Бихара — в Окане и Кёрёш-Ладане. Я вроде ел и не ел, давали мне не то, что я просил, а что хотели, и притом из милости. Но я не сердился, напротив — мне было приятно, очень приятно, ведь даже это показывало, что венгерец за стыд почитает прислуживать, что он не рожден для рабства, черт побери!»

Яношу Араню (стр. 169).— *Арань* Янош (1817—1882) — известный венгерский поэт, автор выдающихся произведений венгерской эпической поэзии. В 1847 г. вышла первая часть его трилогии «Толди». Петефи принял поэму очень горячо и откликнулся на нее стихотворением «Яношу Араню» и письмом:

«Привет вам! Сегодня прочел я «Толди», сегодня написал это стихотворение и сегодня же отправляю его вам. Правда, оно будет напечатано в «Элеткепэке», но я хочу как можно скорее сказать вам о той неожиданной радости, о том восторге, которые вызвало во мне ваше произведение. Что бы там ни говорили, а истинная поэзия — поэзия народная. Согласимся на том, что ее надо сделать господствующей! Если народ будет господствовать в поэзии, он приблизится и к господству в политике, а в этом — задача века; осуществить ее — цель каждой благородной души, которой уже невтерпеж стало видеть, как страдают миллионы ради того, чтобы несколько тысяч могли нежиться и наслаждаться жизнью. В небо — народ, в ад — аристократию!»

С этого началась дружба двух поэтов, и продолжалась она ничем не омраченная, до самой гибели Петефи.

Тиса (стр. 172).— Написано в качестве объяснения к одной гравюре на дереве. В своих произведениях Петефи не раз обращался к реке Тисе. В «Путевых письмах» он писал о ней: «Люблю я эту реку! И люблю, быть может, потому, что она венгерская с головы до ног: рождается на нашей родине и на ней же умирает... Я пришел к мосту через Тису... и залюбовался развернувшейся справа и слева картиной, которая, благодаря разливу, больше всего напоминала по своей романтичности американские джунгли. Но будь они прокляты, ведь и здесь скоро обуздают реку, пропадет вся романтика, водворятся порядок и проза. Да, не хотелось бы мне быть по теперешним временам Тисой. Бедняжка Тиса! До сих пор она, словно неукротимая, дикая кобылица, как хотела, носилась

по свету, а сейчас ее взнуздали, запрягли, и придется ей плестись по одному и тому же руслу. Так жизнь превращает гения в филистера!»

От имени народа (стр. 177).— Прочитано Петефи на собрании «Оппозиционного круга» 17 марта 1847 г. Но цензура не разрешила печатать это стихотворение, и оно увидело свет только после смерти поэта. *Дожа* Дёрдь — вождь венгерского крестьянского восстания 1514 г. После поражения восстания его сожгли на раскаленном троне, а сподвижников заставили съесть его тело. *Геройство ваше, дёрские события забыл!* — Петефи намекает на позорное бегство венгерского дворянского ополчения от наполеоновских войск в 1809 г. возле города Дёра.

Лишь война... (стр. 179).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Любовь (стр. 185).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Суд (стр. 186).— Принадлежит к произведениям Петефи, которые свидетельствуют о том, как остро предчувствовал поэт наступление революции. В «Страницах из дневника» Петефи писал 17 марта 1848 г.: «Я ждал грядущего, ждал того мгновения, когда вольнолюбивые мысли и чувства, узники моего сердца, покинут свою тюрьму, место их терзаний... я ждал этого мгновения, я не только надеялся, я твердо верил, что оно придет. Свидетели тому стихи, которые я пишу уже больше года. Не умствование, а то пророческое вдохновение,— или, если хотите, животный инстинкт, которым богат поэт,— дало мне возможность ясно понять, что Европа с каждым днем приближается к прекрасному насильственному потрясению. Об этом я не раз писал и еще больше говорил. Никто не верил моим прорицаниям, многие высмеивали меня, называли мечтательным глупцом, но во мне жила вера, и я был в том же состоянии, как звери перед землетрясением или затмением солнца».

Первая клятва (стр. 187).— С 1835 по 1838 г. Петефи учился в городе Асоде. Здесь и произошло событие, описанное в стихотворении. В «Путевых записках» эту неудавшуюся попытку стать актером Петефи описывает в более юмористических тонах: «Мой учитель (благослови его господь!) счел нужным написать о моих чрезвычайно серьезных помыслах мужу, обладавшему весьма непохвальным свойством чертовски ненавидеть актерское искусство. Этим мужем, обладавшим столь редкостным свойством, был как раз мой отец. И он, как и надлежит добропорядочному отцу, услышав грозную весть, не медля ни секунды, кинулся спасать сына, гибнущего в адском водовороте. И меня на самом деле свели с греховного пути отцовские советы, которые были заметны еще неделю спустя... на спине и других частях бренной моей оболочки».

Зельд Марци (стр. 190).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано. *Зельд* Марци — алфельдский разбойник (бетяр).

Стоит мне... (стр. 191).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Эрдёд, 17 мая 1847 года (стр. 193).— Стихотворение относится к тому времени, когда Петефи, после годичного перерыва, приехал к отцу своей любимой, Игнацу Сендреи, просить руку его дочери и Сендреи в грубой форме отказал ему.

В руднике (стр. 195).— Свои впечатления от посещения шахты Петефи так описывает в «Путевых письмах»: «Нынче я с целой компанией побывал в шахте. Страшная глубина! Мы спустились всего лишь на тысячу саженей, а сколько еще до самого низа? Мы вползали в длинный узкий коридор, как фарш в колбасу, некоторое время двигались по прямой, потом вверх, снова вниз, и, наконец, до нас донесся издали тихий стук кирки и замелькали шахтерские лампочки. Они то исчезали, то появлялись вновь, как звезды меж черных туч. Нет, должно быть, тяжелее жизни шахтеров. Роются, роются эти бледные кроты, вдали от солнечного света, вдали от зелени, от природы, и так до самой смерти. А для чего? Чтобы дети их и жены жили впроголодь, прозябали, чтобы роскошествовали чужие жены и дети».

Наконец назвать моею... (стр. 196).— Петефи так описывает в «Путевых письмах» тот день, когда он получил согласие на брак с Юлией. «Друг мой, вчера, а может быть, столетие назад, написал я тебе письмо из Надь-Бани? За этот день свершилась огромная перемена; я не думал, что такая может произойти за целое столетие... Я счастлив! Навеки! Ночь, лунная, звездная, тихая ночь. Ни звука, ни шороха... Только соловей поет... Это мое сердце!.. Славная, славная девушка! Ей предстояло выбрать между родителями и мной. Она избрала меня. Она, кого родители берегли как зеницу ока, с самого детства предупреждая и исполняя все ее желания, никогда не сказав ей дурного слова... А кто был я? Неведомый пришелец, которого забрызгали грязью предрассудки и стрелами исколола клевета... И все-таки она избрала меня!»

Лаци Араню (стр. 197).— В 1847 г. летом Петефи провел десять дней в семье своего лучшего друга поэта Яноша Араня. «Он написал у меня несколько стихотворений,— рассказывал позднее Арань,— нарисовал меня (плохо) и искалеченную башню, которую он прославил и в стихах. Здесь создал он и «Тетю Шари». Это стихотворение об одной старухе, которая после пожара осталась без крова и ютилась у меня в сарае, покуда не нашла себе лучшего обиталища. Тогда же посвятил он стихотворение моему сыну Лаци, которому в ту пору было три года и которого Петефи очень любил. Дети тоже очень любили Петефи... он ведь, если хотел, умел быть очень милым».

В письме от 25 августа 1847 г. Янош Арань писал Петефи: «Лаци знает твое стихотворение, посвященное ему, наизусть и гордится им чрезвычайно. Кто бы ни заходил к нам в дом, знакомые или чужие,—

он первым делом разыскивает бумажку и начинает показывать стихотворение, хвалясь, что это прислал дядя Петефи и что он привезет ему еще и лошадку». Позднее Ласло Арань стал тоже поэтом, однако приобрел известность главным образом как собиратель венгерских народных песен и сказок.

Путешествие по Алфельду (стр. 206).— Об этом путешествии Петефи пишет в «Путевых письмах»: «...за четыре дня поездки по Алфельду меня растрясло так, будто я совершил кругосветное путешествие... Мало того, что я ехал по Алфельду, дело еще в том, что мое путешествие предварил десятидневный дождь, да к тому же он два дня хлестал меня по дороге. Теперь ты можешь себе представить, как мне было весело... Телега моя была защищена навесом, но на колеса налипло столько грязи, что буквально каждые сто шагов мы были вынуждены останавливаться и сковыривать железными вилами прилипшее к ободьям черное масло».

Знаменитая красавица (стр. 209).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Эй, что за гвалт? (стр. 209).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано. Написано в связи с очередными выпадами реакционного журнала «Хондерю» против Петефи.

Я собрал пожитки... (стр. 210).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

У Михая Томпы (стр. 213).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Закат (стр. 215).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Панни Паньо (стр. 215).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

В Мункачской крепости (стр. 216).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано. В «Путевых письмах» Петефи пишет о своем посещении Мункачской крепости: «Ранним утром, вернее поздним утром, добрался в Мункач. Покуда мой возница кормил лошадей, я наскоро пообедал и поспешил навестить замок, превращенный в государственную тюрьму. Он стоит посреди равнины, на высоком холме, в добрых пятнадцати минутах от города. На склоне холма растет виноград... Не хотелось бы мне пить вино из этого винограда... Мне все казалось бы, что я пью слезы узников... Я поднялся в замок, обошел все дворы и несколько зал. Темницы мне не показали, быть может, потому, что я был один и меня никто не знал, а может быть, в подземелья никого не пускают?.. Бог его знает почему, но в этих стенах у меня так сжалось сердце, что я едва дышал. Чувства свои я описал в стихотворении. Это были мучительные ощущения. Все время, покамест я был там, какой-то дух шептал мне на ухо о печальных делах. Слова его мне были непо-

нятны, так тихо, тихо говорил он,— я слышал только шепот его, и этот звук был так скорбен. Не знаю даже, кем был этот шепчущий дух? Воспоминанием или предчувствием?»

Я вижу дивные цветы Востока... (стр. 217).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Ответ на письмо моей милой (стр. 218).— Это письмо в стихах, написанное Юлии Сендреи.

Покинутый флаг (стр. 221).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Не сердись, моя голубка... (стр. 221).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Пятое августа (стр. 222).— В этот день состоялось в 1847 г. обручение Петефи с Юлией Сендреи. При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Письмо Яношу Араню (стр. 223).— Послание это Петефи отправил Араню на следующий день после обручения. Арань откликнулся на него стихотворением, приложенным к письму, в котором он писал: «Что же касается кумушки, то она просила ничего тебе не передавать. Она совершенно отчаялась увидеть тебя еще когда-либо. Лаци, правда, все время утешает ее, говорит: «Дядя Петефи приедет. Он обещал мне лошадку и привезет ее». Но мать не верит, говорит, что она уже не дитя. Тебе шлет привет искалеченная башня. Она спрашивает, когда ей представится счастье повидать тебя. И если бы кто-нибудь ей сказал, что этого не дождаться, она, верно, тут же рухнула бы от огорчения. Розы в саду завяли сразу после твоего отъезда, но к будущей троице они вновь расцветут. И аист улетел, но и он попрощался не навеки». *Достопочтенная кумушка.*— Петефи называл кумушкой жену Араня. *Лаци* и *Илуш* — дети Араня.

В кабаке (стр. 228).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Бродяга (стр. 229).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Не обижайся (стр. 231).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Пестрая жизнь (стр. 232).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Прекрасное письмо (стр. 233).— Петефи сам перечеркнул каждую строку этого стихотворения, посвященного, как и все упомянутые любовные стихи, Юлии Сендреи. Расшифровал стихотворение уже после смерти Петефи его биограф Золтан Ференци.

На розу рассердился я... (стр. 234).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Все говорят, что я поэт... (стр. 235).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Звездное небо (стр. 235).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Ах, одно другого лучше... (стр. 236).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Как-нибудь (стр. 239).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Видал ли кто... (стр. 240).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Прощанье с холостой жизнью (стр. 241).— Свадьба Петефи и Юлии Сендреи состоялась 8 сентября 1847 г. в Эрдёде; стихотворение написано за несколько дней до свадьбы. При жизни Петефи не было напечатано.

Молодой батрак (стр. 242).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

За горами синими... (стр. 243).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Жители пустыни (стр. 244).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

В конце сентября (стр. 248).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Последние цветы (стр. 249).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Встарь и нынче... (стр. 250).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Страна любви (стр. 251).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Небо и земля (стр. 253).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Тихая жизнь (стр. 254).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Вот был огромный труд... (стр. 254).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

В коляске и пешком (стр. 256).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Что такое любовь? (стр. 257).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Мудрствование и мудрость (стр. 258).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Родина, пора вставать!.. (стр. 259).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Поцелуев два десятка... (стр. 260).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

У Яноша Араня (стр. 264).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Только я в свое окошко погляжу... (стр. 265).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано. *Халтберда* — искаженное немецкое: «Halt wer da?» («Стой, кто здесь?») В «Путевых записках» Петефи писал: «Даже в ту пору, когда я еще не видел своего имени в печати и кропал стихи, только для себя... когда я еще стоял на карауле или варил кукурузные клецки для своих товарищей по солдатчине, мыл жестяные котелки в такую стужу, что тряпка примерзала к моим рукам, когда по окрику капрала: «Ну-ка, давай!» — мчался сгребать снег со двора казармы,— я и в ту пору всегда предчувствовал, что произойдет со мной. Так оно и получилось. На голых нарах караульни, где, как барону Манксу, подстилкой мне служил один мой бок, а укрывался я другим, уже там мне приснилось, что я приобрету себе имя, славное в двух странах, которое не сумеет уничтожить даже воющая свора критиков всего мира. И мечта моя потихоньку осуществляется!»

В душе глубокой... (стр. 267).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Судьи, судьи... (стр. 268).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Женушка, послушай... (стр. 269).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Ночь (стр. 271).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Окатоотайя (стр. 273).— Сатирическое стихотворение, в котором под страной Окатоотайя подразумевается Венгрия, а под Австралией Австрия. При жизни Петефи не было напечатано.

К венгерским политикам (стр. 275).— В «Страницах из дневника» Петефи писал о политической жизни Венгрии и о людях, участвовавших в ней перед революцией 1848 г.: «Нашу политическую жизнь я либо созерцал издалека, либо вовсе не уделял ей внимания, поэтому одни обвиняли меня в односторонности, другие — в преступном равнодушии.

Близорукие! Я знал то, чего не ведали они,— вот почему и жалел этих голосистых крикунов, героев однодневной политики, и улыбался, видя, какую важность они напускают на себя; я знал, что их блестящие деянья и блестящие речи — не что иное, как письмена на песке, которые будут сметены первыми порывами приближающегося вихря; я знал, что они не те великие актеры, которым суждено на сцене мира разыграть грандиозную драму возрождения, а только декораторы и статисты, задергивающие занавес и выносящие на сцену столы и стулья».

На именины моей жены (стр. 277).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

На железной дороге (стр. 278).— Этим стихотворением приветствовал он открывшуюся новую Пешт-Солнокскую железную дорогу, по которой он совершил поездку. Незадолго до этого Петефи писал в «Путевых письмах» о ранее открывшейся Пешт-Вацской железной дороге: «На этом поезде передвигаешься с поразительной скоростью. Мне хотелось бы посадить на поезд всю нашу венгерскую отчизну, тогда, быть может, за несколько лет она наверстала бы то, что упустила за несколько столетий». При жизни Петефи не было напечатано.

К гневу (стр. 279). — При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Вон табун, он в пуште ходит... (стр. 281).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Лишь утро минуло... (стр. 282).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Зимние вечера (стр. 285).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Есть ли в Венгрии хоть горсть земли такая... (стр. 287). — При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Знамя (стр. 288). — Написано в январе 1848 г. 19 марта 1848 г., через четыре дня после провозглашения революции, журнал «Элеткепэк» писал в связи с этим стихотворением о Петефи: «Поэты, видимо, провидцы мировых событий».

Люблю тебя, люблю тебя... (стр. 289). — При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Добрый учитель (стр. 291). — При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Италия (стр. 295). — Написано в связи с революционными событиями в Италии, которые начались в середине января 1848 г. восстанием в Сицилии. При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

К Сословному собранию (стр. 296). — Написано в начале февраля 1848 г. в связи с очередными заседаниями Сословного собрания. Начало стихотворения полностью совпадает с тем, что писал Петефи в «Страницах из дневника»: «Сейм говорил красиво, но слова, как бы они ни были красивы, остаются только словами, а не делом». Свободу печати Петефи считал первой предпосылкой преобразования Венгрии на новых началах. Там же, в «Страницах из дневника», он писал: «Сейчас родилась венгерская свобода, так как сейчас сбросила с себя оковы печать... Или есть еще такие глупцы, которые воображают, что без свободы печати нация может быть свободна... Логически первым шагом революции, первейшей ее обязанностью, является освобождение печати!» При жизни Петефи не было напечатано.

Курица моей матери (стр. 297). — При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Смерть зимы (стр. 298). — При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

1848 (стр. 299).— В рукописной тетради, куда Петефи записывал свои стихи, все это стихотворение он перечеркнул по строчкам. Впервые его расшифровал и опубликовал Золтан Ференци. При жизни Петефи не было напечатано.

Жесткий ветер... (стр. 300).— Написано в связи с событиями февральской революции во Франции. При жизни Петефи не было напечатано.

Магнатам (стр. 300). — При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Национальная песня (стр. 302).— Написано Петефи 13 марта 1848 г. на случай предполагавшегося 19 марта празднества радикальной молодежи, которая хотела таким образом отметить события французской революции. Сперва это стихотворение, по рассказу очевидцев, начиналось словами: «Вперед, мадьяр!» — но один юноша, присутствовавший на первоначальном чтении, сказал Петефи: «Дружище, мадьярато нужно сперва на ноги поставить, только потом может он ринуться вперед». После этого поэт переделал на «Встань, мадьяр!..». «Национальная песня» — первое произведение, появившееся в венгерской печати после освобождения ее от цензурного гнета. Она была напечатана большинством современных газет, кроме того, ее выпустили отдельными листовками в столице и в провинции, и она сразу же стала гимном венгерской революции. В знаменательный день 15 марта сам поэт читал ее на народных собраниях, и революционная молодежь с жаром повторяла вслед за ним слова клятвы. Первый экземпляр «Национальной песни» Петефи послал поэту Яношу Араню со следующей надписью: «Это первый экземпляр, напечатанный после завоевания свободы печати 15 марта 1848 года; таким образом это первое дыхание свободы».

15 марта 1848 (стр. 303).— В этом стихотворении коротко говорится о том, что подробно изложено в «Страницах из дневника». *Затем мы устремились к Буде: там был писатель заточен...*— Речь идет о революционере-демократе Михае Танчиче, который был освобожден восставшим народом из тюрьмы 15 марта 1848 г. «На Буду, на Буду!.. К наместническому совету! Откроем двери тюрьмы, освободим Танчича! На Буду! — кричали люди, — рассказывает Петефи в «Страницах из дневника». — Эти возгласы раздавались в толпе чаще других. Наконец выбрали депутацию, которая должна была пойти в Буду и призвать наместнический совет к немедленному уничтожению цензуры, освобождению Танчича... двери тюрьмы, где был заключен Танчич, отворились, неисчислимая толпа подхватила писателя-узника и, торжествуя, понесла

его в Пешт». *Случалось ли с времен Матьяша...*— Матьяш (1440—1490) — венгерский король, создатель централизованной власти в Венгрии.

Восстало море (стр. 307).— 27 марта 1848 г. в Пеште разнеслась весть о том, что существование независимого национального правительства стоит под угрозой. Королевский указ от 28 марта подтвердил эту весть: король отказался от данного им 17 марта 1848 г. слова о согласии на создание независимого правительства. В ночь на 30 марта огромные толпы заполнили площадь Свободы. Раздались угрожающие крики: «К оружию!», «Долой немецкое правительство!». Волнения продолжались и весь следующий день: улеглись они только после того, как 31 марта был прочитан новый королевский указ, оставлявший в силе положение о независимом национальном правительстве. В эти дни и написал Петефи стихотворение «Восстало море».

Королям (стр. 308). — Впервые это стихотворение, написанное в бурные дни конца марта 1848 г., было напечатано в виде листовки и, как пишет сам Петефи: «Что же касается моего стихотворения «Королям», послужившего главной причиной моей непопулярности, то оно было первым откровенным выражением республиканских взглядов в Венгрии, и очень ошибаются те, кто думает, что оно окажется последним и единственным. Монархия в Европе приходит к концу, и даже всемогущему богу ее уже не спасти. Ежели какая-нибудь идея становится всемирной, то скорее можно уничтожить мир, нежели выкорчевать из него эту идею. Такова сейчас идея республики (Пешт, 27 мая 1848)». *Пусть еще он цел, ваш замок Мункач...*— Мункач замок, принадлежавший Илоне Зрини, матери Ференца Ракоци II. Она три года героически выдерживала в нем осаду австрийских войск. Впоследствии этот замок был превращен в тюрьму, куда заключали борцов за свободу и независимость Венгрии.

Готовься, родина... (стр. 309). — Было прочитано Петефи 5 апреля 1848 г. на народном собрании, созванном в честь делегации венских студентов. По свидетельству газеты «Немзети уйшаг», народ потребовал, чтобы выступил Петефи. Петефи произнес следующую речь: «Теперешние ораторы, видимо, считают своим призванием всегда успокаивать и утихомиривать вас. Умение успокаивать — прекрасное качество для тех, кто ухаживает за больными. Я уже не знаю, что и сказать. Но одно все-таки скажу, что не намерен идти по их стопам. Я создан, как буревестник, который в бурю кричит; как смерч, который в бурю вздымает волны до небес... Но все-таки я не зря выступил перед вами, я прочту вам свое стихотворение «Готовься, родина...». Народ встретил его восторженно. *К нам прибудут и император, и его семейство...*— Бегство императора в Инсбрук произошло 17 мая. В это же время «независимое венгерское правительство» пригласило изгнанного из Вены императора Фердинанда в Пешт, пообещав, что там «он будет в безопасности среди преданных

ему венгерцев». Петефи предвидел все, как видно из этого стихотворения, за полтора месяца до того, как произошло упомянутое событие.

«Vitam et sangvinem pro rege nostro!» — «Жизнь и кровь за нашего короля!» (л а т.)

Стихотворение впервые увидело свет в 1874 г.

Ш у м и м, ш у м и м... (стр. 311). — Обращено к революционной молодежи, возглавляемой Петефи. Поэт не мог примириться с тем, чтобы революция окончилась изданием королевского указа от 31 марта и созданием независимого национального правительства. Поэт не верил в возможность мирных преобразований: «В Пеште революционный подъем достиг вершины, — писал он 1 апреля в «Страницах из дневника», — из провинции к нашим идеям и действиям присоединялись ежедневно новые и новые сторонники. И при таком положении мы ожидали две недели, чтобы король сдержал свое слово. От этого наше национальное достоинство разрыдалось и сказало: «Позор нам!» Да, позор, но этот позор не относится к молодежи. Только бы мирные, кроткие Лафайеты не совались к нам, а предоставили дело тем, которые осмелились взяться за него, тогда нашей славе не был бы нанесен ущерб!.. Кровь, быть может, и пролилась бы... Но вы, что же, без кровопролитий желаете переродиться? Дай-то бог, только ничего из этого не выйдет!»

Р а к о ц и (стр. 313). — Образ Ференца Ракоци, борца за национальную независимость Венгрии, все чаще вставал перед Петефи в дни революции. 21 апреля 1848 г. исполнилось сто тринадцать лет со дня смерти Ракоци. В «Страницах из дневника» Петефи писал в этот день: «Это был великий муж, и рука его свята; она освящена саблей свободы, годами сверкавшей в его руке. Как много боролся он, как много боролся! Но безуспешно! Да и можно ли ожидать успеха там, где друг предает, а отчизна бесчувственна? Сабля выпала из его руки, герой превратился в изгнанника, и пока его неверный друг пировал, получив богатую мзду за измену родине, сам он питался подаянием в ссылке. Нынче сто тринадцатая годовщина его смерти, и найдется ли среди просторов родины, среди просторов мира хоть один человек, кроме меня, который бы вспомнил, что нынешний день — день смерти героя?

О Ракоци!»

К о н с е р в а т о р ы (стр. 317). — В тетради рукописей Петефи по строчкам вычеркнул все стихотворение. Впервые расшифровал его Золтан Ференци и опубликовал в 1890 г. Речь идет о тех консерваторах, которые после мартовских дней объявили себя сторонниками революции, доказывая, что они якобы всегда стояли за дело народа. Левая газета «Марциуш тизенётёдикэ» писала в эти дни: «Венгерская история не знала еще таких сонмищ народа, какие сейчас устремились из этой предательской партии к нам, к враждебной им партии. Французские консерваторы не покидали так внезапно короля Луи-Филиппа, как покидали на-

ши чиновники провалившееся абсолютистское правительство Вены». При жизни Петефи не было напечатано.

Нас теперь возненавидел... (стр. 318). — При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Бан Банк (стр. 319). — Бан Банк был наместником Венгрии во время царствования Эндре II. История бана Банка, убившего немку Гертруду — жену короля Эндре, вдохновила не одного Петефи. Уже до него выдающийся венгерский драматург Иожеф Катона (1791—1830) написал трагедию «Бан Банк», в которой ратовал за освобождение Венгрии от немецкого ига и за освобождение крестьянства от гнета феодалов.

Что-то немец выдумал сегодня... (стр. 323).— За несколько дней до утверждения новых законов о независимом венгерском правительстве император Фердинанд обратился с письмом к наместнику Венгрии. В этом письме он выразил желание, чтобы Венгрия взяла на себя уплату двухсот миллионов форинтов из общегосударственных долгов Австрии. В «Прокламации «Общества Равенства» Петефи писал по этому поводу: «Только теперь начинаем мы просыпаться, когда камарилья снова собралась с силами и кричит нам: «Все, что я разрешила вам в марте, все это была шутка, беру свои слова обратно. Вы будете служить мне, как служили до сих пор, будете давать мне солдат, посылать деньги в Вену и сверх того, так как я много задолжала, будете выплачивать часть моих долгов — 200 миллионов форинтов». Что ты ответишь на это, венгерский народ, если у тебя есть еще бог и есть душа? Не крикнут ли в ответ миллионы и миллионы людей: «Нет на свете той власти, которая могла бы снова похитить нашу свободу!» *К нам вы приезжали целоваться...*— Намек на делегацию австрийских студентов, которая приезжала в Пешт в начале апреля (см. прим. к стихотворению «Готовься, родина...»). При жизни Петефи не было напечатано.

Песня о черно-красном знамени (стр. 324). — Написано в начале мая 1848 г., когда реакция открыто выступила против революционной Венгрии и подготавливала под руководством генерала австрийской армии Елашича полчища для подавления революции. «В то время министерство вело себя так, — писал Петефи в «Политических статьях», — что те, кто дорожил родиной, действительно не могли ему доверять, а ведь дорожит тот, кто любит. Нам грозила внешняя и внутренняя война, армии у нас не было, а министерство и шагу не сделало, чтобы создать ее... Если при таких отчаянных обстоятельствах я, не боясь называть вещи своими именами, заявлю, что не верю министерству, то ставить это мне в вину могут только те, кто не знает, что такое любовь к родине. Молчать всегда легче, нежели говорить; и кто предупреждает республику о грозящей ей опасности, не может быть ее врагом. Ее враг тот, кто видит опасность, но молчит». *Красно-бело-зеленое знамя* — национальный флаг Венгрии. При жизни Петефи не было напечатано.

Ты задрожал, о сброд презренный... (стр. 329). — Написано в связи с отказом большинства газет и журналов печатать революционные антимонархические стихи и статьи Петефи.

Австрия (стр. 330). — В мае 1848 г., в связи с различными политическими событиями, у Петефи были основания предполагать, что Габсбургская империя распадется — по поводу этого и было написано стихотворение.

Мартовская молодежь (стр. 334). — Стихотворение написано после того, как выяснилось, что в Национальное собрание не был избран никто из революционных представителей общества «Мартовская молодежь», в том числе и Петефи. 1 июля 1848 г. он писал по этому поводу Яношу Араню: «Свинство то, что выделывают эти люди по всей стране, свинство! Правда, в Национальное собрание попадут и славные ребята, но самые пламенные и самые бескорыстные друзья народа все отстранены». При жизни Петефи не было напечатано.

Малая Кумания (стр. 335). — При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Венгерский народ (стр. 337). — При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Венгерец вновь венгерцем стал! (стр. 340). — Стихотворение напечатано 6 августа 1848 г.; по всей вероятности, Петефи был вдохновлен тем знаменательным днем в Национальном собрании, когда после речи Кошута депутаты согласились ассигновать сорок два миллиона форинтов на создание двухсоттысячной армии.

Зачем вы мне загородили путь? (стр. 341).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Год уж нынче... (стр. 342).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Сотня Ленкеи (стр. 343). — В мае 1848 г. участились случаи возвращения на родину целых войсковых подразделений, стоявших за границей Венгрии. Отдельные сотни Вюртемберского гусарского полка, квартировавшего в Галиции, при вести об угрозе, нависшей над родиной, самовольно вернулись домой. Первой вернулась сотня капитана Ленкеи. Подобные действия революционно и патриотически настроенных солдат вызвали суровые меры со стороны военного министра генерала Лазаря Месароша, который считал это нарушением воинской дисциплины.

К нации (стр. 347).— Стихотворение написано под впечатлением поражений венгерской национально-освободительной армии на южном фронте, поражений, явившихся результатом беспомощности венгерского правительства и предательства Бетхольда, военачальника южных войск. Начальные строфы совпадают с первыми строфами прокламации, написанной Петефи в середине сентября 1848 г. по поручению «Общества

равенства». «Скорбь и борьба кричат нашими устами; наши слова — как вой ветра, врывающегося в набат.

Пожар, пожар!.. Не деревня, не город — целая страна горит. Мы разбудим всю нацию! Подымайтесь, ребята! Если не встанете сейчас, будете лежать до скончания мира». *Зрини* Миклош (1508—1566) — полководец, национальный герой Венгрии, прославился защитой Сигетвара против турок в 1566 г. При жизни Петефи не было напечатано.

Свист пуль кругом... (стр. 352).— Враги Петефи упрекали его в том, что он, столько раз воспевавший революционную войну, сам не идет сражаться на поле битвы. Это было, конечно, самым подлым видом травли, какая велась против Петефи врагами революции. Данное стихотворение было написано в ответ на происки врагов. При жизни поэта не было напечатано.

В горах (стр. 352). — При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Близок, близок час великий... (стр. 354).— В сентябре 1848 г. в Вену отправилась депутация Национального собрания, чтобы добиться независимости Венгрии в финансовых и военных вопросах. 10 сентября депутация вернулась из Вены, не добившись никаких результатов. На следующий день Национальное собрание приняло решение о вооруженном восстании. С этого и началась национально-освободительная война венгерского народа против австрийских угнетателей.

Ты слышишь ли, сердце... (стр. 355).— См. комментарий к стихотворению «Свист пуль кругом...».

О чем еще, смиренные поэты... (стр. 356).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Ты помнишь... (стр. 357). — При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Косолапый парень (стр. 367). — При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Боевая песня (стр. 368).— Это стихотворение известно еще под названием «Венгерская марсельеза». Как и «Национальная песня», оно сыграло мобилизующую роль в венгерской национально-освободительной войне. Петефи послал его в парламент в сопровождении следующего письма:

«Депутаты и сограждане!

О том, какое значение может иметь маленькое стихотворение, свидетельствует письмо одного французского генерала, адресованное Конвенту, где он просит Конвент послать ему соответствующее войсковое подкрепление, либо текст или музыку «Марсельезы».

Если вы считаете прилагаемое стихотворение в достаточной мере воодушевляющим, то напечатайте его в таком количестве экземпляров, в каком сочтете нужным, и разошлите его по всем концам страны в лаге-

ря венгерских войск. Мне это было бы очень желательно, тем более, что тяжкие обстоятельства временно отвлекли меня от военного поприща, а поэтому я, хотя бы душой, желал принимать участие в борьбе моей нации».

На виселицу королей! (стр. 369).— Стихотворение написано в декабре 1848 г. Впервые увидело свет в 1874 г. После отречения Фердинанда австрийским императором стал Франц-Иосиф. В своем «Воззвании к венгерской нации» он требовал безусловного повиновения и грозил мятежникам суровыми карами. Стихотворение Петефи было ответом на воззвание императора. *Ламберг* Франц Филипп (1791—1848) — граф, генерал австрийской армии. В связи с императорским указом о роспуске венгерского парламента он был назначен полноправным наместником в Венгрии и главнокомандующим венгерской армии; его убили разгневанные массы на Судовом мосту в то время, когда он вез указ о роспуске парламента из Буды в Пешт. *Латур* Теодор Байе (1780—1848) — австрийский военный министр, один из главарей реакции; был повешен в Вене революционным народом 6 октября 1848 г. При жизни Петефи не было напечатано.

Конт и его товарищи (стр. 371). — При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Стыд поражений, бегств позор... (стр. 376).— В Дебрецен, где жил Петефи, тогда капитан гонведов, и ждал перемещения в Эрдейскую армию, каждый день поступали слухи о поражении на фронтах, и повсюду царила паника. В армии многие офицеры подали в отставку, многие предательски бежали в стан противника. В эту же пору депутаты уезжали из Пешта от наступающих войск Виндишгреца и переселялись в Дебрецен, куда и было перенесено Национальное собрание. 9 декабря Кошут дважды выступил с воодушевляющими речами перед депутатами Национального собрания. Петефи в тот же день написал статью, полную веры в победу. Закончил он статью такими словами. «Так вставай же, нация моя! Напряги всю силу своих рук и души, силу, которую не смогли сломить даже большие бедствия. Из десяти заповедей сохрани только одну, а из этой одной — только одно слово «убей!», ибо, если ты не убьешь, убьют тебя. Так, выбирай же! Мы должны показать, что дозволили вторгнуться врагам в наши пределы только для того, чтобы они больше не могли выбраться, чтобы они, сколько бы их ни было, погибли здесь. Докажем, что права венгерская пословица. «Кто другому яму роет, сам в нее провалится!» При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

В конце года (стр. 377). — При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

В новогодний день 1849 года (стр. 379). — При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Немецкий флаг опять над Будой вьется (стр. 380).— Пятого января 1849 г. императорские войска, не встретив никакого сопротивления, вошли в Будапешт. В связи с этим написал Петефи в Дебрецене это стихотворение.

Тиха Европа (стр. 381).— Впервые напечатано в газете «Кёзлёнь» со следующим примечанием редакции: «Мы хотим услужить читателям, помещая иногда на страницах газеты стихи нашего самого популярного поэта, которых, увы, наша читающая публика уже давно не видит».

К концу 1848 г. революция в странах Европы была подавлена. 31 октября войска Виндишгреца заняли Вену, и началась расправа с революционным народом. В это время уже одни только венгерцы отражали удары контрреволюции. Об этом последнем этапе революционно-освободительной войны Маркс и Энгельс писали: «Впервые в революционном движении 1848 г., впервые после 1793 г. нация, окруженная превосходными силами контрреволюции, осмеливается противопоставить трусливой контрреволюционной ярости революционную страсть...» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. VII, стр. 271). «Они еще не побеждены. Но если они падут, то падут с честью, как последние герои революции 1848 г. ...» (Там же, стр. 282.) В этот героический период венгерской истории и было написано стихотворение Петефи «Тиха Европа».

Гремела канонада... (стр. 382).— *Бем* Иосиф (1795—1850) — польский генерал, один из руководителей польского восстания 1830 г.; обнаружил большие военные способности, особенно в сражении при Остроленке. В 1848 г., в качестве генерала, принимал активное участие в революционной войне, сначала в Вене, затем в Венгрии. 13 января 1849 г. Петефи писал Лайошу Кошуту: «...я прошу вас только о том, чтобы Вы перевели меня из 28-го батальона к генералу Бему. Если мне не удастся достигнуть славы на войне, то и бесчестья не хочу я навлечь на свое имя; а по нынешним временам можно избегнуть позора только возле Бема». Петефи служил адъютантом Бема и вместе со своим любимым полководцем принимал участие в боях. 15 февраля 1849 г. в письме в газету «Кёзлёнь» Петефи писал: «Армия, которая вела себя так во время четырехдневных, почти беспрерывных боев, армия, которую ведет Бем, не может не победить. Мне хотелось бы и нации, и всему миру показать Бема во всем его величии...»

В бою (стр. 383). — При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Я говорю, что победит мадьяр... (стр. 384).— Напечатано было в газете «Кёзлёнь» со следующим примечанием: «В день годовщины 15 марта вряд ли можем мы преподнести читателю лучший сюрприз, чем вдохновенное стихотворение Петефи».

Вновь жаворонок надо мной... (стр. 385).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Кто б мог подумать... (стр. 387).— При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

На смерть родителей (стр. 388). — Отец Петефи умер 21 марта от тифа, мать 17 мая от холеры. 17 же мая 1849 г. Петефи писал Яношу Араню: «Милый друг, меня постигают такие удары, которые могли бы меня даже уничтожить, если б я был только сыном и не был бы еще мужем и отцом. Не прошло недели, как я узнал о смерти отца, а завтра мы уже хороним мать; лучшей матери господь еще не создавал никогда, и я любил ее так, как никто никогда еще не любил матери. Ни отца, ни матери у меня больше нет! И эти удары последовали так внезапно один за другим». При жизни Петефи стихотворение не было напечатано.

Явилась смерть... (стр. 390).— Последнее стихотворение, напечатанное при жизни Петефи. Написано после победоносного похода венгерской революционной армии весной 1849 г. и взятия венгерцами крепости Буды.

Ужаснейшие времена! (стр. 391). — Последнее стихотворение Петефи.

ПОЭМЫ

Витязь Янош (стр. 395).— Поэма написана осенью 1844 г. в Пеште, в ту пору, когда Петефи служил помощником редактора журнала «Пешти диватлап». Впервые вышла отдельным изданием в начале марта 1845 г.

Несмотря на то что поэма получила одобрительные отзывы со стороны передовых литераторов Венгрии, а также заслужила высокую оценку выдающегося венгерского поэта Михая Вёрёшмарти («эта поэма могла бы служить украшением любой литературы»), Петефи долго не удавалось издать ее. Наконец поэму согласился напечатать владелец журнала «Пешти диватлап» Имре Вахот, поставив при этом условием, чтобы Петефи изменил первоначальное название «Янчи Кукуруза», которое показалось ему слишком простонародным, на «Витязь Янош». Вахот купил у Петефи поэму за мизерную сумму в сто форинтов (сорок — пятьдесят рублей по деньгам того времени). 2 марта 1844 г. Имре Вахот поместил отрывки из поэмы в своем журнале с предисловием издателя, в котором, между прочим, говорилось: «Я взялся напечатать эту поэму, исходя из разных причин. Во-первых, я убежден, что это выдающееся произведение, во-вторых, я хочу, по мере своих возможностей, вознаградить по достоинству гениального юного поэта и, в-третьих, мне гораздо выгоднее, если доходы с этого произведения пойдут в мой кошелек, а не в карман других, особенно немцев-книгоиздателей».

Шалго (стр. 448).— Поэма написана в мае 1846 г. 1 апреля 1845 г. Петефи отправился путешествовать по Верхней Венгрии. Во время этого

путешествия он посетил руины замков Шалго и Шомошкё. По словам друга Петефи художника Шомы Петрича Орлаи, Петефи очень рано стал проявлять интерес к руинам старинных замков своей родины. Он даже вписал в отдельную тетрадь названия древних замков и их краткие истории. В «Путевых записках» Петефи так описывает руины замка Шалго: «В часе отсюда лежит Шалго. В деревне рассказывают, что в ту пору, когда в Шалго стояли турки, мадьяры стреляли по ним отсюда из замка Шомошкё и выбили ложку из рук одного турка, который как раз в это время ел...

Еще хорошо, что мы наняли провожатого от Шомошкё до Шалго, а то вряд ли нашли бы дорогу к замку. Он примостился так необычно, что только безумец мог его там выстроить. Шалго окружен буковым и дубовым лесом. Вершина горы — огромная гранитная скала. На ней и стоял замок, от которого сейчас сохранились одни только развалины. Самая высокая его стена двухсажепная. В Венгрии, наверное, не было второго замка, расположенного так близко к звездам, как Шалго. Я долго сидел на самой вершине его развалин, и взгляд мой уходил за далекие мили, а душа в даль веков».

Об истории этого замка нет почти никаких данных. Известно только, что некогда он был в руках чехов, затем в 1462 г. им завладел король Матьяш и в 1544 г. замок захватили турки. *Меж Гёмёром и Нограду простерлась...*— Гёмёр и Ноград — названия комитатов Венгрии. *За Эндре Третьим вымерла вся ветвь Арпадов.* Арпад (889—907) — первый властитель Венгрии. Эндре III — последний венгерский король из рода Арпадов. Правил с 1290 по 1301 г.

Мария Сечи (стр. 461). — 6 февраля 1847 г. литературное общество Кишфалуди объявило конкурс на поэму, «предметом которой должна быть Мария Сечи». Конкурс этот привлек внимание трех венгерских поэтов: Петефи, Араня и Томпы. Первый закончил поэму Петефи, второй Томпа и последним Арань. Первых двоих непосредственно вдохновляла поездка в Мурань, которую они совершили вместе летом 1847 г. «На днях мы проведали замок Мурань — он в каких-нибудь шести часах ходьбы отсюда, — писал Петефи в «Путевых письмах». — Каждый попавший в Гёмёр тяжко согрешит против себя самого, если не посетит этот замок. Гёмёр — один из прекраснейших комитатов Венгрии, а Мурань — его прекраснейший уголок. Чудесный романтический край. В дивный летний послеполуденный час посетили мы знаменитые руины, которые стоят на головокружительно высокой, со всех сторон отвесной круче и из всех замков нашей отчизны, вероятно, ближе всего к облакам. Кругом, на еще более высокой цепи гор, темнеют ельники, внизу, в глубокой долине, под спиеющим туманом бродят белые отары овец и стада коров. Звенят колокольчики, поют и чирикают птицы, где-то поодаль стучат молотки.. Повсюду шум, шум жизни, и только здесь, наверху, на горе, где некогда

бряцали сабли и гремели пушки, только здесь стояла тишина, мертвая тишина».

Ни один из упомянутых поэтов впоследствии в конкурсе не участвовал.

Глупый Иштек (стр. 473).— Поэма написана в Пеште в ноябре и декабре 1847 г. Впервые напечатана в 1848 г. в журнале «Элеткепэк», редакторами которого были писатель Мор Йокаи и Шандор Петефи. *Глупый Иштек* — персонаж из венгерских народных песен и сказок, образ неунывающего весельчака и балагура.

Апостол (стр. 495). — Осенью 1848 г., после того, как реакционерам удалось помешать избранию Петефи в депутаты Национального собрания, поэт, потрясенный этим событием, с необыкновенной быстротой написал поэму «Апостол». В этой поэме, проникнутой идеями революционного просветительства и демократизма, поэт выразил свою ненависть к монархии, страстную приверженность к республике, глубочайшую веру в народ и прогресс. При жизни Петефи «Апостол» не был опубликован. Впервые он был напечатан только через год после смерти поэта, в 1850 г., в сборнике «Новые произведения Шандора Петефи». В этом издании «Апостол» был дан в искаженном виде. Но и этот сборник не увидел света, так как полиция конфисковала и уничтожила весь тираж издания. Случайно уцелело только два экземпляра. Полностью поэма была напечатана только в девяностые годы.

А. Кун

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

«А впрочем, я ценю тебя, стакан...» (К моему стакану) — 58.
«А знаете ли вы...» (Семейная жизнь солнца) — 77.
«А помнишь юношу, который, как и ты...» (Письмо приятелю-актеру) — 72.
Австрия («Как древний Иерусалим...») — 330.
Адский пламень, черт рогатый!..— 38.
Аист («На свете много птиц, поразному их славят...») — 202.
Алфельд («Что мне в романтизме ваших дебрей...») — 61.
Апостол. *Поэма* — 495.
«Ах, был бы я птицей летучей...» (Тучи) — 174.
Ах, если б не носил я шапку...— 70.
Ах, любовь, любовь... («Ах, любовь... любовь упряма...») — 40.
Ах, одно другого лучше...— 236.

Бан Банк («Глуп и трусоват был Эндре...») — 319.
«Бей в набат! Я сам схвачу веревку...» (К нации) — 347.
«Бессердечная зима...» (Смерть зимы) — 298.
«Бледнеющие Матры...» (На Хевешской равнине) — 139.
Близок, близок час великий...— 354.
«Бог весть, где шинок затерян...» (Кутякапаро) — 160.
Боевая песня («Трубит трубач, бьют барабаны!..») — 368.
Бренность («О бренность — вот владыка всех владык!..») — 130.
Бродяга («Если денег нет в кармане...») — 229.
Бродяга («На свет мы все приходим...») — 60.
«Брожу среди дубов...» (В лесу) — 133.
Бушующее море...— 80.
«Бывал на службе я у Марса...» (Пестрая жизнь) — 232.

В Алфельде шинков немало есть!..— 94.
В альбом барышне Р. Э. («Весною выбеги на волю...») — 154.
В альбом барышне Ю. С. («Облакам не объясняют...») — 147.
В альбом К. Ш. («На дряхлый дом наш мир похож...») — 107.
В бою («Разгневана земля...») — 383.
«В годы давние Илона Зрини...» (В Мункачской крепости) — 216.
«В годы рабства о свободе...» (Мартовская молодежь) — 334.
«В голове раскаты грома!..» (Размышления человека, страдающего от жажды) — 45.

В горах («Там, внизу, внизу в ложбине...») — 352.
В деревне («Теперь меня всегда по вечерам...») — 101.
В душе глубокой...— 267.
«В золотой своей короне...» (Король и палач) — 312.
В кабаке («Наш кабак одной стеною...») — 228.
«В кармане деньги есть! Вперед, друзья!..» (Мои экономические взгляды) — 55.
В коляске и пешком («Похоронила осень лето...») — 256.
В конце года («Старый год, итак — уходишь?..») — 377.
В конце сентября («Цветы по садам доцветают в долине...») — 248.
В лесу («Брожу среди дубов...») — 133.
«В лодочку воображенья...» (Любовь) — 185.
В моей комнате («Дождь весь день, и небо серое...») — 63.
В Мункачской крепости («В годы давние Илона Зрини...») — 216.
В Надь-Карое («О Кёльчеи, здесь произнес ты...») — 142.
В новогодний день 1849 года («...И вот в сорок девятый год...») — 379.
«В окне раскрытом блещет ночь без края...» (Ночь звездная, ночь светло-голубая) — 153.
В родных местах («Здесь я родился, я в своем краю...») — 333.
В руднике («Сажен на две тысячи, должно быть...») — 195.
В степи родился я... («В степи родился я, в степи живу...») — 60.
В сто образов я облекаю любовь...— 96.
«Вам кажется: поэзия — тележка...» (Подражателям) — 66.
Вдоль по улице хожу я...— 57.
Венгерец вновь венгерцем стал! — 340.
Венгерец я! («Венгерец я! На свете нет страны...») — 170.
Венгерская нация («Обойдите земли этой...») — 156.
Венгерский дворянин («Меч мой дедовский, кровавый...») — 108.
Венгерский народ («Мой народ свободен! Распрямили спину...») — 337.
Венгерским юношам («Где цветов не видно, там плодов не будет...» — 175.
Венгрия («Тебе, дорогая отчизна...») — 92.
«Венгрия моя родная...» (Конт и его товарищи) — 371.
Весна («Синь//Небес...») — 91.
Весне («Где ж ты, дочь старухи Стужи...») — 316.
«Весною выбеги на волю...» (В альбом барышне Р. Э.) — 154.
Ветер («Сегодня ветерком, чуть слышным, легким, нежным...») — 176.
Вечер («Потух закат...») — 64.
Видал ли кто... («Видал ли кто на свете...») — 240.
Витязь Янош. *Поэма* — 395.
Вихри, молнии и птицы...— 90.
Вновь жаворонок надо мной...— 385.
«Во вражде со всем красивым...» (Последние цветы) — 249.
Во сне я видел мир чудес...— 148.
«Воет вихорь зимний...» (Песня волков) — 166.
«Воет вихорь зимний...» (Песня собак) — 165.
Война приснилась как-то ночью мне...— 98.
«Волны радости! Хочу...» (На железной дороге) — 278.
Волчье приключение («Эй, друг, ты жрал — в крови клыки и пасть...») — 33.
Волшебный сон. *Поэма* — 441.
Вон табун, он в пуште ходит...— 281.
Восстало море («Море поднялось, восстав...») — 307.
Вот был огромный труд. . («Моя жена-малютка...») — 254.
«Вот в горах пасется серна...» (Жители пустыни) — 244.
«Вот вы сейчас войдете в этот зал...» (К Национальному собранию) — 338.

«Вот и состоялось...» (На смерть родителей) — 388.
«Вот опять я бодрствую средь ночи...» (Грустная ночь) — 163.
«Вот снова небо в тучах...» (Лира и палаш) — 85.
Все говорят, что я поэт...— 235.
«Все жалобы! И вновь они, и вновь!..» (Легенда) — 77.
Все изменилось на земле! — 127.
«Все, что мог, я делал...» (Надоевшее рабство) — 41.
«Встань, мадьяр! Зовет отчизна!..» (Национальная песня) — 302.
Встарь и нынче... («Встарь и нынче, встарь и нынче...») — 250.
Встреча в пуште («Дремлет пушта, вод озерных глаже...») — 120.
«Всю дорогу к дому думал...» (Неудавшийся замысел) — 48.

«Где ж ты, дочь старухи Стужи...» (Весне) — 316.
«Где-то рядышком с Австралией...» (Окатоотайя) — 273.
«Где цветов не видно, там плодов не будет...» (Венгерским юношам) — 175.
Герои в дерюге («И я бы мог стихотворенья...») — 189.
Героям болтовни («Долго ль нам бредни о родине слушать...») — 238.
Глотка у меня, как будто мельница...— 58.
«Глуп и трусоват был Эндре...» (Бан Банк) — 319.
Глупый Ишток. *Поэма* — 473.
«Глянь-ка, парень, сколько денег,— не сочтешь!..» (Торг) — 106.
«Год прошел... Итог подводят...» (Новогодняя ночь 1847 года) — 283.
Год уж нынче... («Год уж нынче, год уж нынче...») — 342.
«Господь небесный, дьяволы и ад!..» (Мироненавистничество) — 135.
«Готов вступить я с вами в спор...» (После попойки) — 72.
Готовься, родина...— 309.
Графу Шандору Телеки («Ты, изучая книгу рода...») — 152.
Гремела канонада...— 382.
Грустная ночь («Вот опять я бодрствую средь ночи...») — 163.
«Гусару на коня не сесть красиво так...» (Молодой батрак) — 242.

«Да неужто это... пятый?..» (Который стакан?) — 46.
«Да, нечего сказать, поездка!..» (Путешествие по Алфельду) — 206.
«Да, скверно мне! Едва брожу...» (Нечто вроде лебединой песни) — 56.
«Да, я вчера немало перенес...» (Эрдёд, 17 мая 1847 года) — 193.
«Дай, свобода, глянуть в твои очи!..» (К свободе) — 305.
«Дал король присягу...» (Королевская присяга) — 325.
Дворец и хижина («О замок, чем гордишься ты?..») — 164.
Дворянин («Его привязывают к лавке...») — 44.
Девочка моя, смуглянка...— 144.
«Дик зимний мрак. Снежинки это вьются?..» (Зимняя ночь) — 122.
Дикий цветок («Что вы лаетесь, собаки?..») — 81.
Дней осенних прозябанье...— 145.
Добрый учитель («Злых учителей там было...») — 291.
Довольно! («Довольно! Из послушных кукол...») — 331.
«Дождь весь день, и небо серое...» (В моей комнате) — 63.
«Долго ль нам бредни о родине слушать...» (Героям болтовни) — 238.
«Долго раздумывал дядюшка Пал...» (Дядюшка Пал) — 82.
«Долой красно-бело-зеленое знамя!..» (Песня о черно-красном знамени) — 324.
Доро́гою... («Доро́гою — пустынные места...») — 205.
«Дремлет пушта, вод озерных глаже...» (Встреча в пуште) — 120.
Душа бессмертна («Что душа бессмертна — знаю!..») — 156.
«Душа рыдает... Почему?..» (Страшное разочарование) — 50.
Дядюшка Пал («Долго раздумывал дядюшка Пал...») — 82.

«Его привязывают к лавке...» (Дворянин) — 44.
«Едва рассвет — и вот уже закат...» (Прощанье) — 359.
Если девушки не любят...— 71.
«Если денег нет в кармане...» (Бродяга) — 229.
Если ты цветок... («Если ты цветок — я буду стеблем...») — 98.
Есть ли в Венгрии хоть горсть земли такая...— 287.

Жена и клинок («Светят в небе звезды...») — 314.
Женушка, послушай...— 269.
Жесткий ветер... («Жесткий ветер раздувает пламя...») — 300.
Жизнь горька, сладка любовь («Я всегда хочу добра другим...») — 171.
Жизнь или смерть («От круч Карпат до нижнего Дупая...») — 358.
Жизнь не стоит даже столько...— 126.
Жители пустыни («Вот в горах пасется серна...») — 244.
Жужике («О белокурый мой ребенок...») — 54.

«За вольность юноша боролся...» (Кандалы) — 142.
За горами синими... («За горами синими, в долине...») — 243.
«За плуг держась одной рукою...» (Народ) — 139.
Закат («Солнце, как поблекнувшая роза...») — 215.
Зарилась шипкарка на бетяра...— 52.
Застольная песня («Нету отдыха моим рукам...») — 306.
Зачем вы мне загородили путь? — 341.
Зачем еще мне жить... («Зачем еще мне жить на белом свете...») — 132.
«Зачем же я — луна? О, чем я согрешил...» (Лунная элегия) — 261.
Звездное небо («Я на спине лежу и из густой травы...») — 235.
Звезды («Я, звезды, обожаю вас!..») — 129.
«Здесь, откуда долго ехать до предгорий...» (Старый добрый трактирщик) — 102.
«Здесь я родился, я в своем краю...» (В родных местах) — 333.
«Здравствуй, Лаци!..» (Лаци Араню) — 197.
Зельд Марци («Четыре флигеля без крыши в этом зданье...») — 190.
Зима в Дебрецене («Эх, Дебрецен...») — 66.
Зимнее время («Как видно, кто-то удавился...») — 89.
Зимние вечера («Куда девалось радуги сверканье...») — 285.
Зимняя ночь («Дик зимний мрак. Снежинки это вьются?..») — 122.
«Злых учителей там было...» (Добрый учитель) — 291.
«Знаешь, милый друг Петефи...» (Мечта) — 39.
Знаменитая красавица («Лишь о ней гремит молва...») — 209.
Знамя («Что строчит твоя игла там?..») — 288.

«И в шахте...» (Света!) — 181.
«...И вот в сорок девятый год...» (В новогодний день 1849 года) — 379.
И вот достиг я возраста мужского...— 350.
«И вырежу я сердце потому...» (Сердце) — 131.
И если кто-то из могил...— 128.
«И я бы мог без отдыха...» (О моих плохих стихах) — 91.
«И я бы мог стихотворенья...» (Герои в дерюге) — 189.
Иди сюда... («Иди сюда! Давай-ка потолкуем!..») — 168.
«Из листвы дубовой...» (Сотня Ленкеи) — 343.
«Известно, ребятишкам все забава...» (Против королей) — 85.
Издалёка («Скромный домик, домик у Дуная...») — 37.
«Им ползать по земле осточертело...» (Италия) — 295.
«Иссякнешь ли ты...» (К гневу) — 279.
«Истории венгерской муза...» (15 марта 1848 года) — 303.

Источник и река («Как будто колокольчика язык...») — 113.
Италия («Им ползать по земле осточертело...») — 295.

К венгерским политикам («Поэтов бедных презирает...») — 275.
К гневу («Иссякнешь ли ты...») — 279.
К моему стакану («А впрочем, я ценю тебя, стакан...») — 58.
К нации («Бей в набат! Я сам схвачу веревку...») — 347.
К Национальному собранию («Вот вы сейчас войдете в этот зал...») — 338.
К свободе («Дай, свобода, глянуть в твои очи!..») — 305.
К солнцу («Сударь, стойте, удостойте...») — 76.
К Сословному собранию («Способны вы красно и много говорить...») — 296.
«Как будто колокольчика язык...» (Источник и река) — 113.
«Как весел мир! Он вечно веселится...» (Рабство) — 138.
«Как видно, кто-то удавился...» (Зимнее время) — 89.
«Как древний Иерусалим...» (Австрия) — 330.
Как жизнь хороша! («Я ль бродил по земле...») — 199.
«Как здоровье ваше, баре-господа?..» (Магнатам) — 300.
Как мне назвать тебя...— 290.
Как на летнем небе... («Как на летнем небе бродят...» — 134.
Как-нибудь («Не могу дождаться свадьбы...») — 239.
«Как таят от взоров первую влюбленность...» (Лесное жилье) — 93.
«Как ты унижена, поэзия святая!..» (Поэзия) — 226.
Кандалы («За вольность юноша боролся...») — 143.
Клин клином... («Ох, спина болит и ноет...») — 34.
Когда они вдвоем... («Когда они вдвоем владели всей землей...») — 131.
Когда сорвет судьба...— 150.
«Конец комедии! Не свищет...» (Тихая жизнь) — 254.
Конец разбоя («Эх, разбой, веселая затея!..») — 106.
Консерваторы («Мы ополчились на врага...») — 317.
Конт и его товарищи («Венгрия моя родная...») — 371.
Королевская присяга («Дал король присягу...») — 325.
Король и палач («В золотой своей короне...») — 312.
Королям («Редкостный подарок — откровенность...») — 308.
Корона пустыни («Пустыня словно темя...») — 115.
Косолапый парень («Плохо, плохо девкам стало!..») — 367.
Который стакан? («Да неужто это... пятый?..») — 46.
Кто б мог подумать... («Кто б мог подумать, мог сказать...») — 387.
«Куда девалось радуги сверканье...» (Зимние вечера) — 285.
Куда мы денемся? — 127.
Курица моей матери («Что такое? Птичий гомон...») — 297.
Куст задрожал... («Куст задрожал оттого...») — 155.
Кутякапаро («Бог весть, где шинок затерян...») — 160.

Лаци Араню («Здравствуй, Лаци!..») — 197.
Легенда («Все жалобы! И вновь они, и вновь...») — 77.
Лепестки с цветочка осыпаются...— 87.
Лесное жилье («Как таят от взоров первую влюбленность...») — 93.
Лира и палаш («Вот снова небо в тучах...») — 85.
Лишь война... («Лишь война была мечтою...») — 179.
«Лишь о ней гремит молва...» (Знаменитая красавица) — 209.
Лишь утро минуло... («Лишь утро минуло — уж вечер над землею...») — 282.
Лук мой славный... («Лук мой славный, дорогой...») — 368.
Лукавый пьяница («Хотя и пью, хоть и люблю вино...») — 70.

Лунная элегия («Зачем же я — луна? О, чем я согрешил...») — 261.
Любишь ты весну... («Любишь ты весну, а я...») — 147.
Люблю... («Люблю я, милая!..») — 364.
Люблю ли я тебя? («Люблю ли я тебя? Справляйся...») — 207.
Люблю тебя, люблю тебя...— 289.
Люблю я... («Люблю я, как никто, пожалуй...») — 138.
Любовь («В лодочку воображенья...») — 185.
Любовь и свобода...— 159.

Магнатам («Как здоровье ваше, баре-господа?..») — 300.
Мажара с четверкой волов («Не в Пеште было то, что расскажу я...») — 107.
Малая Кумания («Снова отлучался...») — 335.
Мария Сечи. *Поэма* — 461.
Мартовская молодежь («В годы рабства о свободе...») — 334.
«Меч мой дедовский, кровавый...» (Венгерский дворянин) — 108.
Мечта («Знаешь, милый друг Петефи...») — 39.
Мечтаю о кровавых днях... — 151.
«Милая, ты написала...» (Прекрасное письмо) — 233.
«Милой Юлишки сегодня...» (На именины моей жены) — 277.
«Минувшее, в последний раз вставай!..» (Прощальная чаша) — 208.
Мир и я («О человек, лишь жалость и презренье...») — 88.
Мироненавистничество («Господь небесный, дьяволы и ад!..») — 135.
Мне кажется, не только человек...— 128.
Много с веточки мы вишен рвем...— 67.
Могила нищего («Словно зверь в предчувствии кончины...») — 262.
Мое воображенье («Толкуйте! Этот вздор...») — 94.
«Мое живое солнце золотое!..» (Не обижайся) — 231.
Мое лучшее стихотворение («Я множество стихотворений...») — 193.
Мои ночи («Ну, допустим, если звездны небеса...») — 69.
Мои песни («Часто я, задумавшись, мечтаю...») — 136.
Мои сны («По временам вот так случается...») — 119.
Мои экономические взгляды («В кармане деньги есть! Вперед, друзья!..») — 55.
Моим родителям («Эх, родители мои...») — 68.
«Моих грехов всегда страшилась мать...» (Моя молитва) — 103.
«Мой народ свободен! Распрямили спину...» (Венгерский народ) — 337.
Мой Пегас («Он, Пегас мой, не скакун английский...») — 226.
Молодой батрак («Гусару на коня не сесть красиво так...») — 242.
«Море поднялось, восстав...» (Восстало море) — 307.
«Моя жена-малютка...» (Вот был огромный труд...) — 254.
Моя любовь («Моя любовь не соловьиный скит...») — 80.
Моя молитва («Моих грехов всегда страшилась мать...») — 103.
Моя невеста («Ожидаю в нетерпенье...») — 36.
Мудрствование и мудрость («Что есть сей мир? Он создан кем-то...») — 258.
Мужчина, будь мужчиной...— 159.
Муза и невеста («Стучатся... Кто же это может быть?») — 211.
«Мы ли дрогнем? Старый Бем ведет нас...» (Эрдейская армия) — 386.
«Мы ополчились на врага...» (Консерваторы) — 317.

На виселицу королей! («Нет больше Ламберга — кинжал покончил с ним...») — 369.
На волю! («На волю! В лес! Весна играет в нем...») — 92.
На горе сижу я... («На горе сижу я, вниз с горы гляжу...») — 112.
«На днях я видел сон...» (Страна любви) — 251.
«На дряхлый дом наш мир похож...» (В альбом К. Ш.) — 107.
На Дунае («Река! Как часто вод широких гладь...») — 30.

На железной дороге («Волны радости! Хочу...») — 278.
На именины моей жены («Милой Юлишки сегодня...») — 277.
На осле сидит пастух...— 61.
На пиршестве по случаю убоя свиньи («Уши и рты.... Тишина...») — 32.
«На пороге тетка прикорнула...» (Тетя Шарп) — 200.
На родине («Степная даль в пшенице золотой...») — 31.
На розу рассердился я...— 234.
«На свет мы все приходим...» (Бродяга) — 60.
«На свете много птиц, по-разному их славят...» (Аист) — 202.
На смерть родителей («Вот и состоялось...») — 388.
На Хевешской равнине («Бледнеющие Матры...») — 139.
Нависают облака...— 146.
Надоевшее рабство («Все, что мог, я делал...») — 41.
Наконец назвать моею...— 196.
«Наконец-то, наконец-то!..» (Пятое августа) — 222.
Напрасная тревога («Я разразился б хохотом...») — 245.
Народ («За плуг держась одной рукою...») — 139.
«Народ пока что просит... просит вас!..» (От имени народа) — 177.
Нас теперь возненавидел...— 318.
Национальная песня («Встань, мадьяр! Зовет отчизна!..») — 302.
«Наш кабак одной стеною...» (В кабаке) — 228.
«Не в Пеште было то, что расскажу я...» (Мажара с четверкой волов) — 107.
«Не для пустой забавы пой...» (Поэтам XIX века) — 167.
«Не могу дождаться свадьбы...» (Как-нибудь) — 239.
Не обижайся («Мое живое солнце золотое!..») — 231.
Не сердись, моя голубка...— 221.
«Не спит дитя, кричит, кричит дитя...» (Песня) — 44.
«Не хочу я гнить, как ива...» (Огонь) — 192.
Небо и земля («Прощай, чертог несбыточных мечтаний...») — 253.
Немецкий флаг опять над Будой вьется — 380.
Неприятно это утро...— 150.
Нередко помечтать о том...— 128.
«Нет больше Ламберга — кинжал покончил с ним...» (На виселицу королей!) — 369.
«Нет, ты не ошибся: я перед тобою!..» (У Михая Томпы) — 213.
«Нету отдыха моим рукам...» (Застольная песня) — 306.
Неудавшийся замысел («Всю дорогу к дому думал...») — 48.
Нечто вроде лебединой песни («Да, скверно мне! Едва брожу...») — 56.
Но почему... («Но почему же всех мерзавцев...») — 117.
Новогодняя ночь 1847 года («Год прошел... Итог подводят...») — 283.
Ночь («Спать ложитесь...») — 271.
Ночь звездная, ночь светло-голубая («В окне раскрытом блещет ночь без края...») — 153.
«Ну, а солнце? Что — солнце? Не солнце оно...» (Солнце) — 90.
«Ну, допустим, если звездны небеса...» (Мои ночи) — 69.
«Ну-ка, сброшу лапти эти!..» (Солдатская жизнь) — 183.
Ну, не знаю, что мне нынче делать? — 48.
«Ну, с богом! Выпейте, друзья!..» (Пьянство во благо родины) — 84.
«О белокурый мой ребенок...» (Жужике) — 54.
«О бренность — вот владыка всех владык!..» (Бренность) — 130.
«О замок, чем гордишься ты?..» (Дворец и хижина) — 164.
«О звезда сорок восьмого года!..» (1848) — 361.
«О Кёльчеи, здесь произнес ты...» (В Надь-Карое) — 142.
О моих плохих стихах («И я бы мог без отдыха...») — 91.
О ночь ночей... («О ночь ночей, ты в памяти моей!..») — 131.
«О память...» (Память) — 126.
О родине («Солнца нет и медлят звезды...») — 114.
«О сны!..» (Сны) — 130.

О терпении («Терпение, ты добродетель...») — 188.
«О человек, лишь жалость и презренье...» (Мир и я) — 88.
О чем еще, смиренные поэты...— 356.
«Облакам не объясняют...» (В альбом барышне Ю. С.) — 147.
«Обойдите земли этой...» (Венгерская нация) — 156.
Огонь («Не хочу я гнить, как ива...») — 192.
Одно меня тревожит... («Одно меня тревожит: неужели...») — 158.
Одному критику («Сударь! Есть, как вам известно...») — 95.
«Ожидаю в нетерпенье...» (Моя невеста) — 36.
Окатоотайя («Где-то рядышком с Австралией...») — 273.
«Он осквернен, поруган...» (Покинутый флаг) — 221.
«Он, Пегас мой, не скакун английский...» (Мой Пегас) — 226.
Осенний ветер шелестит... («Осенний ветер шелестит в деревьях...») — 246.
Осень вновь... («Осень вновь, опять чаруя...») — 366.
От имени народа («Народ пока что просит... просит вас!..») — 177.
«От круч Карпат до нижнего Дуная...» (Жизнь или смерть) — 358.
Ответ на письмо моей милой («Пришло, пришло желанное письмо!..») — 218.
«Ох. и набил я брюхо!..» (После обеда) — 52.
«Ох, спина болит и ноет...» (Клин клином...) — 34.

«Пал на землю сумрак пеленой...» (Тиса) — 172.
Память («О память...») — 126.
Панни Паньо («Панни Паньо звать меня...») — 215.
Патриотическая песня («Я твой и телом и душой...») — 43.
Первая клятва («Я был еще ребенком, мальчуганом...») — 187.
Перемена («Теперь не то, что было прежде...») — 111.
Песня («Не спит дитя, кричит, кричит дитя...») — 44.
Песня волков («Воет вихорь зимний...») — 166.
Песня о черно-красном знамени («Долой красно-бело-зеленое знамя!..») — 324.
Песня собак («Воет вихорь зимний...») — 165.
Пестрая жизнь («Бывал на службе я у Марса...») — 232.
Печаль («Печаль — это целое море...») — 127.
Письмо приятелю-актеру («А помнишь юношу, который, как и ты...») — 72.
Письмо Яношу Араню («Что ты — скончался, любезный? Иль, может быть, руки отсохли?..») — 223.
«Плохая жизнь у старика...» (Старый господин) — 83.
«Плохо, плохо девкам стало!..» (Косолапый парень) — 367.
«По временам вот так случается...» (Мои сны) — 119.
Побывка у своих («С отцом мы выпивали...») — 49.
Подражателям («Вам кажется: поэзия — тележка...») — 66.
Покинутый флаг («Он осквернен, поруган...») — 221.
«Поп-кальвинист на белом свете жил...» (Чоконаи) — 79.
«Попробуй их останови..» (Что такое любовь?) — 257.
После обеда («Ох, и набил я брюхо!..») — 52.
После попойки («Готов вступить я с вами в спор...») — 72.
Последние цветы («Во вражде со всем красивым...») — 249.
Последний человек («Что надо мною? Небосвод...») — 104.
«Потух закат...» (Вечер) — 64.
«Похоронила осень лето...» (В коляске и пешком) — 256.
Поцелуев два десятка...— 260.
Поэзия («Как ты унижена, поэзия святая!..») — 226.
Поэтам XIX века («Не для пустой забавы пой...») — 167.
«Поэтов бедных презирает...» (К венгерским политикам) — 275.

Прекрасное письмо («Милая, ты написала...») — 233.
Прекрасный синий лес былого... («Прекрасный синий лес былого давно остался за спиной...») — 126.
«Пришло, пришло желанное письмо!..» (Ответ на письмо моей милой) — 218.
«Простор чудесной степи низовой...» (Развалины корчмы) — 109.
Против королей («Известно, ребятишкам все забава...») — 85.
«Прощай, чертог несбыточных мечтаний...» (Небо и земля) — 253.
Прощальная чаша («Минувшее, в последний раз вставай!..») — 208.
Прощанье («Едва рассвет — и вот уже закат...») — 359.
Прощанье с актерской жизнью («Читай и помни, кто моею...») — 58.
Прощанье с холостой жизнью («Ты прощай-прости, мой старый друг...») — 241.
Птицы («Птицы стремятся в отлет...») — 125.
«Пустыня словно темя...» (Корона пустыни) — 115.
«Пусть трусы бледнеют от песен моих...» (Революция) — 349.
Путешествие по Алфельду («Да, нечего сказать, поездка!..») — 206.
Пыль столбом («Пыль столбом клубит, земля гудит, трясется...») — 194.
Пьянство во благо родины («Ну, с богом! Выпейте, друзья!..») — 84.
15 марта 1848 года («Истории венгерской муза...») — 303.
Пятое августа («Наконец-то, наконец-то!..») — 222.

Рабство («Как весел мир! Он вечно веселится...») — 138.
Радостная ночь («Что за ночь! Сады цветут так зелено...») — 84.
Раз на кухню залетел я... — 38.
Развалины корчмы («Простор чудесной степи низовой...») — 109.
«Разгневана земля...» (В бою) —383.
Размышления человека, страдающего от жажды («В голове раскаты грома!..») — 45.
Ракоци («Свободы вождь, звезда на небе темном...») — 313.
Революция («Пусть трусы бледнеют от песен моих...») — 349.
«Редкостный подарок — откровенность...» (Королям) — 308.
«Река! Как часто вод широких гладь...» (На Дунае) — 30.
Родина, пора вставать!.. — 259.
Розами моей любви... — 144.

«С отцом мы выпивали...» (Побывка у своих) — 49.
С той поры... («С той поры, как счастливо женился...») — 247.
С той поры, как в милую влюбился... — 97.
«Сажен на две тысячи, должно быть...» (В руднике) — 195.
«Сам Медери (кто не слыхал о нем!)» (Флакон с чернилами) — 75.
Света! («И в шахте...») — 181.
«Светят в небе звезды...» (Жена и клинок) — 314.
Свист пуль кругом... («Свист пуль кругом, бряцание клинков...») — 352.
«Свободы вождь, звезда на небе темном...» (Ракоци) — 313.
«Сегодня ветерком, чуть слышным, легким, нежным...» (Ветер) — 176.
Семейная жизнь солнца («А знаете ли вы...») — 77.
Сердце («И вырежу я сердце потому...») — 131.
«Сердце не из камня...» (Чем любовь была мне?) — 180.
«Синь // Небес...» (Весна) — 91.
Скинь, пастух, овчину... («Скинь, пастух, овчину, леший!..») — 181.
Скользкий снег... («Скользкий снег хрустит, сани вдаль бегут...») — 42.
«Скромный домик, домик у Дуная...» (Издалёка) — 37.
«Словно зверь в предчувствии кончины...» (Могила нищего) — 262.
Смерть зимы («Бессердечная зима...») — 298.

Смолкла грозовая арфа бури...— 99.
Смоют когда-нибудь... («Смоют когда-нибудь дочиста...») — 129.
«Снова еду в город, проведя в деревне...» (У Яноша Араня) — 264.
«Снова отлучался...» (Малая Кумания) — 335.
Сны («О сны!..») — 130.
Солдат отставной я... («Солдат отставной я, не что я иное...») — 84.
Солдатская жизнь («Ну-ка, сброшу лапти эти!..») — 183.
«Солнца нет и медлят звезды...» (О родине) — 144.
Солнце («Ну, а солнце? Что — солнце? Не солнце оно...») — 90.
«Солнце, как поблекнувшая роза...» (Закат) — 215.
Соловьи и жаворонки («Эй вы, поклонники луны...») — 140.
Сотня Ленкеи («Из листвы дубовой...») — 343.
«Спать ложитесь...» (Ночь) — 271.
«Способны вы красно и много говорить...» (К Сословному собранию) — 296.
Стал бы я теченьем...— 201.
«Старый год, итак — уходишь?..» (В конце года) — 377.
Старый господин («Плохая жизнь у старика...») — 83.
Старый добрый трактирщик («Здесь, откуда долго ехать до предгорий...») — 102.
«Степная даль в пшенице золотой...» (На родине) — 31.
Степь зимой («Степь вправду — степь теперь, и вся седа как лунь...») — 293.
Стоит мне... («Стоит мне о милой замечтаться...») — 191.
Страна любви («На днях я видел сон...») — 251.
Страшное разочарование («Душа рыдает... Почему?..») — 50.
«Стучатся... Кто же это может быть?..» (Муза и невеста) — 211.
Стыд поражений, бегств позор...— 376.
Суд («Я дочитал до конца летопись рода людского...») — 186.
«Сударь! Есть, как вам известно...» (Одному критику) — 95.
«Сударь, стойте, удостойте...» (К солнцу) — 76.
Судьба, простор мне дай! («Судьба, простор мне дай! Так хочется...») — 136.
Судьи, судьи... («Судьи, судьи, будьте чутки...») — 268.
Сумасшедший («...Что пристаете?..») — 123.

Такой бы вихрь вдруг начался...— 126.
«Там, внизу, внизу в ложбине...» (В горах) — 352.
«Тебе, дорогая отчизна...» (Венгрия) — 92.
«Теперь меня всегда по вечерам...» (В деревне) — 101.
«Теперь не то, что было прежде...» (Перемена) — 111.
«Терпение, ты добродетель...» (О терпении) — 188.
Тетя Шари («На пороге тетка прикорнула...») — 200.
Тиса («Пал на землю сумрак пеленой...») — 172.
Тиха Европа... («Тиха Европа, вновь тиха, бои...») — 381.
Тихая жизнь («Конец комедии! Не свищет...») — 254.
То не в море — в небе месяц плыл... («То не в море — в небе месяц плыл блестящий...») — 51.
«Толди» написавшему — душу шлю свою...» (Яношу Араню) — 169.
«Толкуйте! Этот вздор...» (Мое воображенье) — 94.
Только я в свое окошко погляжу...— 265.
Торг («Глянь-ка, парень, сколько денег,— не сочтешь!..») — 106.
«Трубит трубач, бьют барабаны!..» (Боевая песня) — 368.
Тучи («Ах, был бы я птицей летучей...») — 174.
Ты задрожал, о сброд презренный...— 329.
«Ты, изучая книгу рода...» (Графу Шандору Телеки) — 152.
Ты ответь... («Ты ответь: когда я успокоюсь?..») — 100.
Ты помнишь... («Ты помнишь, как с тобой глядели...») — 357.

«Ты прощай-прости, мой старый друг...» (Прощанье с холостой жизнью) — 241.
Ты слышишь ли, сердце... («Ты слышишь ли, сердце, что там прошептали?..») — 355.
1848 («О звезда сорок восьмого года!..») — 361.
1848 («Тысяча восемьсот сорок восемь...») — 299.

У леса птичья трель своя...— 213.
У Михая Томпы («Нет, ты не ошибся: я перед тобою!..») — 213.
У Яноша Араня («Снова еду в город, проведя в деревне...») — 264.
Уважайте рядового! («Я офицер. Но, встретив рядового...») — 360.
Уж краснотой подернут лист...—104.
Ужаснейшие времена! — 391.
«Уши и рты... Тишина...» (На пиршестве по случаю убоя свиньи) — 32.

Флаг любви («Флаг любви — мое живое сердце!..») — 97.
Флакон с чернилами («Сам Медери (кто не слыхал о нем!)» — 75.

Хортобадьская шинкарка («Хортобадьская шинкарка, ангел мой...») — 30.
Хотел ты, добрый мой отец...— 86.
«Хотя и пью, хоть и люблю вино...» (Лукавый пьяница) — 70.

Цветком моей жизни была ты...— 87.
«Цветы по садам доцветают в долине...» (В конце сентября) — 248.

«Часто я, задумавшись, мечтаю...» (Мои песни) — 136.
Чем кончит шар земной? («Чем кончит шар земной? Застынет? Загорится?..») — 129.
Чем любовь была мне? («Сердце не из камня...») — 180.
«Четыре флигеля без крыши в этом зданье...» (Зельд Марци) — 190.
«Читай и помни, кто моею...» (Прощанье с актерской жизнью) — 58.
Чоконаи («Поп-кальвинист на белом свете жил...») — 79.
«Что вы лаетесь, собаки?..» (Дикий цветок) — 81.
«Что душа бессмертна — знаю!..» (Душа бессмертна) — 156.
Что ела ты, земля? («Что ела ты, земля,— ответь на мой вопрос...») — 128.
«Что есть сей мир? Он создан кем-то...» (Мудрствование и мудрость) — 258.
Что ждет меня? («Что ждет меня? О, что меня постигнет?..») — 130.
«Что за ночь! Сады цветут так зелено...» (Радостная ночь) — 84.
«Что мне в романтизме ваших дебрей...» (Алфельд) — 61.
«Что надо мною? Небосвод...» (Последний человек) — 104.
«...Что пристаете?..» (Сумасшедший) — 123.
Что слава? («Что слава? Радуга в глазах...») — 127.
«Что строчит твоя игла там?..» (Знамя) — 288.
«Что такое? Птичий гомон...» (Курица моей матери) — 297.
Что такое любовь? («Попробуй их останови...») — 257.
Что-то немец выдумал сегодня...— 323.
Что тут за шумное веселье? — 363.
«Что ты — скончался, любезный? Иль, может быть, руки отсохли?..» (Письмо Яношу Араню) — 223.

Шалго. *Поэма* — 448.
Шумим, шумим... («Шумим, шумим,— язык болтает...») — 311.

«Эй вы, поклонники луны...» (Соловьи и жаворонки) — 140.
«Эй, друг, ты жрал — в крови клыки и пасть...» (Волчье приключение) — 33.
Эй, что за гвалт? («Эй, что за гвалт? Несется он откуда?..») — 209.
Эрдёд, 17 мая 1847 года («Да, я вчера немало перенес...») — 193.
Эрдейская армия («Мы ли дрог-

нем? Старый Бем ведет нас...») — 386.
«Эх, Дебрецен...» (Зима в Дебрецене) — 66.
«Эх, разбой, веселая затея!..» (Конец разбоя) — 106.
«Эх, родители мои...» (Моим родителям) — 68.

«Я был еще ребенком, мальчуганом...» (Первая клятва) — 187.
Я вижу дивные цветы Востока...— 217.
«Я всегда хочу добра другим...» (Жизнь горька, сладка любовь...) — 171.
Я говорю, что победит мадьяр...— 384.
Я домой вернулся... («Я домой вернулся, бросил...») — 154.
«Я дочитал до конца летопись рода людского...» (Суд) — 186.
«Я, звезды, обожаю вас!.. (Звезды) — 129.
«Я ль бродил по земле...» (Как жизнь хороша!) — 199.
«Я множество стихотворений...» (Мое лучшее стихотворение) — 193.
«Я на спине лежу и из густой травы...» (Звездное небо) — 235.
«Я офицер. Но, встретив рядового...» (Уважайте рядового!) — 360.
«Я разразился б хохотом...» (Напрасная тревога) — 245.
Я собрал пожитки... («Я собрал пожитки и пошел в дорогу...») — 210.
Я сплю... («Я сплю, но будто и не спится мне...») — 118.
«Я твой и телом и душой...» (Патриотическая песня) — 43.
Явилась смерть... («Явилась смерть, чтоб нас смести бесследно...») — 390.
Яношу Араню («Толди» написавшему — душу шлю свою...») — 169.

СОДЕРЖАНИЕ

Пал Панди. Петефи. *Перевод Е. Умняковой* 5
Предисловие к Полному собранию стихотворений. *Перевод А. Кун* 27
На Дунае. *Перевод Н. Чуковского* 30
Хортобадьская шинкарка. *Перевод В. Левика* 30
На родине. *Перевод Б. Пастернака* 31
На пиршестве по случаю убоя свиньи. *Перевод Л. Мартынова* 32
Волчье приключение. *Перевод Л. Мартынова* 33
Клин клином... *Перевод С. Маршака* 34
Моя невеста. *Перевод Л. Мартынова* 36
Издалёка. *Перевод Л. Мартынова* 37
Адский пламень, черт рогатый!.. *Перевод Л. Мартынова* . . 38
Раз на кухню залетел я... *Перевод В. Левика* 38
Мечта. *Перевод Л. Мартынова* 39
Ах, любовь, любовь... *Перевод В. Звягинцевой* 40
Надоевшее рабство. *Перевод Б. Пастернака* 41
Скользкий снег... *Перевод Н. Чуковского* 42
Патриотическая песня. *Перевод Л. Мартынова* 43
Песня. *Перевод Н. Чуковского* 44
Дворянин. *Перевод Н. Чуковского* 44
Размышления человека, страдающего от жажды. *Перевод Л. Мартынова* 45
Который стакан? *Перевод С. Маршака* 46
Ну, не знаю, что мне нынче делать? *Перевод Л. Мартынова* 48
Неудавшийся замысел. *Перевод Н. Чуковского* 48
Побывка у своих. *Перевод Б. Пастернака* 49
Страшное разочарование. *Перевод Л. Мартынова* 50
То не в море — в небе месяц плыл... *Перевод Н. Чуковского* 51

Зарилась шинкарка на бетяра... *Перевод Л. Мартынова* . . 52
После обеда. *Перевод В. Левика* 52
Жужике. *Перевод Л. Мартынова* 54
Мои экономические взгляды. *Перевод Л. Мартынова* . . . 55
Нечто вроде лебединой песни. *Перевод Л. Мартынова* . . . 56
Вдоль по улице хожу я... *Перевод М. Исаковского* 57
К моему стакану. *Перевод Л. Мартынова* 58
Глотка у меня, как будто мельница... *Перевод Л. Мартынова* 58
Прощанье с актерской жизнью. *Перевод В. Левика* 58
Бродяга. *Перевод В. Левика* 60
В степи родился я... *Перевод Л. Мартынова* 60
На осле сидит пастух... *Перевод И. Тихонова* 61
Алфельд. *Перевод Б. Пастернака* 61
В моей комнате. *Перевод Л. Мартынова* 63
Вечер. *Перевод Б. Пастернака* 64
Подражателям. *Перевод А. Ромма* 66
Зима в Дебрецене. *Перевод Л. Мартынова* 66
Много с веточки мы вишен рвем... *Перевод Л. Мартынова* . 67
Моим родителям. *Перевод М. Исаковского* 68
Мои ночи. *Перевод Л. Мартынова* 69
Лукавый пьяница. *Перевод В. Левика* 70
Ах, если б не носил я шапку... *Перевод В. Левика* 70
Если девушки не любят... *Перевод В. Левика* 71
После попойки. *Перевод С. Маршака* 72
Письмо приятелю-актеру. *Перевод Л. Мартынова* 72
Флакон с чернилами. *Перевод Л. Мартынова* 75
К солнцу. *Перевод Л. Мартынова* 76
Семейная жизнь солнца. *Перевод Л. Мартынова* 77
Легенда. *Перевод Л. Мартынова* 77
Чоконаи. *Перевод Н. Чуковского* 79
Моя любовь. *Перевод Б. Пастернака* 80
Бушующее море... *Перевод Б. Пастернака* 80
Дикий цветок. *Перевод Л. Мартынова* 81
Дядюшка Пал. *Перевод С. Маршака* 82
Старый господин. *Перевод В. Левика* 83
Радостная ночь. *Перевод Л. Мартынова* 84
Солдат отставной я... *Перевод Л. Мартынова* 84
Пьянство во благо родины. *Перевод Л. Мартынова* 84
Лира и палаш. *Перевод Л. Мартынова* 85
Против королей. *Перевод Л. Мартынова* 85
Хотел ты, добрый мой отец... *Перевод И. Тихонова* 86
Лепестки с цветочка осыпаются... *Перевод Л. Мартынова* . 87
Цветком моей жизни была ты... *Перевод В. Звягинцевой* . . 87

Мир и я. *Перевод Л. Мартынова* 88
Зимнее время. *Перевод В. Левика* 89
Вихри, молнии и птицы... *Перевод Л. Мартынова* 90
Солнце. *Перевод Л. Мартынова* 90
О моих плохих стихах. *Перевод Л. Мартынова* 91
Весна. *Перевод В. Звягинцевой* 91
На волю! *Перевод Л. Мартынова* 92
Венгрия. *Перевод Л. Мартынова* 92
Лесное жилье. *Перевод Б. Пастернака* 93
В Алфельде шинков немало есть!.. *Перевод Л. Мартынова* . 94
Мое воображенье. *Перевод Л. Мартынова* 94
Одному критику. *Перевод Л. Мартынова* 95
В сто образов я облекаю любовь... *Перевод Н. Тихонова* . . 96
Флаг любви. *Перевод Л. Мартынова* 97
С той поры, как в милую влюбился... *Перевод В. Левика* . . 97
Если ты цветок... *Перевод Б. Пастернака* 98
Война приснилась как-то ночью мне... *Перевод Н. Тихонова* 98
Смолкла грозовая арфа бури... *Перевод Б. Пастернака* . . . 99
Ты ответь... *Перевод Л. Мартынова* 100
В деревне. *Перевод Б. Пастернака* 101
Старый добрый трактирщик. *Перевод Б. Пастернака* . . . 102
Моя молитва. *Перевод В. Левика* 103
Уж краснотой подернут лист... *Перевод Н. Тихонова* . . . 104
Последний человек. *Перевод Л. Мартынова* 104
Конец разбоя. *Перевод Л. Мартынова* 106
Торг. *Перевод М. Исаковского* 106
В альбом К. Ш. *Перевод Л. Мартынова* 107
Мажара с четверкой волов. *Перевод Н. Тихонова* 107
Венгерский дворянин. *Перевод Л. Мартынова* 108
Развалины корчмы. *Перевод Б. Пастернака* 109
Перемена. *Перевод Н. Чуковского* 111
На горе сижу я... *Перевод Б. Пастернака* 112
Источник и река. *Перевод Б. Пастернака* 113
О родине. *Перевод Н. Чуковского* 114
Корона пустыни. *Перевод Л. Мартынова* 115
Но почему... *Перевод Л. Мартынова* 117
Я сплю... *Перевод Л Мартынова* 118
Мои сны. *Перевод Л. Мартынова* 119
Встреча в пуште. *Перевод Л. Мартынова* 120
Зимняя ночь. *Перевод Л. Мартынова* 122
Сумасшедший. *Перевод Л. Мартынова* 123
Птицы. *Перевод Л. Мартынова* 125

Жизнь не стоит даже столько... *Перевод Л. Мартынова* . . 126
Прекрасный синий лес былого... *Перевод Л. Мартынова* . . 126
Память. *Перевод Л. Мартынова* 126
Такой бы вихрь вдруг начался... *Перевод Л. Мартынова* . . 126
Все изменилось на земле! *Перевод Л. Мартынова* 127
Что слава? *Перевод В. Инбер* 127
Печаль. *Перевод В. Инбер* 127
Куда мы денемся? *Перевод Л. Мартынова* 127
Нередко помечтать о том... *Перевод Л. Мартынова* 128
Что ела ты, земля? *Перевод Л. Мартынова* 128
И если кто-то из могил... *Перевод Л. Мартынова* 128
Мне кажется, не только человек... *Перевод Л. Мартынова* . 128
Звезды. *Перевод Л. Мартынова* 129
Чем кончит шар земной? *Перевод Л. Мартынова* 129
Смоют когда-нибудь... *Перевод Л. Мартынова* 129
Бренность. *Перевод Л. Мартынова* 130
Что ждет меня? *Перевод Л. Мартынова* 130
Сны. *Перевод Л. Мартынова* 130
Когда они вдвоем... *Перевод Л. Мартынова* 131
Сердце. *Перевод Л. Мартынова* 131
О ночь ночей... *Перевод Л. Мартынова* 131
Зачем еще мне жить... *Перевод Л. Мартынова* 132
В лесу... *Перевод Л. Мартынова* 133
Как на летнем небе... *Перевод Б. Пастернака* 134
Мироненавистничество. *Перевод Л. Мартынова* . . . 135
Судьба, простор мне дай! *Перевод Л. Мартынова* . . . 136
Мои песни. *Перевод Л. Мартынова* 136
Рабство. *Перевод Л. Мартынова* 138
Люблю я... *Перевод Б. Пастернака* 138
Народ. *Перевод Л. Мартынова* 139
На Хевешской равнине. *Перевод Б. Пастернака* 139
Соловьи и жаворонки. *Перевод Л. Мартынова* 140
В Надь-Карое. *Перевод Л. Мартынова* 142
Кандалы. *Перевод В. Левика* 143
Девочка моя, смуглянка... *Перевод Л. Мартынова* 144
Розами моей любви... *Перевод Б. Пастернака* 144
Дней осенних прозябанье.. *Перевод Б. Пастернака* . . . 145
Нависают облака... *Перевод Л. Мартынова* 146
Любишь ты весну... *Перевод Н. Чуковского* 146
В альбом барышне Ю. С. *Перевод Б. Пастернака* 147
Во сне я видел мир чудес... *Перевод Б. Пастернака* . . . 148
Когда сорвет судьба .. *Перевод Н. Чуковского* 150

Неприятно это утро... *Перевод Л. Мартынова* 150
Мечтаю о кровавых днях... *Перевод Н. Тихонова* 151
Графу Шандору Телеки. *Перевод Л. Мартынова* 152
Ночь звездная, ночь светло-голубая. *Перевод Б. Пастернака* 153
В альбом барышне Р. Э. *Перевод Б. Пастернака* 154
Я домой вернулся... *Перевод Л. Мартынова* 154
Куст задрожал... *Перевод В. Левика* 155
Душа бессмертна. *Перевод Л. Мартынова* 156
Венгерская нация. *Перевод Б. Пастернака* 156
Одно меня тревожит... *Перевод Л. Мартынова* 158
Любовь и свобода... *Перевод Л. Мартынова* 159
Мужчина, будь мужчиной... *Перевод Л. Мартынова* 159
Кутякапаро. *Перевод Б. Пастернака* 160
Грустная ночь. *Перевод Л. Мартынова* 163
Дворец и хижина. *Перевод Л. Мартынова* 164
Песня собак. *Перевод Н. Тихонова* 165
Песня волков. *Перевод Н. Тихонова* 166
Поэтам XIX века. *Перевод В. Левика* 167
Иди сюда... *Перевод Л. Мартынова* 168
Яношу Араню. *Перевод Н. Чуковского* 169
Венгерец я! *Перевод В. Левика* 170
Жизнь горька, сладка любовь. *Перевод Н. Чуковского* . . . 171
Тиса. *Перевод В. Левика* 172
Тучи. *Перевод Н. Чуковского* 174
Венгерским юношам. *Перевод Л. Мартынова* 175
Ветер. *Перевод М. Замаховской* 176
От имени народа. *Перевод Л. Мартынова* 177
Лишь война... *Перевод Н. Тихонова* 179
Чем любовь была мне? *Перевод Б. Пастернака* 180
Скинь, пастух, овчину... *Перевод Б. Пастернака* 181
Света! *Перевод Л. Мартынова* 181
Солдатская жизнь. *Перевод Л. Мартынова* 183
Любовь. *Перевод Л. Мартынова* 185
Суд. *Перевод Л. Мартынова* 186
Первая клятва. *Перевод Л. Мартынова* 187
О терпении. *Перевод Л. Мартынова* 188
Герои в дерюге. *Перевод Л. Мартынова* 189
Зельд Марци. *Перевод Н. Тихонова* 190
Стоит мне... *Перевод Б. Пастернака* 191
Огонь. *Перевод Л. Мартынова* 192
Мое лучшее стихотворение. *Перевод Л. Мартынова* 193
Эрдёд, 17 мая 1847 года. *Перевод Н. Чуковского* 193

Ныль столбом. *Перевод Б. Пастернака* 194
В руднике. *Перевод Л. Мартынова* 195
Наконец назвать мою... *Перевод И. Чуковского* 196
Лаци Араню. *Перевод С. Маршака* 197
Как жизнь хороша! *Перевод В. Левика* 199
Тетя Шари. *Перевод Б. Пастернака* 200
Стал бы я теченьем... *Перевод М. Замаховской* 201
Аист. *Перевод В. Левика* 202
Доро́гою... *Перевод Б. Пастернака* 205
Путешествие по Алфельду. *Перевод Б. Пастернака* 206
Люблю ли я тебя? *Перевод Б. Пастернака* 207
Прощальная чаша. *Перевод И. Чуковского* 208
Знаменитая красавица. *Перевод В. Левика* 209
Эй, что за гвалт? *Перевод Л. Мартынова* 209
Я собрал пожитки... *Перевод Л. Мартынова* 210
Муза и невеста. *Перевод Л. Мартынова* 211
У леса птичья трель своя... *Перевод Б. Пастернака* 213
У Михая Томпы. *Перевод Л. Мартынова* 213
Закат. *Перевод М. Замаховской* 215
Панни Панью. *Перевод Л. Мартынова* 215
В Мункачской крепости. *Перевод И. Чуковского* 216
Я вижу дивные цветы Востока... *Перевод Б. Пастернака* . . 217
Ответ на письмо моей милой. *Перевод Б. Пастернака* . . . 218
Покинутый флаг. *Перевод Л. Мартынова* 221
Не сердись, моя голубка... *Перевод В. Левика* 221
Пятое августа. *Перевод Л. Мартынова* 222
Письмо Яношу Араню. *Перевод В. Левика* 223
Поэзия. *Перевод Л. Мартынова* 226
Мой пегас. *Перевод Л. Мартынова* 226
В кабаке. *Перевод М. Михайлова* 228
Бродяга. *Перевод В. Левика* 229
Не обижайся. *Перевод Б. Пастернака* 231
Пестрая жизнь. *Перевод Л. Мартынова* 232
Прекрасное письмо. *Перевод Б. Пастернака* 233
На розу рассердился я... *Перевод Л. Мартынова* 234
Все говорят, что я поэт... *Перевод В. Инбер* 235
Звездное небо. *Перевод Б. Пастернака* 235
Ах, одно другого лучше... *Перевод Л. Мартынова* 236
Героям болтовни. *Перевод В. Левика* 238
Как-нибудь. *Перевод Л. Мартынова* 239
Видал ли кто... *Перевод Б. Пастернака* 240
Прощанье с холостой жизнью. *Перевод В Левика* 241

Молодой батрак. *Перевод М. Исаковского* 242
За горами синими... *Перевод Н. Чуковского* 243
Жители пустыни. *Перевод Л. Мартынова* 244
Напрасная тревога. *Перевод И. Миримского* 245
Осенний ветер шелестит... *Перевод В. Левика* 246
С той поры... *Перевод Л. Мартынова* 247
В конце сентября. *Перевод Б. Пастернака* 248
Последние цветы. *Перевод Б. Пастернака* 249
Встарь и нынче... *Перевод В. Левика* 250
Страна любви. *Перевод Б. Пастернака* 251
Небо и земля. *Перевод Б. Пастернака* 253
Тихая жизнь. *Перевод В. Левика* 254
Вот был огромный труд... *Перевод В. Левика* 254
В коляске и пешком. *Перевод Б. Пастернака* 256
Что такое любовь? *Перевод Л. Мартынова* 257
Мудрствование и мудрость. *Перевод Л. Мартынова* 258
Родина, пора вставать!.. *Перевод Л. Мартынова* 259
Поцелуев два десятка... *Перевод С. Маршака* 260
Лунная элегия. *Перевод Л. Мартынова* 261
Могила нищего. *Перевод Б. Пастернака* 262
У Яноша Араня. *Перевод Б. Пастернака* 264
Только я в свое окошко погляжу... *Перевод М. Замаховской* 265
В душе глубокой... *Перевод Б. Пастернака* 267
Судьи, судьи... *Перевод Л. Мартынова* 268
Женушка, послушай... *Перевод Л. Мартынова* 269
Ночь. *Перевод Б. Пастернака* 271
Окатоотайя. *Перевод Л. Мартынова* 273
К венгерским политикам. *Перевод Л. Мартынова* 275
На именины моей жены. *Перевод Л. Мартынова* 277
На железной дороге. *Перевод Л. Мартынова* 278
К гневу. *Перевод Л. Мартынова* 279
Вон табун, он в пуште ходит... *Перевод Л. Мартынова* . . . 281
Лишь утро минуло... *Перевод В. Левика* 282
Новогодняя ночь 1847 года. *Перевод Л. Мартынова* 283
Зимние вечера. *Перевод Б. Пастернака* 285
Есть ли в Венгрии хоть горсть земли такая... *Перевод Л. Мартынова* 287
Знамя. *Перевод Л. Мартынова* 288
Люблю тебя, люблю тебя... *Перевод В. Левика* 289
Как мне назвать тебя... *Перевод Л. Мартынова* 290
Добрый учитель. *Перевод В. Левика* 291
Степь зимой. *Перевод Б. Пастернака* 293

Италия. *Перевод Л. Мартынова* 295
К Сословному собранию. *Перевод Л. Мартынова* 296
Курица моей матери. *Перевод С. Обрадовича* 297
Смерть зимы. *Перевод Н. Чуковского* 298
1848. *Перевод Л. Мартынова* 299
Жесткий ветер... *Перевод Л. Мартынова* 300
Магнатам. *Перевод В. Левика* 300
Национальная песня. *Перевод Л. Мартынова* 302
15 марта 1848 года. *Перевод Л. Мартынова* 303
К свободе. *Перевод М. Исаковского* 305
Застольная песня. *Перевод М. Исаковского* 306
Восстало море. *Перевод Н. Тихонова* 307
Королям. *Перевод Л. Мартынова* 308
Готовься, родина... *Перевод Л. Мартынова* 309
Шумим, шумим... *Перевод В. Левика* 311
Король и палач. *Перевод И. Миримского* 312
Ракоци. *Перевод М. Исаковского* 313
Жена и клинок. *Перевод Л. Мартынова* 314
Весне. *Перевод Л. Мартынова* 316
Консерваторы. *Перевод Л. Мартынова* 317
Нас теперь возненавидел... *Перевод Л. Мартынова* 318
Бан Банк. *Перевод И. Миримского* 319
Что-то немец выдумал сегодня... *Перевод Л. Мартынова* . . 323
Песня о черно-красном знамени. *Перевод Л. Мартынова* . . 324
Королевская присяга. *Перевод В. Левика* 325
Ты задрожал, о сброд презренный... *Перевод В. Левика* . . 329
Австрия. *Перевод Л. Мартынова* 330
Довольно! *Перевод В. Левика* 331
В родных местах. *Перевод Б. Пастернака* 333
Мартовская молодежь. *Перевод С. Маршака* 334
Малая Кумания. *Перевод Б. Пастернака* 335
Венгерский народ. *Перевод М. Исаковского* 337
К Национальному собранию. *Перевод Л. Мартынова* . . . 338
Венгерец вновь венгерцем стал! *Перевод Л. Мартынова* . . 340
Зачем вы мне загородили путь? *Перевод Л. Мартынова* . . 341
Год уж пынче... *Перевод Л. Мартынова* 342
Сотня Ленкеи. *Перевод Л. Мартынова* 343
К нации. *Перевод В. Левика* 347
Революция. *Перевод Л. Мартынова* 349
И вот достиг я возраста мужского... *Перевод В. Левика* . . 350
Свист пуль кругом... *Перевод Л. Мартынова* 352
В горах. *Перевод Б. Пастернака* 352

Близок, близок час великий... *Перевод Л. Мартынова* . . . 354
Ты слышишь ли, сердце... *Перевод Н. Чуковского* 355
О чем еще, смиренные поэты... *Перевод Л. Мартынова* . . . 356
Ты помнишь... *Перевод Б. Пастернака* 357
Жизнь или смерть. *Перевод Л. Мартынова* 358
Прощанье. *Перевод Л. Мартынова* 359
Уважайте рядового! *Перевод Л. Мартынова* 360
1848. *Перевод Л. Мартынова* 361
Что тут за шумное веселье? *Перевод С. Маршака* 363
Люблю... *Перевод Л. Мартынова* 364
Осень вновь... *Перевод Б. Пастернака* 366
Косолапый парень. *Перевод В. Левика* 367
Лук мой славный... *Перевод В. Левика* 368
Боевая песня. *Перевод Л. Мартынова* 368
На виселицу королей! *Перевод В. Левика* 369
Конт и его товарищи. *Перевод И. Миримского* 371
Стыд поражений, бегств позор... *Перевод Л. Мартынова* . . 376
В конце года. *Перевод Б. Пастернака* 377
В новогодний день 1849 года. *Перевод С. Маршака* 379
Немецкий флаг опять над Будой вьется. *Перевод В. Левика* 380
Тиха Европа... *Перевод Н. Тихонова* 381
Гремела канонада... *Перевод Л. Мартынова* 382
В бою. *Перевод Л. Мартынова* 383
Я говорю, что победит мадьяр... *Перевод Н. Тихонова* . . . 384
Вновь жаворонок надо мной... *Перевод Б. Пастернака* . . . 385
Эрдейская армия. *Перевод В. Левика* 386
Кто б мог подумать... *Перевод Л. Мартынова* 387
На смерть родителей. *Перевод Н. Чуковского* 388
Явилась смерть... *Перевод Л. Мартынова* 390
Ужаснейшие времена! *Перевод Л. Мартынова* 391

Поэмы

Витязь Янош. *Перевод Б. Пастернака* 395
Волшебный сон. *Перевод Б. Пастернака* 441
Шалго. *Перевод Б. Пастернака* 448
Мария Сечи. *Перевод Б. Пастернака* 461
Глупый Ишток. *Перевод Л. Мартынова* 473
Апостол. *Перевод Л. Мартынова* 495
Примечания *А. Кун* 575
Алфавитный указатель произведений . . . 602

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ВТОРАЯ
Том 100

Шандор Петефи
СТИХОТВОРЕНИЯ
ПОЭМЫ

*

Редакторы Б. Грибанов
и В. Короленков
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
В. Иващенко
Корректоры О. Наренкова и Г. Сурис

*

Сдано в набор 19/IV 1971 г. Подписано в печать 4/X 1971 г. Бумага типографская № 1. 60×84¹/₁₆. 39 печ. л. 36,38 усл. печ. л. 32,02+1 вкл.+6 нак.=32,81 уч.-изд. л. Заказ № 422. Тираж 300 000 (1—150 000) экз. Цена 1 р. 68 к.

*

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

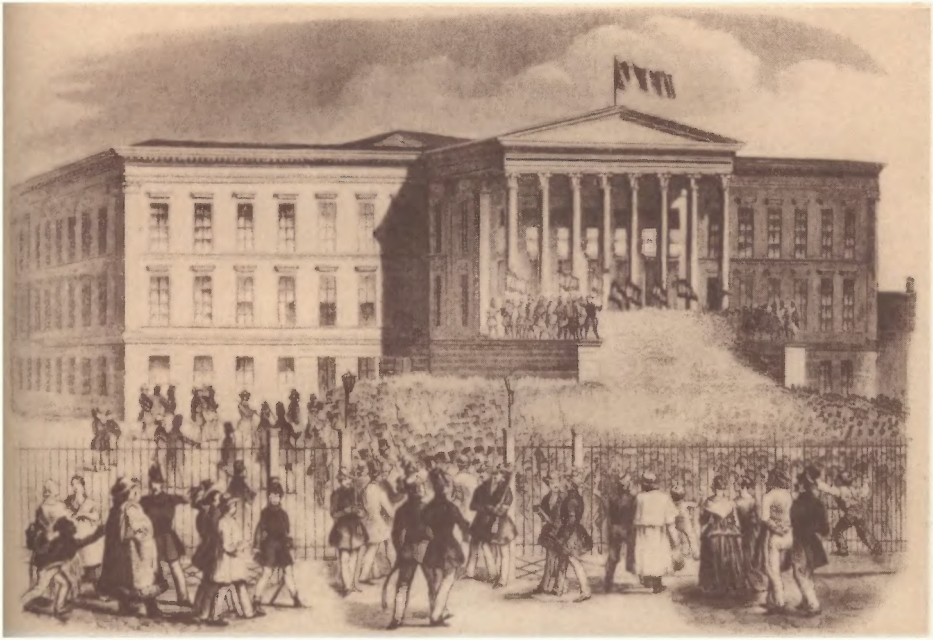
Ордена Ленина
типография «Красный пролетарий»
Москва, Краснопролетарская, 16

JÁNOS VITÉZ.

Irta

PETŐFI SÁNDOR.

Ára 12 kr. p.p.

Nyomt Gimm Vnél Penten.

LANDERER es HECKENAST.